

Владимир
РЕЦЕПТЕР

Жизнь
и приключения
артистов

БДТ



ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР

Жизнь
и приключения
артистов
БДТ

ГАСТРОЛЬНЫЙ РОМАН

Москва «Вагриус» 2005

Издание осуществлено при участии Московской региональной
организации «Санкт-Петербургский клуб»

Издательство благодарит Музей АБДТ им. Г.А.Товстоногова
за предоставленные материалы.

В книге использованы фотографии М. Смирнова, Б. Стукалова,
Д. Мовшина, М. Блохина, В. Габай,
а также из личного архива автора

Художник — Е. Вельчинский

В оформлении переплета использована
гравюра М.А. Карнарского

Рецептер В.Э.

Р45 Жизнь и приключения артистов БДТ: гастрольный роман.
М.: Вагриус, 2005. — 496 с.
ISBN 5-475-00096-4

Творческая биография Владимира Рецептера много лет была связана с БДТ и его создателем Г.А. Товстоноговым. Эта книга — о театре, об актерах, имена которых (И. Смоктуновский, О. Борисов, С. Юрский, О. Басилашвили, П. Луспекаев) вызывают и благоговение, и живейший интерес: какие они, кумиры? Что происходит в закулисы? Успехи и провалы, амбиции и подозрения, страсти и интриги — все как в жизни, но только более емко и выпукло, ведь это — ТЕАТР.

УДК 882-94
ББК 84(2Рос=Рус)6

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 5-475-00096-4

© Рецептер В.Э., 2005
© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2005

Письмо одному читателю

Дорогой N!

В этой книге ты встретишь фотографии людей, ставших прообразами моих героев.

Я не искал им других имен, заставляя мучиться догадками: *кто же здесь кто?* Тот, кто писал о театре и давал хорошо известным людям придуманные имена, смотрел на них, скорее, со стороны и, не в пример мне, нимало не двоился.

Стало быть, между актерами, которых знал ты, и героями, которые вышли у меня, легко обнаружить опасное сходство...

И все-таки, все же...

Прошу тебя, как умницу и друга, *не путать тех, что на фотографиях, с теми, кого написал я.* В жизни все они, конечно, не вполне таковы, как в романе, и если не всегда, то чаще всего значительнее и безупречней.

Однажды, прослушав стихи о себе и отвечая на вопрос, могу ли я их печатать, Григорий Гай ответил:

— Конечно... Ведь это уже не совсем я, а твой литературный герой...

Поставь фотографию рядом с чьим-то холстом, и ты поймешь, о чем я прошу тебя ...

Понимаешь, век переменился, и недалек час, когда... Как это у Чехова?... *«Забудут наши лица, голоса и сколько нас было...»*

Уже сегодня мои студенты не застают на сцене многих из нас, а те, кого можно увидеть, стали совсем другими.

И если я, несмотря ни на что, пытаюсь вернуть всех своих прежними и живыми, то лишь потому, что сдуру все еще верю... Во что?.. Только не смейся... Я верю, что мои картинки на легком бумажном холсте хоть ненадолго продлят наш краткий, мотыльковый, актерский век...

До встречи, дорогой N!.. Желаю тебе радости и надежды.
Твой В.Р.

Разве Луна не та?

Разве ныне весна иная,

Чем в былые года?

Но где же былое? Лишь я

Вернулся все тот же, прежний.

Аривара-но Нарихира

Часть первая

— 1

Ностальгия по Японии возникла разом у всех, как только стало известно, что вопрос о гастролях практически решен. И пока в главном кабинете обсуждалось, какие именно спектакли должны произвести наилучшее впечатление на японцев, за кулисами возникла особая атмосфера ожидания, тревог и надежд.

Разумеется, были в театре корифеи, которые знали, что поедут при всех обстоятельствах; их заботили вопросы личной подготовки. Были такие, кому поездка наверняка не маячила; в их скорбные души я боюсь заглядывать. Типовое волнение охватило «средний класс», тех, чье свидание с видом на Фудзияму зависело от самого простого: занятости в спектакле, который поедет. Таких было много, и к ним принадлежал я. На Хонсю и Хоккайдо, а тем более на Сикоку и Кюсю попасть очень хотелось.

В один из определяющих дней у доски с расписанием спектаклей я встретил артиста Михаила Данилова.

— Привет, Миша! — бодро сказал я.

— Привет, Володя! — весело откликнулся он.

Миша — один из счастливчиков, что-то, а уж «История лошади» не может не поехать, и сведений у Данилова больше, чем у меня.

— Ну как, учишь японский? — Это моя завистливая шутка, которую Миша должен подхватить.

— Учу, конечно. Но есть трудности...

— Какие же именно? — теперь подыгрываю я.

— Слишком много иероглифов!..

— Что делать, Миша, надо напрячься, речь идет о взаимовлиянии древнейших культур, — сочувствую я.

— А пропаганда метода Станиславского?! — развивает мысль мой славный коллега.

Данилов — интеллигент. Он влюблен в Гоголя и держит в уме целые страницы «Мертвых душ». Из горячительных напитков, завязав однажды и навсегда, пьет только крепчайшие чай и кофе. Курит не только сигареты, но и трубки, и сам режет их из вишневых корней. Миша невысок, плотен и во все времена года, даже в жару, носит беспримерной прочности ботинки на толстой подошве. Важно сказать, что Данилов — отменный фотограф, и у меня создалось впечатление, возможно, ошибочное, что из каждой зарубежной поездки он привозит если не фотокамеры, то объективы, фильтры, футляры, штативы, увеличители, бинокли и сотни репортажных снимков, на которых мы выглядим такими, как есть, а не такими, какими хотим казаться.

— Миша, если я спрошу, как по-японски «вишня»...

— Я от тебя не скрою, что «вишня» по-японски — «сакура»...

— А если я захочу узнать, как по-японски «капэсес»...

— «Капэсес» по-японски значит «вэкапебе».

Кроме нас, у расписания никого нет, и разговор носит свободный характер.

— Миша, в Токио у тебя будет настоящий успех!

— Разумеется, Володя. А на крайний случай у меня есть еще одна надежда...

— Какая, если не секрет?

— Это, конечно, секрет, но тебе я скажу: у нас с Гогой будет свой переводчик.

В детстве нашего Мастера, Г. А. Товстоногова, звали Гогой, и это уменьшительно-ласкательное имя сохранилось на всю жизнь для домашних и близких друзей; об этом знал не только весь город, но и весь театральный мир, и наши артисты, которые к Георгию Александровичу так никогда не обращались, в разговорах между собой пользовались тем же, будто бы сокращающим дистанцию, именем.

— Вчера японец смотрел «Лошадь», — сообщает между тем Миша, — а завтра смотрит «Ревизора».

— Вот оно что, — говорю я, — к нам приехал...

— Менеджер, — заканчивает он, делая ударение на последнем слоге. — На нас он может погореть, но ему обещают цирк. А цирк, как ты понимаешь, покроем все убытки...

Теперь я набит сведениями, остается задать главный вопрос.

— А ты не знаешь, «Мещан» этот японец будет смотреть? — «Мещане» — моя главная надежда.

— Нет, Володя, должен тебя огорчить, по моим данным, «Мещане» в Японию не едут...

Короткую паузу называют в театре цезурой, и, помимо моего желания, она возникает в нашем разговоре. Взяв себя в руки, я спрашиваю:

— Ну, а что едет еще?..

— Еще едет «Амадей», — говорит Миша, глядя на меня с искренним сочувствием. Я не сторонник «Амадея», и он это знает. На мой взгляд, это наша репертуарная ошибка. На мой ревнивый взгляд, грешно ставить историю Моцарта и Сальери в изложении модного Шеффера, когда у нас есть гениальная трагедия Пушкина. Тем более что англичанин в нее заглядывал и, по мне, ничего не понял.

— Шеффера поставит кто угодно, а таких «Мещан», как у нас, не сделает никто...

— Ну, если смотреть с этой точки зрения, — задумчиво говорит Данилов.

— А с какой же еще? — капризно перебиваю я, окончательно теряя юмор, и тогда, склоняя меня к разумной объективности, Миша говорит:

— Однако костюмы в спектакле красивые. Очень. С этим ты не можешь не согласиться.

И, выдержав еще одну цезуру, я соглашаюсь.

— Да. В этом ты прав. Костюмы выглядят красиво...

Поняв, что Страна восходящего солнца мне больше не светит, я начал соображать направление своих автономных гастролей по городам и весям нашей необъятной родины. Слава богу, такая возможность в запасе у меня была.

Переговоры с администраторами шли к успешному концу, как вдруг открылись новые обстоятельства: опять заболел Григорий Гай, в Японию его не берут, и предстоит срочный ввод в спектакль «Амадей». Времени остается мало, костюм сложен и дорог, и руководство театра ищет артиста, которому пришлось бы в пору камзол и штаны широкогрудого приземистого Гая.

Нужно сказать, что для поездок за границу состав счастливых спектаклей всегда немного корректировался либо из-за так называемых невыездных, либо ради простого сокращения числа едущих. В таких случаях даже на скромные роли назначались артисты ведущего положения. И были в нашей гастрольной практике звездные эпизоды, когда на какой-нибудь революционный митинг, подобрав одежку поскромней, выходили статистами и Лебедев со Стржельчиком, и Шарко с Эммой Поповой, и другие прославленные мастера, радуя и веселя своим появлением привычное народонаселение массовки...

И вот, смиренно настроившись на уральский маршрут, я вдруг узнал, что первым кандидатом на замену Гая в спектакле «Амадей» назначен именно Рецепттер. Очевидно, здесь сказались прежде всего интересы дела, но нельзя было также исключить доброго отношения именно к нему, Рецепттеру, так как поездка являлась бесспорным поощрением каждого участника. И не только моральным: суточные в валюте не шли ни в какое сравнение с домашним жалованьем. А тут — сорок дней в Японии!..

Однако вместо бурной радости в моей неблагодарной душе возникла смута, и на то было несколько причин.

Во-первых, с Гаем я давно и преданно дружил и в случае такой замены становился по отношению к нему невольным злодеем.

Во-вторых, я не скрывал, что к пьесе Шеффера отношусь с негативной пристрастностью, и теперь входить в спектакль «Амадей» значило поступаться чем-то глубоко принципиальным...

А в-третьих, сама ситуация казалась мне, будущему отщепенцу, просто унижительной: не роль примерялась к артисту и не артист — к роли, а фигура — к костюму!..

Всё так... Так... Но, подумав, ситуацию можно было рассмотреть и с другой точки зрения...

Разве самому Гоге не жаль заменять Гая?! Он-то с ним дружит подольше моего. Ведь это — болезнь, несчастье, злая воля судьбы, а не каприз, не произвол отношений...

И разве не существуют на театре элементарная дисциплина, производственная необходимость?

Разве его величество Театр не выше каждого из нас?..

К тому же есть общее мнение актерской братии, согласно которому я должен не «возникать», то есть не капризничать, а выполнять свой прямой долг и благодарить судьбу и лично Георгия Александровича за удачный для меня выбор...

Существует, наконец, единственная в жизни возможность своими глазами увидеть по меньшей мере Сикоку и Кюсю.

И вот меня, отуманенного сомнениями, конвоем ведут на свидание с Гришиным костюмом. Справа — Таня Руданова, заведующая костюмерным цехом, высокая и решительная молодая женщина, прошедшая трудный путь от робкой одевальщицы до ответственного руководителя важного подразделения; а слева — Юра Аксенов, режиссер и помощник Г. А. Товстоногова, по слухам, уже назначенный главным режиссером Театра Комедии и, в порядке последнего поощрения у нас, едущий в Японию. Оба призваны всмотреться в сочетание костюма с кандидатом на его ношение и доложить Мэтру, насколько это соединение пристойно. Мы поднимаемся по лестнице, и мое нервное напряжение растет...

А вот и костюмчик на распялке, вот и дармовой билет до Японии и обратно...

Стоит мне сейчас подобрать кисти и приподнять плечевые суставы, тем самым укоротив руки; стоит, несколько раздувшись, увеличить объем грудной клетки и изящно сгруппироваться, внедряя себя в штаны и камзол, — и вот она, древняя островная империя! Разве Токио, как и Париж, не стоит мессы?! И разве я не артист прежде всего?

Настоящий артист должен становиться крупней или меньше ростом, соответствуя выпавшей роли. Нужно только призвать на помощь всю силу воображения и войти в Гришину мерку, как в обстоятельства собственной жизни. Ну, Рецептер, давай, не стесняйся! Вот и Аксенов, со своей непроходящей улыбкой, подбадривает: «А что? А ничего...» И Таня Руданова клонит туда же: «Тут немного заузим, тут немного отпустим...» Конечно, они желают мне только добра!..

И вдруг, помимо желания и умысла, абсолютно вопреки складывающемуся намерению, мое тело и, очевидно, заключенная в нем душа бесконтрольно и пугающе неожиданно выдают неуправляемую реакцию. Артист Р. вытягивается во весь рост и воздевает вверх ру-

ки, отчего камзол взлетает до пупа, а рукава задираются до локтей, по-клоунски раскорячивает колени и в отчаянье кричит доброжелательным конвоирам:

— Да вы что, ребята? С ума посходили? Не могу же я... во всем этом выходить на сцену!.. Все!.. Снимаю!.. Скажите Гоге, что мы честно мерили и у нас ничего не вышло!.. Таня, ты же видишь?.. Юра!.. Не улыбайся!.. И не говори, что Рецептер не хочет!.. Скажи как есть: костюм не подходит!..

И Юра улыбается мне в ответ многозначительной улыбкой придворного. Я весь в его руках.

На другой день в костюм Гая удачно помещается артист Каравеев, который и так едет в Японию в «лошадином табуне», то есть в «Истории лошади», а я получаю своего «дурака» от всех, до кого дошла история моей примерки.

Ну, конечно, дурак. Дурак в своем репертуаре!.. А я и не спорю. Я сам себя ругаю дураком...

Я даже много лет играл роль дурака-правдолюбца в пьесе Л. Жуховицкого «Выпьем за Колумба!», героями которой были три друга-биолога. Роль гения играл Олег Борисов. Роль карьериста — Олег Басилашвили. А роль дурака — я. Такое было распределение. Однажды на репетиции что-то не заладилось, стали выяснять почему, и в пылу творческого спора Басик замечает:

— Понимаете, Георгий Александрович, я называю его дураком, а он не реагирует...

Товстоногов поворачивается ко мне и говорит:

— Володя, почему вы не реагируете, когда Олег называет вас дураком? Ведь это же оскорбление!

А я отвечаю:

— Георгий Александрович! Ну какое это в России оскорбление? Это — героизация: дурак, идиот, юродивый, сумасшедший... А в нашем случае — просто текст, потому что по действию Олег меня не оскорбил.

Товстоногов поворачивается к Басилашвили и говорит ему:

— Олег! Володя прав! Вы говорите текст безо всякого оскорбления!.. Попробуйте его оскорбить!..

И вот я сам пытаюсь себя оскорбить, но действую вяло, потому что поезд ушел, то есть списки составлены, и на собеседование к старым большевикам мне в райком не надо...

И то хорошо...

Но если сознаться, на душе у меня — очень нехорошо...

Во время таких головокружительных гастролей оставшиеся дома начинают комплексовать и чувствовать себя вторым сортом. А что может быть в театре ужаснее этого?

И бессонными ночами артист Р. тайно возвращается к сцене примерки и грызет себя за неумение владеть собой.

— Кто ты такой? — задает он себе бессмертный вопрос Паниковского и свирепо отвечает: — Высокомерный, провинциальный, жалкий премьер! Костюм на тебя мал?.. Врешь!.. Не костюм, а роль для тебя мала, а ты, Гамлет несчастный, хочешь играть только главные роли!.. Бесстыжий каботинец!.. Вся ситуация глупа, а ты в ней — глупее глупого! И все потому, что тебе смерть как хочется в Японию и ты как огня боишься какой-нибудь своей внезапной подлости...

Но проходит темная ночь, и ясным днем настраиваешь себя на другой лад, и в ушах звучит другой монолог:

— Прощай, Страна восходящего солнца! Прощайте, гейши в тонких кимоно! Нам не суждено узнать друг друга!.. Я поеду в Челябинск, я повидаю Свердловск и Нижний Тагил, и нежные тагильчанки будут улыбаться одному мне... Чем Урал хуже Японии?.. Пусть мне это объяснят наши патриоты!..

Вот каким изворотливым может быть сознание уязвленного артиста. Но бодрости оно не прибавляет, и к вечеру он начинает понимать, что еще не достиг пределов самоедства.

— Что Гришин костюм? — объясняет он себе самому. — Давно пора надеть должную форму и беззаветно встроить себя в систему любимого театра. Так же, как театр, с помощью политкостюмеров, встраивает себя в систему нашей великой страны. Разве Гоге легко снимать «Римскую комедию» Зорина и рядить сцену по «юбилейно-датской» моде? И пора честно признаться, что домашние вольнодумцы потому и позволяют себе смелые фразы и свободные жесты, что их прикрывает Гога Товстоногов, оставляя за собой тесный костюм

компромисса... Компромисс — вот знамя эпохи, а значит, и твое!..
Вспомни слова потерпевших и понимающих время людей...

И я вспомнил, как однажды на галечном пляже санатория «Актер» в городе Сочи Сережа Юрский, успевший переехать в Москву, рассказал мне подробности своего разрыва и ухода, те, которых я еще не знал, и с горькой иронией опального мудреца заметил на мой счет:

— Будь всем доволен, и все будут довольны тобой... И никто тебя не обидит ни в городе, ни в театре...

Конечно, он, как Чацкий Чацкому, объяснял мне один из дьявольских законов театра, который постиг на своем мучительном опыте, а не советовал перейти в Молчалины и стать подлецом...

Но не успел я додумать до конца парадоксы неистощимой действительности, как грянула еще одна новость.

Снова мы стоим у расписания с Даниловым, и он говорит:

— Володя, по-моему, ты этого еще не знаешь...

— Миша, по-моему, я не знаю ни того, ни этого...

— Так вот, только не падай... Вместо «Амадея» в Японию едут «Мещане»! Ну, каково?.. По-моему, это — фантастика!

— Миша, скажу тебе, как Станиславский: «Не верю!»

— Честное пионерское, Володя!.. Спроси у Дины!.. — Он имеет в виду нашего легендарного завлита Д. М. Шварц. — Или подымишь к Гоге, он сам тебе скажет!..

Миша от души рад и за меня, и за театр: он высоко ценит наших «Мещан».

— Понимаешь, Володя, для гастролей нам не хватает современной пьесы для пропаганды среди японцев советского образа жизни. Но поскольку Горький — великий пролетарский писатель, чье имя носит наш первый советский театр...

— Мы будем пропагандировать мещанский образ жизни... — прерываю я, а он завершает:

— Как самый наисоветский!..

— Bravo, Данилов! — искренне восклицаю я, а он повторяет свое любимое словцо: «Фантастика!..» И правда...

Такова судьба и ее вольнодумная прихоть. Такова незаслуженная награда. Я еду в Японию, еду! Не вместо кого-то, а сам по себе.

Не в костюме с чужого плеча, а в своем. Я выйду на сцену Петрушей Бессеменовым в ношеной косоворотке, старых штанах и потертом студенческом кителе. Моему костюму, как и спектаклю «Мещане», чуть ли не двадцать лет!..

«Я личность!.. Личность свободна!» — брошу я новенький текст в глаза верноподданным дряхлого микадо!.. Я сорву с побежденных японцев свою толику аплодисментов!..

— 2

«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Буквально накануне отъезда мне снова предложили натянуть пиджачок с чужого плеча. На этот раз мы проходили «примерку» вместе с Владиславом Стрельчиком.

Дело было так. Второго сентября в одиннадцать тридцать на Малой сцене открылось общее собрание отъезжающих. Боясь что-нибудь упустить и напортачить, а, может быть, подсознательно предчувствуя рождение гастрольного романа, я решил занести в тетрадь таможенные инструкции и общие предписания.

Директор театра Геннадий Иванович Суханов, бывший оперный певец, мужчина высокого роста, вальяжный и улыбчивый, начал с международной обстановки.

— Уважаемые товарищи, — сказал он торжественным тенором, — конечно, вы — опытный, проверенный коллектив, сознательные люди. Но никогда прежде мы не выезжали за рубеж в столь напряженной ситуации и в такую сложную страну. А большой опыт усыпляет... На этот раз нам предстоит серьезное испытание. Я не имею в виду сейсмические вещи... Хотя от вулканов тоже можно ожидать неожиданностей... Дело в том, товарищи, — тут Суханов перешел на баритон, — что правящая партия Японии ведет себя не так, как хотелось бы...

По правде сказать, я не знал, чего мне хотелось от правящей партии Японии, а Геннадий Иванович дипломатично не сообщил этого впрямую, но явно дал понять, что высокая вежливость японцев не должна обмануть нашу проницательность.

На этом тревожном фоне и были даны «уточнения по еде». Мы имели право взять с собой по две палки копченой колбасы, десять

банок консервов, три-пять пачек чаю, банку растворимого кофе, триста граммов икры, черной или красной, хрустящие хлебцы, а также по полтора блока сигарет и две бутылки водки. Таможня в Находке характеризовалась как очень строгая, но если наши «звезды» возьмут с собой свои фотографии и сделают на них сердечные надписи в адрес тружеников проверки, то весь коллектив может надеяться на таможенную снисходительность. (Смех, возгласы одобрения, аплодисменты.) Хотя муку, крупу, хлеб и полуфабрикаты даже «звездам» брать с собой категорически не следует...

Читателю, не пережившему наших времен, следует объяснить, что дозволенные яства нужно было еще, что называется, «достать», потому что на общедоступных прилавках всего вышеперечисленного не было. Один из моих друзей советовал развернуть историческую тему добывания продуктов, но пока, дабы не тормозить действие, я обязан вернуться на собрание.

После директора взяла слово едущая руководителем гастролей Анта Антоновна Журавлева, в сфере культуры женщина историческая и бессменная, в те поры секретарь областного (или городского?) комитета партии, а некоторые говорят, что не секретарь, а заведующая отделом или генеральный инструктор...

Здесь знатоки могут мне возразить в том смысле, что никаких «генеральных инструкторов» ни в обкоме, ни в горкоме не было и быть не могло, а был всего лишь один-единственный Генеральный секретарь. Но если хорошенько вдуматься, эпитет «генеральный» произошел от слова «генерал», а поскольку партия у нас была одна и всем руководила («руководящая и направляющая сила эпохи»), то любой ее инструктор, выйдя за порог своего штаба, тотчас начинал чувствовать свою избранную роль и генеральское положение. А все остальные, то есть те, кто не имел счастья служить в обкомгоркомрайкоме, по отношению к каждому инструктору понимали себя значительно ниже рангом или вообще маялись своей неполноценностью, как штатские по отношению к военным. Что уж говорить о заведующих отделами, третьих, вторых, а тем более первых секретарях, которые смотрелись просто генералиссимусами. Недаром же Анту Журавлеву назначили руководителем японских гастролей, поставив ее не только над Геннадием Сухановым, но и над самим Геор-

гием Товстоноговым. И, кстати сказать, именно Анта выгодно отличалась от других подобного рода руководителей.

— Товарищи, — твердо сказала она, — паспорт нужно всегда иметь при себе. Беспаспортных забирает полиция. Одна балерина забыла паспорт, и ей пришлось танцевать в полиции, чтобы доказать, кто она такая... В гостиницах большой порядок и чистота, поэтому консервные банки не нужно швырять в свой мусоропровод, их следует заворачивать в бумагу, выносить из гостиницы и складывать в урны, чем дальше, тем лучше... Теперь... В номерах дают кимоно и тапочки; не увозите их с собой, как это сделал один наш известный артист... И самое главное, товарищи, скажем честно, в магазинах разбегаются глаза. Пожалуйста, не переходите из отдела в отдел с неоплаченными товарами и сохраняйте все чеки до выхода на улицу... Ну вот, как будто всё... Ах да!.. Чуть не забыла!.. Владислава Игнатьевича Стржельчика и Владимира Эммануиловича Рецептера после собрания просил заехать в отдел культуры обкома (или горкома?..) товарищ Барабанщиков...

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — подумал я, и во мне шевельнулось тоскливое подозрение, что после визита к товарищу Барабанщикову мои консервные банки могут не достичь японской урны. Стржельчик тоже недоумевал.

— Ничего особенного, — успокоила нас на ходу Анта Антонова, — не волнуйтесь, это по поводу какого-то комитета...

Однако я стал лихорадочно вычислять, о каком именно комитете может идти речь у товарища Барабанщикова и при чем тут я и Слава. Когда мы сели в машину Стржельчика и выехали с театрального двора, я сказал:

— Слава, у меня такое предчувствие, что нам хотят присвоить звание членов антиссионистского комитета.

Он пристально взглянул на меня и нервно спросил:

— Ты думаешь?

Я сказал:

— Ну, а какой там еще может быть комитет?.. Не безопасности же?..

Некоторое время мы ехали молча. Потом я спросил:

— Слава, клянусь, я никому тебя не выдам, ты — еврей?..

Стрельчик скрипнул тормозами и сказал:

— Я — поляк... Это тот комитет, в котором Райкин?

— И Быстрицкая... Но если ты не еврей, чего они хотят от тебя?..

Стрельчик ехал на красный свет и молчал.

В задачу изобретенного в Москве комитета входила пропагандистская борьба с международным сионизмом и происками израильской военщины. Его президиум выглядел по телевидению довольно картинно, и в устраиваемых комитетом спектаклях принимали участие многие еврейские орденосцы и знаменитости. Таинственно было одно: при чем здесь Стрельчик?..

На Суворовском проспекте я высказал еще одну догадку:

— Знаешь, по-моему, они надеются на тебя как на молодого члена партии.

Недавно первый секретарь обкома Романов лично вовлек Стрельчика в партию коммунистов, дав ему свою высокую рекомендацию. Я берег свою беспартийность, неуклюже хитря и уклоняясь от предложений, как девственница.

— Это — хулиганство! — убежденно сказал Стриж, когда мы вышли из машины, и, крепко хлопнув дверцей, добавил: — Хрен им! Теперь мы были готовы к встрече на высоком уровне.

На нашу удачу, товарищ Барабанщиков, имя и отчество которого я по дороге учил наизусть, но с тех пор безнадежно забыл, совершил тактическую промашку, решив обсудить вопрос не с каждым в отдельности, а открыто и вместе: чего там! все свои!.. А вместе нам было все-таки легче: нас — двое, а он — один.

Моя трусливая догадка нашла свое подтверждение:

— В Москве есть такой комитет, а у нас еще нету, — сказал товарищ Барабанщиков с ласковой улыбкой, — это непорядок. Чем Ленинград хуже Москвы? — задал он риторический вопрос и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Вот мы и хотим предложить вам, Владислав Игнатьевич, как известному артисту и вам, Владимир Эммануилович, как артисту и писателю войти в это дело...

«Надо же! — оценил я. — Продумано!.. С одной стороны, дельце — дрянь, а с другой — накануне выезда в Японию... Скромная такая доплата за проезд! Или дополнительная страховочка...» На

минуту мне показалось, что сейчас товарищ Барабанщиков достанет из стенного шкафа парочку форменных кителей и станет вежливо подавать нам для примерки. Впрочем, форма одежды членов ленинградской фракции могла быть и гражданской: фрак, смокинг, интеллигентная «тройка», спортивный пиджак, украинская рубашка с вышивкой, косоворотка, подпоясанная шнурком... Так сказать, с учетом художественной индивидуальности. Главное, чтобы мы согласились войти в это дело.

— Нет, — твердо сказал Стржельчик. — Мою жену не берут в Японию, и я отказываюсь.

Позавидовав безупречной логике Славиного аргумента и не давая товарищу Барабанщикову опомниться, я стал горячо убеждать:

— Понимаете, Имя-Отчество, я тоже не могу... Кроме театра, который, конечно, прежде всего, у меня очень много других обязательств: Союз писателей, Пушкинская студия, секция чтецов, общество «Знание»... Вы сами посудите, Имя-Отчество, ведь это все требует времени!.. И вызывает какое-то недовольство в коллективе: слишком много посторонних забот... Нельзя же брать на себя так много!.. Пожалуйста, поймите меня правильно...

Товарищ Барабанщиков так и понял...

О Господи!.. Что это было?..

Я говорил чистую правду и в то же время врал, беспардонно, чудовищно врал, преодолевая рвотное чувство...

И Слава, которого тоже тошнило от этой вербовки, тоже врал, приводя свои семейственные мотивы...

И товарищ Барабанщиков врал, говоря, что понимает наши сомнения и все же просит подумать еще... Ну, подумать всегда не вредно, так же, как и хотеть... «Хотеть не вредно», — говорила ухажеру одна девушка, смягчая свой отказ...

Конечно, по оценкам отважных времен, мы вели себя не бог весть как круто. Но тогда, когда это случилось, некоторые последствия могли и наступить. Ну, например, по срочному докладу товарища Барабанщикова нас, как неблагонадежных, могли «тормознуть» и у самолетного трапа. Если и не обоих, то хоть одного. Балетные прецеденты бывали: после бегства Рудольфа Нуриева, а тем более

Миши Барышникова, обжегшись на молоке, «выпускающие» дули на воду...

Испытание сблизило нас, и, взглянув на часы, Слава сказал:

— Время обеда... Зайдем, посмотрим, чем питается «белая кость»...

— Белая? — переспросил я, а он вместо ответа выразительно посмотрел мне в глаза...

Питались они недурно: и осетрина, и икра в обкомовской столовке шли по смешным ценам. Женщины на раздаче и подкрепляющиеся партийцы гостеприимно улыбались нам...

Домой ехали молча...

Я долго не мог взять в толк, по какой же логике это приглашение подфартило Стржельчику? И лишь через много лет меня осенила простодушная мысль, что поводом для включения в список антисионистов могла послужить роль старого еврея Соломона, которого Слава так прекрасно сыграл в пьесе Артура Миллера «Цена». Конечно! Он говорил с сипотцой и характерным напевным акцентом, дрожащими руками надбивал и чистил куриное яичко, доставал ложечку и долго кушал его, а потом сладострастно торговался о цене никому не нужной мебели. Перевоплотившись так органически и проникновенно, Стржельчик, очевидно, стал ассоциироваться у наших идеологов с типичными представителями древнего народа. Вероятно, он должен был войти в состав бойцового комитета как глубокий знаток еврейского характера и национальной психологии.

Наверное, тут была проявлена даже некая тонкость: с одной стороны — знаток, а с другой — поляк. А польские коммунисты к этому времени решили вопрос почти радикально: взяли и всех своих евреев выслали из страны. Следовательно, товарищ Стржельчик, с точки зрения товарища Барабанщикова, на роль борца с сионизмом подходил как нельзя лучше. А он возьми и откажись!.. Не ожидали...

А однажды коренной москвич, обладающий трезвым умом, пояснил мне еще одну причину.

— Если бы Стржельчик был русским, — сказал он, — его бы не обеспокоили... А что такое поляки с точки зрения правящей пар-

тии?.. Такой же сомнительный народец, как цыгане и евреи... Российская империя их давила... Сталин с Гитлером их приговорили... Они себя выдали, понимаешь?.. Ты, мол, для нас все равно что еврей!.. Поэтому Стрельчик и напрягся... Ты вспомни, сколько поляков расстреляли в Катыни...

Я вспомнил... Но самым противным на сегодняшний день показалось то, что от нас не ожидали отказа...

Чего они вообще ждали от нас? Сами-то понимали, чего ждут, или просто так зарплату оправдывали?.. Или их вообще нельзя отделять от нас, а нас — от них, потому что мы составляли единое целое?..

А чего ожидали мы? И от кого, главное?.. Бога у нас еще не было, фортуна казалась членом партии, а зарубежные гастроли — признаком избранничества... Ну чего я, темный, ждал от Японии? Экзотики или глотка «другой жизни»? Разве мы не потащили с собой свои робкие привычки и вялые надежды? Разве послушно не разбились на «четверки» для удобства подробного надзирательства за каждым из нас?..

Юрий Алексеевич (или Александрович) представлял КГБ и на нашем собрании держался скромно. Обязательно улыбаясь, он честно признался, что театрального образования не получал, в Японии ни разу не был, но в трудных случаях может выручить и спичечный коробок с адреском отеля. Вообще же Япония — высокоорганизованная страна, и мы постараемся соответствовать ей своей высокой организацией. А вместе нам нечего бояться, так как нас «будут охранять».

— Ого! — сказал на это Иван Матвеевич Пальму и радостно оглянулся на остальных.

— С вами могут искать контакта лица негативные, — продолжил новоявленный руководитель БДТ, уверенный, что мы одинаково понимаем значение слова «негатив», — так вот, контакты с ними не возбраняются, единственное, о чем я вас попрошу, поставить нас в известность... Единственное...

Юрий Александрович (или Алексеевич) живо напомнил мне университетскую практику в газете туркестанского военного округа «Фрунзевец» и то, как радушно встречал меня заведующий отделом пропаганды полковник Борщиков. Был он, очевидно, родом с Украины, но долго служил в Сибири, и это хорошо отражала его дивная речь.

— Ну, Володя, — говорил он, вкусно окая, гакая и подбирая выразительные предлоги и ударения, — мы рады, шо ты прышел к нам на практику... Ну шо тебе сказать?.. Мы тебе как представителю нашей молодежи дадим полную свободу творчества... Понимаешь?.. Так... Ну какую тебе, Володя, поставить задачу, — спрашивал полковник и сам же радостно отвечал: — Ага!.. Сходи, пажалуста, у кино, Володя... Идет у наших кинотеатрах такая картина под названием «“Бахатырь” идет у Марто». Посмотри, пажалуста, эту картину. И напиши рыцензию... Буквально шо только захочешь, то и пиши... Хочешь, пиши 200 строк, а хочешь — 300 строк пиши. Сколько хочешь, столько и пиши. Вот только есть у меня одна маленькая просьбица. Ты усе-таки так напиши, дорогой Володя, чтобы наших солдат... Сержантоу... Офицероу... И генералоу... Да, и генералоу... воспитать в духе ненависти к американьскому империализму...

Я написал.

— Ну, Володя, — сказал полковник Борщиков, — хорошую рыцензию ты написал на картину «„Бахатырь” идет у Марто»... Мы тебе ганарар выпишем приличный и поместим рыцензию на доску лучших материалов номера... Маладец!.. Ну, и шо тебе еще сказать?.. Ага!.. Вот... Вышла у нас такая книга корреспондента «Правды» Даниила Краминоуа под названием, если не ошибаюсь, «Многоэтажная Америка». Так ты возьми, Володя, в библиотеке эту книгу или купи ее у магазине, прочитай внимательно и напиши на нее рыцензию... Шо хочешь, Володя, то и напиши... Мы тебе подвал дадим... Пиши подвал... А хочешь два подвала — тоже пиши... При чем абсолютно шо хочешь... Полная тебе свобода, Володя... Только одна к тебе маленькая просьбица...

Вот так и у товарища Чекистова была к нам «одна маленькая просьбица» — ставить его в известность...

И все-таки, все-таки... Мы ожидали японского чуда и «балдели» на чистых палубах советского судна «Хабаровск», идя через пролив Цугару, минуя остров Симокита, встречая рассвет на Тихом океане. О, какой кайф мы ловили на белом пароходе, ослепленные редкостной удачей и волшебной солнечной погодой!.. Плыли мы почти трое суток.

— 3

Прежде чем продолжить описание японских событий, автор должен честно признаться в том, что память его за истекшие годы изрядно прохудилась и он готов принять любые упреки от других участников поездки. Конечно, он беспредельно субъективен и безнадежно ограничен, но, видит Бог, он старался. Чтобы восстановить эпическую картину гастролей, он все же наводил справки, сверяясь со своим бестолковым дневником и разумными разъяснениями памятливых коллег. Телефонный звонок или случайный рассказ при встрече вносили в историю известные поправки, но у каждого участника — свой сквозной сюжет, свои особицы и детали, и автор был бы рад, если просьбы его оказались бы услышанными и те, кого он к этому склонял, сами записали свои бесценные байки. Но одни — дай им Бог удачи! — слишком поглощены актерской работой; других он, нерадивый, потерял из виду, а третьи уже просто не в силах этого сделать...

Поэтому автору не остается ничего другого, как поспешить со своим отчетом, прежде чем полное беспамяństwo не поставило и ему непреодолимой преграды...

Сделав это повинное отступление, он позволит себе пойти дальше, а точнее, вернуться назад и, следуя умному совету, коснуться темы наших сборов...

Не торопитесь, не торопитесь, читатель!..

Чтобы успеть до скорого отъезда наполнить гастрольные чемоданы, мы были вынуждены прибегнуть к возможному «блату» и, проявляя изворотливость и смекалку, попытаться обменять на дефицитные продукты дефицитные билеты, а для того, чтобы получить билеты, следовало идти к заместителям директора, администрато-

рам, заведующей билетным столом с символическим именем Надежда Алексеевна или к нашим дорогим кассиршам Ольге и Людочке...

Так, например, настоящий индийский чай «со слоником» и отечественный растворимый кофе я надеялся спроворить в знаменитом магазине «Чай-Кофе», что на Невском проспекте, рядом с Московским вокзалом, и, как спортсмен, настраивал себя на то, чтобы с разбегу преодолеть прилавочный барьер, нахально пройти в подсобку, подняться на второй этаж и постучать в дверь к директору магазина Любви Михайловне, средних лет красавице-брюнетке, с которой меня познакомил великий чаевник и кофеист Павел Петрович Панков. А поскольку покойный Павел Петрович, редкий книголюб и собиратель русской сатирической литературы начала века, представил меня Любви Михайловне не только актером, но и литератором, то, заходя к обаятельной директрисе, я должен был выдержать короткий, но содержательный разговор на литературные темы и, благодаря ее за чайное сочувствие и кофейную поддержку, пригласить на свой концерт или новый спектакль или с искренней признательностью и лучшими пожеланиями надписать ей стихотворный сборник...

Милейшая Любовь Михайловна давала распоряжение заместителю, тот отправлялся готовить пакет, а я спускался в торговый зал, чтобы оплатить покупку через кассу...

Замаскировав пахучую добычу в портфеле, я, по просьбе Любви Михайловны, черным служебным ходом выходил в соседний двор и как ни в чем не бывало шел по Невскому проспекту, переполненный чувством достигнутого равенства с верхними эшелонами власти...

Назвав по имени Павла Петровича, нельзя не сказать хотя бы несколько слов о том, кого мы для японского путешествия безвозвратно потеряли и кто украшал собой гастрольные кочевья в прежние годы. Собственную смерть Панков предрек, ссылаясь на то, что и дед его, и отец умерли пятидесяти шести лет от роду, и он, мол, так...

Странствовали ли по Союзу или за рубежом, — везде он жил, как у себя, несуетно и благородно, раз и навсегда установив регла-

мент гостиничного домоседства и редко балуя местных зрителей демонстрацией своей импозантной фигуры вне сцены. И то сказать, выносить на улицу сто двадцать килограммов живого веса и таскать их по чужому городу — себе дороже. Уж лучше пить чай в номерах. После спектакля, — играл он сегодня или нет, — вокруг Панкова собирался некий творческий клуб, в который входили радист и теоретик театрального искусства Рюрик Кружнов, артист и гоголевед Миша Данилов, а также те из актерского цеха или обслуги, которые понимали толк в обрядовом русском разговорном времяпрепровождении. Дверь номера была не заперта, но компания составлялась избранная: демократически настроенная интеллигенция, помнящая дворянское прошлое нашей культуры.

Неспешное и острословное обсуждение событий шло у Панкова до четырех-пяти утра в возвышенной ароматической атмосфере хороших чаев, вкусного кофиа и дорогих сигарет, на которые Павел Петрович не жалел и валютных затрат. Стоит ли говорить, что Венценосным Председателем, Светящимся Маяком, воплощенным Обломовым, живым Джексоном и воскресшим Йориком был именно он.

Ни о каком алкоголе здесь и речи быть не могло, так как хозяин решительно бросил молодые привычки, загубившие не один самородный талант, и одним этим служил для нас высочайшим примером.

Расходясь почти на заре, участники посиделок знали, что теперь к Павлу Петровичу до двух, а то и до трех часов пополудни лучше не ломиться, да и позднее дать ему время на медленное просыпанье и плавное приведение огромного, рыхлого и талантливое тело в рабочее состояние.

Пик формы с Божьей помощью наступал у Панкова к началу вечернего спектакля, а в антракте вновь поспевал чифирный чаек или свежесваренный кофий, что было следствием доброхотного опекуинства, которое взяла над Павлом Петровичем костюмер и мажордом его клуба Татьяна Руданова...

Труднее приходилось, когда ему выпадали «утренники» и ранние репетиции, но эту предубежденность Панкова знал и даже отчасти принимал в расчет при составлении расписания завтруппой БДТ Валерьян Иванович Михайлов.

Та же Таня Руданова выполняла и покупные гастрольные поручения Панкова и, помимо носильных вещиц для жены и двух сыночек или какого-нибудь баловства для огромного, как хозяин, ньюфаундленда по имени Устин, доставляла в номер до сотни разнокалиберных сувениров, потому что артист П. душой понимал ревнивые скорби оставшихся. Но даже для блага семьи или утешения скорбящих Павел Петрович никогда не унижал себя походами по тряпичным делам. В табачную или кофейную лавку заглянуть мог, особенно если она обнаруживалась неподалеку от гостиницы, а в какие-нибудь универмаги-пассажи — Боже сохрани!..

Да и экскурсий по достопримечательным местам Европы или знаменитым музеям наш герой не жаловал; вы, мол, посмотрите и мне расскажете вечером...

Во время «Мещан» за кулисами Павел Петрович, словно готовя Р. к близкому расставанию, несколько раз предупреждал, что его, Панкова, смерть не за горами, и не давал спорить по этому жестокому поводу.

— Нет, нет, Володя, теперь скоро, — говорил он.

То ли знал, то ли напоролил...

И на роль Тетерева, которая была для Панкова и дебютом, и триумфом на сцене БДТ, вынужденно ввелся Слава Стржельчик...

Что же касается артиста Михаила Данилова, то уж он-то Павла Петровича просто боготворил и сделал для себя примером подражания, а после его кончины продолжил в гастролях панковские традиции: интеллигентные беседы, остроумные пикировки, кофий на спиртовой горелочке, сигаретный дымок, чайная церемония...

С твердокопченной колбасой, лососем и печенью трески дело обстояло сложнее, но и тут имелись налаженные маршруты. В зрительском буфете можно было войти в легкий сговор со старшинами закуской службы и, пообещав на ухо известного лишку, создать для поездки скромные запасы.

Те же, кто имел право считать себя окружением Данилова, могли рассчитывать на продуктовую экскурсию в Елисейский магазин, где сменным администратором трудилась его добрая мама. Готовя творческую высадку на о. Хонсю, предстал однажды пред ее очи и я,

чревоугодный... Хотя и не помню, чтобы Р. покупал себе икру: именно икре дружно сопротивлялись недодушенный стыд и недостаток финансовой мощности.

Возможно, у других, более именитых, были лучшие источники, чем те, о которых знал я, но здесь важно понять, что, независимо от чина и звания, никто не мог считать себя свободным от кормовых и курительных забот. И даже те, кто не имел никакого блага и не склонял гордой головы перед прилавком, рискуя желудками, брали с собой все, что доступно, например вечную утеху потребляющей водку души — пряную килечку...

Впрочем, вру. Было в нашей команде и героическое исключение. Лариса Малеванная, для которой японская гастроль оказалась первой загранкой с Большим драматическим, наслушавшись напутственных инструкций, перестраховалась и не взяла в дорогу вообще никакой еды. Встретив ее в коридоре японского отеля, Юра Демич переспросил:

— Ты что, действительно ничего с собой не взяла?

— Ничего, — простодушно призналась Лара.

— Ну и дура, — обиженно сказал Демич, подтверждая мой тезис о том, что «дурак» в российском лексиконе стоит гораздо ближе к уважительному возвеличению, нежели к банальной ругачке. И добавил: — Пошли, я тебе десять супов дам...

И вручил ей десять незабываемых куриных пакетов.

Поддержала Лару и Ирина Ефремова, захватившая с собой здоровенный шмат украинского сала, много сгущенки и контрабандный сыр на первое время. Сыра можно было взять лишь немного не только потому, что он не входил в «список», но и оттого, что не всякий гастролер мог рассчитывать на холодильник...

«Конвертируемым», то есть упакованным в пухлые конверты, гороховым, куриным и прочим супам Миша Данилов присвоил изящное наименование «суп-письмо» и сам смастерил суповой кипяtilьник...

И тут, отвлекая от пищевой охоты, просят на волю устные рассказы о кипячении и кипяtilьниках и правило, которое затвердил любой гастролер: без собственного прибора за границей делать нечего...

В отличие от домашнего, гастрольный кипяtilьник должен был иметь разрешающую способность греть воду от тока напряжением в 120 чужих, а не 220 наших вольт и хитрую кустарную вилку, преодолевающую сопротивление девственно строгих щелевых иностранных розеток, которые вечно прятались в самых недоступных углах номера...

Инженер по электронике Толя Левант, женатый на концертмейстере театра Розе Осининой, умел делать изящные приборчики даже из бритвенных лезвий, и это были настоящие шедевры прикладного искусства...

Сразу после расселения в Токио у нас вышел известный конфуз, когда, оказавшись наконец в своих номерах, все решили подкрепиться с дороги и дружно врубили свои нагреватели. Эффект был мгновенный и ослепительный: в гостинице вылетели все пробки, и она погрузилась во тьму...

Как выяснилось позже, эксклюзивным правом на «эффект гастрольного затемнения» мы не обладали: аналогичные эпизоды сохранились в эмоциональной памяти коллективов Большого и Кировского театров, выездных хореографических ансамблей Игоря Моисеева и «Березка», а также прославленных симфонических оркестров Советского Союза и Ленинградской филармонии...

Здесь же, возникнув, как черт из табакерки, требует себе места история ухи, затеянной Григорием Гаем...

Будучи человеком обстоятельным, Гриша не надеялся на типовой результат, который сулила консервная банка тресковой ухи, и не поленился сходить на местный базар, чтобы прикупить молодой картошки, укропа, лаврового листа и других необходимых приправ. Вернувшись в гостиницу и еще раз осознав, что лишен необходимой кастрюли, Гай достал щетку и мыло и тщательно вымыл номерной умывальник. Оставалось аккуратно заткнуть его пробкой на железной цепочке, набрать воды и опустить в новорожденный «котел» свой нагревательный прибор...

Напарником Гая в поездке был Владимир Татосов, который имел на утро другие планы и не знал о кулинарной затее Григория. Вернувшись и приближаясь к своему номеру, Володя стал ощущать беспримерные запахи большой рыбной кухни. Тревожась все больше

и больше, он понял, что источником «букета» является именно их с Гришей дортуар, который оказался запертым изнутри. Володя постучал.

— Да-да, — глухо донеслось из-за двери.

— Гриша, это я, — сказал Володя.

Таинственным детективным басом Гриша спросил:

— Ты один?

— Один... А что?.. Что случилось?..

Гриша приоткрыл дверь и велел:

— Заходи! Быстро! — И снова тщательно запер замок. — Ну, Володя, — тоном заговорщика пообещал кулинар, — сейчас мы с тобой будем есть такую уху... Пальчики оближешь!.. Ты такой ухи никогда не ел!.. Чувствуешь, какой запах?..

— Чувствую, — сказал Володя. — Давай откроем окно.

— Ты что?! — сказал Гриша. — Хочешь, чтобы к нам применили санкции?!

К моменту, когда уха показалась Грише готовой, в номер постучал встревоженный сногшибательным запахом сосед. По одним данным, это был Олег Басилашвили, по другим — Женя Горюнов, но некоторые с уверенностью называют Виталия Иллича...

Расходятся также показания о городе, где происходила сцена, и рыбе, из которой творилась историческая уха. У одних в памяти празднующая сорокалетие Советского Казахстана Алма-Ата и жирный озерный толстолобик, у других — столица Финляндии Хельсинки и та же консерва, однако не из трески, а из окуня.

И здесь важно отметить множественность путей, по которым движется единичный факт, обрастая вариантами и превращаясь в настоящий апокриф. Если Татосов вспоминает о рыбных ароматах с оттенком не вполне позитивным, другие акыны пытаются передать нежный и аппетитный запах, дразнящий усталых от сухомятки артистов. Для завершения сюжета я, пожалуй, воспользуюсь второй версией: уха на славу удалась и гостю предоставили право снять пробу.

Предвкушая удовольствие, новобранец взял из рук Гая ложку и, зачерпнув ею из огнедышащего чрева ухи, понес ко рту. Но оказалось, что вместе с рыбным наваром и лавровым листом он поддел железную цепочку, та выдернула со дна умывальника пробку,

и с драматическим бульканьем дивная уха унеслась в преисподнюю... Предоставим читателю право, в качестве домашнего задания, самому вообразить и описать реакцию участников сцены и жуткие натуралистические подробности избавления от последствий...

В отличие от беспечного Гая, Миша Волков обязывал реквизиторский цех тайно перевозить с собой непременною кастрюлю, электроплитку, крупу и картошку, потому что, не отступая от общих правил, железно соблюдал сепаратную диету...

Я же, никчемный сластолюбец, норовил прихватить с собой конфеты, шоколад-мармелад и фирменный круглый ленинградский пряник на меду в картонной коричневой коробке...

Но довольно, довольно!.. Автор должен ограничить себя в подробностях, иначе рискует безнадежно застрять в гастрономическом отделе. А нам пора выезжать...

— 4

Дорога наша была не из легких и могла сравниться только с дорогой в Буэнос-Айрес, с пересадками, ночевками, экскурсиями и таборными сидениями просто так...

Почему путешествие так смело берет на себя роль сюжета?..

Может быть, потому, что всякое действие и движение, сменившее неподвижность, естественно и властно притягивает взгляд?.. Любой предмет, смещаясь в пространстве, заставляет следить за собой, а неизвестный предмет — тем более... То же самое можно сказать и о предмете известном, ибо перемена места способна придать ему новый облик, а непривычное пространство заражает охотой скольжения по временам...

Одно дело — Большой драматический дома, на Фонтанке, 65, и совсем другое — на дальних гастролях. Скажем, я давно знаю Владислава Стржельчика, но вот он едет на японские острова, причем с единственной ролью, к тому же и вводом, едет вместо умершего Панкова, да еще без любимой и неразлучной жены, Люды Шуваловой, сперва актрисы, а теперь режиссера-ассистента. Он поставлен в необычные обстоятельства дороги, ночного одиночества и хотя временного, однако же неравенства на гастрольной сцене...

Разве герой не привлечет к себе наше повышенное и сочувственное внимание?

И все мы таковы — те же и немного не те, что обычно, и узнаем о себе что-то новое, не то чтобы именно «японское», однако и не вполне «фонтанное».

Беда лишь в том, что при всей любви к Славе, Грише или Гоге автор не сможет сказать о них столько, сколько о себе, и лишь на своем нелепом примере в силах оказаться подробней и достоверней, чем на других, если, конечно, у него хватит отваги, а у читателя — терпения...

Как я сказал, дорога была не из легких: почти восемь часов на ИЛ-62 до Хабаровска; день — в городе, а ночь — в поезде до Находки, с вагоном-рестораном и всеобщей бесшабашной тратой ненужных в Японии рублей...

Сева Кузнецов, начинавший актерскую карьеру на Дальнем Востоке, чокался со всеми то ресторанной рюмкой, то граненым стаканом от проводника и на разные лады повторял ностальгическую фразу:

— Еду по своей юности, ребята!..

Получалось, что все мы как бы у него в гостях.

Гриша Гай тоже смолоду служил на Дальнем Востоке, но с нами не ехал, а лежал в больнице и сочинял письмо Товстоногову о том, что чувствует себя вполне здоровым, ждет от него новых ролей и готов на любые условия, лишь бы работать... Лишь бы оставаться в театре...

В первый день моей новой службы здоровый и красивый Гай подошел ко мне в фойе, улыбнулся и подал руку:

— Очень рад, что вы теперь с нами, — сказал он. — Хотите, попрошу, чтобы вам дали место в нашей гримерке?..

Мне показалось, что я давно знаю это широкоскулое мужественное лицо.

— Спасибо, хочу, — сказал я, а позже услышал, что так же открыто и дружелюбно он подошел к Володе Татосову, когда тот появился в «Ленкоме»...

В Грише сочетались редкая начитанность, живой ум и широта интересов. Вечно он писал какой-то телесценарий, ну, скажем, о Владимире Галактионовиче Короленко, или страстно учил польский язык, или читал в закрытой библиотеке том Гудериана; вечно таскал с собой огромный набитый портфель, который вызывал насмешки недоброжелателей: зачем актеру портфель? Но Гриша не обращал на это внимания.

Впрочем, его портфель и для меня был вечной загадкой, потому что кроме книг и сценариев в нем могла оказаться и добрая выпивка, и свежая базарная закуска, и штопор, и столовый прибор в салфетке, а иной раз чистая простыня и большое полотенце из прачечной, если Грише предстояло тайное свидание на квартире нашего общего друга артиста Бориса Лёскина...

Может быть, из-за портфеля и любви к непредсказуемым книгам он и получил в «Амадее» роль императорского библиотекаря Ван-Свитена, который Моцарта сперва защищал, а потом предал. В невеликую роль Гриша вкладывал свои размышления об искусстве и жизни, и, думаю, драматическое содержание заботило его больше, чем красота придворного костюма.

Еще во время репетиций, когда Товстоногов стал сокращать пьесу Шеффера и роль Ван-Свитена в особенности, Гриша страшно расстроился, боясь, что теперь не сумеет выразить современный смысл интеллектуального предательства и борьбу зла и добра внутри своего героя. По этому поводу он даже ходил к Гого, но успеха не добился. И хотя Гриша старался ничем себя не выдать, следы настоящих страданий остались в его переписке с давним другом Ольгой Дзюбинской...

А когда, пройдя через все испытания, он все-таки сыграл своего библиотекаря и выразил то, что хотел, а спектакль стал кандидатом на поездку в Страну восходящего солнца, Гай оказался в больнице и окончательно пал духом...

А ведь он учил нас другому. Писатель Билл Гортон все твердил гудящим голосом Гриши:

— Не падай духом. Никогда не падай духом. Секрет моего успеха. Никогда не падаю духом. Никогда не падаю духом на людях...

Телеспектакль по роману Хемингуэя поставил Сережа Юрский, и он имел у зрителя настоящий успех... Сначала мы репетировали «Фиесту» в театре и даже показали прогон Гоге, но Гога работы не принял, и тогда Сереже пришлось искать реванша на телевидении...

Роль Билла Гортонна на редкость совпадала с главными свойствами Гриши: быть честным, стойким и никогда не падать духом. И до последнего времени это Грише удавалось. Несмотря ни на что...

Даже в те черные времена, когда многие падали духом, потому что партия громила космополитов. И Центральный театр Советской Армии, в котором работал Гриша, громил безродных космополитов. И сводный хор погромщиков из всех творческих сил дружно мочил собственного космополита.

Тогда на общем собрании раздался одинокий голос Гая, который сказал:

— Это — несправедливо. И это — неправда. Наш завлит Борщаговский вовсе не портит советские пьесы. А часто даже спасает. Наш завлит бескорыстно спасает плохие пьесы бездарных драматургов!..

И привел примеры...

Тут-то все и случилось. Тут-то все собрание развернулось против Гриши, и его с Борщаговским как безродных космополитов исключили из партии и прогнали из театра...

К сведению тех, кто уже и еще не знает.

«Космополиты», по тем временам, значило — евреи; их-то тогда и громили. И некоторых — до смерти.

В конце сороковых — начале пятидесятых годов прошлого века, когда Гришу Гая изгнали из военного театра, «космополитов» громила вся страна во главе с обкомгоркомрайкомами и Центркомом. Громила громко и открыто.

А в начале восьмидесятых, когда Гай служил в Большом драматическом, а нас со Стржельчиком вызывал товарищ Барабанщиков, партия, в соответствии с духом нового времени, поступила гораздо хитрее и создала как бы общественный Комитет по борьбе якобы с сионизмом, заставив советских евреев самих себя громить. И не громко, а под сурдинку. В этом и заключались партийная хитрость

и творческое развитие сталинской национальной политики в новых международных условиях.

Так вот, даже и тогда, когда его выгнали из центрального армейского театра, Гриша не пал духом, а, походив по Москве безработным и убедившись, что другие театры его принимать боятся, собрался ехать на самый Дальний Восток...

И надо же так случиться, что тут на улице Горького ему встретился Борщаговский, а мимо как раз проходил Товстоногов. И космополит Борщаговский познакомил космополита Гая с режиссером проверенной ориентации Товстоноговым, который спешил на вокзал.

А Гога знал, что случилось с Гришей, знал, что Гриша — в опале. Но он не побоялся поступить как захотелось и, повинувшись порыву души, сказал опальному Грише:

— Я еду в Ленинград принимать молодежный театр. Хотите со мной?

— Хочу, — сказал Гай, и они подружились...

Такова правдивая легенда и легендарная правда.

Возможно, в моем пересказе есть и неточности. Может быть, Гога с Гришей познакомил не Борщаговский, а кто-то другой. И, может быть, молодой Мастер направлялся еще не на вокзал, а в другое место. Более того, у автора есть разноречивая информация о том, что Товстоногов и Гай познакомились то ли в Тифлисе, то ли в Москве, однако еще до войны. Но он просил бы уважаемого товарища Борщаговского и других знающих товарищей не вносить разрушительных уточнений.

Потому что ему кажется, что так лучше...

Приехав в Ленинград, Гога и Гриша начали с общаги «Ленкома», и радость совместного восхождения заполнила их краткие сутки и круглые сезоны. Это было время веселой бедности, и Гай с улыбкой вспоминал случай, когда обе семьи были поглощены то ли штопкой, то ли латаньем единственных Гогиных штанов. Соль рассказа была в том, что родство душ казалось много дороже признаков внешнего благополучия.

В «Ленкоме» Георгий жаловал Григория, и они дружно получили Сталинскую премию не то за спектакль «Из искры», где Лебедев играл Сталина, а Гай — грузинского работягу по имени Элишуки, не то за «Репортаж с петлей на шее» Фучика, где Грише досталась роль тюремного надзирателя Колинского.

Кроме грузина и чеха Гай сыграл еще украинца, узбека и несколько лиц других национальностей, и это, безусловно, доказывало, что он никакой не «космополит», а, наоборот, пропагандист и агитатор дружбы братских народов.

Особенно приятно было узнать, что Гриша исполнил роль героя пьесы Абдуллы Каххара «Шелковое сюзанэ» по имени Дехканбай, а Гога за эту, очевидно выдающуюся, постановку был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР»...

«Дорогой Георгий Александрович!» — писал из больницы Гай...

По чуткому стечению благосклонных обстоятельств на теплоходе «Хабаровск», отчалившем наконец от советского порта Находка, с нами плыла балетная труппа Большого театра, и вряд ли мне удастся передать через годы, какое блаженное томление заключалось в том, чтобы, опершись на палубные перила, отважно говорить с легконогой Ниной и длинношеей Людмилой о дивных беглецах Рудольфе и Мише, об элевации и подержках, о звездных прорывах на авансцену и разумной привычке стоять «у воды», то есть прочно держаться в спасительной тени кордебалета...

Задавая виноватые вопросы, я узнавал от Люды и Нины о судьбе их прекрасных товаров — безвозвратно потерянной мною Ольги и до конца дней дорогой Жени, которые, слава богу, еще танцуют, но живут другой жизнью и, может быть, помнят, может быть, помнят меня...

Мы говорим, как будто танцуем; на плавной палубе некуда деться от тайной любви к морской свободе и женщинам-птицам. Их, конечно, бдительно охраняют, но мы охранникам не опасны; мы не знаем балетного эсперанто, и что с нас взять, почти безъязыких?

Если в будущем у меня станет отваги, я погублю актерскую карьеру и покаянным отщепенцем сяду за письменный стол, чтобы по-

дробно и безнадежно вспоминать своих ненаглядных, и посылать им поздние поклоны, и благодарить закулисное небо за то, что радость меня не миновала...

А пока... Пока я плыву по Японскому морю, и до меня тихо доходит: вот как живут неведомые миллионеры и заграничные аристократы, проводя свое драгоценное время на палубах белых пароходов и небрежно роняя слова в мировое пространство...

А тут еще крахмальные официанты в кают-компании за обедом, и карты меню, и сверкающие приборы, и луковые супы, и авокадо, и музыка сладкого свойства, и взгляды балетных наяд и обалденных русалок...

Здесь же, на палубе, возникла и обнаружилась еще одна ниточка нашего сюжета, сотканная чистой воды случайностью, ибо чем еще я могу объяснить беспечное знакомство нашего маэстро Семена Розенцвейга с тремя молоденькими японками, возвращавшимися на древнюю родину из «дикой Европы».

Палубная жизнь призывала пассажиров не только к пассивному сибаритству, но еще к подвижным играм и знакомым развлечениям. Молодой швед в малиновой майке усердно работал неким подобием швабры, передвигая по большому шахматному полю огромные шашки. Может быть, он чувствовал себя Гулливером, но ему от души нравилось это дело, и, подпрыгивая от полноты чувства, он беззастенчиво и громко смеялся.

А три юные японки были так простодушны, что соревновались между собой, стараясь повыгоднее набросить резиновые кольца. Квадратный деревянный щит стоял под углом в сорок пять градусов, а на нем торчали железные штыри; попади колечком на штырь, под ним — цифра, кто больше очков наберет.

Это были первые японки, которых мы увидели, направляясь в загадочную страну, но, по правде сказать, лично я испытал легкое разочарование, настолько они показались мне неказисты рядом с райскими птицами из балета.

Но наш маэстро Семен Розенцвейг увидел их совсем по-другому и даже заговорил, благо у него была такая языковая возможность, и юные японки легко отозвались его смущенным речам. Я не знаю,

о чем они говорили на смешанном англо-немецком сленге, но одна из них оказалась русисткой и внесла в беседу русские слова, и на следующее дивное утро, когда все население парохода еще крепко спало в своих каютах от первого до четвертого класса, наш Семен в спортивном костюме бодро вышел на пустынную и влажную палубу, чтобы встретиться с юной Иосико.

И вот они вдвоем побежали вдоль борта по большому кругу, начиная общую оздоровительную зарядку... Вдоль борта, вдоль борта, вдоль борта... Поворот по корме, и обратно вдоль борта... Поворот у форштевня, и снова к корме...

И вдруг, отвлекаясь от техники дыхания, они услышали музыку морского простора, рвущегося тумана и восходящего солнца. И никто не придавал значения тому, что каждый восход они встречали вдвоем на пустой палубе парохода и бегали рядом, Семен и Иосико, несмотря на большую разницу в возрасте, а может быть, именно благодаря ей... Их совместные пробеги имели продолжение на острове Хонсю и позднее — в Советском Союзе, а до чего они добежали, я сообщу в свое время...

И вдруг в эту размеренную аристократическую жизнь, как смерч, врывается Зинаида Шарко. Просматривая в каюте закупленные в Находке газеты, она задержала свое чуткое внимание на массовом органе наших профсоюзов. Последний номер газеты «Труд» сообщал: *«Первое сентября. Над Японией пронесся чудовищной силы ураган, снесший с земли чуть ли не всю Иокогаму, на две трети Токио и на треть Осаку... Не поддается подсчетам число жертв и разрушений... Уцелевшая часть японского правительства обратилась к мировому сообществу...»* И так далее, и тому подобное, можете себе представить...

Переполненная трагическим ужасом, Зина взлетает на палубу, где разомлела большая группа пассажиров, и своим дивным тремолирующим голосом зачитывает вслух ужасный текст. Газета переходит из рук в руки. Дама из советского посольства падает в обморок и, приведенная в себя, рыдает о детях, оставленных в Токио на время ее советской отлучки. Вокруг Зины и дамы растет женская паника. У мужчин возникают головокружительные вопросы.

Артист Николай Трофимов резонно вопрошает:

— Зачем же нас посылают на верную гибель?..

Владислав Стрельчик зовет к мужеству и терпению...

А ветеран фронта и тыла Иван Пальму, исполненный стойкого патриотизма, успокаивает тоскующих женщин:

— Наши обязательно что-нибудь сделают!.. Вот увидите, такой театр, как наш, правительство обязано спасти!..

У этого эпизода столько же вариантов, сколько участников. Так, Анта Журавлева услышала жуткую весть от Олега Басилашвили, а тот хорошо помнит, что к нему с газетой «Труд» в беспокойных руках явился директор Суханов. Он и сказал Олегу, что дальше плыть, собственно, некуда, потому что Японии как таковой больше не существует. Бас принял известие всерьез, так как Суханов шутить не умел, а разыгрывать не имел права, и посоветовал ему идти в капитанскую рубку, чтобы капитан связался по радио с теми, кто мог дать центральные указания по этому ужасному поводу.

Некоторые патриоты громко предлагали немедленно развернуть пароход и двигать назад в родную Находку.

Судя по всему, именно Геннадий Иванович Суханов сообщил Анте Антоновне Журавлевой о катастрофе и совете Олега Валериановича Басилашвили и просил ее связаться с центром, потому что именно Анта Антоновна Журавлева пошла разыскивать капитана и нашла его в люксовой каюте Кирилла Юрьевича Лаврова.

Однако на этот момент и Кирилл Юрьевич, и капитан пребывали в состоянии совершенной беспечности, из которого выходить не только не собирались, но даже и при желании не могли. Наоборот, оба они успешно искали новой степени счастливой беспечности, что и подтверждала реплика капитана:

— Могу я раз в жизни расслабиться с любимым артистом?..

Через пятнадцать лет, вспоминая этот случай со счастливой улыбкой, Анта Журавлева, которой только что удалили аппендикс, попыталась ограничить меня:

— Но об этом писать не надо!..

И если я ослушался, от души желая ей здоровья, то лишь потому, что над нами нависло беспутное время, которое оказалось сильнее остальных страхов и вянущих пожеланий.

Я только переспросил Кирилла, помнит ли он парходное возлияние с капитаном, и Лавров сказал:

— Про капитана не помню, а я на «Хабаровске» пил крепко...

Вот благородный поступок: взять вино на себя и отвести ее от товарища.

Поэтому руководительнице поездки пришлось выйти из люкса и обратиться к старшему помощнику капитана, несущему вахту в капитанской рубке...

Далее показания путешественников опять сходятся: суровый мореход появляется на палубе и в окружении балетных и драматических артистов погружается в трудное чтение. Все смотрят на него с ужасом и надеждой...

— Да, трагедия, — задумчиво говорит старший помощник, и лица окружающих его артистов становятся похожи на маску трагедии: углы губ опускаются вниз, а брови поднимаются «домиком». — И все-таки будем волноваться в разумных пределах. Вот тут, выше сообщения, читаю название рубрики: *«Что было шестьдесят лет назад»*. Стало быть, ураган случился первого сентября 1923 года. Делаю вывод: у японцев было время принять должные меры... Плы- вите спокойно, товарищи...

И мы доплыли.

Перед высадкой оба театра собрали в музыкальном салоне, и, поднявшись на борт, двое ребят из советского посольства сообщили о текущем моменте. Они стояли на оркестровом подиуме, в центре, а мы толпились вокруг.

— Обстановка очень сложная, очень, — сказал старший, вяловатый и безликий, держа пиджак в левой руке и вращаясь вокруг собственной оси. — Такая создалась обстановка, товарищи, что сейчас Ованес зачитает вам заявление советского правительства.

— Пожалуйста, громче, — попросил из салона встревоженный Иван Пальму и приставил ладонь к уху.

Чернобровый Ованес читал достаточно громко, но не вращался по часовой стрелке: очевидно, официальный текст не давал ему оснований для круговой мизансцены.

Советское правительство заявляло, что принадлежащий южнокорейской авиакомпании «Боинг-747», с двумястами шестьюдесятью девятью пассажирами на борту, атакованный нашим истребителем-перехватчиком над Охотским морем и улетевший в сторону моря Японского, коварно, с разведывательной целью нарушил воздушное пространство нашей Родины, и мы не можем считать себя виновными в гибели экипажа и несчастных пассажиров. Мы, советские люди, как всегда, единодушны и, сожалея о погибших, твердо заявляем, что и впредь собьем и утопим любого нарушителя священной границы...

Выходило так, что, тревожа беспечный «Хабаровск» вестью о катастрофе, Зина Шарко как в воду глядела...

— 5

Первым под вспышки корреспондентских блицев и направленный свет ручных телекамер высаживался в Иокогаме «Большой Балет», и Нина с Людой поводили мне на прощанье лебедиными руками...

Я смотрел им вслед и видел, как махнула прощальной рукой высокая Ольга, когда мы расставались в беспечной Праге. Тогда, в шестьдесят восьмом, прощаясь, я был много моложе, беспощаднее к женщинам и глупей, чем сегодня, хотя моим критикам трудно будет в это поверить.

Что мне осталось от пражского прощанья? Единственное письмо из Нормандии? Знакомое чувство стыда и вины за танковое вторжение? Или рассказ уходящей с «Хабаровска» Нины о том, что Ольга замужем за русским, а сыновей зовут Матвей и, кажется, Димитрий?..

Когда автобусы «Большого Балета» отвалили от причала, был дан сигнал движения и нам.

Похожие на мальчишек маленькие японские носильщики потрясенно грузили на хрупкие тележки наши консервные, наши свинцовые, наши гранитные чемоданы.

Единственное, о чем я мечтал, стараясь как можно элегантнее ступать по сходням, так это о том, чтобы вопросы японских репортеров меня не коснулись. И мне повезло. «Что вы думаете о расстреле

южнокорейского пассажирского «Боинга»?» — слава Всевышнему, спросили других.

Черным «Борсалино», роскошной бородой и импозантным галстуком первым привлек к себе внимание рабочий сцены Коля Турбанов. Он приветливо улыбнулся в телекамеру, развел руками и сказал короткий текст, которому его учили.

Рома Белобородов как заместитель директора многозначительно ушел от прямого ответа, сказав, что надеялся на вопросы об артистах.

А Люда Сапожникова, со свойственной ей актерской непосредственностью, сказала прямо:

— Какое ужасное несчастье!..

Но когда через много лет я переспросил Люду, так ли именно она отвечала японским репортерам, она посмеялась надо мною.

— Володя! — сказала она. — Что я, дура, что ли! Нас же предупредили, чтобы мы были осторожны и ничего такого не говорили. Я им сказала, что очень устала с дороги... За нами же все время следили!.. Володичка, разве ты не помнишь, с нами было четыре кагэбэшника!..

— Разве четыре, Люда?.. Я помню, кажется, двух...

— Володя!.. Их было четыре!.. Двое были как бы рабочими сцены... Худенькие такие... Чтобы следить за рабочими... И еще двое как бы начальство... Чтобы следить за нами!..

— Боже мой! — сказал я. — Какая у меня плохая память!.. А может быть, и ты не все помнишь, Люда? Мне так понравился твой ответ... Знаешь, я все-таки оставляю, как у меня было: «А Люда Сапожникова сказала: “Какое ужасное несчастье!..”»

Все сорок дней, проведенных нами в Японии, прошли под знаком воздушного расстрела, и наши экзотические впечатления чередовались с напоминаниями о первом сентября.

Пресс-конференция начальника Генерального штаба Огаркова... осадное положение агентств «Аэрофлота»... портрет погибшего американского сенатора и скорбные речи его семьи... фотографии шестидесяти японцев, принявших смерть в числе других пассажиров... ожидающий новых данных премьер-министр Японии Накасо-не... рассуждения чужих дипломатов и собственных закулисных

политиков о возможном развитии событий... вызов нашего посла в токийское министерство... объявление санкций японского правительства и закрытие на две недели советско-японских авиалиний... пароходы и катера, бороздящие взволнованное пространство в акватории катастрофы... рыдающие родные и погребальные венки на океанской волне... Все это и многое другое не давало забыть о том, кто мы такие, все вместе и каждый в отдельности...

Монолитное единство советского народа и его железная сплоченность вокруг родной партии и правительства требовали от меня полного отрицания нашей вины в гибели несчастных пассажиров. Но предательский гамлетизм беспутного сознания заставлял считать виноватым именно себя.

У коллектива на этот счет сложились различные мнения. Но плакат «Вы убили нашу семью!» произвел сильное впечатление на всех...

Из Иокогамы на автобусах нас без остановок привезли в Токио и стали расселять в далеком от центра «Сателлит-отеле». Весь этот район вместе со станцией метро назывался Каракуэн.

«Сателлит» значит «Спутник», и гостиница полностью соответствовала своему малозвездному названию...

Расселение труппы на гастролях — вот мотив для поэмы о театре, и пусть сильные и молодые воспользуются моей наводкой. Я же рискну лишь на беглый намек или робкий набросок, потому что боюсь безнадежно застрять в мелочах драматического ритуала.

До того, как войти в отведенный номер, а главное — окинуть взглядом номер соседа, никто не может быть до конца спокоен, даже самые первые лица... И вид из окна имеет значение, и холодильник, и то, какой телевизор. Не говоря уже о количестве комнат. Поэтому административный талант Бориса Левита в прежних поездках, а вслед за ним и Ромы Белобородова при каждом расселении должен был быть целиком востребован и до конца проявлен.

Спокоен, конечно, относительно, тот, чью жену в поездку взяли, ну, например, Вадим Медведев по поводу себя и Вали Ковель; или тот, кто будет жить в одиночку, но чья безусловная автономность — еще одно подтверждение его заслуг и таланта.

Почти спокойны также и те, чьи однополые пары сложились давно и прочно и остались вне подлых подозрений...

Но как описать молчаливые драмы непарных или признанных не в полную меру?.. И в этом-то вся загвоздка: кто из нашей страждущей братии может сказать, что и признан, и оценен по счастливой и полной мере, если даже Слава Стржельчик, томясь и глядя в законную даль, сказал мне глухим голосом:

— Холодильников нет ни у кого, кроме Лаврова...

Был у нас случай, когда труппа заночевала в Синае, во дворце бывшего румынского короля Михая, и Паше Луспекаеву достались невиданной красоты и роскоши апартаменты с голубой ванной, зеркалами в потолке и кроватью под балдахином — всеми признаками королевской опочивальни. В этой декорации, как и в любой другой, Луспекаев смотрелся картинно, и, усевшись в центре ложа со скрещенными, тогда еще не так болевшими ногами, он с общей помощью разыгрывал смешные этюды. Как принято в хороших театрах, «короля» играли «придворные».

— Теперь бы сюда хорошенькую румыночку, — хищно сказал Паша.

Но тут вместо румыночки появилась одна из наших героинь и, оценив обстановку, задала суровый вопрос:

— Почему королевская спальня досталась Луспекаеву, а не мне?

Чтобы не возбуждать ее гнева, ответили правдиво:

— Это вышло совершенно случайно...

Но она была не удовлетворена и пошла разбираться к директору, однако, перепутав номер — случайность плодит другую случайность, — распахнула дверь, за которой поселили другую нашу героиню. Та была уже в постели и готовилась ко сну. Думая, что попала в тот номер, который искала, одна из наших героинь сказала другой:

— Ах так!.. Ты уже спишь в кровати директора!.. Ну, хорошо!.. Ну, погодите!.. Вот я сейчас уеду в... И заберу с собой...

Зная, что вызову недовольство читателя, я все-таки не скажу, в какой город собралась ехать вспыльчивая героиня и кого именно грозила с собой умыкнуть... Уж если я не называю некоторых имен,

значит, у меня есть внутренние препятствия и причины, смысла которых я и сам не всегда могу определить.

Может быть, замыслы мои более честолюбивы, нежели простое описание случаев из актерской жизни?

А может быть, эта книга, забирая власть над автором, неудержимо влечет от частного эпизода в сторону свободного парения и обещает героям и героиням такие поступки, которых в жизни не совершали знакомые ему прототипы?.. Кто знает?..

Что касается меня самого, то, «с отвращением читая жизнь мою», признаюсь, что точно так же, как та героиня, был смертельно уязвлен, когда узнал, что в «Сателлит-отеле» мне, любимому, приготовлен номер всего лишь в четвертом этаже, тогда как других артистов моего заслуженно среднего положения расселяют несколько выше...

Страдая и отчаиваясь, я пытался унять горделивую обиду и оправдать kloкочущий в горле гнев прагматическим рассуждением о том, что верхние этажи не просто престижней, но в них есть еще и дополнительное жизненное пространство...

«Где справедливость? — спрашивал я судьбу, совершив постыдную разведку, — номер в четвертом этаже на целую половинку татами меньше, чем в шестом!.. В нем нет этого чудного плоского шкафчика, как в шестом!.. И негде чемодан угнездить, как в шестом... И негде повернуться!.. И вид из окошка позорно ограничен... Другие такие же, как я, — в шестом, а я такой же, как те, — в четвертом... Почему?..»

Тут припомнился мне и другой заграничный случай, когда я отказывался разделить с Изилем Заблудовским номер хотя и с двойным, но нераздвигаемым супружеским ложем и требовал себе отдельного койко-места. И дело тут не в Изиле, человеке во всех отношениях безупречном и не вызывающем никаких подозрений, а во мне и моем упрямом намерении и днем и ночью отстаивать собственный сепаратизм. Тогда у меня хватало мужества выходить на прямой разговор с начальством. Правда, в те поры наш истребитель не сбивал южнокорейского «Боинга» и не было такой сложной международной обстановки...

— Володя! — сказал мне Борис Левит, предыдущий заместитель предыдущего директора, — а ты не находишь, что твоё требование недостаточно скромно?..

— Ах вот как? — воинственно переспросил я. — А укладывать меня в одну койку с Изилем, по-твоему, скромнее?

Однако Борис не сдавался:

— Но, Володя, здесь стоят не одна, а две кровати.

— А ты попробуй их раздвинуть, — коварно предложил я.

Борис попробовал и, несмотря на то что в молодости занимался боксом, сделать этого не смог.

— Вот видишь, — не удержавшись, сказал я.

Но Борис не признал своего поражения. Он сказал:

— Ну и что?.. Кроватей все равно две.

Стараясь быть совершенно спокойным, я сказал:

— Если они не раздвигаются, значит, не две, а одна. — И, проявляя гибкость, добавил: — Пойми, Боря, я вовсе не возражаю против того, чтобы жить в одном номере с Заблудовским, я только против того, чтобы спать с ним в одной койке...

В ответ Борис дружелюбно посоветовал:

— Володя, ты все-таки подумай, по-моему, постель достаточно широка.

— Вот и ложись в нее с кем захочешь, — огрызнулся я, снова проявляя свою агрессивную сущность и толкая Бориса к справедливому негодованию.

Однако номер он нам поменял, и между двумя лежанками возникло целомудренное пространство...

А теперь... О японские боги!.. Неужели я не достоин возвыситься до шестого этажа, где койка помещается не вдоль номера, а поперек и вид из окна способен расширить мои горизонты?

Наконец, отчаявшись и исстрадавшись, я понял, что, согласись я на четвертый, буду до конца своих дней затоптан и унижен и сам буду в этом виноват. Решительно оторвав от пола чугунный чемодан, я вернулся в вестибюль и предъявил Роману Белобородову свои попранные права.

Как заместитель директора Рома признал свою неумышленную ошибку, но счел нужным отметить, что из всего большого коллекти-

ва, понимающего особую сложность международной обстановки, один Рецептер имел неосторожность выразить свое личное бытовое неудовлетворение...

— Берегите голову, — сказал мне Рома, вручая ключ от номера в шестом этаже, и мне почему-то запомнилась его предупреждающая реприза.

Но, Боже, какое счастье испытал я, завоевав одну вторую татами и выиграв целых два этажа! Как уютно мне стало в моем законно добытом пространстве под номером 636!

Я смотрел в окошко и видел, как паркуются во дворе нашего отеля автобусы и легковушки, как выше, за нашим забором, выплывает из темной норы тоннеля, проткнувшего холм, неспешная подземка; как беззвучно играют дети на крохотном школьном стадионе, прислонившемся к фабричной стене, и как большие круглые часы над стеной останавливают время.

А зелень деревьев!..

А небо!..

А счастье одинокого мига!..

Завидуйте мне, господа! Я скоро увижу Фудзи!

— 6

Однако автору следует честно признаться, что кроме знаменитой Фудзиямы он ждал и жаждал увидеть вблизи другую вершину, от которой жизнь и судьба его зависели в гораздо большей степени, нежели от спящего вулкана. Этой вершиной и одновременно вулканом, причем вовсе не спящим, а безусловно действующим, был не кто иной, как Георгий Александрович Товстоногов, художественный руководитель Академического Большого драматического театра имени М. Горького, в чьей монаршей воле было приблизить к себе, то есть к настоящей славе, подручного искателя или же, наоборот, задвинуть и отдалить. О, как много вопросов артист Р. хотел обсудить с Мастером, имея в виду не только свое, но и общее с ним прекрасное будущее у костра бессмертного искусства.

И точно так же, как он, ждали и жаждали такого свидания очень многие члены творческого коллектива, не в меньшей степени озабо-

ченные собственной судьбой и столь же зависимые от хорошего отношения к ним своего Отца и Наставника.

Отец же задержался дома, и в Токио его ждали с неба, то есть самолетом, лишь к моменту окончания нашего земноводного путешествия.

Хотя это и общее место и само собой разумеется, но вдумчивый читатель должен помнить и понимать, что каждый артист всю жизнь проводит в выяснении отношений со своим режиссером, даже и тогда, когда не беседует с ним, а всего лишь попадаете ему на глаза. Потому что и случайный взгляд на артиста — событие, так как является напоминанием театральному Вседержителю о бедном грешнике, напоминанием, от которого может зародиться здравая мысль о его недооцененных или недоиспользованных пока актерских возможностях.

И правда, один вид актера может превратиться в живой упрек Мастеру и разжечь в нем вспышку заботы. Иной раз и нескольких молчаливых встреч или двух-трех «здравствований», произнесенных со скромным достоинством, может оказаться довольно, чтобы получить новую роль. А всякая роль — это путь к творческой радости и лучшему положению...

Впрочем, если последняя роль не удалась, актер превращается в наглядный пример неудачи, и встреча с ним рождает негативные эмоции, а Мастер в своем великом труде должен быть всегда прекрасодушен и радостен...

Жизнь артиста — вечная тревога и вечный вопрос: смириться или бунтовать? Не бывает ни одного члена труппы сверху донизу, который был бы постоянно удовлетворен и не нервничал: «слишком много играю, везу воз за других» или «слишком мало играю, могу растерять зрителя». Даже самые благородные и любимые, с довольной улыбкой на челе, внутри себя все обсуждают и обсуживают свое непостоянное положение. И так до конца, пока, как говорится у классика, «положат тебя и лежи» — вот до этого последнего «положения».

Впрочем, и тут непокой у администрации и окружающих — куда положить: в Пантеон, на Литераторские мостки, на Волково,

или Богословское, или по соседству с Ахматовой, в Комарово, или, как Пашу Луспекаева, в поселке Парголово, на рядовое и отдаленное Северное.

И это вечное выяснение отношений происходит независимо от воли актера и безо всякого явного участия второй стороны, то есть руководителя. Каждый лицедей частенько пробуждается среди ночи и пытается толковать свои сны, в которых как любимый герой постоянно участвует его театральный Вождь и Учитель. Даст ему Гога эту роль или не даст, ту ли роль он прочит ему или вовсе иную, и почему ее, долгожданную, наконец получил совсем другой артист, а не он, единственный и самый достойный.

А тут еще — зарплата и премия...

А тут еще — зарубежные гастроли...

А там, глядишь, и представление к награде или званию — мало ли что?..

И во всем этом — «Гога сказал...» или «Я спросил, а Гога ответил», «Гога уехал», «Гога приехал», «Гога заболел», «Гога выздоровел» и так далее, и тому подобное, но всегда неизменно и постоянно: Гога, Гога и Гога...

Зоркие наблюдатели следили за большими гардеробными соревнованиями ведущих артистов за почетное место вблизи Гогиного плаща. Со стороны это может показаться пустяком, но в стенах театра пустяков не бывает. Чем ближе крючок и вешалка члена коллектива к крючку и вешалке Мастера, тем уверенней сосыетер в своем лучезарном будущем.

Долгое время Гога вешал свое верхнее платье в глубине гардероба, где находилась дверь, ведущая за кулисы. Сюда и потянулись пальто и плащи «народных», «заслуженных» и «лауреатов». Но однажды Мастер неожиданно сменил ориентир и водрузил свое изящное полупальто у самого входа со двора, там, где обычно отвисались пальтишки «второй категории», никчемные плащики пришлых и «разовиков».

Это произвело шоковое впечатление на многих, и хотя тема занимала умы, но, по негласному договору, считалась «закрытой»...

Именно это обстоятельство, думаю я, имел в виду Константин Сергеевич Станиславский, когда сказал свою знаменитую фразу:

«Театр начинается с вешалки!» А наш Гога был верным последователем Станиславского...

Когда в вестибюле отеля возникло броуново движение и зазвучали первые имена попеременно с номерами, из уст в уста пронеслось сообщение о том, что ввиду возможных провокаций выходить за пределы «Сателлита» пока не советуют...

Решение гастрольного генштаба лично до меня довел секретарь партийной организации артист Анатолий Пустохин.

Как обычно, Р. стал задавать лишние вопросы:

— Что значит «пока»?

Толя не без юмора пояснил:

— «Пока» значит «пока». То есть до следующей информации...

— А что значит «не стоит»?

Стараясь не раздражаться, он перевел:

— «Не стоит» значит «не рекомендуется».

Но я не уговорился:

— Толя, — сказал Р., — ты — начальник, объяви в повелительном наклонении: никуда, мол, не ходите. И тебе проще, и нам...

— Нет, Володя, — отвечал Толик с холодной улыбкой, взглянув по сторонам и призывая окружающих в свидетели моей тупости, — повелительным наклонением мы не пользуемся. Мы только рекомендуем или не рекомендуем. В данном случае не рекомендуем. Вот и всё...

И отошел к руководящей группе...

Вообще говоря, против Толи Пустохина я ничего не имел. Скажу больше, если бы он жил хотя бы через стенку, я бы ему даже симпатизировал, как симпатизировал его предшественнику на посту парторга артисту Евгению Горюнову.

Единственное, что мне не слишком пришлось по душе, так это то, что Толя поселился в нашей насквозь аполитичной гримерке и занял место Паши Луспекаева. Это произошло совершенно случайно и безо всяких с Толиной стороны претензий. Скорее всего, зав. труппой Валериан Иванович Михайлов этим хотел выразить ему свое заведомое расположение, потому что размещение новых артистов входило

в его компетенцию, но именно эта случайность поставила Толю Пустохина в трудное положение...

С Луспекаевым и Сергеем Сергеевичем Карновичем-Валуа мы были стопроцентно беспартийны, а наш четвертый, Гриша Гай, был даже счастливо исключен из партии. В нем одном и сохранились невыполотые ростки партийности, конечно, со знаком «минус». Скажу больше, Гай был отважно и благородно антипартиен и позволял себе такие тексты и анекдоты, которые в других примерках, кажется, вряд ли можно было услышать...

До прихода Пустохина наша «каюта» имела экзотический вид и накапливала в себе особую ауру жизнелюбия и непринужденности. Создавал и определял ее, конечно, магический Луспекаев. Но, может быть, и остальных случай подбирал не без умысла...

Все наши стены и простенки, щелочки между портьерами и даже сами портьеры поверху были увешаны стендами и отдельными рамками с тысячью фотографий разных времен, на которых запечатленными на века оказались лица артистов, друзей, знакомых, родственников, а главное, женщин — любимых женщин Карновича-Валуа, начиная с той платной красавицы, с которой гимназист Сережа потерял невинность в 1916 году, и кончая далекими и недоступными дивами мирового кино. Сергей Сергеевич не раз водил меня на экскурсии по своему историческому прошлому, а я время от времени дарил ему оставшиеся незанятыми уголки и щели над своим зеркалом и столом.

К Карновичу-Валуа, высокому, породистому, красивому пожилому мужчине с прямой спиной и прекрасной лысиной, которую он для сцены частично укрывал наклейками или париками, захаживали порой, как он их сам называл, «племянницы», которых он продолжал неутомимо фотографировать и учить благородным манерам...

К Паше Луспекаеву шли откровенные поклонницы и скрытные корреспондентки...

К Грише Гаю, которого знали по фильмам, тоже жаловали подруги и подружки...

Признаюсь, что и у меня случались милые гости...

Словом, в нашей примерке царил дух безупречно мужской и, я бы даже сказал, творческо-гусарский...

А когда на луспекаевском месте оказался Толя Пустохин, атмосфера стала постепенно меняться, потому что здесь уже пошла попутная уплата членских взносов, возникли беседы шепотом с проходящими извне товарищами и поселилась торжественная недоступность чуждых нам секретов. Нет, не то чтобы Толик взялся нас перевоспитывать, для этого он был достаточно умен, просто, в соответствии с должностью, он не давал себе права быть с нами таким же открытым, как мы привыкли, и вместо одного стиля в гримерке стали вынужденно уживаться два...

За кулисами прямо говорили, что Анатолия Феофановича Пустохина театру рекомендовал областной комитет, когда парторг-предшественник Женя Горюнов вдруг оставил семью и стал сокрушительно спиваться...

Горюнов был человек достойный и обладающий достоинством; если райком, горком или обком обрушивали на театр свои громы и молнии, Женя, как говорили знающие, все брал на себя, выгораживая театр и тем самым Гогу. Конечно, Р., будучи лицом беспартийным, подробностей не знал, но общее впечатление складывалось именно такое. А потом Женя начал спиваться, и обкомгоркомрайком счел нужным заменить парторга, наращивая и укрепляя свое влияние на театр...

Родители Горюнова служили по дипломатической части, и в паспорте у него местом рождения значился Париж. По одной версии, Женя окончил Школу-студию МХАТ, а по другой — студию Бальдрамта, но при всех условиях он был хорошо воспитан, успел многое прочитать и подавал большие надежды. А когда началась война, по воле великого случая Женя с ходу попал в разведку...

Этот эпизод известен старожилам театра, но их становится все меньше и меньше, и поэтому, боясь, что он затеряется в волнах новейшей истории, я берусь пересказать его, как знаю...

Однажды, выполняя задание, Женина разведгруппа в составе трех человек столкнулась с немецкими разведчиками. Их тоже оказалось трое. И вот нос к носу сошлись трое на трое, и им ничего не осталось, как схватиться врукопашную. Как на грех, тщедушному мальчиговому Жене достался огромный и матерый битюг.

Немец подмял Женю под себя и стал душить. Дело шло к концу, язык вывалился, но товарищ, справившись со своим, оказался рядом и ударил Жениного битюга ножом в шею. Руки немца все еще продолжали давить Женино горло, и чужая кровь хлынула ему в рот. Чтобы не захлебнуться, Женя только и мог делать, что глотать и глотать горячее липкое пойло.

Он спасся от смерти, но вкус крови во рту был так ужасен, что всю обратную дорогу Женю выворачивало наизнанку...

Когда разведчики добрались до части, старослужащие дали ему выпить стакан спирта — до этого Женя никогда не пил! — и он вырубился на целые сутки.

Назавтра снова тошнило, и снова его лечили спиртом. И снова... И опять... С тех пор пошло...

В театре работала актрисой его жена, Марина, дочь знаменитого александринского артиста Константина Адашевского; вырослел их сын. Только вот выпивка подводила...

А потом Женя Горюнов увлекся нашей новой гримершей и, пофронтовому рискуя, сошелся с ней.

Таня была много моложе его и вдруг позволила все, о чем дома, в присутствии величественной тещи и строгой жены, Женя и подумать не смел. Она сама подносила ему рюмку, целовала его изящные руки, становилась перед ним на колени.

— Маленький мой, любименький мой, — говорила Таня, лаская теплыми ладонями его смятое интеллигентное лицо, и в ореоле ее нежности сублильный Женя снова начинал чувствовать себя защитником и мужчиной.

Поздняя любовь оказалась для него роковой. Татьяна была девушкой рискованной и беспечной, искала всех радостей жизни, и они принялись веселиться вместе.

Некоторые ревнители нравственности предлагали Женю наказать, исключить из партии, уволить из театра, но, по преданию, Товстоногов им сказал:

— Горюнова не трогайте.

И его послушались. Даже написали соответствующие бумаги в горисполком и выхлопотали для Жени с Татьяной комнату, хотя и в махровой коммуналке, но на Большом проспекте Петроградской стороны...

Скоро Таня из театра ушла и стала работать уборщицей в продуктовом магазине. А там — сами понимаете — винный отдел, свое окружение.

Горюнов продолжал ходить в театр, но изменился так, что смотреть на него становилось все труднее, и, инстинктивно исключая его из стаи, многие при встрече с Женей стали отводить глаза.

Наступила зима, и оказалось, что и ходить-то ему уже не в чем. Тогда собрали деньги на зимнее пальто. Порученцы взяли у костюмеров горюновские размеры, сообразили, что он еще больше усох и уменьшился по сравнению с тем, каким был раньше, сами выбрали фасон и сами пальто купили — вполне приличное, на ватине и с мутоновым воротником, — не деньги же ему отдавать, деньги Женя все равно бы пропил...

Те, кто понес вручать обновку по адресу, вернулись в тоске, — такая там была бедность и тараканья пирушка...

Когда Евгений Горюнов умер, театр взял на себя похоронные расходы, но, по правде сказать, в крематорий пошли совсем немногие...

Лавров с Кузнецовым, отдавая последний долг, пошли.
И Юзеф Мироненко тоже...

— 7

Почему неизвестный обратился именно к Юзефу?..

Потому что Мироненко такой высокий и светловолосый, а незнакомец такой чернявый и маленький?.. Или оттого, что был поздний час и именно Юзеф попался ему навстречу в пустынном холле?.. Как бы то ни было, пришелец принял его за начальство и стал в чем-то красноречиво и горячо убеждать.

Как показалось Юзефу, неизвестный говорил исключительно по-японски. Глядя на него сверху вниз, Юзик долго и вежливо слушал и даже несколько раз понятливо кивнул. Когда загадочный гость окончил монолог, Юзеф жестом велел ему остаться на месте и от портье стал звонить переводчице.

Второй день мы жили в «Сателлите», осваивая близлежащий район и гостиничные правила.

Сперва, дружно напялив светлые кимоно, многие сошлись в холле, потому что здесь можно было набрать в номерной кувшин или холодную кипяченую воду, или крутой кипяток. В кимоно все очень понравились себе и друг другу, а некоторые, разыгравшись, защебетали якобы по-японски и заходили мелкими шажками или тяжелой походкой, изображая гейш и самураев... Обслуга смотрела на нас, выкатив глаза, пока переводчица Маргарита не объяснила господам артистам, что наши кимоно — спальные, являют собой не что иное, как «ночные рубашки», и в них не стоит выходить в коридор...

Тогда все разошлись. Кто хотел выпить, выпил, а кто ждал случая с кем-то нежно объясниться, тоже рискнул. Тяжелая международная обстановка не могла на корню истребить железных гастрольных привычек и склонностей.

Только Вале Ковель сразу же не повезло: неловко повернувшись в японской тесноте, Вадим Медведев толкнул кувшин с крутым кипятком и страшно ошпарил ей руку.

Крик, раздавшийся из номера, был, по словам их соседки Маргариты, нечеловеческим, а точнее, звериным, и, когда, кинувшись на помощь, она в ужасе застыла на пороге, Вадим, инстинктивно снимая с себя часть ответственности, сообщил ей:

— Мы пролили кипяток...

Первое, что навзрыд стала шептать Валя, было:

— Как же я буду играть?! Мне надо быть обнаженной!..

Но придется ли нам играть, было еще совсем не ясно, и каждое утро, стараясь не привлекать внимания публики, Маргарита уводила Валю задами и везла на лечение и перевязку к японскому хирургу, а Вадим, полный раскаяния и супружеской солидарности, ходил их сопровождать. Рана оказалась глубокой, но хирург был чудодеем и успокоил бедную Валю, обещая применить для перевязки материал телесного цвета, такой, что публика ничего не заметит. Так и случилось, и большинство коллектива узнало об этой драме позднее, так как ее решили держать в тайне, а тайну честно хранил узкий круг доверенных лиц. И все же руководством было принято решение расширить жизненное пространство супругов, и Валю с Вадимом переселили в соседние, но отдельные номера.

Вообще-то говоря, Маргарита была прикомандирована лично к Гоге, но прилетевшего только что Товстоногова вместе с сестрой Нателлой и ее мужем Лебедевым поместили в другой гостинице, ближе к токийскому центру, а Маргарите вместе со всеми достался «Сателлит».

При расселении Юзеф был несколько обескуражен, так как обычно оказывался в паре с Иваном Матвеевичем Пальму, однако еще по дороге возникло опасение, что их могут разлучить, так как у Пальму на японских островах будут большие заботы по руководству труднейшей «четверкой», в которую входила непредсказуемая Шарко, и Юзеф на всякий случай решил подобрать себе другого напарника.

Исходя из того, что Мироненко был женат на одной из основных мастеров гримерного цеха, а впоследствии его заведующей Наташе Кузнецовой, подумали о другом мастере того же цеха — Тадеуше Щениовском. Но Тадеуш являлся лицом, давно и неисправимо курящим, тогда как Юзеф окончательно бросил курить. Поэтому по дороге из Иокогамы в «Сателлит», спросив партийного разрешения у своего секретаря, Юзеф стал подбивать на совместное проживание Р., приведя ему перечисленные мотивы.

В этом была некоторая логика, так как мы с Юзефом однокурсники по Ташкентскому театральному-художественному институту имени А. Н. Островского, вместе начинали актерскую карьеру в Ташкентском театре и именно я посильно споспешествовал его приходу в Большой драматический. Те, кто видел наш знаменитый спектакль «История лошади», несомненно запомнили Юзефа в роли кучера Феофана и великолепное музыкальное трио «На Кузнецком узком на мосту», которое он исполнял вместе с Басилашвили и Лебедевым.

Не успел я согласиться с логикой расселенческих рассуждений Мирона (т.е. Мироненко), как возникло внезапное сообщение о чуть ли не всеобщем попадании в «одиночки» — «Сателлит-отель» сбил подготовленную начальством линию «гражданской обороны» за счет обилия одноместных и противоестественного (для нас) дефицита двойных номеров, — и я, бесстыдный отщепенец, забыв о корпоративной этике, не смог скрыть своего животного ликования.

Потому что, прежде чем Р. завоевал священное право занимать на гастролях отдельный номер, он прошел большую школу испытаний на совместимость с Григорием Гаем, Михаилом Волковым, Изилем Заблудовским и Юрием Изотовым...

Гай, например, заботливо учил Р., уходя из номера, обязательно гасить свет...

Но вернемся к загадочному разговору Юзефа с японским пришельцем.

Итак, Юзеф позвонил переводчице Маргарите, красивой и приятной блондинке, которая уже спала или готовилась ко сну, что совершенно не меняет дела; для того чтобы выйти из номера и спуститься в холл, ей понадобилось время, в течение которого неизвестный и Мирон хранили терпеливое молчание, проникаясь друг к другу необъяснимой симпатией. С появлением красивой Маргариты дело стало принимать соблазнительный оборот. Зажигательно повторенный пришельцем монолог в переводе с японского имел следующее содержание:

— Я — директор фабрики ковров, — сообщил таинственный гость, частично переставая быть таинственным, но продолжая еще больше интриговать. — Дела на моей фабрике идут очень неважно из-за непосильной конкуренции с ковровыми монополистами. Поэтому, а также по причине давней симпатии к русскому искусству я хочу сделать вашему театру выгодное предложение о покупке японских ковров...

Маленький фабрикант обещал, что даст возможность каждому выбрать именно тот ковер, о котором он мечтал всю предыдущую жизнь, даже не догадываясь об этом, и предлагал Мирону возглавить создание ковровых списков. Только вручив нам ковры и полностью завершив напоследок доброе дело, он позволит себе окончательно разориться и пасть под ударами монополистических гигантов. Как только Юзеф составит список, маленький хозяин разместит заказ на своей гибнущей фабрике, а когда мы вернемся в Токио из триумфальной поездки по островам Сикоку и Кюсю, ковры будут полностью упакованы и готовы к отправке на материк.

— А почему ковры-то? — глуховато спросил Юзеф.

Неизвестный отчаянно махнул рукой и, сдерживая слезы, сказал:

— Юзико-сан!.. Ковры среднего роста — три на два метра — я отдам по семьдесят пять, а ковры большого роста — четыре на три метра — по сто долларов... Можно платить иенами тоже...

Переведя эту фантастику на русский язык, Маргарита Коробкова спросила Юзефа:

— Боже мой, почему так дешево?! — но свой вопрос перевести обратно на японский почему-то не стала.

Читателю, не пережившему наших времен, нужно объяснить, что ковры являлись в Советском Союзе еще большим дефицитом, чем продукты питания, а главное, стоили на несколько порядков дороже смехотворной суммы, которую назвал прогорающий японец. Любители ковров записывались в самодельные списки и годами ожидали при магазинах своей очереди, а жители среднеазиатских республик, чье жилье просто невысказимо без этих традиционных украшений — чем больше в доме ковров, тем он красивей и богаче, — совершали за ними специальные охотничьи наезды в обе столицы...

Поэтому выросший в Ташкенте и потрясенный баснословной возможностью одеть в ковры свое низкооплачиваемое будущее, Мирон счел своим гражданским долгом довести японское предложение до ушей всего академического коллектива. Для этого он был готов даже рисковать. Вместе с Маргаритой он отправился на поздний прием к директору Суханову.

Разбуженный ковровой вестью Геннадий Иванович имел достаточный опыт зарубежных поездок, так как пришел к нам с поста директора Малого оперного театра и хорошо знал, во что могут обойтись несогласованные решения. Поэтому, выслушав взволнованные речи Юзефа и Маргариты, он, в свою очередь, направился в номер к Анте Антоновне Журавлевой.

Анта Антоновна впустила Геннадия Ивановича не чинясь и приняла ковровый вопрос близко к сердцу. Прогоняя сон, она немедленно запросила о встрече еще одного руководителя поездки, Юрия Алексеевича (или Александровича), который к сведению японцев

представлял профсоюз работников культуры, а к нашему сведению — Комитет государственной безопасности...

Теперь вообразите ночную гостиницу «Сателлит-отель» на окраине Токио, погружившуюся в тревожный сон ввиду сложнейшей международной обстановки, и скрытое от враждебных глаз движение коврового вопроса... Приняв круговое положительное решение, собравшийся в полном составе штаб получил право выхода на художественного руководителя театра с целью последнего и решительного согласования.

Кто взял на себя ночную отвагу звонить прилетевшему Товстогову, не скажу, потому что не знаю. Но знаю твердо, что обойтись без его одобрения значило бы исказить законы внутренней жизни Театра, и этого не мог не понимать каждый штабник. Так осуществлялся принцип разделения политической и художественной власти в отдельно взятом Большом драматическом театре в нашу, теперь уже историческую эпоху... Проведя летучее совещание, семейный совет, состоящий из Георгия Александровича, его сестры Нателлы Александровны и ее мужа Евгения Алексеевича, утвердил предложение генерального штаба поездки, и, получив окончательное «добро», Юзеф с Маргаритой пошли вниз на встречу с ковровым фабрикантом...

Я не стану описывать символическую и не требующую перевода сцену ночного рукопожатия между высоким и светловолосым Юзефом и малорослым чернявым пришельцем, вы легко представите ее; не стану входить в подробности продолжающегося штабного совещания, на котором рассматривались анкетные и другие данные Ю. Н. Мироненко, с тем чтобы большинством голосов решить: ему или кому-нибудь более проверенному поручить составление списков и сбор наличных средств, но позволю себе перенестись во времени через одни с половиною сутки...

Через одни с половиною сутки дворик «Сателлит-отеля» чудно преобразился: обычное автомобильное его население раздалось и отодвинулось к стенам и углам, давая центральное место голубому фургончику знакомого нашего фабриканта. Вокруг фургончика, бес-

печно радуя глаз, вольно расположилось цыганское ковровое племя. Гости и впрямь были хороши, развернувшись плашмя на сером асфальтовом фоне: насыщенно-красные с черными вензелями; светло-желтые с коричнево-алым разводом; ярко-зеленые с неуловимым японским орнаментом; жаркие шары на белом фоне — все они, большие и средние, как сброшенные кимоно, лежали в удачном порядке, составляя единое поле и опьяняюще яркий сюжет. Двор, декорированный будто для спектакля, стал похож на роскошную дворцовую залу...

Между праздничными коврами с озабоченным видом шагали мои дорогие коллеги, стараясь не наступить на царскую роскошь и не ошибиться в прицеле: выбирать можно было по вкусу, а заказывать — не более трех...

— Фантастика, — восхищенно шепнул Миша Данилов.

А Слава Стрельчик, чей выбор был затруднен отсутствием в поездке любимой жены, растерянно бормотнул:

— Это — хулиганство...

Особенно хорошо картинка смотрелась с верхних этажей, и, сделав свой случайный выбор — вот этот, светло-желтого поля, обширный и беспечный, — Р. не поленился подняться наверх, чтобы взглянуть на ковровый базар с высоты птичьего полета.

А в номере 636 телевизор «Victor» не уставал показывать цветочные венки на серой волне, живой погребальный ковер в память невинно убиенных...

Каждому коврику хозяин присвоил трехзначный индекс; скажем, ковер номер 475, или 348, или, допустим, 432.

Дождавшись очереди к Юзефу, нужно было по-военному четко и быстро напомнить ему свое анкетное ФИО, назвать избранный ковровый индекс, или два, или три индекса, и по возможности без сдачи отсчитать иены, которые с самурайским лицом принимал вдохновленный задачей Юзеф...

Такое же суровое и беспощадное лицо было у него в спектакле Ташкентского театра имени М. Горького, где я играл Гамлета, а он, будучи Лаэртом, врвался во дворец с толпой мятежников и требовал к разделке датского короля...

Это был его час, и все пришли на поклон к Юзефу: Макарова и Трофимов, Басилашвили и Аксенов, Малеванная и Волков, Демич и Толубеев; и Ковель с Медведевым пришли, несмотря на больную руку, и Николаева с Лавровым, и Нателла Товстоногова от имени всей семьи, и целиком замороженное, и все приданное нам руководство — все стали в затылок друг другу, потому что каждый почел за благо оказаться в бессмертном ковровом списке...

А у нашего посольства толпа разъяренных японцев сжигала алый советский флаг...

Если сегодня пройти по нашим квартирам (ковры еще и дарились, и по бедности кое-кем продавались), то почти в каждой из них на стене или на полу можно встретить сентябрьский пестрый лоскут восемьдесят третьего года, тканый японский ковер имени Юзефа Мироненко.

— 8

Прилетевший в Токио Гога был нездоров: его мучила давнишняя язва. Каждое утро переводчица Маргарита отправлялась к нему, чтобы на японском языке заказать диетический завтрак и помочь пообщаться с прогорающей фирмой «Сентрал бродкастинг эйд-женси».

Глава ее, которого одни источники называют господином Хироси Окава, а другие, оставляя ту же фамилию, именуют Ешитери, что более приятно моему языку и слуху, пытаюсь скрыть свои чувства, на самом деле был близок к истерике: трагедия, произошедшая с южнокорейским «Боингом», возмутила японскую публику настолько, что она объявила нам бойкот, и билеты на спектакли почти не продавались. Никто и ничто не могло освободить бедного Ешитери-Хироси от обязанности платить договорные суммы арендованным театрам и суточные всем нам...

Думая о гастролях, Товстоногов был готов, кажется, ко всему, кроме этого... Еще в апреле он побывал в Японии с разведкой: осматривал сцены, встречался с театральными людьми, давал интервью, планировал встречи, подписывал договор на издание своего двухтомника. Профессор Икуко Сакураи, специалист по советскому

театру, в свою очередь, успела слетать в Ленинград, перевести и издать по-японски «Историю лошади» — инсценировку Марка Розовского по «Холстомеру» — со своей статьей о спектакле и Товстоногове. В другой, роскошно изданной к гастролем книге — с твердым корешком, цветными и черно-белыми фотографиями и справками о ведущих артистах — Мастер обращался к будущей публике с почувствованными словами:

«Дорогие японские зрители! Мы, ленинградский Большой драматический театр, с огромным волнением ждем встречи с вами. Мы везем на ваш строгий и взыскательный суд четыре пьесы четырех великих русских писателей. Мы верим и надеемся, что глубочайшие мысли, моральные и нравственные проблемы, заложенные в этих произведениях, тронут ваши сердца и чувства, воспитанные на великой литературе Японии...»

И вот накануне отплытия происходит другая, без тени театральности, трагедия, жертвенная кровь растворяется в соленой волне, текут неизбежные слезы, и не только Япония, но и весь мир начинает освистывать и проклипать нас как убийц и злодеев. И если посмеешь спросить: «Мы ли в том виноваты?!», получишь твердый ответ: «Вы!..» Именно в эти дни и по этому поводу, с легкой руки артиста Р. — тут имеется в виду не персонаж гастрольного романа, а другой, заокеанский артист Р. по имени Рональд Рейган, — нас стали называть «империей зла».

Вокруг машин толпятся возбужденные люди, с открытых платформ на крышах микроавтобусов через мощные усилители истошно кричат полувоенные активисты: мы должны немедленно убираться домой. Толпа взрывается дружным воплем, митингующих окружают полицейские с длинными дубинками и стальными щитами, а нас, забившихся в красный автобус, кружным путем везут на концерт в христианскую церковь Шебуяй.

Чтобы дать возможность покаяться?..

Или показать свое искусство?..

Чего от нас ждут в христианской церкви Шебуйя? И что в ней ожидает нас?.. Даже Гога этого не знает...

Мы ехали мимо канала с крутым откосом, мимо стоящих вдоль него деревьев, густой травы и кустарника по склонам, мимо белых цапель на берегу...

Крест-накрест висели над водой мостки, и рыба была довольна жизнью так же, как рыбаки, которых не волновала ловля...

Дома косили под старину, а парки забывали о том, что они — японцы. Но мы были посторонними здесь.

Мы ехали мимо огромного города, вдоль старого канала, мимо крутого откоса и веселых цапель, а жизнь воды, домов и деревьев была так же безразлична к нам и нашим спектаклям, как и к той кровавой истории, которая случилась над морем, и я не знал, когда решусь подойти и что теперь скажу Гоге...

И он, и мы были рады и встретились как родные, и после щедрых объятий и бодрых поцелуев начался концерт. Не в храме, а в зале при нем, где все-таки собрались местные энтузиасты.

Господи, прости нам грехи наши, вольные и невольные!

Товстоногов поговорил о Станиславском и методе физических действий, Лебедев показал бессловесный этюд о рыболове, который мы знали наизусть, потому что он всегда его показывал... А мы стали играть отрывки из всех четырех спектаклей и, сидя за кулисами, ждать общего поклона.

Гога делился новостями, которые не застали нас на родине. Больше всего его поразило последнее интервью Любимова.

— Такого еще не было, — возбужденно говорил он, — Любимов сказал: «Мне шестьдесят пять лет, я строю театр, а у меня один за другим снимают три спектакля!.. Сколько еще я должен терпеть?! Так больше продолжаться не может, и мириться с этим нельзя!..» Все в таком тоне!.. Как ультиматум!..

Мне казалось, что Товстоногов полон сочувствия к Любимову и целиком на его стороне...

Его слушали почтительно и молчаливо. Лавров, к которому больше других апеллировал Гога, тоже молчал.

И Мастер несколько переменял тон.

— Конечно, Любимов зашел слишком далеко, — рассудительно сказал он. — Он мог жить у жены в Венгрии, там у нее свой дом, и ездить, ставить...

Он опять взглянул на Кирилла, но тот снова промолчал. И тогда Гога не очень уверенно добавил:

— Я уже не говорю о политической стороне...

Читателю, не пережившему наших времен, следует понять, что если кто и молчал в ответ на Гогин рассказ о последнем интервью Любимова, то не обязательно от одного того, что осуждал диссидентские выпады Юрия Петровича или не разделял Гогоного сочувствия опальному режиссеру. Просто вокруг были свидетели — наши, не совсем наши и вовсе не наши, и молчание в таких случаях стоило дороже японской валюты. А ведь у нас была целая группа сопровождения. Не говоря уже о «своих».

Кстати, «своих» знали практически все. И «свои» знали, что их знают. Но это никого не смущало. Это входило в предлагаемые обстоятельства. Товстоногов, как многие умные люди, думал, что «чужих» и «своих» можно хорошо использовать в качестве канала информации. Или, вернее, дезинформации. Поэтому Гога и сказал такую маскировочную фразу, якобы с точки зрения тех, кому интервью Любимова по всем приметам не должно было понравиться: «Я уже не говорю о политической стороне...»

Однажды за границей он отвел в сторону Эдика Кочергина и назвал ему поименно всех, кого, по его информации, следовало остерегаться. А Эдик Кочергин как-то по дружбе назвал их мне. Но я и не подумаю называть имена. И не потому, что не испытываю доверия к читателю, а потому, что это будет уже совсем другой жанр и никому от этого легче не станет. Тем более теперь...

И все-таки, хорошо зная «своих», Гога иногда забывался, потому что ему были необходимы близкие люди и единомышленники. В отличие от Любимова, у него не было жены в Венгрии. Впрочем, в Союзе тоже. Долгие годы жизни настоящей жены у него не было...

Со времен «Генриха IV», когда мое детище, роль беспутного принца Гарри, уже на генеральной репетиции была у меня отнята,

наши отношения складывались непросто, но именно теперь дело будто бы начинало двигаться на лад.

Потепление возникло после премьеры «Розы и Креста», которая подоспела к столетию со дня рождения Блока, то бишь в восьмидесятом году.

Не важно, чего это мне стоило. И не важно, ради чего я это делал... Или все-таки важно?..

Ради театра?.. Ради Блока, чью «радость-страдание» испытал на собственной шкуре?.. Или, во что легче всего поверить, ради себя самого?..

Остановимся на последнем: роль Бертрана, «рыцаря-несчастье», поманила артиста Р., и он принялся рыть землю, еще не понимая, что ему сулит эта затея...

Ради Блока или ради Бога... Стоп... Только без рифм!..

По предварительному условию, «Розу и Крест» я должен был ставить безо всяких материальных расходов со стороны театра, то есть действительно «ради Бога», именно так, как похоронили несчастного Евгения в «Медном всаднике»...

Зайдя как-то в предбанник перед Гогиным кабинетом, где в прежние времена царственно секретарствовала Елена Даниловна Бубнова, потом — Татьяна Мосеева, в замужестве м-с Т. Чемберс (Лондон, Великобритания), а все последние годы — талантливая и эксцентричная Ирина Шимбаревич, я увидел Мастера, одиноко восседающего на месте собственного секретаря.

Оценив ситуацию, я совершенно серьезно попросил *Гогу* доложить *Товстоногову*, что артист Р. давно ждет, когда наконец Георгий Александрович позовет его поговорить о Блоке; время идет, и юбилей не за горами...

— А вот я вас зову, — хмыкнув, сказал Гога и, встав с секретарского места, растворил передо мной заветную дверь. — Садитесь, — сказал он, когда мы вошли, и, закурив очередную сигарету, в убедительном монологе развернул передо мной жуткую картину финансово-экономической катастрофы, в которую ввергли театр последние постановки.

Неисправимые бреши в бюджете пробили, оказывается, не только дорожавшие по мере пошива шикарные костюмы к «Волкам и овцам» по эскизам Инны Габай, жены Эдика Кочергина, но и разнокалиберные цельнометаллические трубы, которые подвешивали к колосникам по эскизам самого Эдика. Трубы оснащали и повышали образную патетику юбилейного спектакля «Перечитываем заново», в котором, по идее Г. А. Товстоногова и Д. М. Шварц, соединялись ударные фрагменты из произведений разных авторов, в течение всех советских лет рисковавших вывести на сцену или показать на экране образ вождя. Потому что прежде, чем отмечать столетие со дня рождения одного из основателей первого советского театра А. А. Блока, нужно было отметить столетие со дня рождения основателя первого советского государства В. И. Ленина. Не было бы Ленина — не было бы государства, не было бы государства — не было бы у него и первого театра. Тут, как говорится, «у матросов нет вопросов...»

Но этого мало. Препятствием к материальному обеспечению «Розы и Креста» оказывалось то неоспоримое обстоятельство, что производственный план 1980 года был практически выполнен, а все его «лимиты» исчерпаны. Тем более что включенный в этот план югославский режиссер Мирослав Белович (ударение на первом слоге), повторявший на нашей сцене свой белградский спектакль по пьесе Марина Држича «Дундо Марое», написанной монахом-расстригой в 1550 году, тоже размахнулся на дороговую сценографию и пышные костюмы.

— Таким образом, — заключил Георгий Александрович, — как вы понимаете, Володя, блоковская постановка возможна только, что называется, за зарплату.

Имелось в виду, что режиссерский гонорар мне не грозит. Но это меня не пугало. Хуже было другое.

Я кивнул, давая понять, что общая ситуация ясна, и после скромной цезуры констатировал:

— Итак, ни на художника, ни на композитора денег нет.

— Нет ничего, — довольный моей понятливостью, сказал Гога.

«Из ничего не выйдет ничего», — заметил Шекспир, но я не стал произносить вслух афоризм трехсотлетней давности.

К этому моменту я непредусмотрительно встретился с Валерием Гаврилиным, прочел ему пьесу и поделился замыслом.

— Весна — это такое сумасшествие, — задумчиво сказал он. — Может быть, четыре гавайские гитары?.. Электро... Такое сумасшествие, Господи! Конечно, это надо делать...

Но так как денег на Валерия Гаврилина и гавайские гитары у театра не было, Гога о нашей встрече не должен был знать, и кандидатура Гаврилина автоматически отпадала.

— Может быть, предложить бесплатную работу по костюмам Ольге Саваренской? Художница начинает карьеру, и о ней хорошо отзывается Эдик Кочергин, — вопросительно произнес я.

— Да, но только не от имени театра, — ответил Мэтр, — предложите ей внеплановую работу, быть может, ее привлекут обстоятельства престижа.

Я понимал, что лезу в петлю, но только обстоятельства юбилея давали тихую надежду на будущее, потому что в наши времена слово «юбилей» имело магическое действие на всяких, в том числе даже и на партийных чиновников. Важно было по наполеоновскому принципу ввязаться в бой, а там видно будет...

— А с актерами вы поговорили? — спросил Гога.

Имелось в виду, что и актерское участие в репетициях должно было быть практически добровольным.

— Я не приступал к распределению до встречи с вами, но очевидно, могу рассчитывать на Заблудовского, Мироненко, Данилова... На себя, — сделал я предварительную заявку.

— Ну, эти не откажутся, — согласился он.

Так я зарезервировал за собой рискованное право и ставить, и играть.

С этого дня мы встречались более или менее регулярно.

— 9

— Черт меня дернул дать интервью «Советской России»! — сказал Р. Юре Аксенову, сидя на низкой скамейке среди тропической зелени детского парка Каракуэн. Они только что вернулись из пешего похода по Акихабаре, большой торговой улице, отнимавшей

у бездельного коллектива деньги и силы. Прежде чем браться за консервы, хотелось отдышаться на японской природе.

— Да, — согласился Аксенов, — это было непредусмотрительно с твоей стороны.

Р. продолжал готовить себя к разговору с Гогой...

Сравнительно недавно в «Советской России» появилась на редкость ругательная статья о БДТ молодого критика Ирины Вергасовой, которая привела в ярость нашего Мэтра. Он даже куда-то звонил и на чем-то настаивал, мгновенно назначив газету и критика «врагами № 1».

Молодой театровед Вергасова была хороша собой и еще с институтских времен известна в художественных кругах как девушка андеграундная и эксцентричная. По рассказам очевидцев, она могла появиться на занятиях чуть ли не наголо стриженной, в редкой сетке на голое тело: сквозь отверстия сетки эпатирующей двустоволочкой выстреливали оба соска.

Ирина Вергасова откровенно не принимала ничего академически выверенного, житейски-благополучного и признанно-государственного. Этой ее ориентацией и воспользовались недоброжелатели из газеты, чтобы нанести коварный удар якобы не по идеологии, а по эстетике Большого драматического...

— Расскажи Гоге, пока тебя не опередили, — напомнил Юра, — и учти, что после «России» была «Правда»...

И правда. После на редкость ругательной статьи Вергасовой в «Советской России» появилась на редкость хвалебная статья Строевой в «Правде», а в статью Строевой в «Правде» специальным попечением был введен на редкость ругательный абзац про «Советскую Россию» и Вергасову. И поскольку «Правда» являлась центральным органом Центрального Комитета, то Георгий Александрович мог считать честь театра восстановленной, а себя удовлетворенным. Но Гога этого случая не забыл.

И вот, не учтя всех обстоятельств или из алчного желания славы, Р. поделился с корреспондентом враждебного органа своими незрелыми мыслями, и теперь любой недоброжелатель уже по одному факту данного интервью получал возможность представить артиста Р. изменником и перебежчиком в стан врага...

Вступив на скользкий путь режиссуры, нужно было освоить такой предмет, как театральная политика, которая совершенно сродни политике государственной и даже международной, и, если бы не советы Юры Аксенова, на которые он не скупился в Японии, я бы, конечно, чего-нибудь наворотил. Но Юра даже репетировал со мной будущие диалоги с Мэтром, играя его роль и подсказывая мои возможные реплики.

В диалогах с Аксеновым даже мне, дураку, стало ясно, что лучше бы этого интервью было не давать. Хотя, конечно, еще бы лучше эксцентричной Вергасовой своей статьи вовсе не печатать. Велась же с ней профилактическая работа.

— Зачем тебе брать БДТ? — спрашивала Ирина Шимбаревич, ее однокурсница, целиком посвятившая себя театру и Мастеру. — Это же не твой театр!.. Твой анализ ничего БДТ не даст, никакого блага... У тебя острое перо, пиши о подвальных студиях, пиши об униженных и обиженных, о тех, кто тебе нравится... Тебя оскорбляет не эстетика, а уровень жизни...

— Я на это смотреть не могу, — отвечала непримиримая Вергасова, имея в виду всех нас. — Адреналин выделяется...

У Товстоногова тоже начал выделяться адреналин, потому что наш импресарио, господин Ешитери Окава, по причине зрительского бойкота в Токио, никак не мог принять решения о начале гастролей и, более того, вознамерился прекратить выплату суточных. Возможно, его смущали моральные обязательства перед японской общественностью или кто-то оказывал на него скрытое давление, но, главное, стоило ли открывать занавес в огромном зале «Кокуруцу Гокидзё», где дает свои представления знаменитая труппа «Кабуки», если на наши первые спектакли продано всего по тридцать-сорок билетов?..

Когда слух о намерении г. Окавы прекратить валютные поступления в карманы гастролеров достиг ушей Товстоногова, он не на шутку рассердился и сказал, что это — «саботаж».

О его реакции доложили бедному Ешитери.

Тогда он приехал к Гоге и, перестав сдерживаться, заплакал крупными слезами. Рыдая, он через переводчицу Маргариту пове-

дал о том, какие страшные убытки терпит фирма и насколько она близка к настоящему разорению.

Вообще это было не очень по-японски, потому что плакать взрослым мужчинам на островах Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю не положено, но дело зашло так далеко, что Ешитери ничего не мог с собой поделаться и на глазах у Гоги, Анты и Маргариты всхлипывал, как маленький ребенок. Собравшиеся стали утешать Ешитери и обсуждать, чем ему можно помочь.

Наконец решили звонить в посольство и все вместе отправились к чрезвычайному и полномочному послу СССР в Японии В. Я. Павлову. И уже вместе с Павловым принялись названивать в Москву, в Госконцерт и Министерство культуры с просьбой, во-первых, разрешить показ одного из спектаклей по японскому телевидению без дополнительной оплаты Госконцерту, что даст возможность г. Окаве хотя бы частично покрыть безнадежные убытки, а во-вторых, в срочном порядке выделить ему дозу советского цирка и порцию «Большого Балета», ибо только с их помощью бедный Ешитери мог поправить свое отчаянное положение. О цирке обещали подумать, и разрешение на одноразовый безвозмездный телепоказ было дано...

Но мы с Аксеновым этого еще не знали. Мы сидели на лавочке в детском парке Каракуэн и, как заведенные, толковали о тайных пружинах управления театром и умении себя вести.

— В чем ошибка Вадима Голикова, почему его не приняли в Комедии? — спрашивал Юра и рассудительно отвечал: — Потому что руководить театром — это другая профессия, отличная от профессии режиссера... Вообрази сцену... В Комедии идет репетиция, в зал входит директор театра Янковский, смотрит на декорацию и говорит: «Это оформление плохое, оно не пойдет». А Вадим отвечает: «Михаил Сергеевич, выйдите вон из зала!..» А Янковский тут же Вадиму: «Я вас увольняю!..»

— Здорово.

— Да, здорово, — согласился Юра. — А требовать от худсовета звания для жены? У нее же нет театрального образования... Худсовет отказывает, и Вадим вступает в конфликт с худсоветом.

— Жена есть жена, — сказал Р. словами Чехова и спросил: — Может быть, там все не так просто?

— Может быть, — сказал Юра. — Но главный режиссер должен понимать, к чему ведут его поступки. Зачем наживать себе врагов? Они и сами найдутся.

Мы помолчали.

— Я могу руководить театром, — твердо сказал Юра и открыл свои методологические тайны. — Во-первых, нужно выбирать хорошие пьесы, во-вторых, приглашать других режиссеров... Нужно организовать работу театра... Я не обсуждаю постановки Вадима, он — человек талантливый, но он не организовал работу театра, понимаешь?..

— Понимаю, — сказал я. — Понять несложно. Сложно организовать работу... И хорошо поставить... Поставить, по-моему, самое сложное...

— Это другой вопрос, — сказал Юра, рассматривая большой черный мотоциклетный шлем, который он только что нашел под кустом в детском парке Каракуэн. Японский мотоциклист, носивший эту каску, видимо, пару раз налетал головой на столбы, но она сохранила ему жизнь и сама неплохо сохранилась. По-моему, Юра задумал взять ее в Питер. Если подновить краску на шлеме, он мог вполне пригодиться для нескольких лобовых встреч с нашими столбами...

Здесь же, и не откладывая, необходимо внести существенные добавления, так как сведения о В. Голикове и его взаимоотношениях с директором и коллективом, полученные в парке Каракуэн, могли иметь односторонний характер. Известно, что приход нового главного режиссера — крупнейшее событие в жизни всякого театра, и театра Комедии в частности. Поэтому многие его старослужащие теоретически должны были искать и находить Юру Аксенова, с тем чтобы во имя своего светлого будущего засвидетельствовать ему свою изначальную преданность и навешать на уши полновесную домашнюю лапшу.

Поэтому, вернувшись на материк, автор решил перепроверить информацию и задал прямые вопросы о двух вышеупомянутых эпи-

зодах непосредственно Вадиму Голикову. Действительно, отношения Голикова с им же приглашенным Янковским вскоре после начала совместной работы стали портиться и испортились вконец, но, по словам самого Вадима, они никогда не были настолько вульгарны и анекдотически примитивны. А все диалоги, даже самые острые, велись в абсолютно корректной и цивилизованной форме. Задать тот же вопрос самому М.С. Янковскому у автора нет никакой возможности по самой жестокой и непоправимой причине.

Что же касается жены Вадима Милочки Оликовой — ее сценический псевдоним — усеченная на одну букву фамилия мужа Голикова, — то в действительности был лишь один эпизод, когда, в числе других претендентов, она была представлена — не к званию, нет! — а всего лишь к увеличению зарплаты на пять или десять рублей, что привело бы ее к счастливому переводу в более высокую актерскую категорию, причем в момент голосования именно ее кандидатуры Голиков демонстративно и принципиально покинул заседание худсовета, что и привело к вполне демократическому завалу Милочки Оликовой и непредоставлению ей искомого повышения ставки. Конечно, Вадим и здесь поступил как интеллигент, что вызвало нарекания друзей и знакомых, назвавших его поступок идеализмом и глупостью.

Но на этих двух примерах (директор Янковский и жена Милочка) мы снова могли проследить, как незначашие события театральной жизни в устах заинтересованных лиц легко превращаются в анекдот или даже в легенду. Поэтому автор и стремится всякий раз передать объем и воздух события, если и не приводя весь путь от факта к апокрифу, то давая хотя бы его исходную и заключительную стадии.

— Понимаешь, Володя, — наставлял меня Юра Аксенов еще на «Хабаровске», пригнув голову и стаскивая с себя свитер в тесной каюте четвертого класса, — Гога должен узнавать о тебе только от тебя самого!.. И о Пскове, и о Ташкенте. — Имелось в виду то, что к этому моменту Р. были предложены две постановки, и он собирался просить разрешения на обе. — Ты же знаешь, как ему могут преподнести самый безобидный факт?..

— Знаю, — вздыхал я, ожидая своей очереди на раздевание в камерном кубрике.

Мы оба пытались заглянуть в наше вероятное будущее, которое, несмотря на Японию, было скорее темно, чем прозрачно. Во всяком случае, у меня.

— Я ни о чем не жалею, — говорил Юра, осторожно укладывая свою крупную плоть на узкий матросский рундучок, — но театр я мог получить десять лет назад. Да, лет десять, не меньше...

— Зато у тебя опыт, — слабо возражал Р., балансируя на одной ноге и борясь с узкими джинсами, — ты столько ездил, столько с ним работал...

Если бы Юра не был назначен на высокую должность и не уходил бы от нас, он ни за что не стал бы откровенничать со мной, а только молчал бы, как сфинкс, и улыбался. Но он уходил, и ему хотелось подвести какие-то итоги.

— Главное, я его ни о чем не просил, — сказал Юра, — он всегда сам вызывал меня. Вызывал и предлагал работу...

А мне предстояло просить. Причем просить особого положения. Чтобы уехать на две недели или хотя бы на десять дней, нужно было сперва добиться, чтобы расписание спектаклей было составлено в мою пользу и мои коллеги играли бы за меня.

«Мало того, что артист занимается не своим делом, он и подрабатывает на стороне, а мы должны пахать за него. С какой стати?..» — Конечно, таких рассуждений было не избежать, но, с другой стороны, театр всегда шел навстречу артисту, если ему выпадала хорошая роль в кино. И расписание составлялось гибко. Смотря чьи интересы учитывались...

— А рекомендовать тебя главным режиссером Комедии ты Гогу не просил?.. Это он помог тебе с театром Комедии?

— Да, — сказал Юра. — Но мог бы сделать это гораздо раньше...

«Хабаровск» мелко подрагивал и напрягался. В каюте было жарко, и, глубоко вздохнув, Аксенов пояснил:

— Без Гоги в городе театра бы не дали. И Владимирову театр устроил Гога... И Корогодскому... И Агамирзяну... И Голикову. И Падве...

— И тебе, — напомнил я.

— Да, и мне, — теперь уже довольно согласился Юра. — Обком почти никогда без него не решает, какой кому театр отдавать...

— Кроме Александринки? — уточнил я.

— Да, кроме Александринки, — подтвердил Юра. И добавил: — Расскажи ему об интервью. Не давай себя опередить... Спокойной ночи.

В темноте, за тяжелой волной, медленно и навсегда уходил от нас остров Осима.

Теперь Гога был с нами, и жизнь всем скопом, без спектаклей и репетиций, в атмосфере тревог и неясности, в виду сотен тысяч обещанных иен и тьмы японских возможностей казалась невиданным приключением и рождала чувство лунной невесомости. А тут еще скорбящая фирма надумала показать нам новооткрытый «Диснейленд». Двумя группами нас повезли на берег моря, где сначала был создан насыпной полуостров, а потом на отвоеванном у воды пространстве раскинулась еще одна сказочная страна.

Вторая группа, не помещаясь в автобус, позавидовала первой, а первая осталась на второй сеанс. Но именно здесь, в выдуманном мире, среди искусственных прерий и рек, гор и водопадов, железнодорожных станций и индейских поселков, салунов и лачуг, дворцов и замков, среди ковбоев и горилл, гоблинов и призраков, волков и кроликов, слоняясь в толпе веселых туристов и беззаботных детей под флагом бессмертного Микки Мауса, Р. безвольно уносился назад, к цепким обстоятельствам предотъездных дней.

У космического павильона, оказавшись рядом с Нателлой Товстоноговой, которая знала о нашей жизни если не все, то очень многое, я обратил к ней сверлящий меня вопрос: кто же из доброхотов догадался рекомендовать меня и Стржельчика в список доблестного антиссионистского комитета?

— По-моему, мы никаких поводов не давали, — сказал я.

— Это не в театре придумали, — уверенно сказала Нателла и, конспиративно оглянувшись, добавила: — Но говорить об этом никому не надо.

— Но вы-то знаете, — сказал я.

— Знаю, — сказала Нателла. — И знаю, что вы отказались. Но вам в любом случае лучше молчать.

— Хорошо, — сказал я, — но они-то молчать не будут.

— Будут, — убежденно сказала Нателла. — Вот если бы вы согласились, они стали бы говорить.

Это было логично. Недаром Гога советовался с сестрой.

— Может быть, — сказал я, — но, черт побери, до сих пор противно!..

— Не чертыхайся, — сказала Нателла. — И выбрось это из головы...

Я, конечно, понимал, что в великом театре Уолта Диснея о таких вещах лучше не думать, что здесь и сейчас надо попробовать отключиться от глупостей, но впасть в детство мне никак не удавалось.

У горных каньонов меня взял под руку Рома Белобородов. Оказалось, что и он осведомлен об отказе и советует мне по возвращении на родину вместо антиссионистского комитета вступить в Коммунистическую партию.

— Сейчас — самое время, — сказал Рома, а веселый Микки Маус, оказавшись тут как тут, поочередно пожал наши руки. Можно было подумать, что он поздравляет меня с новым заманчивым предложением.

— Почему сейчас? — спросил я.

— Потому что пришла новая разрядка и нас просят принять десять призывников. — Теперь с нами здоровался улыбчивый заяц, и его манеры были безупречны. — Все легко пройдет, а вы — тем более...

Роман был спокойным человеком и никогда не повышал голоса. Молодой, профессионально подготовленный, он был уверен в себе и по-настоящему перспективен. Рано или поздно он мог стать даже директором, если бы кадровики закрыли глаза на его пятую графу.

— Вы ведь не ребенок, — сказал Роман, и я вынужден был с ним согласиться. — Вы должны понять, что это расширит ваши перспективы, особенно — режиссерские... Посмотрите на Кирилла Юрьевича. Разве ему как актеру мешает то, что он — член партии, а теперь и член ЦК?... Нет, не мешает. А помогает это ему?... Думаю, да. Вот и вам это никак не сможет помешать, а, наоборот, поможет...

— Спасибо, Рома, — сказал я, — может быть, вы и правы. Знаете, когда был жив Ефим Захарыч Копелян, он соседствовал в гримерке с Лавровым. И вот однажды они сидят друг к другу спиной, а в зеркалах им видны лица друг друга. Копелян смотрел, смотрел и вдруг говорит: «Да, Кира, мне бы твой нос, я бы такую карьеру сделал!..» Мне это Зина Шарко рассказывала... Не уверен, что смогу пригодиться...

— Можете, Владимир Эммануилович, — сказал Роман. — Сейчас нужны именно такие люди, как вы. И если вы вступите в партию, то отказ от антиссионистского комитета не будет иметь значения...

— Рома, — сказал я, — неужели вы говорите серьезно?

— Какая разница, Владимир Эммануилович, серьезно я говорю или нет? Отнеситесь к этому философски...

Тут я заметил переводчицу Рику и предложил ей прокатиться со мной по «Замку призраков». Русского языка она почти не знала, но была так молода и хороша собой, что мне показались смешны американские страшилки, и мы с Рикой принялись хохотать, скользя на двухместной вагонетке мимо разверзающихся могил, пляшущих скелетов и отрезанных женских голов.

Очевидно, не я один так устроен: чужие ужастики просто смешат нас, а свои призраки до ужаса страшны...

— 10

Чтобы отвлечь Гогу от черных мыслей и скрасить тоскливое ожидание, Ешитери организовал Мэтру несколько платных лекций о театре в Нагое, Осаке и где-то еще. С одной стороны, все знали, что Мастер откладывает деньги на «мерседес», а с другой — кто лучше него может объяснить японцам, что такое метод Станиславского?..

Гога вернулся в Токио, несколько повеселев, и во время концерта в газете «Асахи» я рискнул провести с ним первый диалог, неукоснительно следуя наставлениям старших товарищей.

— Георгий Александрович, — заинтересованно спросил я, — как прошли ваши выступления?

— Хорошо, Володя, — откликнулся он, — но очень устал: душно, влажно...

— Вы рассказывали им про систему Станиславского? — продолжал интервьюировать я, готовя признание о своем интервью «Советской России».

— По-разному, — сказал он, — я не люблю говорить одно и то же. Где о системе, а где о нашем театре...

— А о «природе чувств» вы рассказываете? Я недавно перечитал вашу статью.

Мне всегда казалось, что литературные «негры» и научные редакторы ужасно сушат Гогину речь, темнят язык, и его статьи и книги не идут в сравнение с любой репетицией, где он всегда выступает живо и выразительно, но этого говорить было нельзя.

— Вам нравится? — серьезно спросил Гога, и Р., не погрешив против совести, серьезно ответил:

— Да, «природа чувств» — самая больная тема сегодня.

— Вы правы, — сказал он.

— Это вы правы, — искренне сказал я и круто сменил галс. — Вы, наверное, не обратили внимания до отъезда... Дело в том, что ко мне приходили за интервью из «Советской России»...

Мгновенно изменившись, Гога страстно перебил:

— Я бы не стал им давать!

— Да, Георгий Александрович, — подхватил Р., словно именно это имел в виду, — я тоже удивился, чего это они?.. А потом подумал: может быть, после выступления «Правды» они как бы заходят с фланга, чтобы наладить отношения? Идут на попятный, а непосредственно к вам подойти боятся...

— Ах так? — переспросил Гога, уже заинтересованно, и я стал развивать свою версию:

— Я сказал корреспонденту, что вряд ли они напечатают, а он ответил, что с начальством все договорено и даже дан карт-бланш... И тогда я сказал о «Розе и Кресте» и о том, что репетиции Товстоногова — школа современной режиссуры... По-моему, они идут на попятный, — повторил Р.

— Да, исправляются, — довольно подтвердил он. — Это хорошо. — И многозначительно добавил: — И хорошо, что вы сказали...

Посмотрев прогон «Розы и Креста», Эдик Кочергин сказал:

— Может получиться. Только... с костюмами из «Генриха» я спектакль не подпишу... Подбор не годится...

— Ну вот, — сказал я, — как же тогда может получиться?

— Ты учти, — сказал он, — костюмы из его спектакля. Он к этому относится ревниво.

— Что ты предлагаешь? — спросил я.

— Надо заставить их раскошелиться! — сказал Эдик, достав карандаш. — Я за день могу сделать чертеж... Так... Стол, да?..

И он стал набрасывать на белом листке, который догадливо положил перед ним помреж Витя Соколов.

— Теперь... Табуреты, да?.. Вот такие... И спинки к табуретам, вставные, да?.. Вставки вот такие, видишь?.. Теперь подсвечники, да?.. Как трезубцы... Видишь, уже стильно, да?.. Костюмы возьмем простые... Во-первых, свитера, да?.. Шарфы... Теперь... В табуретах отверстия для мечей... Ручки — крестовые. Мечи как кресты, да?.. Вставим их в табуреты... Плащи, да?.. Мечи стоят тут же, плащи висят тут же... Вот так... Тысячи за полторы можно это сделать. — И он бросил карандаш на готовый рисунок. — Я пойду к Гоге и попробую его развернуть против директора...

— Здорово! — сказал я. — Но верится с трудом...

— Посмотрим! — грозно сказал Эдик.

Но первый разговор с администрацией — до Гоги Эдик не дошел — ни к чему не привел. Вернее, привел к тому, с чего все и начиналось: необходимо избежать затрат. Уходя с этого свидания, Кочергин заявил, что если ему не дадут сделать то, что он хочет, он спектакль не подпишет. Ситуация выходила патовая, но, учуяв будущее представление, Эдик взгрустнул.

— Понимаешь, Володя, я бы мог сделать еще один хороший спектакль, — стал размышлять он. — Жалко терять возможность.

— Понимаю, — сказал я, — а мне не жалко?

Тогда он сказал:

— Вообще-то можно заказать мебель рабочим как халтуру... Они сделают нормально, но им надо заплатить, понимаешь?

— Понять нетрудно, — сказал я.

— Работа может обойтись рублей... Ну, в полтораста-двести... Если дадут материалы... Стол — тридцать пять, да?... Это я беру на себя... табуретки, скажем, по червонцу, да?... Штук двенадцать...

— Двенадцать — мало, — сказал я, — народу-то больше...

— Ну, шестнадцать... да?

— Эдик, — сказал я, лелея в груди возрождающуюся надежду. — О чем разговор? Что Бог пошлет — отдам...

— Ну вот, — сказал он, — тогда попробуем таким путем... Не мытьем, так катаньем...

— Конечно, — сказал я. — «Розу и Крест» вообще никто не видел. Нет, вру. В Костроме, в двадцатых годах, несколько раз прошла... Мы будем — вторые.

— Да? — спросил Эдик.

— Да, — сказал Р. и добавил: — Юрий Бонди ставил и оформлял, брат Сергея, пушкиниста... У меня с братьями Бонди опять одни интересы: сначала — «Русалка», теперь — «Роза и Крест»...

— Ладно, — решил Эдик, — к Гоге вместе пойдем.

Когда мы «взошли» в кабинет, у Мастера был Саша Гельман. Гога был благодушен, и мы внесли свое предложение.

— А что?... Скинемся! — весело сказал Мэтр. — Я тоже участвую. — И, показав на нас Саше Гельману, добавил: — Вот какие люди у нас в театре!.. Не перевелись!..

Но тут Эдик сказал:

— В этом случае я подписываю спектакль, и он мне засчитывается в норму, да?

— А-а-а! — громко и обрадованно протянул Гога. — Вот оно что!.. А я думал, что вы абсолютно бескорыстны!.. Но зато это — честное признание!..

И все засмеялись...

Занятый в «Розе и Кресте» Женя Соляков как член профкома пообещал разбиться в лепешку, но обеспечить участие в «складчине» профсоюзных средств из графы «на культуру».

— Деньги «на культуру» пустим «на халтуру» и оформим «Розу и Креста», — спел он на какой-то одесский мотив.

Однако, узнав об этих планах, Суханов заявил Гоге, что не может допустить, чтобы творческие люди во вверенном его руководству

БДТ «скидывались» на левую работу. Поэтому он предлагает нанять и оформить на пару сотен рублей какого-нибудь человека со стороны, который передаст деньги тем рабочим из наших мастерских, которые будут делать мебель по чертежам Эдика. Таким образом, Геннадий Иванович рисковал и даже шел на должностное преступление, чтобы сделать благородный вклад в юбилейный блоковский спектакль.

Однажды, выходя от Гоги, я столкнулся с директором и завпостом Кувариним. У них были решительные лица, и завпост, не успев плотно закрыть за собой дверь, тут же выглянул из кабинета и позвал меня за собой. Его тон мне не понравился.

— Садитесь, Володя, — строго сказал Гога и, повернувшись к Куварину, добавил: — Я слушаю.

— Георгий Александрович, — сказал Куварин официальным тоном, — я поговорил с Кочергиным. Оказывается, у него по «Розе и Кресту» десять позиций. Он хочет строить новые станки, покрывать сцену линолеумом, красить все в черный цвет, чертить и заказывать мебель и так далее... Мы тут подсчитали, во что это обойдется, — Володя повернулся к директору, и тот, поджав губы, кивнул, — получается три тысячи рублей...

Очевидно, цифра представлялась убийственной, а взрывная реакция Товстоногова — неизбежной.

Я понял, что атака была подготовлена: по плану ни я, ни Кочергин не должны были участвовать в сцене. Подтекстом наступающей стороны было глубокое возмущение несоблюдением предварительной договоренности обнаглевшим Рецептером. Ему, мол, была разрешена постановка *безо всяких затрат*, а он, стакнувшись с Кочергиным, хочет запустить руку в театральный карман на целых три тысячи!.. Хорошо, что в театре есть люди, которые не допустят беспочвенных посягательств...

Вообще-то говоря, Володя Куварин, в прошлом фронтовик, потом отличный макетчик, был человек мастеровой и дельный и не случайно вырос при Гоге до положения заведующего постановочной частью. Просто он хорошо усвоил негласное правило: то, что ставит в театре Товстоногов, достойно материальных и трудовых затрат, все

же остальное — никак нет. Особенно — Малая сцена и всякие там сомнительные эксперименты!..

К тому же Эдик Кочергин, сценограф блистательный и бескомпромиссный, а человек нервный и фанатический, придя в БДТ главным, стал предъявлять Куварину повышенные требования и, при поддержке Товстоногова, добивался своего.

В случае с «Розой и Крестом» появлялся хороший повод взять у Кочергина реванш: их то скрытая, то явная конфронтация с Кувариним длится, по-моему, по сей день и не имеет шансов окончиться при жизни.

Но главной причиной атаки на «Розу и Крест», на тот момент частично поддержанной директором, было, кажется, исторически сложившееся, корневое и, в общем, естественное нежелание русского мастера делать *лишнюю* работу.

— Вы же договаривались, что спектакль ничего не будет стоить, — сказал Куварин, не глядя на меня.

И тут произошло чудо.

— То есть как это спектакль ничего не будет стоить? — грозно переспросил Гога, глядя поочередно то на директора, то на завпостта. — Кто это вам сказал?..

В некотором замешательстве, однако и не без твердости в теноре, Суханов ответил:

— Это мне сказали вы, Георгий Александрович.

— И мне, — подтвердил Куварин.

Но Товстоногов не дал им опомниться.

— Да, — страстно сказал он, — мы договорились, что не покупаем ничего нового!.. Но это вовсе не значит, что ничего не будет сделано!.. Разве вы не понимаете, что придет зритель, и нужно ему показать СПЭК-ТА-КЛЬ, а не халтуру!.. Если у Кочергина есть десять позиций, это значит, что он отнесся к делу всерьез!.. А если он отнесся всерьез, значит, и мы должны подойти серьезно и эти десять позиций ему дать!..

Гога молотил их железной логикой, и ему не потребовалось дополнительных аргументов. На моих глазах с Кувариним и Сухановым происходило чудо преображения, и они принялись кивать ему в такт.

— Ну да, — сказал Куварин, — работу мы сделаем. Ведь она будет засчитана как спектакль?..

— Разумеется, — удовлетворенно подтвердил Товстоногов и добавил: — Ведь если бы цеха не делали этого, они должны были бы делать что-то другое!..

— Конечно! — сказал Суханов.

— Вот видите, — сказал Гога, и действительно все увидели все гораздо яснее и как бы заново...

Оказалось, что у Володи даже есть наготове отличный план.

— Я думаю так, — сказал он, — 25 октября на Малой сцене пройдет последний спектакль, после чего мы разбираем старый станок и делаем новый, для «Розы и Креста». А когда театр вернется из Венгрии, можно будет уже до самого выпуска репетировать на новом станке.

Видя, что сопротивление полностью подавлено, Гога сменил тон и доверительно сказал директору:

— В министерстве как раз хвалят нас за то, что к блоковскому юбилею у театра будет свой спектакль.

— С кем вы говорили? — заинтересованно спросил Суханов.

— Только вот стол, — озабоченно сказал Куварин.

— Ну, что же? — живо переспросил его Товстоногов.

— Свободен стол только из «Цены», — задумчиво продолжал Володя. — Но на нем же нужно лежать, — и впервые за всю сцену посмотрел на меня.

Тут наконец и Р. подал голос:

— Меня устроит тот стол, который устроит Кочергина. — Моя скромность просто не имела границ. — Кажется, стол из «Генриха» подошел бы. Его можно покрыть скатертью, а если будет длинен...

— Можно укоротить, — с готовностью подхватил Куварин. «Генрих» у нас уже не шел.

— Да, — развивал мозговую атаку Товстоногов, — сначала стол покрыт скатертью, во время читки по ролям, а потом скатерть снимается, и на сцене — средневековый стол!..

— Это очень хорошо, — сказал Суханов, добавляя масла в костер занимающегося творчества.

— Ты скажи об этом Кочергину, — снова обратился ко мне Куварин, увлеченный художественной идеей.

Теперь мы все были единомышленниками и дружно махали крыльями вслед за Вожаком. Теперь-то было ясно, что все мы — одна стая.

Мы были одна стая, но не могли же мы летать всем скопом и, пока никакой работы не было, шастали по японской столице в режиме туристических групп, путая искусственные «квартеты». Начальство не то чтобы закрывало на это глаза, но было увлечено собственными задачами, о которых стая не полагалось знать. Но поскольку задачи у всех были пока одни и те же — побольше увидеть и получить отовариться, — получалось, что почти любой знал о каждом и каждый знал почти о любом. В обмене информацией о взаимных успехах и состояли безработные досуги. И хотя одни делились своими открытиями — мол, на станции Хорадзуки дешевая распродажа шуршащих курток, — а другие предпочитали партизанский молчок, все тайное неизменно становилось явным.

Надо отдать должное патриотизму советской колонии, которая не оставляла нас своим заинтересованным вниманием.

Здесь тоже сказывалось «классовое расслоение»; «первачей» разбирали посольские чины высоких рангов; артистов поскромней, известных по кино- и телеэкранам — дипломаты среднего звена, а остальным приходилось ловить случайную удачу или довольствоваться «одиннадцатым номером», то есть своими ногами...

Впрочем — из песни слова не выкинешь, — на японском транспорте старались сэкономить многие, стоило однажды обнаружить, какие капиталистические сувениры равняются в цене билету на метро. Несложный подсчет подсказывал каждому, что за сумма у него сохранится, если он отдаст предпочтение пешим походам тридцать, сорок, а то и пятьдесят раз, и любовь к ходьбе приобрела идейный характер.

— Как пройти на Гинзу? — с милой улыбкой спрашивала японского городского актриса А., солидная матрона, пускавшаяся в путь с еще более солидной и возрастной актрисой Б. Вопрос, естественно, задавался с помощью жестов и четкой русской артикуляции,

на что японский городской отвечал по-английски, дважды или трижды употребляя опорные слова.

— Это далеко, лучше ехать на метро.

— Сэнкью, сэнкью, — сияла первая матрона, и вторая помогала ей, удваивая северное сияние:

— Сэнкью, сэнкью!

Тут первая повторяла вопрос, помогая себе выразительными руками:

— Гинза, Гинза, это идти так — прямо, а потом — на-пра-во или на-ле-во?

— Плиз, плиз, — говорил вежливый полицейский и показывал прямо: — It is subway, station of subway Karakouhen.

И на глазах удивленного городского наши дамы устремлялись в сторону, противоположную указанной, продолжая мерить японские версты красивыми в прошлом ногами...

На фоне всеобщей бережливости особенно эффектно выглядели те, кто позволял себе нерасчетливые поступки, например, Зинаида Шарко, которая просто потрясала угрюмые сердца некоторых сосьетеров и сосьетерш. Она не только пользовалась городским транспортом, но и покупала в экзотических лавках фрукты, овощи и другие противоконсервные излишества.

— Что у тебя на столе? — устрашающе спрашивала ее одна из постоянных наставниц.

— Салат, — с обезоруживающей наивностью отвечала Зина.

— Нет, это не салат, — грозно одергивала ее оппонентка. — Это валюта!.. Учти!..

А вторая, бегло оглядев жизнерадостный стол Зинаиды, рубила с плеча:

— Ты прожрала и пропила три с половиной пары туфель и десять пар кроссовок!..

— Да ты попробуй, попробуй, как вкусно, — пыталась сгладить идеологический конфликт беспечная Зинаида.

— Нет, ни за что! — отвергала соблазн бескомпромиссная прокурорша и перед тем, как хлопнуть гостиничной дверью, выносила окончательный приговор: — Дура ты, Зинка! Тебя лечить надо! Настоящая дура!..

Вот почему артист Р. испытывал по отношению к Зинаиде чувство восхищения и пытался ей подражать, хотя бы отчасти.

Р. не мог жаловаться на судьбу, и уже в первое время стал попадать то в «тойоту» Юры Тавровского из журнала «Новое время», то в «ниссан» Юрия Орлова из Совэкспортфильма и успел кое-что повидать: оглушительный рыбный рынок или знаменитый парк Йойоги, разбитый на месте американского аэродрома, где отрывная молодежь осваивала рок и на отдельных пятачках кучковались «Strey kats» или «Dongly boys»...

Тавровский водил в японскую едальню и приглашал домой, в ту самую квартиру, что снимал до него журналист-перебежчик и которую Юра нарочно оставил за собой.

— Что нам скрывать? — задал он риторический вопрос, но перед тем, как мы вступили в его подъезд, предупредил: — Входим в зону активного прослушивания...

И вдруг... Вот оно, счастливое словцо, движитель не одного нашего сюжета: вдруг!.. Как бы долго ни шло к началу наших представлений на японских островах, оно застигло нас внезапно... Нет, не врасплох, но все-таки...

Господин Ешитери Окава взял себя в руки и наперекор судьбе и несчастным обстоятельствам принял решение гастроли начинать. В жестокой внутренней борьбе взяло верх начало мужественное и подлинно самурайское, которое до времени таилось в глубинах его загадочной японской души. Сделав резкий выдох и обнажив боевой меч, он подал своей фирме полководческий сигнал «В атаку!..»

Между прочим, когда находишься вблизи острова Сикоку, само слово «атака» звучит совершенно по-японски... Доказательство этого — имя молодой японской зрительницы, ставшей впоследствии моей доброй знакомой. Эту трогательную русистку звали Рисако Атака...

Конечно, началу предшествовали согласования с министерством иностранных дел Японии и полицейским управлением города Токио, выславшим впоследствии на охрану одного русского спектакля до тридцати полицейских, а также с советскими учреждения-

ми: Госконцертом и минкультом в лице первого зама министра Ю. Я. Барабаша...

Конечно, Ешитери-Хириси, в отличие от нас, держал совет и с древними японскими богами, но, получив их согласие, повел себя безупречно. Фирма объявила: «С завтрашнего дня будем всех кормить завтраками». Вместе с сообщением о премьерке это известие вызвало общий энтузиазм, и под компот из персиков, кофе со сливками и сдобные булочки было единогласно решено, что жизнь движется вперед, а искусство по-прежнему вечно.

— 11

16 сентября 1983 года на сцене театра «Кокурицу Гокидзё» давали «Историю лошади».

Что такое сорок, ну, пусть пятьдесят зрителей, сидящих сиротливой горсткой в огромном, чужом для нас помещении, в сравнении с ленинградским билетным голоданием и горделивой привычкой актеров к переполненному, гудящему, счастливому залу?

Тем заметнее было старание пришедших создать премьерную праздничную атмосферу: и посольские, и японцы — включая группу молодых русисток, знакомых нам по «Хабаровску», — и свободные от спектакля наши были щедры на аплодисменты...

Рукоплесканиями наградили уже первое явление — выход цыганского оркестра. Попробуем уточнить. Музыкальное решение спектакля было — «цыганский оркестр». Воплощали же его завмуз Семен Ефимович Розенцвейг в малиновой рубашке, со скрипочкой; выходящий в коричнево-фиолетовой гамме Александр Евсеевич Галкин, с огромным, больше него самого, контрабасом; ударник Коля Рыбаков — в ладной бежевой косовороточке, с бубном и прочими причиндалами; и еще двое: светловолосый гитарист Юра Смирнов — в желтеньком и Володя Горбенко в ярко-розовом и с баяном; все они были перепоясаны цветными шнурками и выступали в заправленных в сапоги свободных штанах с видом абсолютных любимцев публики.

Ребята работали отлично и держали улыбки, как положено, но в глубине музыкальной души каждого из них оставалась доля некоторого смущения, потому что они чувствовали степень своей теа-

тральной условности. Хотя, по большому счету, национальный состав нашего оркестра вполне соответствовал принятым в подавляющем большинстве цыганских эстрадных коллективов нормам: один украинец, два русских и два еврея.

Особенно тяжело «цыганщина» давалась Розенцвейгу и Галкину: оба были в солидном возрасте, оба честно прошли войну, причем Галкин, служа в пехоте, был тяжело ранен и приволакивал левую ногу, оба всерьез задумывались о жизни...

У Саши Галкина было мечтательное лицо примерного шахматиста; казалось, что наш пожизненный кандидат в мастера, даже играя на контрабасе, продолжал решать проблемы миттельшпиля, и оттого, что они не давались, в его глазах светилась вечная и известная всему миру скорбь. Именно Галкин был главным должителем музчасти: он пришел в БДТ в 1951 году, когда театр держал в штате большой оркестр, состоящий из восемнадцати или даже двадцати инструменталистов, а во главе его был Николай Яковлевич Любарский.

Но, совершая в БДТ свою революцию 1956 года, Г. А. Товстоногов, как помнится Галкину, закрыл оркестровую яму и упразднил оркестр, оставив на развод нескольких, а может быть, только двух музыкантов. В числе оставшихся Саша запомнил себя (контрабас) и Юру Темирканова (скрипка).

Теперь всемирно знаменитый дирижер Юрий Хатуевич Темирканов может при случае с нежностью рассказать о своих театральных началах рядом с Георгием Александровичем Товстоноговым и Александром Евсеевичем Галкиным, а особенно о спектакле «Поднятая целина», где они с Сашей в сцене партийного собрания исполняли туш, а Павел Луспекаев в роли Макара Нагульного, хватая их за грудки, страстно прерывал музыкальный дуэт скрипки и контрабаса.

И все-таки на первых порах в спектаклях Товстоногова музыки было маловато, и однажды заместитель директора Самуил Аронович Такса, один из авторитетных специалистов театрального дела в Ленинграде, вызвал Галкина к себе и предложил ему решать вопрос собственного трудоустройства.

— Понимаешь, Саша, — сказал Самуил Аронович, — ты у нас совсем ничего не делаешь, а зарплату все время получаешь. Это нехорошо. Так мы с тобой в журнал «Крокодил» попадем.

— Разве я виноват? — спросил Галкин и, не получив ответа, вышел за дверь.

Он догадался, что ответ Самуила Ароновича был бы похож на ответ волка ягненку в знаменитой басне Крылова.

Но, узнав об этом разговоре, Копелян, Стржельчик и Юрский пошли к Товстоногову и попросили вступить за Сашу перед Таксой. И не только потому, что Саша — кавалер ордена Отечественной войны, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и многих других. И даже не потому, что он кандидат в мастера по шахматам. И совсем не потому, что он держит не одну, а несколько сберегательных книжек и ссужает деньги в долг, что называется у его нуждающихся прихожан «попользоваться Сашиной библиотекой». А потому, что, наверное, в планах Георгия Александровича все-таки есть перспектива какого-то музыкального развития.

Оказалось, что музыкальная перспектива есть: скоро композитор Кара-Караев должен дописать музыку к спектаклю «Король Генрих IV», где у Саши Галкина может появиться много ударной работы. То есть работы на ударных инструментах. И Гога предложил Саше временно отложить контрабас, имея в виду вероятность стать исполнителем важной барабанной роли.

Поэтому, когда Кара-Караев завершил создание своей музыки и оказалось, что его партитура содержит сложнейшую партию барабана, Саша уже отчасти переквалифицировался и был к этому относительно готов. Долгожданный «Генрих IV» должен был начинаться с появления барабанщика и исполнения им увертюры на двух или трех барабанах. Пока работа шла в репетиционном зале, Товстоногов не обращал на Сашу должного внимания, но как только перешли на большую сцену и он прежде всех пошел к своему месту, Гога остановил репетицию, вызвал тогдашнюю заведующую гримерным цехом Лену Полякову и сказал:

— Лена, нужно срочно что-нибудь придумать, чтобы снять с Саши Галкина его еврейство.

И Лена обклеила Сашу бородой и усами, маскируя его не то под могучего шотландца, не то под упрямого ирландца, но некоторых даже такой сложный грим все-таки не убедил.

В этой связи характерны новые сведения о гастролях 1983-го, полученные от самого Галкина. Оказалось, что, высадившись в Йокогаме, он тоже не избежал нападения японских операторов и репортеров и был вынужден отвечать на их вопросы о южнокорейском «Боинге».

Директор пытался его спасти, советуя на ухо:

— Уходи, Саша, уходи!..

Но следует иметь в виду, что Саша всегда чувствовал себя не только музыкантом и шахматистом, но и солдатом 45-й ордена Ленина гвардейской дивизии и не привык отступать с поля боя. Поэтому гвардеец Галкин, сожалея о случившемся, не преминул сказать японским корреспондентам, что корейский «Боинг» *все-таки залетел на нашу территорию*. И тем же вечером, в Токио, он увидел по телевизору свое задумчивое лицо с неизгладимой печатью еврейской мировой скорби, и титр на английском языке: «рашен мардерс», то есть «русские убийцы»...

Когда «История лошади» закончилась, каждый из пятидесяти зрителей стал аплодировать за десятерых, и у всех участников содалось впечатление полного успеха. Ему способствовало щедрое множество цветов и тот небольшой, но удивительно нежный букет, составленный по законам икебаны, который юная Иосико вручила сидящему скрипачу в малиновой рубашке:

— Багодарью вас, сенсей!..

После «Истории лошади» шел «Ревизор», и мне предстоял дебют на японской сцене. Не скажу, что я трепетал от волнения, но и вполне спокоен тоже не был; дебют выходил двойной: впервые в Японии и впервые в «Ревизоре».

Понимаю, как смутятся историки драматического искусства, не заметившие в этой постановке артиста Р. Вижу, как они взволнуются и зашуршат пожелтевшими программками, выводя сочинителя на чистую воду: «Что такое? Когда это Р. играл в «Ревизоре»? Хлестаковщина!.. Не было этого никогда!..»

Так вот — было. И не менее семи раз. В одном Токио — четырежды.

А еще — в Осаке, Нагое и Маэбаси по разу...

Перед отъездом у нас вышел короткий разговор с Гогой.

— Володя, — решительно сказал он, — вы понимаете, что всю труппу мы вывезти не можем. Каждый человек на счету, поэтому я прошу вас, кроме «Мещан», выйти в качестве гостя в «Ревизоре»... — И скорбно пояснил: — Вместо Виталия Иллита.

Об этой замене я знал как о деле решенном и сказал:

— Хорошо, Георгий Александрович...

Оказалось, что дело не потребовало больших усилий, и он несколько обмяк.

— Разумеется, это относится только к Японии, в Ленинграде делать этого вам не придется, — сказал он.

Я скромно сказал:

— Спасибо, Георгий Александрович.

После новой цезуры с какой-то неуверенной интонацией он предположил:

— Костюм Иллита должен вам подойти... Мне кажется, вы одного роста, — очевидно, историю с примеркой костюма Гриши Гая ему рассказали подробно.

Упрощая разговор, я сказал:

— Да, Георгий Александрович, этот костюм, думаю, подойдет. — И добавил: — С утра начинаю работать над ролью.

Гога недоверчиво вскинул брови:

— Там нет никакого текста...

— Тем более, — сказал я, — работа сложнее.

Тут наконец он хмыкнул и засопел.

Выступать в пользу Иллита, так же, как затевать разговор о Гае, было не только бестактно, но и бесполезно.

— Я рад, что «Мещане» все-таки едут, — сказал Р.

Он живо подхватил:

— Как вы понимаете, я тоже!..

Читателю, не пережившему наших побед, скажу напрямик: я считал и считаю Большой драматический эпохи Товстоногова луч-

шим театром всех времен и народов, а «Мещан» — лучшим спектаклем этого художника. Мое заявление, конечно, декларативное и отчасти вынужденное, должно было прозвучать давно и наконец прозвучало во избежание возможных кривотолков, которых невозможно избежать.

Кривотолки были и остаются на театре проверенной принадлежностью, являясь оружием нападения и средством защиты, особенно для тех патриотов, которые не стесняются называть себя именно так, в отличие от других, которые почему-то стесняются.

Подобное расслоение происходит и на театре политических представлений, и в самом обществе, очумевшем от неудач, и с каждым годом становится очевиднее, что «патриотами» в подавляющем большинстве величают себя лица неодаренные или одаренность утратившие, в собственных силах не уверенные, а оттого и развивающие в себе инстинкт стадности и постоянно самоутверждающиеся с помощью визга или обезьяньего поколачивания кулаками в собственную грудь.

И поскольку время от времени возникает общественная опасность кулачного нападения «патриотов» на всех остальных, автор рекомендует последним, то есть остальным, хотя бы из чувства самосохранения запастись парой простых и желательно искренних деклараций на крайний случай. Например: «Я считал и считаю Большой драматический эпохи Товстоногова лучшим театром всех времен и народов...» и т.д.

Конечно, если крайний случай все-таки наступит, декларации никого не спасут, но при этом сохранится слабая надежда избежать хотя бы кривотолков.

Сделав признательное отступление, артист Р., как ему кажется, получает право сообщить читателю, что его любимых «Мещан» в Японии оценили меньше, чем в других странах Европы, Азии и Латинской Америки, и на это была своя причина.

Оказалось, что ни на одном из японских островов аборигены не имели понятия о «конфликте поколений», который так занимает нашу и европейскую публику. Представители японской общественности деликатно объяснили нам, что на Хоккайдо и Хонсю нет и никогда не было «конфликта отцов и детей», который из века в век питает воображение русских художников. А на Сикоку и Кюсю воспитание

полностью исключало скандальные конфронтации в лоне семьи. Таким образом, наших с Лебедевым, то бишь с папашей Бессеменовым, перебранок японцы не понимали настолько, что один из планируемых спектаклей был даже заменен на «Дядю Ваню», в котором артист Р. действительно никогда замешан не был.

Нет, количества публики замена не прибавила, и сотрудники Ешитери-Хирози шептались, что в Нагое до сих пор ни один билет не куплен, но факт остается фактом: Антон Чехов со своим «Дядей Ваней» оказался ближе японским зрителям, чем Максим Горький с его «Мещанами», как это ни печально для всего коллектива в целом и для артиста Р. в частности. Поэтому он, видимо, и возомнил, что его участие в «Ревизоре» заслуживает какого-то внимания. Пожалуйста, простите его.

Для того чтобы ступить за кулисы «Кокурицу Гокидзё», нужно было прежде всего снять уличную обувь и надеть голубые тапочки. В них все опять себе понравились и принялись пошучивать в том смысле, что голубые отлички на мужских ногах наводят женщин на грустные размышления о всеобщем падении нравов, и вообще, мол, разница между голубыми и белыми тапочками не слишком велика. Но были и оптимисты.

— Ну как в музее, — восхищался театром Юзеф Мироненко, примеряя перед зеркалом свою жандармскую каску. Кажется, он играл Свистунова, а может быть, и самого Держиморду. Ах да, вспомнил, Свистунова и Держиморду Товстоногов сложил вместе и разделил на троих, стало быть, Юзеф был и тем, и другим, и еще кем-то третьим...

Помещения для актеров были разгорожены ширмами, и, переодеваясь в костюм Иллича, я чувствовал себя не просто *инопланетянином*, а как бы инопланетянином *не в своей тарелке*.

И правда, все здесь было чужим для Р. — островная империя, здание нового театра, таинственные сигналы, оставшиеся от самого «Кабуки», общие помещения с легкими ширмами, таблички с иероглифами на дверях и эти голубые тапочки, а главное, чужой спектакль, костюм с чужого плеча и бессловесная роль, пока еще невидимка...

Но костюм и впрямь был как раз, и Р. стал прогуливать его по японскому коридору, принаравливаясь к длинным фалдам партикулярного сюртука и воображая, что же такое — его молчаливый аноним в гостях у городничего. Я взглянул в зеркало, и мне показалось, что оставшийся в Ленинграде Виталий Иллич, подмигивая, указывает на моего соседа.

Рядом приседал, шамкал и жестикулировал Иван Матвеевич Пальму, входя в роль лекаря Гибнера. Я вспомнил, почему шутник Иллич кивал на него.

В числе сыгранных ролей был у Матвееича некий калмык в спектакле о нашей современности. Однажды Пальму, приглаживая калмыцкие усы, нескромно сообщил Илличу:

— Знаешь, Виталий, меня послали на «заслуженного»!..

— Слышал, — невозмутимо сказал Иллич, — вот ты и получишь «заслуженного артиста Калмыцкой автономии».

Вспомнив этот внутриведомственный анекдот и получив воображаемый привет от Иллича, Р. вдруг стал принимать чувствительные сигналы и от того молчальника, которого обязался вывести на японскую сцену вместо него. Так же, как Виталий, он начинал нравиться мне, потому что вел себя честно, наученный горьким опытом, не лез на рожон и, не в пример мне, никогда и никому не объявлял своего дурацкого мнения.

Р. понял, что бессловесный гость обрел внутреннюю свободу с тех самых пор, как услышал о себе пронизательное высказывание нашего классика: *Молчит, а в голове все обсуживает.*

Тут же, со всей внезапностью открытия, прояснилось, что он, разумеется, *пьет*, этого не скрывает и с сегодняшнего утра с великим нетерпением ждет момента, когда сможет от всей души отдаться стихии губернского праздника. Именно сегодня он наконец, как ровня, *дорвется* пожимать кисти городскому начальству и целовать ручки великосветских дам...

Прикинув, что делать на сцене во время визита, — гость выходил исключительно ради поздравления с удачей, — Р. пошел смотреть прогон спектакля и, конечно, напоролся на Гогу...

Прогон уже начался, и, сидя недалеко от Мастера, я смотрел его с естественным любопытством входящего новичка, но в то же время несколько отстраненно...

Ни я, ни Гога не видели спектакля чуть ли не со дня премьеры, я — оттого что не был занят, а он — потому что после выпуска вообще не мог смотреть свои спектакли.

Очевидно, в этом была своя закономерность: репетировал он по многу часов подряд, забывая сходить в туалет и все время возвращаясь к началу. Процесс создания спектакля всякий раз требовал от него органической постепенности. То есть каждая последующая сцена должна была вырасти непосредственно из предыдущей, и, начиная от печки, Гога постоянно проверял на прочность появляющуюся ткань, штопая вчерашние прорехи и закрепляя важные узлы.

Сочинение сценического романа обычно так увлекало его, что репетиционный период можно было сравнить с настоящим мужским загулом, только вместо женщин у него под рукой послушно поворачивались актеры и цеха, а вместо выпивки шла нескончаемая сигарета.

Курил он на репетициях буквально одну за другой, выпуская дымы, сопя, побрякивая и подавая возбужденные реплики, в полном душевном и телесном единении со всем, что происходило на сцене. Естественно, к концу работы он полностью выкладывался и, независимо от результата, жутко утомлялся. Когда же спектакль выходил и наконец встречался со зрителем, Мастер от него инстинктивно отодвигался, как бы из чувства самосохранения. А за премьерой и рядовыми представлениями следили уже «дежурные режиссеры»: Роза Сирота, Юра Аксенов или кто-нибудь еще. А сам Гога показывался только к финалу акта, или в конце спектакля, или на какую-нибудь ударную сцену, заканчивающуюся аплодисментами, или чтобы посмотреть реакцию приглашенных в его, то есть левую, ложу уважаемых гостей...

«Ревизор» был уже другой: Тенякова и Юрский жили в Москве, а остальные не то чтобы потускнели, но были, пожалуй, излишне уверены в себе и по привычке к предлагаемым обстоятельствам. Впрочем, это был черновой прогон, на спектакле все могло измениться. Тем не менее действие шло, и чем дальше, тем понятнее становилось,

что хорошо бы мне оценить и внятно одобрить какую-нибудь режиссерскую находку Георгия Александровича и довести свое одобрение до его ушей.

Я смотрел прогон и ждал момента, который мог бы оценить если не с искренним восхищением, то с честной похвалой. Но глядя на сцену и отметив в себе бестрепетность «дежурного режиссера», я подзадержался с одобрением, и тогда Гога, сидящий через кресло от меня, доверительно подсказал:

— Я хорошо это придумал, этот монтаж...

Мне оставалось просто подтвердить его трогательный комплимент самому себе, но по своему дурацкому обыкновению я предпочел тупо признаться:

— Я не помню, Георгий Александрович, я давно не видел...

Гога терпеливо пояснил:

— Здесь, где говорят о приезде Хлестакова, я вставил часть второго акта...

— А-а-а, — протянул Р., еще не вполне понимая, и спросил: — Как продолжение рассказа?

— Да, — довольно и выжидающе подтвердил он.

Но и тут вместо прямой похвалы я глубокомысленно выдавил из себя голый глагол: «Понимаю».

Мы хорошо знали, что одного понимания все-таки недостаточно. Чтобы жить с Мастером душа в душу, нужно было его не просто понимать, а принимать, одобрять и восхищенно поддерживать во всех проявлениях композиционного гения. Это не удавалось только законченным идиотам. Наконец, заставив себя поверить, что вставка из второго действительно улучшает первый акт «Ревизора», я родил слабоватое, но искреннее и даже сопровождаемое кивком головы: «Хорошо».

И было хорошо, пока не наступил финал первого акта: городничий собрался и поехал в гостиницу к Хлестакову.

Тут-то мне, дураку и филологу ташкентского разлива, ударила в лоб грубая догадка о том, что композиционный гений Гоголя все-таки не слабее Гоголина и автор нарочно весь первый акт нагнетает тревогу и загадывает загадку: кто же это такой поселился там, в гостинице? И только когда городничий уезжает это выяснять, мы попа-

даем в номер Хлестакова и Осипа. *Пока те сюда едут, в гостинице происходит вот что*, и становясь сообщниками Гоголя, мы только теперь понимаем, что Хлестаков — вовсе не ревизор. Так, по-моему, достигается непрерывность и растет напряжение драматического действия...

Тут я стал молча придираться к исполнителям, отмечая разные прогонные недостатки, и тем самым повел себя вовсе не корректно. Оправдывало меня — и то в малейшей степени — лишь то, что не только Гоге, но и никому другому, кроме своего дневника (двойника), я своих замечаний не открыл.

К антракту господин Бессловесный, хотя и носил костюм сдержанного Иллича, повел себя беспардонно и так расшалился, что еще за кулисами начал приставать к мимо следующим дамам с сельскими комплиментами. Делать этого никак не полагалось, но, очевидно, его, так же как и артиста Р., привело в полное восхищение то, что хозяева театра «Кокурицу Гокидзё» предложили ленинградским артистам зеленый чай из маленьких пиал. А это было уже совершенно по-узбекски!..

Товстоногов на второй акт не пошел, а уселся за кулисами на низком диванчике и опять покуривал, озираясь по сторонам.

Прогуливаясь поодаль, Р. заметил, что Мастер одну за другой делает попытки подняться с дивана, дергаясь с места, но его подводят ноги, и встать никак не удается.

Трудно быть свидетелем слабости великого человека, и Р. сделал вид, что ничего не замечает. Тогда Гога обратился к нему:

— Володя, вы не знаете, где этот зеленый чай?

— Вот здесь, рядом, Георгий Александрович, — показал Р. за угол и налево.

Мастер снова дернулся с места и снова не смог встать. Очевидно, ноги уже тогда начинали его подводить, но масштабов грозящей опасности никто еще не представлял.

— Володя, — робко сказал он, — вам не трудно принести мне зеленого чаю?

— Конечно, нет, Георгий Александрович! — воскликнул недогадливый Р. — Одну минуту!

— Не в службу, а в дружбу, — послал он вдогонку, и Р., оглядываясь на ходу, радостно ответил:

— Ну разумеется, Георгий Александрович, именно так!..

Хотя слово «дружба» было произнесено Мастером в составе поговорки и не могло иметь буквального смысла, оно согрело преданное сердце артиста Р. Вернувшись с чаем, он, по узбекскому обычаю, приложил левую руку к груди и, с поклоном передавая маленькую фарфоровую пиалу, сказал:

— Ана чой!..

— Большое спасибо, — сказал Гога, принимая ее, и спросил: — Это вы по-узбекски?..

— Да... И зеленый чай — тоже... Всё как в узбекской чайхане... Не хватает только тюбетеек... «Ана чой!» значит «Вот чай!»

Мастер стал осторожно прихлебывать, неумело держа пиалу не одной рукой снизу, а обеими — за края.

— Кстати, Георгий Александрович, — сказал Р., — не удивляйтесь, пожалуйста, если узбекское начальство попросит вас одолжить меня на постановку. В Театре Хамзы нет главного и неважные дела. Они знают, что, с одной стороны, я — от Гинзбурга, а с другой — от вас, и мне сделали такое предложение...

— Да?.. А что они хотят? — любопытствовал Гога.

— Речь идет о классике. У них шел «Отелло» с Аббаром Хидятовым... Может быть, Шекспир... Я думал о Гамлете в восточном дворце, восточных костюмах, с восточными страстями, коварством, резней... Они говорят «хоп», то есть «хорошо», но предлагают подумать еще о Чехове...

— Ну, Чехов у них не получится, — решительно сказал Гога.

— Я тоже так думаю, и у меня про запас Достоевский... Может быть, «Идиот» с оглядкой на Куросаву... Русские имена по-узбекски звучат странновато... Например, Гаврила Ардальонович. И потом все эти наклейки, парики, армяки... Они должны играть себя и про себя... А настоящие страсти, любовь, ревность, все, что связано с деньгами, — это свое...

— Вы правы, — согласился Гога.

— Еще чаю? — спросил я.

— Нет, благодарю вас, довольно.

— Вы знаете, есть такое узбекское слово — «дивона»... Не «идиот», а, скорее, «блаженный», или «обезумевший от любви», или «влюбленный до святости»... Все эти смыслы... Не «дервиш», а «дивона». Это, по-моему, еще точнее о Мышкине, чем «идиот»... Ну, разумеется, нужно увидеть актеров, посмотреть, есть ли там Гамлет или Мышкин, но пока важно решить в принципе... Вы отпустили бы меня в Ташкент на постановку?..

— А вам хочется? — спросил он, глядя на меня снизу вверх.

— Честно говоря, да.

— Так ставьте, — решил он.

— 12

Возможно, я ошибаюсь, как, впрочем, и во всех остальных моих предположениях и выводах, но мне показалось, что одной из ведущих утренних тем стали всеобщие и взаимовыгодные консультации насчет японской аудио- и видеотехники, еще сравнительно редкой и дорогой на необъятных просторах нашей родины.

Инициативная группа лидеров — Рома Белобородов (замдир), Юра Изотов (завцех) и Гена Богачев (арт.) с двумя или тремя ассистентами, сведущими как в вопросах использования аппаратуры, так и выгодной ее «ликвидации», — совершив ряд пеших разведок, донесла, что в магазинчике господина Отадзими на Акихабаре, известном каждому прибывающему из СССР, есть достаточный выбор, а главное, ожидается коллективная скидка.

Это ключевое слово приобрело популярность не только за столиками, но и в номерах и стало производить на всех наркотическое действие, как музыка, звучащая из стереоколонок.

Так мы оказались «скованными одной цепью», ибо шаг вправо или влево от господина Отадзими и его налаженного бизнеса грозил потерей вождеденной *скидки*. Поэтому многие смельчаки, похорохорившись для порядка, возвращались в лоно «семьи», к «Ежику»: японец Отадзима носил почему-то польское имя Ежи. Как это с ним случилось, сказать не берусь, но в наших разговорах то и дело звучало «Ежик», «у Ежика», «с Ежиком», «Ежик обещал», «Ежик сбросит» и т.д.

— А балетные говорят, — засомневался Женя Соляков, — что технику надо брать не у него, а в магазине «Аэрофлот»...

— Это у Ежика «Аэрофлот», — сказал Жора Штиль.
— Нет, у конкурента, — сказал Леня Неведомский.
— Нет, у Ежика, — сказал Володя Козлов.
— Почему у конкурента? — строго спросил Юра Изотов.
— Потому что у Ежика может оказаться некомплект, — сказал Женя и пояснил: — Так балетные говорят...

— На Гинзе надо брать, а не на Акихабаре, — сказал Вадим Медведев, но Слава Стржельчик оспорил:

— На Гинзе цены хулиганские...
— Зато там товар первого класса, — сказал Миша Волков.
— Ну, это без нас, — решительно сказал Володя Козлов, — мы пойдем другим путем...

Очевидно, он имел в виду поиски вещей дешевых, на которые у нас были свои мастера, интуитивно определявшие отдаленные сейлы и бросовые распродажи. Этим умением особенно отличались «цыганский оркестр» и некоторые участники «табуна». Специалистов по уцененным товарам остроумный Женя Чудаков уже давно назвал «санитарами Европы», имея в виду то, что они благородно подчищали магазинные развалы и ярмарочные свалки. Впрочем, на гигантской осенней распродаже, которая раскинулась по всей территории стадиона «Каракуэн», бродили все, включая самых «благородных». Поэтому каждый, кто хоть однажды был замечен в позе разгребателя неупакованного ширпотреба, имел право носить титул «санитара» или, по другой версии, «ассенизатора Евразии».

Вскоре выяснилось, что конкурент Ежика дал *неправильное* интервью по поводу сбитого «Боинга», и оказалось, что от Отадзима-сан нам не отвертеться и *«с политической точки зрения»*...

При всей разнице вкусов главный технический «водораздел» проходил между теми, кто хотел приобрести аппаратуру в личное пользование, и теми, кто за ее счет решил улучшить свое материальное положение. В соответствии с целью менялись критерии и приоритеты...

Миша Волков сосредоточенно покупал, а на следующий день сдавал то одну, то другую японскую игрушку. Это отбирало у него много времени и душевных сил, потому что, приняв решение, он, как настоящий мужчина, немедленно его исполнял, дружелюбно про-

щался с продавцами и хозяевами, за ночь успевал передумать, а утром ошарашивал вчерашних друзей требованием вернуть деньги. Юра Аксенов сказал, что точно так же он вел себя во время летних гастролей по нашим войсковым частям, расквартированным в Восточной Германии.

Для таких гастролей бригады артистов формировало командование Ленинградского военного округа. Согласно обычаю, на местах приезжих кормили с офицерского стола, а суточные оставались на приобретение вещевого дефицита. От БДТ особенно часто в такие гастроли устремлялся Иван Пальму с Севой Кузнецовым, но как раз накануне Японии в группу «войсковиков» вошли Юра Демич, Лена Попова (в то время — жена Юры Аксенова) и Миша Волков. Так вот, еще в Германии Миша с утра отправлялся на военной машине с сопровождающим из гарнизонного городка километров за тридцать в близлежащий немецкий населенный пункт, приобретал там товары повышенного спроса, а из следующей части, куда успевала переместиться гастрольная бригада, уже на другой машине и с другим сопровождающим, километров за сорок возвращался купленные вещи сдавать.

Р. по заграничным частям никогда не ездил, но был о таких гастролях частично информирован, так как о поведении Волкова в Западной группе войск ему рассказывал Аксенов, а о поведении Аксенова — Волков...

В отличие от Волкова, Р., «коледенев над пропастью поступка» (малоизвестный перевод монолога «To be or not to be» Алексея Матвеевича Шадрина), почти всегда тянул с приобретением до последнего момента, покупал неуверенно и часто неудачно, а однажды, во время аргентинских гастролей, так и остался при половине суточных, которые в Союзе пришлось менять на «березовые» чеки. Это было крайне глупо и непрактично, но утешением служила мысль о том, что Ирина сама пойдет в «Березку» и выберет то, на что этих чеков хватит.

В Японии на мою тяжелую рефлексию обратил внимание Миша Волков и поделился наблюдением с Валей Ковель. Поэтому, расстреляв свои патроны, она предложила мне купить у нее «чудную японскую кофточку». Я попробовал уклониться:

— Спасибо, Валечка!.. Вот приедем в Питер, примерим...
— Ну-у, в Питер! — сказала она. — Мне сейчас иены нужны.

Р. осторожно возразил:

— Но, Валюша, у вас с Ирой даже издалека... бюсты разные.

Валя уверенно сказала:

— Вырастет!.. Вырастет у нее бюст! Можешь быть уверен!..

Покупай на вырост!..

— Я подумаю, — сказал Р.

— И думать нечего! — отрезала Валентина и пошла предлагать кофточку кому-то еще.

Юзеф Мироненко с Женей Соляковым обдумывали крутой гешфт с видеоманитофоном. Юзеф убеждал:

— Ты пойми, у меня в Ташкенте есть друг, он сдаст его за двенадцать тысяч как минимум! Ты что?!. В Ташкенте видак с руками оторвут!

— Он что, торгаш, комиссионщик? — спросил Женя.

— Кто? — не понял Юзеф.

— Ну, твой друг...

— Нет, — сказал Юзеф, — он тренер.

— В каком виде? — спросил Женя.

— Да неважно, — сказал Юзеф, — ты пойми главное: видак в Ташкенте — с руками!.. Да там их вообще нет!..

Юзеф не терял связи с родным городом, а Женя создал новую семью с девушкой из солнечного Узбекистана и тоже вошел в ташкентское землячество. В итоге японских переговоров Женя с Юзефом приняли решение «сложиться» и «взять на грудь» солидный японский видеоманитофон, предназначив его к продаже в столице Средней Азии. (Образное выражение «взять на грудь», автором которого, по-моему, являлся артист Борис Лёскин, расширило свое значение и, кроме «упражнения со штангой», приобрело добавочные смыслы, например «крепко выпить» или «купить дорогую вещь»...)

Итак, Юзеф и Женя осуществили задуманное и, возвращаясь из Японии, пролетели почти над Ташкентом, посылая мысленный привет другу-тренеру. А их аппаратура в общем контейнере приехала в Ленинград малой скоростью гораздо позднее.

Отправлять видак в Ташкент посылкой было не просто рискованно, но и глупо, и Женя с Юзефом стали ждать надежной okazji. И тут в гости к дочке приехал Женин тесть, представлявший сразу два братских народа, так как был наполовину узбек, наполовину казах, и клятвенно заверил полувладельцев магнитофона, что доставит видак до места целым и нераспечатанным. Однако Юзеф и Женя решили его провожать, обдумывая, как получить от «Аэрофлота» охранные гарантии.

Была глубокая осень, и Мироненко надел плащ с подстежкой, а Соляков — короткое кожаное полупальто, конечно, тоже заграничное, чтобы выглядеть как можно респектабельней.

Доведя тестя до стойки регистрации и показывая на него уверенной рукой, Женя солидным голосом сказал:

— Это — референт товарища Рашидова, он везет дорогостоящую японскую аппаратуру. Пожалуйста, позаботьтесь о ее сохранности!

Тогда все знали, что Шараф Рашидов — не только Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, но и кандидат в члены Политбюро, возглавляемого самим Брежневым. Поэтому люди на регистрации, не требуя дополнительных доказательств и подтверждая убедительность Жениной игры, сказали:

— Не беспокойтесь, товарищ. Мы проследим, — и, поставив на билете «референта» особую отметку, разрешили проводить его прямо в самолет.

Юзеф был нахмурен и нес магнитофон, прижимая его к взволнованной груди. Ему досталась роль молчальника *из личной охраны*.

Когда *референт товарища Рашидова* проходил в отстойник и двигался к самолету, Женя, слегка отстав, обратил внимание на его не вполне цековский вид, а особенно на дырчатую авоську, которую дорогой тесть не выпускал из цепкой руки. Из авоськи торчали невзрачная рыбка, ничем не прикрытые макароны и прочие демаскирующие тестя недефицитные продукты. Поэтому, доведя его до трапа, Женя подкорректировал легенду:

— Это — шофер референта товарища Рашидова, он везет... и т. д.

Но и тут оценили близость к руководству, и тут было обещано должное внимание, и видак благополучно улетел в Ташкент.

Долго ли, коротко, но «шофер референта» «товарища-тренера», и они «поставили» сказочную японскую аппаратуру в обыкновенный комиссионный магазин.

Никто не знает почему, но в ташкентском «комисе» к видеомагнитофону отнеслись скептически и резко снизили стартовую цену по отношению к идеализированной Юзефу сумме.

Но и это не помогло. Видак стоял на полке месяц за месяцем, и месяц за месяцем по согласованию с ленинградскими полувладельцами ташкентские полупродавцы снижали стоимость дивной игрушки. Ни один местный интеллигент не позарился на японское чудо, не говоря уже об узбекских рабочих и колхозниках-хлопкоробах. В чем было дело? Где крылась причина его упорной «неликвидности»? Кто разгадает загадку товарного спроса на рубеже времен и пространств? Кто осмыслит тайну тайн народного потребления?

«Хлеба и зрелищ» жаждал могучий имперский народ, что же за осечка вышла в богатой азийской земле? Зачем стоял и не хотел «уходить» в хорошие руки этот диковинный зверь?

Доныне струятся в душе эти и другие больные вопросы, на которые не смогли ответить не только шекспировский принц и чеховские интеллигенты, но и пророческий гений Пушкина.

Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру, и орлу,
И сердцу девы нет закона...

Любезный читатель, одерни наконец говорливого автора, разрушь его актерский пафос и напхни ему, бестолковому, что речь идет о сезоне 1983-84 годов, когда советская империя равна самой себе, граница — «на замке», а кассеты с чужими фильмами — «идеологическая контрабанда».

Нечего, нечего было еще смотреть по чудесному видуку!

И вот, проведя совещание по междугородному телефону, «корпорация» решила вернуть технику в Ленинград и целиком оплатила как представленные счета, так и новый авиабилет для «шофера референта товарища Рашидова», которого убедительно попросили в обратную дорогу авосек с собой не брать. В конце концов в одном из ленинградских «комисов» вещь ушла менее чем за половину воображаемой цены, а Женя и Юзеф сказали себе, что и то хорошо, и это тоже приличные деньги...

Несколько лет назад автор рискнул напечатать в журнале «Знамя» короткую повесть «Прощай, БДТ!», носящую подзаголовок «Из жизни театрального отщепенца» и имевшую некоторый спрос у читателя. При написании ряда эпизодов автор полагался на свою не объективную и склонную к абберациям память (как помнил, так и излагал), а также на некоторых авторитетных для него свидетелей.

Однако года через два после журнальной премьеры жена автора, Ирина Владимировна, по неосторожности носящая ту же фамилию, что и он, обнаружила в глубине антресолей несколько общих тетрадей в коленкоровых обложках (96 листов, ГОСТ 13309, арт. 6344, цена 44 коп.) — две черные, красную, синюю, зеленую и две коричневые, причем одна из черных и одна из коричневых увеличенного формата (96 листов, арт. 6701-р, цена 95 коп.). Оказалось, что на клетчатых страницах многие события, цифры, факты, речи и реплики из прошлой жизни артиста Р. были им закреплены по горячим следам и почти подневно. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что здесь содержится более высокая по степени достоверности информация, впрочем, при той же субъективности взглядов и оценок.

Появление на свет клетчатых тетрадей обозначило некий Рубикон в позднем становлении автора, открыв ему новые возможности и обязывая вернуться к некоторым уже известным сценам. Болезненная жажда истины и попутного самоусовершенствования требовала придать им новую окраску и дополнить упущенными прежде деталями. Особенно это относится к сценам с Товстоноговым и воспоминаниям самого Мастера, из почтения зафиксированным автором дневника почти дословно.

Читатель может подумать, что ему предлагаются мотивы, как бы спорящие с повестью «Прощай, БДТ!». На самом же деле никакого спора нет и быть не может. Сопоставление дат, уточнение обстоятельств и стилистических нюансов, введение новых реплик и ремарок, то есть сравнение вариантов, должно, по нашему мнению, всего лишь посылить развивать внутренний сюжет и поставлять натуральную пищу читательскому воображению. А жанр, в котором до сей поры автор не в силах дать отчет ни себе, ни читателю, продолжает самоосуществляться в неизвестном направлении.

Так, например, в рассказ «Вельветовая пара» не вошли некоторые реплики из малой коричневой тетради:

Р. Георгий Александрович, представляете, как можно укрупнить блоковские ремарки, например «Поварята безобразничают»? Какой простор для импровизации!.. Или: «Вдали раздается переключка ночных сторожей...» Почти как у Пушкина: «И сторожа кричат протяжно: Ясно!..»

Т. (переходя на шепот). Володя, а вы читали книгу Романа Якобсона?

Р. Нет, к сожалению.

Т. А я прочел!.. Книга очень сильная...

Р. Так дайте хотя бы на ночь.

Т. Я бы вам дал, но у меня ее нет! Я прочел ее ТАМ... (Показывает большим пальцем за свое правое плечо, что заменяет выражение «за бугром».) Мне нельзя ничего привозить!.. Могут проверить... Речь идет (еще больше понижает голос) о люмпене, которого Блок вывел в поэме «Двенадцать». Люмпен — вот кто главное действующее лицо!.. И этот «люмпен-пролетариат» порождает «люмпен-генералиссимуса», «люмпен-буржуазию», «люмпен-бюрократию» и так далее... Понимаете?.. Очень сильно!..

Имея в виду историческую «люмпенизацию», мы и должны рассматривать частную жизнь наших героев, не исключая самых выдающихся, и, безусловно, самого автора, который, как становится очевидно, несмотря на некоторое вольнодумство и врожденный сепаратизм, плоть от плоти общего театрального тела. Что же удивляться тому, что в красной тетради сохранились не только подробные описания впе-

чатляющих музейных экспонатов, но и стоимость разных вещей, которые он собирался приобрести на полученные 294 430 японских иен. Правда, 430 иен предлагалось тут же отделить и сдать в общий котел на подарки таможенникам и юбиляру, далее возникла подписка «на администраторов», оставшихся в Ленинграде, и другие аналогичные предложения, но все это были совершенные пустяки в сравнении с невиданной, и я бы даже сказал титанической, суммой...

По этому поводу Алла Федеряева сказала Ирине Ефремовой:

— Ира, пойми, ты держишь в руках сто тысяч, ты никогда не держала в руках таких денег, ты можешь сейчас пойти и купить все, что только захочешь!..

И полученные иены действительно оказали влияние на всю оставшуюся жизнь многих действующих лиц нашей истории. Так, актриса Ира Ефремова, вдова Ивана Ефремова, одного из худруков БДТ дотовстоноговского периода, продав мини-систему и ковер, сумела наконец купить себе скромную мебель: диван, светильники, люстры, кресла; вторично женить сына, устроив ему достойную свадьбу, и сохранить немало носких вещей и чудных безделушек, донине украшающих ее суровый пенсионный быт. Сын ее, Никита, знает Японию по материнским рассказам так, как будто сам в ней побывал, а к Ирине по сей день, а вернее, по сию ночь, приходят упоительные японские сны...

Женя Чудаков подбил завсветом Евсея Кутикова за компанию с Зиной Шарко купить по вязальной машинке и, продав свою, приобрел дачку под Ленинградом, на которой благоденствует в окружении близких каждым летом. Зина подарила волшебный инструмент сыну, Ване Шарко, который с его помощью удачно стартовал на пути к театрално-производственному предпринимательству. И хотя судьбы вязального устройства Кутиковых установить пока не удалось, я решительно убежден, что и оно пошло во благо семейству.

А Семен Ефимович Розенцвейг помимо полной музыки системы «Хитачи» купил еще стиральную машину, которая в древнем Киото стоила дешевле, чем в других городах... И, как мне кажется, эта полезная покупка была сделана не без участия милой русистки Иосико, потому что ее появление в соседстве с Розенцвейгом отмечалось не только в Токио, но также в Киото...

Ну да, конечно, конечно, Иосико занимала языковая практика, а Семен был вынужден думать о доме и стиральной машине, но что копилось в них при каждой встрече, нельзя понять трезвым умом.

Вот она стоит перед ним, глядя из-под челки и снизу вверх, хотя он и сам небольшого роста, и ему трудно глядеть ей в глаза: он смотрит на губы, и слушает ломкие русские слова, и что-то бормочет в ответ.

Она в белой блузочке, застегнутой под самой шейкой, никакого декольте, короткие рукава открывают изящные ручки, а на левой — квадратные часики с черным простым ремешком.

И вот правая ладонка ложится сверху на левую кисть и сжимает ее; теперь нежные ручки сложены перед собой, словно защищая что-то внизу живота. Потому что в ней растет странное волнение, и льется из глаз, и обжигает его совершенно без всяких мотивов и причин, вопреки скромнейшим мизансценам... Хорошо бы вернуться на теплоход «Хабаровск» и побегать по палубе вместе...

Кому действительно не повезло, так это Аллочке Федеряевой, которая, продав японскую роскошь, положила денежки в банк, а банк, к чертям собачьим, рухнул, и Аллочке остались одни островные воспоминания. А после смерти Гоги она погорячилась и, обиженная тем, что ее не взяли в Индию, подала заявление об уходе накануне пенсионного полнолетия.

— Знаешь, Володя, — сказала мне Алла, прописанная прежде бойкой «лошадкой» в объездившем мир «табуне», — первое время я была даже рада, как будто груз с души сняла, а потом... Ничего у меня не вышло... Мама лежит уже четвертый год... Дом ремонтируют, и даже холодной воды нет... Хорошо, если накапает, а то — нести со двора... Все мои маршруты — аптека, почта и магазин... Вчера давление подскочило так, что, думаю, конец мне пришел, а как же без меня мама?.. И вообще теперь ясно: как кончаешь работать — кончается жизнь...

— Точно, — сказал Р. — Или наоборот: кончается жизнь — и никакой работы...

Какая же работа после того, как тебя сбили?.. Лежи на небесных полатях и думай о вечном...

Или плыви на спине через все океаны...

Кому служила рубашка, коричневая с зеленым, клетчатая ковбойка из теплой фланели?.. Чем занимался с утра ее бодрый хозяин, пока мы его не сбили?..

Камера укрупняет рубашку, выуженную из океанской волны, и вот надпись на фирменной марке: «Canada shuingo»... Канада... Ковбойка совсем цела, хоть сейчас на работу...

Камера укрупняет неровные ломти обшивки, рваные щели в крашеном металле и номерную отметку 132-058...

А вот и кукла с открытыми глазами, кукла, смотрите!..

И фото трехлетней японочки, которая держит игрушку...

— Не надо показывать куклу, такую же, как у моей Маши!..

А камера — снова куклу!

— Сволочи, гады, подонки, сволочи, гады! — рыдает Зина Шарко, вспомнив трехлетнюю внучку. — Будьте вы прокляты, гады, сволочи, гады, подонки!..

И Зина долго плачет, выключив «Pioneer», и не может уснуть.

Кого она прокликает, операторов, что ли?..

Убийца еще безымянен, заказчик тоже...

Саму безумную смерть?..

Какая же тут работа, какие спектакли, когда нас сбили во сне, сбили над океаном?..

— 13

Прогон «Розы и Креста» Гоге понравился.

Вечером того же дня ко мне в примерку явилась Дина и, как настоящая сообщница, выложила то, что услышала от Мэтра наедине, потому что при мне Гога, оказывается, был сдержан «из воспитательных соображений» (сколько же можно меня воспитывать?!), а оставшись наедине с Диной, сказал, что просто поражен, как это Р. удалось в таких условиях повести актеров за собой и за пятнадцать репетиций сделать то, что они сегодня увидели. Дина сказала, что я *сдал Гоге экзамен на режиссуру* и он поверил в мои новые возможности. От себя она добавила, что несколько раз плакала во время прогона, а с ней это случается редко, потому что Р. играл Бертрана с полной погруженностью и без всяких «актерских штук», имев-

ших место в прошедшие времена. Она сказала, что в ней постоянно возникали «блоковские ассоциации» и невеселые мысли о его короткой жизни и трагической судьбе. Поэтому, в отличие от Георгия Александровича, она по-прежнему отдает первое место артисту, а не режиссеру Р., надеется, что он не будет повторять ошибок Сережи Юрского и сделает для себя правильные выводы...

— Имейте в виду, Володя, — заключила наш легендарный завлит, — я снова вас полюбила...

Тут было над чем поразмыслить.

Ну, во-первых, о блоковских ассоциациях, которые у нас с Диной возникли от одного источника.

А во-вторых, за что она меня разлюбила до того, как сегодня полюбила опять?.. Или так: за что она полюбила меня впервые и по какой причине после этого вдруг разлюбила?

Первый трогательный эпизод многожды напоминала сама Дина, а второй, горький, в один из гастрольных вечеров восстановил в моей нетвердой памяти Стржельчик. И ей, и ему я привык доверять.

Итак, по порядку. Летом 1963 года, только что приехав на отдых в знаменитый Дом творчества «Щелыково» на Волге, Д.М. Шварц выразила желание выпить с дороги, однако, к ее и общему прискорбию, оказалось, что выпить в «Щелыково» абсолютно нечего. С местом или временем была связана тогдашняя и тамошняя драма или это было жуткое стечение многих обстоятельств — не помню. Однако, по словам Дины, артист Р., услышав о ее неутоленном желании, пошел в свой номер и принес оттуда оказавшуюся в последнем запасе чекушку водки. И вот тут, выпив эту историческую чекушку, Д.М. Шварц впервые его полюбила и, как ей запомнилось, стала изо дня в день славить поступок Р. на всю щелыковскую округу, доводя до персонала и отдыхающих, что в БДТ появился новый артист из Ташкента, исполнитель роли Гамлета, а главное — человек, не пожалевший для нее последнего глотка. По версии Дины Морисовны, она рассказала об этом корифею МХАТа Василию Осиповичу Топоркову с семьей, еще одному мхатовцу Лене Топчиеву, звездной паре из Большого — Кате Максимовой с Володей Васильевым, представителям Малого — Никите Подгорному и Аркадию Смирнову и многим,

многим другим. Здесь же, потрясенный масштабом поступка, художник и модельер Слава Зайцев снял со своего плеча роскошный крупной вязки свитер-кольчугу, заставил артиста Р. надеть его на себя и предложил художнику и оператору «Мосфильма» Володе Бондареву сделать фотопортрет героя на фоне щельковского бревенчатого сруба.

Несмотря на скверную память, события отрицать не берусь, хотя бы потому, что со всеми поименованными лицами и впрямь познакомился там и тогда, а фотопортрет в свитере чудом сохранился. Да и глупо было бы отрицать хоть что-нибудь, даже косвенно относящееся к собственной славе. И все же я справился бы с собой и не привел на этих страницах льющего мне эпизода, если бы он в гораздо большей степени не характеризовал саму Дину Морисовну Шварц, ее обаяние, простодушие и преданность любимому театру.

Горький же эпизод, связанный с потерей любви и расположения легендарного завлита, следует, очевидно, отнести к концу семидесятых годов, а именно к гастролям БДТ в г. Омске, где, помимо основного репертуара, мы для «поддержки штанов», то есть ради дополнительного заработка, «отработали» много филармонических концертов и творческих встреч под эгидой общества «Знание». Концерты по линии местной филармонии лихо организовал наш спутник-антрепренер Рудик Фурман, впоследствии, по совету Товстоногова, переименовавший себя в Рудольфа Фурманова, а по линии общества «Знание» во встречах с рассказами о собственном творчестве и прокручиванием избранных кинофрагментов преуспели многие, в том числе Штиль с Неведомским и Рецептер со Стрельчиком.

Так вот, со слов Стрельчика, пересказавшего этот случай в лицах своей жене Люле Шуваловой (я оказался при этом пассивным слушателем), в одном из концертов Р. читал какие-то свои произведения и, вернувшись со сцены за кулисы, с ходу получил совет присутствующего завлита: Володя, лучше бы вы читали не это, мол, а то... Разгоряченный омскими аплодисментами, Р., не задержавшись с ответом, ляпнул: какое, мол, счастье, Дина Морисовна, что хотя бы в этом я вам неподведомствен... Причем последним словом Стриж почему-то залюбовался и повторил его на разные лады. «Понимаешь, Люлечка, как она взвилась!..»

Если бы не Слава, который всегда был внимателен к людям и их отношениям и таил в душе польскую любовь к «неподведомственности», я бы не запомнил обмена репликами с Диной Морисовной и всю оставшуюся жизнь гадал, за что же именно Дина Шварц, автор статьи об артисте Р. в «Театральной энциклопедии», все-таки его разлюбила.

И тут следует сказать напрямик, что причина у нее была совершенно уважительная, ибо ответ, вырвавшийся у Р., был не только бестактный, но и возмутительный. Человеку хотят помочь с концертным репертуаром, дают квалифицированный совет, а он — нате вам с кисточкой, не лезьте, мол, не в свое дело... Иносказательная вежливость примененной формы выражения тут сути не меняет и даже, наоборот, превращает простое «отстаньте» в высокомерное, с издевательским оттенком «атандé!».

Но главное в том, что ответ, включивший слово «неподведомствен», вскрыл подсознательное, а следовательно, глубинное и сущностное несогласие Р. с репертуарной политикой театра вообще и его легендарного завлита в частности. Вы только вслушайтесь: какое счастье, что хотя бы в этом... и т.д.

Безобразие. Наглость и безобразие.

И, конечно же, глупость, если не полный идиотизм.

Ну какая, к черту, может быть дурацкая «неподведомственность» внутри мудрого и почти совершенного ведомства?

Вот еще когда, оказывается, открыто проявились отщепенские свойства артиста Р., его отвратительное стремление к полному сепаратизму, черта болезненная и, кажется, неискоренимая...

Ну да, после прогона «Розы и Креста» Дина снова меня полюбила, но опять-таки не навсегда, не до конца дней...

... — Нельзя же теперь *такое* писать, — сказала хозяйка.

— Почему нельзя? — спросил Р.

— Пришла эта дама и попросила вычеркнуть...

— Позвольте, Нина Флориановна, — растерялся я, — что за дама вас наставляла?

— Я уж не помню, как ее звали, сказала, что из музея Блока, она велела вычеркнуть все *такое*, и мне ничего не оставалось...

— Нина Флориановна, — сказал я со всей убедительностью, на которую был способен. — Забудем про даму... С вашего позволения, я включу эту бандуру, — я показал на магнитофон, — и вы расскажете все, что она просила вычеркнуть.

Речь шла о Блоке, с которым ровесница века и актриса Больдрамта Нина Флориановна Лежен работала все его последнее время...

Знакомы мы были давно, потому что прежде она изредка захаживала в театр, поддерживая связи с уцелевшими сослуживцами, особенно с Сергеем Сергеевичем Карновичем-Валуа. А сегодня я навестил Нину Флориановну в Доме ветеранов сцены (ДВС) на Петровском проспекте, 13...

В ДВС имени М.Г. Савиной Нина Флориановна переехала уже из отдельной квартиры, но, прежде чем получить отдельную, много лет прожила в огромной коммуналке на Лиговке, 21б, пятый этаж без лифта, с семьей соседними квартиросъемщиками. В длинном коридоре плавно накручивали цифирь восемь электросчетчиков, в туалете и ванной один за другим щелкали восемь и восемь — шестнадцать выключателей, а в общей кухне на восемь столов и тумбочек вспыхивали открытые конфликты, которые удавалось погасить только ей.

Нина Флориановна врывалась в эпицентр боевых действий в своем излюбленном халате с цветами и узорами, перепоясанном широким и плотным бордовым кушаком, и глубоким проникающим голосом восстанавливала порядок и справедливость.

В Больдрамте Нина Флориановна задержалась до первой высылки мужа, потом поработала в провинции и всю оставшуюся творческую жизнь провела в Александринке, пользуясь заслуженным авторитетом и здесь.

Когда в годы террора исчезал особенно дорогой человек, она шла просить о нем «депутата Балтики», народного артиста Советского Союза Николая Константиновича Черкасова.

— Нина, — строго спрашивал он, — ты за него ручаешься?

— Коля, как за саму себя, — отвечала она, приложив к груди свои правдивые руки.

Вернувшись из лагерей, артист Вальяно поведал, как его пытал следователь — активист художественной самодеятельности. Этот драмкружковец завидовал арестованному профессионалу и на много часов запирали его в платяной шкаф. Потом, с помощью подручных, он переворачивал шкаф вместе с подследственным вниз головой и снова несколько часов держал взаперти. В лагерях несчастному обломали руки и ноги, он еле выжил и еле выкарабкался, но в день смерти Сталина Вальяно плакал на доброй груди Лежен, уверяя ее навзрыд:

— Нинка, он ничего не знал, от него все скрывали, Нинка!..

— Дурак ты, Колька, — отвечала она, — мало тебя в шкафу держали! — и добавляла другие слова, малоизвестные ее французским предкам.

Больше года в коммуналке по Лиговке, 21б, с Н.Ф. Лежен соседствовал добрый друг БДТ журналист Лева Сидоровский, написавший для наших «капустников» тьму смешных реприз и куплетов. Он был холост, любознателен и часто разговаривал с ней о жизни. Как-то, вознесясь над коммунальными девушками и их бесчисленными ухажерами, Нина Флориановна сказала:

— У меня было всего три любовника, но это были Блок, Горький и Борисов Александр Федорович...

Возможно, в этом заявлении, которое произвело сильное впечатление не только на Леву, была вольная трактовка действительных отношений с названным, но слово не воробей, и, стало быть, у Нины Флориановны имелись если не внешние, то внутренние или воображаемые обстоятельства для того, чтобы это сказать...

Я имею в виду не всех троих, а интересующего нас в данном случае основоположника БДТ Александра Блока...

Встреча происходила за три года до поездки на японские острова, когда, приобретя радиотехнику, театр, по словам Вадима Медведева, «сильно озвучился». И допотопная «Вега», находящаяся на балансе БДТ, понадобилась Р. по той причине, что у него еще не было собственной аппаратуры. Ни мини-системы «Хитачи», состоящей из четырех поставленных друг на друга блоков, ни даренного фирмой изящного приемника «Саньё» с белой панелью, встроенным микро-

фоном и монокассетником, ни карманного «малыша», или «Сонечки», как я, в зависимости от настроения, называл миниатюрный профессиональный диктофон «Сони», напоминающий карманную записную книжку в кожаном футлярчике.

— А почему у меня нет такого? — строго спросила Дина Шварц, увидев у меня еще не испорченную «Сонечку». — Откуда это у вас, Володя?

— Из Японии, — вяло объяснил Р.

— А-а-а, — понимающе сказала Дина. — Подарок фирмы?

— Подарок судьбы, Диночка, — сказал он. — Это я сам купил...

Р. было неловко: рядом с «неозвученной» Диной он чувствовал себя магнатом аудиотехники. Конечно, гастролеры скинулись ей на подарки, привезли сувениры, но ощущение глубокой несправедливости не проходило: к моменту волшебной поездки на острова именно Дина оказалась невыездной.

Товстоногов не поленился заказать пропуск в обком и спросил там напрямик кого-то отвечающего:

— Почему вы не пускаете моего завлита? Она мне нужна.

— Потому что она плохо воспитывает свою дочь.

Стихи Лены Шварц, не печатавшиеся у нас, стали печатать за границей, и, в отместку за «неподведомственность» Лены, органы не пустили в Японию ее ведомственную мать.

Дина Морисовна Шварц отличалась от других завлитов тем, что ее дивная слитность со своим театром была беспредельна, а личная преданность Товстоногову — беспримерна. Оба эти свойства могли показаться со стороны чрезмерными и даже анекдотическими. Но именно они объяснили театральному миру сущность редчайшего призвания «завлит» и сделали Дину человеком-легендой. Почти все свое время она проводила на Фонтанке, не пропуская Гогиных репетиций, куря с ним наперегонки, записывая его руководящие указания, бессмертные реплики, актерские штучки и шуточки, подавая женские советы, виртуозно ассистируя рабочему процессу и провоцируя Гогины творческие порывы. Весь этот материал впоследствии претворялся ею в необходимые будущим исследователям книги и сборники.

Оказавшись у себя, Дина принималась терзать нервный телефон, выясняя все необходимое обо всем и обо всех. Она хранила страшные тайны, допускала полезные утечки, ласкала лестным вниманием драматургов, строила дипломатические, дружеские и прочие отношения с газетами, журналами и критиками, враждовала с оппонентами, жаловалась на усталость и никогда не уставала. Она отдавалась делу вся и без остатка и, подчиняя жизнь божественной сверхзадаче, днем и ночью вдохновенно лепила рукотворный миф о Великом Театре.

В ее маленький прокуренный кабинетик у лестницы, вблизи от левой, Гогойной, ложи, несли свои замыслы, признания, жалобы, надежды, доносы, просьбы и покаяния народные, заслуженные и простые артисты и артистки и даже лауреаты государственных премий, навзрыд и напропалую делясь с ней самым интимным в оправданной надежде на то, что Дина поймет и замолвит за них словечко перед Гогой.

Не все, не все ходили, но многие...

И сам Гога не только зазывал ее к себе, но и навещал лично, чтобы, усевшись на диванчик и закурив, поделиться идеей или анекдотом, пожаловаться или похвастаться, обсудить новинки литературы или извивы и прогибы современной общественной жизни, выстраивая ближние и дальние планы.

Что касается репертуара, то, с одной стороны, Дина искала и находила пьесы честные, человеческие, иногда радикально смелые, а с другой — изыскивала что-нибудь верноподданническое и премиально-наградное, однако с оттенками проблематической свежести и даже эстетической новизны, дающими возможность эту самую верноподданность камуфлировать и выглядеть по тем временам вполне «прогрессивно»...

Важно сказать, что перу Д.М. Шварц принадлежат все или почти все исторические приказы по театру, справки для начальства, представления к наградам и званиям, бесчисленные характеристики, приветственные письма и телеграммы от имени коллектива и лично Г.А. Товстоногова, и во всем этом делопроизводстве и бумаготворчестве ей не было равных.

Когда один из директоров попытался вступить с нею в соревнование и, запершись в своем кабинете, сочинил в поте лица пару пра-

здничных приказов, Дина не смогла скрыть своего презрения и стала называть его графоманом.

Сколько я помню, Дина всегда была по-женски одинока, и это тоже казалось вполне естественным, потому что нельзя же быть настолько преданной театру и в то же время принадлежать какому-то постороннему мужчине.

В молодости она была очень привлекательна, и, кажется, у нее тоже был роман с Гогой. Лена помнит свое детское время, когда Гога будто бы выразил желание жениться на Дине, но этому якобы воспротивилась его сестра Нателла, которая, по легенде, всегда этому воспротивилась. Во всяком случае, так могло показаться со стороны.

Следует отметить еще одну характерную черту нашего завлита: Дина Морисовна удачно успевала на все юбилеи, дни рождения, парадные и непарадные застолья, фуршеты и посиделки; если что-нибудь междусобойное затевалось в буфетах, гримерках, мастерских, реквизиторском, бутафорском или других цехах, она с поразительной точностью появлялась в нужное время и в нужном месте. Может быть, из-за этого редкого чутья Дине однажды присвоили звание «Бабушка русского банкета».

Во множестве версий рассказывают, например, случай, произошедший на борту военного крейсера «Киров», и у меня нет другого выхода, как посылить его передать.

— 14

Читателю, не пережившему наших времен, следует объяснить, что одной из составляющих жизни каждого советского театра была так называемая военно-шефская работа, которая выливалась в воскресные культпоходы солдат или матросов на «утренники» или в праздничные шефские концерты в частях и на кораблях. Завершались они обычно братаниями шефов и подшефных за щедрым банкетным столом.

Само слово «шефский» имело несколько смыслов. Ну, во-первых, это значило «безгонорарный», а во-вторых, давало представление о некоем неотменимом почетном гражданском долге, который выполняет каждый служитель Мельпомены, Талии и даже Терпсихоры, давая «шефский концерт». Один наш артист, например, — уж не

знаю, называть ли его имя, — уходя на ночь к неизвестной подруге, убеждал жену в том, что у него сегодня опять ночная съемка. Однажды она задала ему логичный вопрос:

— Если у тебя есть съемки, почему у нас нет денег?

— Потому что это шефские съемки, — не задумываясь ответил находчивый муж, и жена продолжала ему верить. Поскольку артист поделился удачным изобретением с товарищами, в обиходе мужской части труппы надолго закрепилось образное обозначение приятных свиданий — ночные шефские съемки.

Но вернемся на крейсер «Киров», который по торжественным датам бросал якорь у «Медного всадника» и где дважды в год — 2 мая и 8 ноября — уже по традиции театр давал шефский концерт, а команда отвечала подшефным банкетом.

Однажды, 8 ноября, Дина Шварц, погорячившись, забыла на крейсере шерстяную кофточку. То ли в дальнейшем ей было недосуг, то ли «Киров» на всю зиму отчалил из города, но до очередного мероприятия, то есть до 2 мая, команда бережно хранила личную собственность нашего завлита.

Наконец майская встреча состоялась и прошла, как всегда, тепло, причем аккуратно завернутую кофточку, успевшую за отчетный период сходить в боевой поход, в торжественной обстановке вернули хозяйке. Шли уже последние братания и поцелуи, как вдруг, по неизвестной причине, наш дорогой завлит полетел с корабельного трапа и заплескался в холодной Неве.

— Женя, я тут, — доложила Дина из воды парторгу Горюнову, чтобы он не очень волновался, не найдя ее в другом месте.

— Полундра, — сказал вахтенный, — человек за бортом!

И капитан крейсера «Киров», высокий и красивый мужчина, вышедший проводить гостей в белой нейлоновой рубашке, не задумываясь прыгнул за Диной Шварц...

— Что там у вас в руках, бросайте! — приказал он Дине, держа ее за воротник.

— Что вы, как можно! — отвечала ему наш стойкий завлит. — У меня в одной руке — кофточка, а в другой — телефоны всех драматургов Советского Союза!..

Зина Шарко застала Дину уже дома, лежащей в постели, с совершенно счастливым лицом: она была в матросской тельняшке и рассказывала подруге важные подробности.

— Представляешь, Зина, это пальто, которое я у тебя купила, — настоящий размахай, — оно меня и спасло, потому что я не умею плавать и в нем было тепло... Но главное — капитан, такой высокий и красивый!.. Никогда не прощу Лаврову, он разговаривал с каким-то старым большевиком и не видел самого главного!.. Представь себе, мы плывем, вода холодная, мимо проплывают льдины, и все матросы отдают нам честь!.. Я поворачиваюсь к капитану и спрашиваю: «Вы женаты?» Он отвечает: «Да», а я ему говорю: «Очень жаль...» И вот нас вытаскивают на корабль, и все матросы и офицеры собираются вокруг меня, и один говорит: «Раздевайтесь», а я ему говорю: «Как можно, вы же мужчина», а он мне отвечает: «В данном случае я доктор». И тут всё с меня снимают и надевают на меня тельняшку, вот эту, и брюки, правда, брюки были мне все-таки велики, и относят меня в кубрик, и дают мне выпить спирту, чтобы я не заболела, и все мне рассказывают про своих мам и бабушек; а потом — меня везет домой капитан. Ах, Зина, какой же он высокий и красивый!.. И когда он привозит меня, я снова его спрашиваю: «Вы женаты?» А он опять отвечает: «Да». И я ему: «Очень, очень жаль!..»

Коснувшись этого эпизода, я обязан привести также версию Елены Шварц, которая свидетельствует о том, что в руках у плывущей «по-собачьи» Дины Морисовны были не прошлогодняя кофточка и записная книжка, а «две сумки» и неизменная «сигарета в зубах». Герою Лена считает не капитана крейсера «Киров», а его старшего помощника, а пальто, в котором совершался заплыв, названо ею «тяжелой мутоновой шубой».

Версия Елены приведена автором не для уточнения деталей, а, наоборот, для их расхождения и вариативности, как авторитетное подтверждение легендарного факта.

Говорят, что после этого случая на Балтийском флоте был отдан специальный приказ: «Прекратить в праздничные дни посещение трудящимися боевых кораблей!»

Пленку «Свема» с записью, сделанной на магнитофоне «Вега», Р. передал Дине Морисовне Шварц, и все записанное произвело на нее большое впечатление.

...— Что я вычеркнула? — переспросила Нина Флориановна Лежен. — Многое... Ведь что было? Теперь все это сглаживают или вовсе не говорят... В то время, когда Александр Александрович у нас работал, они с Мейерхольдом просто враждовали... Потому что Мейерхольд требовал искать новое искусство, а Блок был против всяких исканий и так нам прямо и говорил... Правда, они вели себя по-разному, потому что Александр Александрович был человек очень деликатный... С чего началось... Мейерхольд был страшным поклонником Блока, а Блок сначала был немножко декадент... Ну, вы понимаете... И Александр Александрович дал свои первые вещи Мейерхольду, чтобы тот поставил их в Театре Комиссаржевской... А в шестнадцатом году, когда Блок написал «Розу и Крест», он категорически отказал Мейерхольду и отдал пьесу во МХАТ...

Здесь можно было уточнить, что «Роза и Крест» написана в 1913-м, но Р. не стал перебивать Нину Флориановну.

— Он сам говорил нам, и не один раз, что у него изменились взгляды, и проповедовал самые простые вещи, даже мелодраму. Он предлагал поставить «Две сиротки», «Потерянного сына» — то, что Островский переделал потом в «Без вины виноватые»... Блок говорил, что народу нужен «черный хлеб» искусства, а не «креветки», «устрицы» и все такое... Понимаете, он хотел, чтобы все было настоящее — и страсти, и декорации, и костюмы, ну, там, бархат, например, и прочее... И в театре все это было. Ведь я даже носила на сцене подлинное платье Вырубовой, и мебель настоящая была взята из богатых домов, можете себе представить... Правда, это было уже позже, в «Заговоре императрицы» Толстого и Щеголева. Алексей Толстой жутко у нас напивался, особенно на генеральных репетициях, однажды его просто вырвало, он чуть это шикарное платье мне не испортил, это был ужас какой-то, не люблю этого Толстого... «Розу и Крест» Блок мечтал поставить абсолютно реалистически... Да, сам... Он хотел попробовать, получится ли у него быть режиссером. Александр Николаевич Бенуа был прекрасным художником и прекрасно ставил спектакли... И Блок тоже хотел попробовать...

А Мейерхольд в это время был просто нашим гонителем... Почему он нападал так страшно на Большой драматический?.. Он же травил Бенуа, буквально травил: «Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти... „Миру искусства“ нет места в советском искусстве...» и прочее. Мы все это очень переживали, поверьте!.. Почему это сейчас просят вычеркнуть и все сгладить, как будто этого вовсе не было?! Но это — было... Да, он сам пострадал, и его потом самого уничтожили, но он заваривал эту кашу, он сам это все начинал и объявил «Мир искусства» какой-то вредной, контрреволюционной организацией, понимаете?.. Ведь это он довел до того, что Александр Николаевич Бенуа вынужден был уехать. А ведь он вовсе не хотел уезжать... И мы все страшно не хотели, чтобы он уезжал... Но Мейерхольд его просто терроризировал. Что ни постановка Александра Николаевича, Мейерхольд ее, понимаете, просто раскассировывал!.. Это был какой-то ужас!.. Он же был главный в искусстве!..

Она помолчала.

— Я знаю, Геннадий Мичурин мне сам рассказывал, ведь они вместе с Царевым давали показания против Мейерхольда, и за это их быстро выпустили... Но Царев об этом всю жизнь молчал, а Геннадий сознавался и каялся... И Мейерхольд сам оказался жертвой...

Если бы она время от времени не затихала в задумчивости, Р. и вопросов бы не задавал, а слушал бы и только. Но она умолкала, заглядывая в глаза оглянувшихся дней, и он старался заполнить для себя вычеркнутые кем-то куски. А в паузе, после слов «*почитали по ролям*», Р. и вправду увидел вместе с ней: вот они собрались за столом, сидят, молодые и полные веры в него, держат роли в руках, звучит знакомое начало, песня о радости-страданье, и оттуда, издалека, накатывает волна неровного, нервного и необычного стиха...

Старая актриса подхватила эту волну, и Р. подчинился, дав себя заморозить плавному течению ее дивной речи, роскошной петербургской манере с прелестными оговорками, отменной выделке звонких слов, которой нигде больше нет, как в нашем городе, дворянскому призвуку удивленных интонаций, интеллигентному складу недающихся фраз, легким баскам простонародных присловий. Это

было, конечно, сопрано с просторными низами и золочеными взлетами...

Звуковой поток из другого времени, вот что колдовало и заколдовывало, и Р. сводил несхожие схожести, нельзя было не сводить, потому что Анна Андреевна Ахматова говорила совсем не так, а все так же, по-сестрински, однако бережливей к каждой фразе и любому отдельному словцу, чуток ниже и гораздо медленнее...

Это Ахматова обняла событие тремя властными словами: «Беседы блаженнейшей зной». Это она с пристрастием расспрашивала артиста Р. о некоем Шекспире, а верней, о другом авторе королевских кровей, который скрылся под этим именем. Как будто Р., сам того не понимая, но рискуя играть Гамлета, виделся с теми двумя, о ком она заводила речь.

Что мы знаем о рукопожатье времен на краях трехсотлетнего провала? И что еще сообщила Р. Анна Ахматова кроме того, что успела сказать?..

А она тоже виделась с Блоком...

Они пили чай с тортом и улыбались друг другу, прекрасная петербурженка около восьмидесяти лет и средних лет самозванец, пытающийся толковать «Розу и Крест». И чай, и чашки с блюдцами, и кружевные салфетки на столе, и сад за окном, и летнее солнышко сквозь листву — все было кстати.

— Он оживился, когда появилась надежда на «Розу и Крест»? — спросил Р.

— О да!.. Вы не можете себе представить!.. Он пришел окрыленный... Ведь это была мечта его жизни!..

И Р. повторил за ней, играя роль эха:

— Мечта его жизни...

— И когда он понял, что Гришин говорит не всерьез и ничего этого не будет, — а Гришин испугался, когда узнал про наши репетиции, — Александр Александрович был страшно огорчен... Он был... просто... смертельно...

— Оскорблен?..

— Да, конечно, но не только это... Но он держал себя великолепно, вы знаете... И на последней репетиции он нам сказал: «Извините, что я заставил вас зря работать»... Вы не можете себе пред-

ставить, какой это был деликатный человек!.. Он просил прощения у нас, которые счастливы были продолжить несмотря ни на что!.. И мы начали орать: «Что вы, Александр Александрович! Разве вы не понимаете, что мы с вами, что мы готовы, и так далее, и так далее...» Но он этого не хотел допустить... Мы все его очень любили... Его нельзя было не любить... Вы бы видели, какой он был на своем вечере в БДТ... Это был — живой покойник... Да, да... Жена Павла Захаровича Андреева ему нравилась, Андреева-Дельмас, мы знали... Ему нравились такие... основательные женщины... Но внетеатральных отношений у него ни с кем не было... Сидел он всегда, знаете, в кабинете Лаврентьева, хотя какой это был кабинет, когда там холл собачий был... Это в оперной студии... А в Суворинском, на Фонтанке, любимое место был кабинет Бережного, администратора, это в бельэтаже... Дома я тоже бывала у них: то Любовь Дмитриевна позовет, то Комаровская... Вот я была с Комаровской, и он говорит Юрию Лаврову, которому было пятнадцать лет, и отец его был директором гимназии... Блок говорит Юрию: «Вы еще малограмотны, вам надо учиться». Я уж не поняла, о стихах была речь или об актерстве... Он потом великолепным актером стал. А однажды Блок пришел на репетицию, мы смотрим — на нем лица нет... Но нельзя же об этом писать...

— Нина Флориановна, ради бога, рассказывайте, как было, а писать или не писать, время покажет...

— Мы спрашиваем: «Что с вами, Александр Александрович?» — «Да ничего, — отвечает, — не спал всю ночь». — «Да почему же вы не спали?» Пристали к нему, он не хотел отвечать, потом все-таки вытянули: «Пришли матросы», — понимаете? Братишечки пришли! «Они нам сказали, что у них ордер на лишнюю площадь. Стали выбрасывать книги в коридор... Всё выбросили... Ну, конечно, пришлось... Я собирал книжки всю ночь...» Ну, когда мы это от него услышали, все опять заорали: «Как же можно?.. Почему вы им позволили?.. Почему не позвонили Марии Федоровне, надо было сразу позвонить Марии Федоровне...» Это Андреевой, не жене Павла Захаровича, не Дельмас, а Горького жене... А он: «Ну что я буду ее беспокоить?» Вы представляете?.. Не хотел беспокоить... Ну, когда Мария Федоровна об этом узнала, моментально переселение

сделали... А Любовь Дмитриевна, как вам сказать... Она ведь поступила в Псковский передвижной театр, в труппу Беляева, а там Сергей Радлов был... И потом с ним она служила в Народной комедии... А Радлов был учеником Мейерхольда... И они страшно ругали Большой драматический, вы не можете себе представить, как... «Истлевший гроб с пышными кистями, украшенный...» и так далее, и так далее... Понимаете — гроб. Как ему было такое слышать?... От кого-то ладно, а *от нее?*.. Ведь она была с Радловым заодно... Они с Блоком не разговаривали по месяцу... Он, конечно, это от нас скрывал, но мы догадывались. Да что там, знали... Правда, когда он заболел, перед смертью, она уж от него не отходила... В театре ведь живешь — ничего не скроешь...

Услышав этот жутковатый образ — *«истлевший гроб с пышными кистями»*, — Дина Шварц остановила магнитофон, поежилась и стала закуривать сигарету.

У нее была не одна, а две или даже три разные пепельницы, но еще одну, маленькую изящную круглую коробочку-открывашку, она носила с собой в сумке и доставала, куда бы ни пришла, в том числе и у себя в кабинете. И все-таки пепел с ее сигарет не вовремя срывался и помечал все вокруг — книги, пьесы, заваленный бумагами рабочий стол, малые островки тесного пола.

— Все это обязательно надо напечатать к юбилею, — сказала Дина. — Вы хотите это опубликовать?

— Как выйдет, — сказал Р. — Надо ведь расшифровать... Нет, мне, пожалуй, не успеть... Если у вас есть возможность, пожалуйста, печатайте...

— Спасибо, Володя... Но какой ужас услышать про свой театр — «истлевший гроб»!..

— Да, — согласился Р. — Блоку досталось...

Уйдя, наконец, из Большого драматического — хочешь быть «неподведомствен» — уходи! — и проведя немало лет на полной свободе, Р., как было сказано, напечатал повесть «Прощай, БДТ!». И, несмотря на авторскую оговорку: это, мол, его единоличное прощание с оставленным домом, невзирая на грубый экивок в виде пись-

ма внутри повести в адрес Дины, она в самом названии усмотрела возмутительный похоронный оттенок.

И Гоги уже не было на свете, и других, а она все воевала с проявлениями вольномыслия по отношению к БДТ...

Мы встретились на юбилее петербургского ТЮЗа, и, двигаясь мимо, она успела отрецензировать публикацию.

— Володя, все хотят прочесть, в библиотеке — очередь, моя подруга записалась двадцать второй... Но я прочла! — И погрозила мне маленьким сморщенным кулачком.

— Дина, — сказал я, — все ждут книги от вас!..

— Я так не могу, — ответила она, — это беллетристика! — И пошла садиться на свое почетное место.

После торжественной части мы увиделись у банкетного стола, но не сразу, а перед тем, как ее увезли домой.

— Володя, — сказала Дина усталым языком, — это было ужасно, когда ТЮЗ поздравлял БДТ... нет... когда БДТ поздравлял ТЮЗ, Андрюша Толубеев вынес меня на руках?.. Еще покажут по телевизору!..

— Это было прекрасно, Дина, — сказал я. — Вас давно пора носить на руках. Жаль, что я в свое время не догадался.

— Нет, Володя, — сказала она, — это было все-таки ужасно... — У нее было растерянное, почти отсутствующее лицо. — Но ваша повесть... Я не знала, что вы отказывались падать в «Горе от ума»... Это же была главная мизансцена!.. Вы представляете себя таким героем...

— Дальше некуда, — сказал Р. — Ушел бы раньше, был бы героем...

— А маму Георгия Александровича звали Тамарой Григорьевной, а у вас — Тамара Михайловна, — сказала Дина.

— Вот это ужасно, — сказал Р., — тут я с вами полностью согласен!..

Когда Дина умерла и с кладбища вернулись в театр, прощальное застолье выглядело странно: как же так, без нее?!

Спустя какое-то время я пришел в опустевший дом, к Лене. Она старалась держаться и приготовила макароны по-римски, то есть с сыром, водку принес я...

Мы помянули Дину и поговорили о ее книге, которую нужно издать, особенно довоенные дневники, совершенно неприкладные и по-настоящему талантливые. Потом Лена сказала:

— Все кончено, Володя... Оказалось, что я без нее не могу жить... И нищета подступает...

В материнском дневнике для нее осталась запись: «Прости меня, Лена, я была тебе плохой матерью, потому что у меня был другой ребенок: театр и Гога...»

— Но она была замечательной матерью!.. Когда я написала «Вертеп в Коломне», а она прочла или услышала «Театра страшен мне зеленый труп», она возмутилась: «Как ты можешь так говорить о театре?!» — «Почему нет?» А потом, через несколько лет, я слышу: она повторяет, как будто написала сама...

Для БДТ всегда подбирали светло-зеленый колер...

Когда я по Фонтанке прохожу,
То чувствую в глазницах и у губ,
Как пыльная вдруг опустилась завесь.
Театра страшен мне зеленый труп...

Последний разговор с Диной был телефонный. Она проклонила тех, кто не дал Лене литературную премию «Северная Пальмира», и беспокоилась только о дочери, которая ни с кем не умеет ладить.

— Я сдохну, и она сдохнет, — сказала Дина в сердцах.

Слава богу, что вышло не так.

— Дина Морисовна! Плохое время проходит: скоро выйдет ваша книга, Лена получила премию и едет читать стихи в Сорбонну!.. Все хорошо, Дина, все хорошо!..

— 15

Я не знаю людей более беззащитных и трогательных, чем мои дорогие коллеги по театру, да и все артисты вообще. Их великие претензии могут быть внезапно удовлетворены такой малостью, а радость вспыхивает от такого пустяка, что терпеливый читатель, воспитанный на производственных романах, запрещенной в про-

шлом антисоветчине и хлынувшей на новый рынок всемирной халтуре, может мне просто не поверить.

Однажды токийским утром к компоту из персиков и кофе с булочками прибавились яйца, сваренные вкрутую. Оказавшись за одним столиком с Валею Ковель, мы с Юрой Аксеновым дружно адресовали добавку в ее пользу. Наш маломасштабный застольный жест не был рассчитан на рекламу. Но Валя, забыв о больной руке, пришла в неопишуемый восторг и закричала Медведеву, который находился, конечно же, в другом конце зала, так, что ее услышал весь театр, весь «Сателлит-отель», а может быть, и вся островная империя:

— Вадик!.. Ты слышишь меня?..

— Что случилось, Валя? — встал с места ее встревоженный муж.

— Я счастлива! — крикнула Ковель и победно оглядела замерший коллектив. — Вместо проклятых банок, которых у нас уже мало, я буду есть яйца! Ты понял, Вадик, как мне посчастливилось?.. Володя и Юра подарили мне по яйцу!..

С окружающих столиков раздались аплодисменты, и нам с Юрой пришлось скромно раскланяться.

За годы брака у Вали с Вадимом бывали разные периоды, но, на мой взгляд, они составляли счастливую пару. От трудных случаев их спасал юмор, а тяжелые ситуации возникали тогда, когда юмор им изменял.

Валя была бессменной участницей знаменитых «капустников» во Дворце искусств имени К. С. Станиславского, а в концертах они с Вадимом много лет играли инсценировку рассказа В. Катаева «Шубка». Ссора возлюбленных в рассказе возникала в момент, когда Валя начинала подвергать сомнению качество пошедшей на шубку «мездры»; это слово, переходя из уст в уста, повторялось на сто ладов, с беспримерным пафосом и азартом. «Убойный» номер в режиссуре Саши Белинского шел «на ура»...

Ковель и Медведев пришли в БДТ вдвоем, зрелыми актерами, рискованно покинув царскую сцену Александринки и заново начиная жизнь в городе, который их хорошо знал.

Кроме актерской Валя быстро сделала профсоюзную карьеру и стала у нас бессменной председательницей местного комитета.

Она подружилась с Нателлой Лебедевой-Товстоноговой, а с Диной Шварц была одноклассницей и ее закадычной подругой еще с довоенных времен и школьного драмкружка.

После спектакля мы с Валею и Вадимом, бывало, собирались у Лиды Курринен, заведующей реквизиторским цехом, красивой, статной и сердечно расположенной к артистам женщины, а цех находился буквально рядом со сценой, если смотреть со стороны зрительного зала, то — справа; Лида выставляла закусочные разносолы, да и Гриша Гай, у которого в то время был с Лидой почти открытый роман, приносил что-нибудь острое в портфеле; а Валя с Вадимом и я вносили свою лепту водочкой или армянским коньяком, который стоил всего четыре рубля двенадцать копеек и не вызывал никаких сомнений в своей подлинности, а уж рюмок и тарелочек где искать, как не в реквизиторском; сюда же, на огонек, могли заглянуть и Дина Шварц, и завтруппой Валерьян Иванович, и Ефим Копелян, который чаще других должен был уезжать на съемки, и ему после спектакля уже не имело смысла мотаться домой.

Правда, к нашим услугам был еще и оставленный зрителями верхний буфет, но там продолжала действовать буфетная наценка, а здесь, у Лиды, все было почти по-домашнему; но и водочка, и коньяк, и острые закуски, кажется, немного могли добавить к общему острословью, взаимному расположению и беспричинной радости жизни...

К сведению тех, кто, кроме зрительского, никакого отношения к театру не имеет. Жизнь артиста чаще всего определяется временем «до спектакля» — это когда многого нельзя, и «после спектакля» — это когда все становится возможным. Именно спектакль определяет степень нашей свободы. Все праведные дела совершаются в предвидении будущего спектакля, и все греховные, а подчас и роковые ошибки падают на время после него. Потому что спектакль и есть художественный акт, ради которого была выбрана актерская профессия, а всякий художественный акт дает его участнику ощущение особой приподнятости над бытом и даже избранности. А чувство избранности, в свою очередь, начинает диктовать постоянную либо временную вседозволенность. Следы этого все-

общего моцартианства можно отыскать на театре даже в исполнителе роли Сальери.

Почувствовав на сцене хоть однажды Божью диктовку, любой артист соблазняется тайной мыслью, в которой он, может быть, никогда и не признается: он — существо особенное, не чета толпе, и только его коллеги — хотя и не ему чета — могут оценить его по-настоящему и достойно поприветствовать с бокалом в руке. А закуска и выпивка *после спектакля* — это что-то совершенно необходимое и даже оздоровительное, разряжающее горнюю атмосферу искусства и дающее возможность плавно перейти к неизбежному бытовому промежутку перед следующим священнодействием...

Вот почему нам хорошо сиделось у Лиды Курринен. Но Лиду убили в собственной квартире, в день ее рождения; среди гостей оказались случайные лица, и, хотя между ними нашелся подозреваемый, который вышел вместе со всеми, а потом, оказывается, вернулся (его и судили), убийство по-настоящему, кажется, так и осталось нераскрытым...

А Валя с Вадимом продолжали играть, и положение их становилось все прочнее, а в этой поездке — особенно, потому что Медведев играл не только генерала в «Истории лошади», но и судью в «Ревизоре» и, наученный Валею, даже поставил перед Антой Журавлевой вопрос о гонораре. Потому что кроме всеобщих суточных г. Ешитери Окава платил еще и гонорар нашим лидерам.

Конечно, если все время проводить вместе с женой — и дома, и в театре, и на гастролях, — жить становится непросто. Мне, театральному отщепенцу, даже подумать страшно, как сложилась бы моя жизнь, женись я на драматической актрисе. И немудрено, что Вадик, случалось, излишне нервничал и, не сдержавшись, просил Валю Ковель перестать его перепиливать. И в одной или двух равнинных точках острова Хоккайдо, когда Фудзияма напрочь скрывалась из виду, их отношения громко выяснялись на беспримерном русском языке. Но они не могли обойтись друг без друга, вот что тут главное, и Вадик Медведев как-то сказал Зине Шарко, что никогда Валю Ковель не покинет, а если и покинет, то обязательно вернется, что, соб-

ственно говоря, и произошло на наших глазах незадолго до японских гастролей. И Зина задала Вадиму чисто женский вопрос: «Почему?» А Вадик сказал:

— Потому что она все-таки очень смешная...

Получилось так, что решение о начале наших гастролей Ешитери Окава принял в день рождения Лаврова, которое тем же вечером отмечали в «Сателлите», и с этой отметки пошли другие празднества и торжества различного масштаба, о которых я буду обязан тоже рассказать.

Р. к Кириллу припозднился, но не опоздал, а застал самое интересное, потому что в это же время приехал посол СССР в Японии В. Я. Павлов в роговых очках темной оправы, невероятно похожий на японца. Впрочем, не исключаю и того, что эту его похожесть преувеличил ушибленный Японией автор. Посол был не один, его сопровождал первый советник, а несколько японских охранников остались сторожить коридор. Таким образом, Стране восходящего солнца давалось понять, какое значение Советский Союз придает нашим гастролям вообще и Кире Лаврову в частности.

Люкс был забит народом, и выпивка шла посменная, волна за волной. Тут были и Гога, и Женя с Нателлой, и Анта Журавлева, и Суханов, и Ковель с Медведевым, и весь худсовет, и вся парторганизация, и артисты не по ранжиру и без лишних чинов...

Кстати, по этому поводу на приеме в посольстве удачно пошутил Женя Чудаков: когда входили наши, кто-то из посольских представлял на японский манер:

— Товстоногов-сан, Лебедев-сан, Стржельчик-сан...

Женя объявил себя сам:

— Чудаков, без сана...

В ответ на выступление товарища Павлова, подчеркнувшего все, что нужно было подчеркнуть, и вручившего свой подарок, Кирилл сказал короткую речь в том смысле, что только в нашем демократическом советском государстве посол великой страны приезжает поздравлять простого артиста. О том, что артист — член ЦК и «сенатор», Кира скромно умолчал.

Тогда взял слово Ешитери Окава, решительный, как японский бог, и бледный от принятого решения, и с церемониальным поклоном пожелал имениннику счастья и здоровья и сказал о том, как много ждут на острове Хонсю (или Хондо) от нашего большого драматического искусства...

Кира ответил и ему, выразив надежду, что гастроли внесут достойный вклад во взаимоотношения наших народов...

Когда Павлов ушел, уведя за собой первого советника и японских городских, все стало проще и по-домашнему, дошло до моего книжного подарка, и Кира сказал:

— Пойдем выпьем, Володька!.. Ты что хочешь?.. Водку или сакэ?

— Сакэ, — сказал я.

— Лучше водку, — щедро посоветовал Сева Кузнецов.

— Нет, водку я и дома выпью, а здесь хочу сакэ, — сказал я.

Кирилл казался совершенно счастливым и пытался осмыслить выходящее за рамки протокола событие.

— Ты смотри, что получилось!.. Как мы воткнули японцам! — удивленно говорил он Севе Кузнецову, приглашая в свидетели и меня. — Охранников с пистолями видал?..

— Видал, — сказал Сева.

— А что, эти протестанты могли ведь и в посла пальнуть!.. Или полезть с ножом, — дал волю воображению Кирилл.

— Да-а, — весело протянул Сева и с сомнением посмотрел на большую бутылку сакэ.

— Нет, такого еще не бывало, чтобы посол приезжал, — сказал Кирилл. — Сева, давай наливай!..

Выпив сакэ, Р. решил поделиться с Гогой наблюдениями о японцах.

— Георгий Александрович, — развязно сказал он, — не могу избавиться от впечатления, что японцы поразительно похожи на узбеков...

— Да? — переспросил тот. — А может быть, наоборот!..

— Возможно, — сказал Р. — Но вы посмотрите: подчеркнутая вежливость, вкрадчивые повадки... И потом — скрытность, проявления ярости, гортанные звуки... Абсолютные узбеки!..

— Ну конечно, — сказал Товстоногов, — это же одна раса!..

Тут к Гоге подтянулись Владик Стрельчик, и жена Кирилла Валья Николаева, и Вадим с Валею Ковель, и мы все вместе снова выпили сакэ без подогрева, хотя уже знали, что его следует пить из маленьких чашек и в подогретом виде...

Чокаясь со Стрижом, Р. вдруг понял, что Владик чувствует себя ущемленным, хотя он это, конечно, скрывает, не так, как настоящий японец или узбек, но все-таки довольно успешно. Может быть, Р. потому это и почувствовал, что Стриж скрывал в соответствии с теорией Станиславского: уж больно артист хороший, а чем активнее скрывает, тем это заметней зрителю...

Конечно, что же это получалось? И Женя Лебедев с женой, и Кирилла Лавров с женой, и оба будут гонорар получать. Даже Вадя Медведев с женой и гонораром. А он — и без жены, и без гонорара, и без любимых ролей, и день рождения у него совсем в другом месяце. А у Киры в том же, что у Гоги. Не говоря уж о приходе посла и японских охранников...

Чего-то он все-таки все время недобирал, несмотря на то, что имел для этого все основания. Во всяком случае, не меньше, чем остальные. И это его угнетало.

Да, товарищи по партии раскачали, верней, спровоцировали Славу выступить на объединенном пленуме творческой интеллигенции с пламенной речью против всяких предателей и диссидентов типа Сахарова и Солженицына. И он выступал, и громил, и краснел, играя чужую речь как настоящий актер, и даже сорвал аплодисменты. Но это тоже его мучило, потому что потом не отстали, а наоборот, позвали к Барабанщикову и предложили вступить в антисионистский комитет...

Не успели мы начать репетиции «Розы и Креста», как Стриж сыграл роль трагического вестника. Он пришел в театр в неурочное время, после репетиции, и сказал:

— Умер Володя Высоцкий.

Мы только что вышли из зала и толклись в предбаннике у актерского буфета. Кто-то сказал: «Бросьте шутить», кто-то: «Перестань», но большинство в один голос сказали ему в ответ:

— Не может быть.

И я, как все. Тогда он сказал:

— Сегодня, в четыре утра... От обширного инфаркта...

Теперь все слушали его, и, помедлив, Слава объяснил:

— Сандро из Москвы звонил Гоге... А Гога сказал мне...

Мы были еще в шоке, когда Стржельчик сказал:

— Вот был гражданин... Совсем себя не щадил...

Гражданская тема до нас еще не доходила, но этими словами он успел обозначить важный для него смысл. Теперь степень гражданственности уже напрямую и окончательно была связана со степенью беспощадности к себе. Очевидно, именно эта мысль была главной в разговоре Стрижа и Гоги.

Р. еще не остыл от работы и по инерции думал о Бертроне и Блоке, и новая смерть резко вошла в состав блоковских загадок.

Володя умер накануне столетнего юбилея — вот «странное сближение»... И возраст приблизительно совпадал...

Блок и Высоцкий... Вот они и встанут теперь «почти что рядом»: тот — на «Б», а он — на «В»...

А мы начали репетировать «Розу и Крест» двадцать второго июля — за три дня до Володиной смерти.

Что такое трагедия? Это — *«не может быть»*. То, что не должно случиться и все-таки происходит. Все события — за гранью, и судьба — вопреки всему... Я подумал о том, что ему уже не сыграть Бертрона, а это — его роль... И о том, что легко отдавать свои роли, когда знаешь, что их не возьмут...

Его Гамлета я так и не видел...

А он моего, может быть, посмотрел...

Похоже, это было летом шестьдесят второго... Или шестьдесят четвертого... но точно — в теплое время. Его привели в ресторан гостиницы «Центральная» на встречу со мной, в середине дня, во время московских гастролей. Тогда мой Гамлет прошумел по Москве, а Высоцкого еще не все знали. Кто-то из моих ташкентских учеников был с ним знаком, кто-то из ребят того курса, на котором я начал работать сразу после окончания института. За столом сошлось человек десять, ташкентцы и москвичи, в основном — студенты,

и вышло, что Высоцкий и Р. сидели по торцам стола и посматривали друг на друга. Пили красное вино с какой-то слабой закуской: денег — кот наплакал. И Володя был без гитары.

Что-то ему говорили обо мне, а мне — о нем.

Когда допили вино, Володя сказал:

— Ну хорошо... Посмотрим...

И мы пожали друг другу руки.

Может быть, реплика была немного другая, но мне показалось, что в ней было больше одного смысла. Мол, не только спектакль посмотрим, но и как обернется дело. Кто, мол, из нас больше прошумит по Москве.

Кажется, имелся в виду именно Гамлет.

Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и теперь, когда он умер, Гамлет давал уже обратный свет...

Зачем в тот день Стриж взялся быть вестником смерти? Зачем поехал в театр в неурочное среднее время? Зачем искал встречи с блоковской стайкой?..

Разве тот, кто сообщает о чужой смерти, заговаривает свою?..

Я прошу ответить мне, господа судьи!

В чем мистический замысел роковой вести? Кличет она гибель диктора или отдаляет?.. Или всегда по-разному и нам ни за что не узнать?.. Кому подчиняется вестник, скажите?..

И последний вопрос, господа.

На какой глубине подсознания возникает простая подсказка: скажи не тем, а этим, и не тому, а ему?..

О смерти Копеляна артисту Р. позвонил Гай...

О смерти Панкова известил на Невском Стоянов...

Неможетбытьнеможетбытьнеможетбыть...

Можетможетможет...

Низкий поклон.

А с Люлей Шуваловой Стржельчик познакомился во время гастролей БДТ в Сочи в 50-м году. Цвела магнолия, благоухал эвкалипт, называемый в народе бесстыдницей. Стржельчик, которого все называли то Славой, то Владиком, был молод, красив, как Пан, играл

романтического героя в «Девушке с кувшином» и все остальные роли героев-любовников. Он оглашал южные вечера страстной декламацией и имел сногшибательный успех у женщин, как у отдыхающих, так и местных.

Разумеется, познакомившись с такой красавицей, как Люля, Владик тотчас пригласил ее на свой спектакль, где он блистал ярче влажнеющих от моря звезд.

Когда действие завершилось, Люля ждала Владика на скамейке, и герой, опьяненный аплодисментами и цветами, сел рядом, твердо веря в скорое развитие событий. Он еще раз победительно оглядел юную москвичку: она была воистину хороша и, получив театральное образование в Нижнем Новгороде, как никто другой, могла оценить его триумф.

Конечно, дело должно было начаться с комплиментов артисту, и Владик ждал, когда они прольются на его белокурую голову. Но комплиментов не было. Молодые люди обменивались общими фразами о Москве, Ленинграде и южной погоде. И тогда, не выдержав, Владик задал Люле прямой вопрос:

— Как вам понравился спектакль?..

Люля заплакала.

Владик был взволнован: такого глубокого сопереживания он не ожидал. Дав Люле воспользоваться платком, он решил ускорить признание и ласково коснулся девичьего плеча.

— А как вам понравился я? — спросил он, наполняясь настоящей нежностью.

— Это было ужасно! — сказала Люля и зарыдала еще безутешнее.

Стрельчик был совершенно сражен: такой прямоты и решительности суждений он еще не встречал. С этого момента и началась его долгая и счастливая зависимость от Люли и ее авторитетного мнения.

А ее не взяли в Японию! Как хотите, но это было несправедливо.

Может быть, история знакомства Люли и Владика в действительности выглядела не совсем так или даже вовсе не так, и Владик рассказал ее мне, сгустив романтические краски, но я слушал его

рассказ в японской столице, и в моем потрясенном сознании она запечатлелась именно такой...

Позже, уточнив год и место действия, я спросил Людмилу Шувакову, так ли это было.

— Примерно так, — сказала Люля, — только я не плакала.

— А Владик сказал, что плакала, — растерялся я.

— Ему показалось, — сказала Люля.

На этом простом примере, вслед за великим Курсовой, легко убедиться, как многогранно прошлое, как дробятся в нестойкой памяти разных героев одни и те же факты и как трудно потом доказать что бы то ни было...

Но, закутываясь в туман версий и различий, не забудем о том, что Фудзияма была близка, как сама истина, сияя чуть левее и впереди нашей ежедневной дороги.

Откажемся от доказательств.

Тот, кто увидит Фудзияму, обязан быть счастливым.

— 16

Я не был уверен в том, что он — это он. Потому что его заметки о Японии были подписаны другим инициалом. Но фамилия совпадала. И даже если бы он оказался кем-то другим, он все равно должен был быть по меньшей мере из Ташкента. Или из Самарканда. Или из Ферганы...

Короче говоря, я позвонил в посольство, благо дежурный телефон нам всем велели записать на всякий пожарный случай...

Хотя куда уж пожарнее: американцы говорили, что советским летчикам, которые подожгли южнокорейский «Боинг», нужно немедленно предоставить бесплатную поездку по Америке, пригласить в Белый дом и рукой президента приколоть высшие армейские ордена. Они добились такого эффекта, какого не могли бы добиться несколько бригад американской морской пехоты. Раньше японцы хотели освободиться от американского морского присутствия и от их военной базы на острове Окинава. А теперь хотят освободиться прежде всего от нас. И уже во вторую очередь — от американцев.

Итак, я позвонил, и дежурный по посольству откликнулся. Когда я назвал себя, он сказал:

— Как же, Владимир Эммануилович, я вас знаю. Мы с женой видели вашего «Гамлета».

— Ну вот, легче разговаривать, — сказал я, — у меня вот какой повод: нельзя ли с вашей помощью узнать токийский телефон корреспондента Рашидова? У меня такое предчувствие, что он — мой земляк, а может быть, даже одноклассник...

Дежурный сказал:

— Ну, это вряд ли, Владимир Эммануилович, он выглядит старше вас.

Я сказал:

— Внешность обманчива, у меня внук есть.

Он сказал:

— Тогда, пожалуй, возраст подходит... А разве вы не ленинградец?

Я сказал:

— Теперь ленинградец, а учился в Ташкенте.

Он сказал:

— Опять подходит... Он оттуда... Его телефон: 582-55-47.

— Спасибо... А как его имя-отчество? На тот случай, если это не он?..

— Это вам будет трудно... Его зовут Каххар, через два «ха», Фаттахович, через два «тэ».

— Для меня нетрудно. Я больше двадцати лет жил в Ташкенте. Хотя одноклассника звали не так.

— Рашидов сейчас в отпуске, должен вернуться через пару дней. А вы пока приходите к нам, было бы приятно встретиться, поговорить... Мы тут с вашими ребятами обмолвились о футбольном матче... Хорошо бы в субботу...

— Я-то, к сожалению, в футбол не играю... Но наши играют, я спрошу... А у вас машина есть?

— Я, к сожалению, безлошадный. Но у Рашидова машина есть...

— Дело, конечно, не в этом, но хорошо, чтобы он оказался Ириком...

— Ириком? Ну, тогда вряд ли... А вы все-таки приходите... У нас тут еще свой магазинчик есть...

— Да, я слышал. Кое-кто из наших уже побывал...

— И вы побывайте: метро — серая линия, станция «Комиаго»... Как раз хорошие куртки завезли, мужские, на меху — «аляска»...

— Это интересно...

— Да... И женские пальто тоже есть... У вас размеры с собой?

— С собой.

— Магазины у нас — понедельник, среда, пятница, с трех до шести тридцати...

Я спросил:

— А как вас зовут?

Он сказал:

— Володя. А фамилия — Кофейников. От слова «кофе»... Зайдете, кофейку попьем. Меня по этому телефону всегда разыщут.

Я сказал:

— Надеюсь, увидимся.

Он сказал:

— Успеха вам. Хотя Рашидов все-таки вряд ли из вашего класса...

Через пару дней я позвонил Рашидову, и он снял трубку.

— Это Каххар Фаттахович? — спросил я.

— Да.

— Здравствуйте. Понимаете, какое дело... Я тут читал ваши корреспонденции, и у меня возникло подозрение, что мы с вами...

Он строго спросил:

— Какое подозрение?..

Я сказал:

— Видите ли, меня зовут Владимир Эммануилович Рецепттер...

Господи, как он закричал!..

— Волька, Волька! Это ты?.. Ты где, Волька?

— Ирик, я здесь, я — в Токио! — засмеялся я.

— Давай ко мне сейчас же! — закричал он.

— Ирик, я же не знаю этого городишки!.. Я тут с театром, в гостинице «Сателлит».

— Волька, подожди, я сам к тебе приеду!.. Где этот твой «Сателлит»?

- Район называется Каракуэн, тут метро есть.
- Какое, к черту, метро, я на машине. В каком ты номере?..
- 636...
- Не выходи никуда!.. Я сейчас приеду!.. Слышишь, Волька?!

Я еду...

Теперь вы знаете и мое уменьшительное имя. Оно сохранилось для друзей, домашних и всех, кто знает меня по Ташкенту. В отличие от других Владимиров, свои меня называли не Вовой, Вовчиком или Володькой, а Воликом или Волькой. А Каххара Фаттаховича в классе звали Ириком.

И как только он появился в «Сателлите», всему коллективу стало очевидно, что с Японией Рецпертеру не просто повезло, а именно посчастливилось, несмотря на всю сложность международной обстановки. Трудно даже представить, насколько улучшилось мое положение на островах и какие неслыханные возможности у меня появились, не говоря о таких мелочах, как «тойота» и еще одна крыша над головой, потому что Ирик с ходу увез меня ночевать в свою токийскую квартиру, которую он снимал близко к центру и недалеко от советского посольства.

Ну, разумеется, мы позвонили «нашему», чтобы согласовать мой отъезд. «Наш», «не отходя от кассы», связался с «посольским». А «посольский» заверил «нашего», что Ирику доверять можно. Тогда, сняв с себя всякую ответственность за Р., «наш» сказал Ирику, что он может его забирать. И Ирик меня забрал, взяв на себя всю ответственность за эту и дальнейшие отлучки и отпадения от родной стаи. Теперь коллективу и всему его руководству, включая парторга Толика, уже ничего не оставалось, как только безмерно за меня радоваться...

Пример подавала Анта Журавлева:

— Володя, Рашидов приехал! — восторженно сообщала она мне и добавляла: — Он такой милый!..

У Ирика было тонкое аристократическое лицо, и, что бывает на Востоке довольно редко, он изящно грассировал на всех известных ему языках. Он и был настоящим узбекским аристократом, принадлежа к одной из самых влиятельных в Ташкенте семей, и, хотя носил ту же фамилию, не был прямым родственником Первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана.

Японский, правда, он знал похуже или совсем не знал, но у него был свой переводчик-секретарь, составлявший обзоры японской прессы, потому что Ирик представлял в Токио одно из самых влиятельных московских изданий.

Но главным оказалось то, что в отпуске, из которого он только что вернулся, Ирик, несмотря на свои общесоюзные и мировые возможности, принял важнейшее и окончательное решение сворачивать свои зарубежные дела и возвращаться на Родину. Может быть, он предчувствовал создание независимой республики Узбекистан? Но именно тогда, в восемьдесят третьем, в Ташкенте для него готовилось рабочее место, завершалось строительство дома в старой, то есть узбекской, части обрусевшего города; там ждать его осталась жена с детьми, и Ирик всем своим существом был больше там, чем здесь. Возможно, принять такое решение ему помогли родственники, а родственники у него были очень сильные. То ли родная сестра Ирика была замужем за очень важным лицом, то ли сам Ирик был женат на родной сестре важного лица, близкого самому Шарафу Рашидову.

Может быть, потому, что на этот, последний период он оказался в Японии в полном одиночестве, к которому не привык, Р. стал для него не просто земляком и одноклассником, но родной душой. Несмотря на тридцатилетнюю разлуку. Или благодаря именно ей. Как будто не было промежутка: окончили школу и тут же встретились в Токио...

А для Р. в условиях трехэтажной дисциплины и четверочного самонадзирательства Ирик стал не просто гарантом личной свободы, но и прямым доказательством независимости судьбы.

И еще. По какому-то фантастическому совпадению как раз в это время Р., как помнит читатель, тоже затевал большие ташкентские игры, ведя дипломатические переговоры с тамошним министерством культуры, Академическим театром имени Хамзы и Георгием Товстоноговым в надежде, что тот разрешит Р. поставить в Ташкенте большой русский спектакль.

Игры начались во время концертной поездки в Ташкент, которую я совершил незадолго до японских гастролей вместе с Аркади-

ем Райкиным. То есть гастролировал в Ташкенте Райкин, а мы со Стрельчиком поехали ему помогать. Нет, не так. В Ташкент Аркадий Исаакович поехал без своего театра, и ему нужны были паузы между выступлениями, потому что чувствовал он себя не очень хорошо. И вот в качестве пауз внутри его концерта поехали мы с Владиком. Но это выяснилось позже, а сначала нам сказали, что именно нас очень даже ждут в театре, и в самолете мы со Стрижом всю дорогу репетировали «Моцарта и Сальери», сочинение А.С. Пушкина.

А когда мы прилетели и я с утра сбегал в Ташкентский русский театр имени Горького, в котором начинал свою актерскую карьеру, чтобы одолжить там два парика для образного обозначения Моцарта (я) и Сальери (Стрельчик), оказалось, что Ташкент с нетерпением ждет именно Аркадия Райкина, а мы с Владиком должны составить его антураж. За деньги, конечно. Хотя и честь была велика.

Таким образом, трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери» вместе с париками, по выражению администратора Рудика Фурмана, оказалась «не в жилу», и в итоге внутри райкинского концерта Владик, передав зрителям привет от Ленинграда, со звоном и пафосом читал другое сочинение А.С. Пушкина — вступление к поэме «Медный всадник», потом мы с ним играли сцену Чацкого (я) и Репетилова (Стрельчик), и Владик, вторично появляясь на сцене, великолепно падал, а уж потом, в третьей паузе, я, в качестве старого ташкентца и выбившегося в люди земляка, по заказу Аркадия Исааковича читал свои стихи о театре, которые ему чем-то нравились.

Но все это было, повторяю, лишь в промежутках между титаническими монологами Райкина, чтобы дать ему отдышаться, потому что он чувствовал себя не очень хорошо, несмотря на ташкентскую весну и нежаркую погоду.

Райкина принимали как национального героя и первого космонавта одновременно, и весь город сошел от него с ума. Поэтому и нам со Стрижом досталась малая толика славы, и мы бывали на всех государственных и частных приемах, включая домашний обед у вечно молодой Тамары Ханум, с осмотром музейной коллекции ее многонациональных костюмов. Как я понял, этот обед со сладким бухарским пловом и десятью переменаами блюд носил даже родственный характер, потому что в то далекое время сын Аркадия Исаа-

ковича Костя Райкин, если не ошибаюсь, был женат на одной из племянниц или внучек, а может быть, на внучатой племяннице самой Тамары Ханум.

Для молодых и несведущих подскажу, что Тамара Ханум с незапамятных времен была эстрадной звездой всесоюзного масштаба и прославилась, исполняя песни разных народностей в этнографически достоверных национальных костюмах. К моменту нашего визита в Ташкент она была почтенна, как римская матрона, и почитаема, как Великая Октябрьская революция, раскрепостившая восточную женщину вообще и Тамару Ханум в особенности. Поэтому украдкой и доверительно нам указали на молодого бухарского милиционера в штатском, кажется, в чине сержанта, который был выписан в Ташкент в качестве бойфренда для вечно молодой Тамары Ханум. Он был невысокий, пухленький и хотя держался солидно и даже распорядительно, но на глаза не лез...

Так вот, во время этих триумфальных гастролей сама Тамара Ханум намекнула мне, не пора ли, мол, возвращаться домой, а министр культуры Узбекистана предложила как своему что-нибудь поставить в Академическом театре драмы имени Хамзы.

Поэтому я для Ирика и он для меня значили не только то, что значили сами по себе, и в наши отношения входило не только общее прошлое, но и то, что одному и другому мерещилось в светлом будущем.

Мы были корешками узбекской рассады, заброшенными судьбой на японские острова, чтобы встретиться и помечтать о том, какие новые побеги мы можем пустить там, откуда появились.

— Знаешь, Воль, — сказал Ирик, — мы с женой решили в самом начале, что в любой загранке будем жить, как дома, и есть тоже, как дома... Моя мать была особенно щепетильна в приготовлении еды: все должно быть натурально и чисто...

Ирик готовил свой любимый стейк на сковороде и был необыкновенно внимателен, подсыпая разные доли разных приправ, следя за процессом по часам и по запаху, потирая руки в предвкушении результата. Японской микроволновке это дело он не перепоручал...

— Тут наши живут довольно обособленно, — продолжал он, — на первых порах было совсем тяжело... И мы попали на такое польское собрание, где разбирали семью, которая кормит своих детей консервами...

— Это мне знакомо, — сказал я, — хотя мы, конечно, не дети...

— Вы в загранке от случая к случаю, — прощающе сказал Ирик, — а мы здесь живем. Так вот, эти ребята из Союза завезли несколько ящиков консервов и весь год бомбили бедных детей только ими... Конечно, дети заболели, их пришлось лечить, тут и выяснилось... Это на нас произвело такое жуткое впечатление!..

— А у нас был случай, — сказал я, — когда мы играли в Праге, в «Театре на Виноградах», а наш директор все речи перед чехами заканчивал текстом: «С глубоким славянским поклоном...» При этом он едва кивал головой, так что сам «глубокий славянский поклон» выглядел неубедительно... И вот дело идет к концу, и на последнем банкете один наш актер ему советует: «Геннадий Иванович, скажите так: с глубоким славянским поклоном «Театру на Виноградах» от «Театра на консервах»».

— Смешно, — сказал Ирик и принял лекарство.

Я уже знал, что в Пакистане он заработал язву, а в Афганистане — орден.

— Вот мы с тобой в Ташкенте встретимся и там приготовим настоящий ош. — «Ош» по-узбекски значит «еда».

— Что ты принимаешь? — спросил я.

— Гастроинтестинал, — сказал Ирик. — Зачем тебе?

— Помогает? — спросил я.

— Вскрытие покажет, — сказал Ирик. — Вообще-то это хорошее лекарство, не химическое, а натуральное. Китайское. У тебя что, тоже язва?

— У меня — нет, — сказал я, — у отца...

— Язву нельзя долбить химией, — сказал он, — а то она при переменах воды опять открывается... Нет, все, теперь домой... Мне предлагали Англию, предлагали Париж... Хватит... Кстати, у японцев очень хорошие лекарства, имей это в виду... Там, у нас в верхах, любят японские...

— Да? — спросил я. — Какие?

— Гаммалон, ангинин...

— А это от чего? — спросил я.

— От склероза, — сказал Ирик и посмотрел на телефонный аппарат.

Съев стейк, мы пошли гулять по вечернему Токио.

Респектабельные японцы делали зарядку у императорских прудов.

Самое интересное, что все они были страшно похожи на узбеков. Или Гога был прав и это узбеки походили на японцев?

Однажды я прилетел в Ташкент, и университетский однокашник, работавший в ЦК Компартии Узбекистана, спросил меня, не хочу ли я посмотреть на Ташкент из Старой Крепости. В Старую Крепость, как на военный объект, в мое время было не попасть, а теперь ее снесли и на этом месте воздвигли беломраморное здание ЦК. Я сказал, что хочу. Он заказал пропуск, и, поднявшись на третий этаж, я полюбовался на речку Анхор и ее берега с точки зрения Центрального Комитета.

— А где сидит Рашидов? — спросил я, имея в виду Первого секретаря, писателя и лауреата Государственной премии, автора романа «Сильнее бури» Шарафа Рашидова.

Однокашник, которого звали Адхамом, сказал:

— Рашидов — шестой этаж. Хочешь смотрит? — И, демонстрируя свое могущество, снял трубку. — Михаль Иванович, здраствуйте, это Адхам Адхамов говорит... Исдес у нас гостях наш друг Владимир Ресептор, — от внезапного волнения его акцент усилился, — знаете, который универстет Ташкенте кончал, театральный тоже, Гамлета играл, тепер работает Лениграде, у Товстоногова... А, знаете!.. — Адхам радостно кивнул мне и выразительно поднял брови. — Вот, говорит, был бы здорова с шестой этаж СеКа Ташкент увидет!.. Можно это сделат для гостя, с вашего позвления?.. Харашо... Ожидаем... — Адхам прикрыл трубку другой ладонью и послал в мою сторону шепотом: — Это — помощник Рашидова, товарищ Косых Михаль Иванович, он другому телефону спросит охрана, мы с приемной Рашидова будем смотрит вид из окна... Да, да! Михаль Иванович, слушаю... Да... Да-а!.. Да-а-а!.. Счас?.. — Адхам

потрясенно положил трубку и с недоверием посмотрел на меня. — Тебя, оказываешься, товарищ Рашидов хочет видеть. Идем самому Рашидова...

Такого эффекта от своего лихого звонка Адхам явно не ожидал и всю аудиенцию томился в приемной.

Когда Р. вошел в кабинет Рашидова, тот, сидя за длинным столом для совещаний, цветными карандашами подчеркивал что-то в многостраничном тексте и поздоровался не прежде, чем Р. осознал всю степень его огромной занятости и государственной ответственности. Р. приветствовал его бодрым тоном неисправимого оптимиста и баловня судьбы.

— Доклад пленуме готовлю, — буднично объяснил Рашидов и показал, где Р. может сесть. С указанного места Р. увидел, как он то красным, то синим карандашом подчеркивает в тексте цифры и цитаты. — Сейчас Нишанов подойдет, секретар по идеологии, — сказал Рашидов и, оторвавшись от своего труда, посмотрел на Р. Очевидно, встреча с представителем искусства должна была по протоколу протекать в присутствии главного партийного идеолога.

— Ну, как жизнь, — запросто спросил Рашидов, — как работа?

Р. не понял, задан ли вопрос по существу или из восточной вежливости, и в ответе был предельно краток.

— Очень хорошо, Шараф Рашидович, спасибо. — И спросил: — А у вас на литературу время остается?

Этим Р., очевидно, хотел подчеркнуть, что видит в Рашидове прежде всего человека искусства, а уж потом — государственного деятеля. Его романа Р., конечно, не читал, но не станет же он спрашивать о романе... Гнусную лесть Рашидов, видимо, оценил и с глубоким вздохом ответил:

— Сожалению, сожалению...

Р. не стал выражать ему сочувствия и переменял тему:

— Какой у вас вид из окна, Шараф Рашидович! — сказал он.

Рашидов посмотрел в окно, как бы оценивая пейзаж чужим взглядом, и скромно сказал:

— Да... Стараемся... Строим... — И спросил: — Как вам Ташкент?

Р. сказал:

— Да, Шараф Рашидович, производит сильное впечатление... После землетрясения — другой город...

Тут вошел Нишанов, и Рашидов познакомил нас.

— Слышал, слышал, — сказал Нишанов и покровительственно улыбнулся.

Секретаря по идеологии Нишанова Р. хорошо знал по рассказам одной балерины из театра имени Алишера Навои, за которой он властно охотился, но которая почему-то отдавала предпочтение мне. Во всяком случае, в тот мой приезд. Но Нишанов не знал, что я о нем знаю, и держался как ни в чем не бывало. «Красивый мужик», — отметил я и подумал, что с балкона нашей общей знакомой, голубоглазой балерины из театра имени Алишера Навои, по странному стечению обстоятельств, как и Рашидов, обитающей на шестом этаже, Ташкент выглядел намного лучше, чем из широких окон Первого секретаря.

— Все-таки у нас вы не остались, — прервал мои размышления Рашидов. То ли это был упрек, то ли констатация факта.

— Шараф Рашидович, я же не мог работать в Театре Хамзы. Я должен был работать в русском театре... И меня позвал к себе самый крупный режиссер страны — Товстоногов, можно ли было такую перспективу отвергать?... В конце концов, я в его театре представляю все-таки Ташкент. И в Москве, и в Ленинграде знают, откуда я появился.

— Расскажите нам, как работает товарищ Товстоногов? — спросил Рашидов, и в его вопросе Р. послышался оттенок настоящего интереса. Тут, забыв о времени, Р. увлекся и стал рассказывать, какой это замечательный режиссер, и как творчески применяет он систему Станиславского и его метод действенного анализа, и в каких зарубежных поездках театр побывал, и как много он успел почерпнуть за эти годы. Впрочем, он не забыл добавить, что многому научился именно в Ташкентском театральном институте, где тоже творчески применяют систему Станиславского, и какой это прекрасный институт, не говоря уже о Среднеазиатском университете.

Рашидов слушал внимательно, время от времени переглядываясь с Нишановым. Здесь творилась легенда о встрече бывшего ташкент-

ца с самим Шарафом Рашидовым, которую деятели культуры скоро будут передавать из уст в уста. И, выдержав паузу, он сказал:

— И все-таки, когда было землетрясение, вас с нами не было.

Это был уже явный упрек, если не обвинение. Стало быть, из любви к Шарафу Рашидовичу Р. должен был отказаться от ленинградской перспективы и стоически ждать будущего землетрясения. А если бы он уехал из Ташкента после землетрясения, он поступил бы патриотичней?

— Ну, знаете, Шараф Рашидович, — сказал Р., не затягивая паузы, — землетрясение, к несчастью, никто не мог предсказать, не только я, но даже и вы, признайтесь!..

Ответ, видимо, его удовлетворил как признанием высоты его положения, так и констатацией независимости природы, и Рашидов усмехнулся.

— Это вы правильно заметили, — сказал он, глядя на Нишанова, и, подумав еще, диктующим тоном начал формулировать: — Если кто-нибудь будет вас упрекать, вы никого не слушайте. Ты — наш. Мы считаем тебя нашим полномочным представителем Ленинграде. Недаром вы бываете Ташкенте, не забываете нас. Приезжайте еще, что-нибудь сделайте для нас. Мы будем вам помогать, — и, посмотрев на Нишанова, закончил: — Передайте от нас привет товарищу Товстоногову.

Нишанов с видом глубокого удовлетворения кивал в такт словам Первого секретаря. Решение, как всегда, было мудрым, политически глубоким и единственно верным.

Когда Р. вышел в приемную, Адхам Адхамов, сняв с запястья часы и вытянув руку вперед, держал их перед глазами на ладони. Глуховатым и полным значения голосом, не отрывая взгляда от стрелок, он зафиксировал:

— Сорок восим. — Он глубоко заглянул Р. в глаза и, снова сверившись с часами, повторил: — Сорок восим минут ты был у товарища Рашидова.

И, обернувшись к помощнику и показывая ему свои часы, в третий раз потрясенно повторил неслыханную цифру:

— Сорок!.. Восим!.. Минут!..

Думаю, это случилось ближе к отъезду в Осаку, скорее всего, в начале буднего дня, когда цеха, руководство и актеры, позавтракав за счет фирмы, рванули из «Сателлита» по своим сугубым делам, а бдительность дежурных энтузиастов в гостинице явно притупилась. Его расчет оказался по-военному точен.

Не знаю, встречал ли он ее внизу или она сама поднялась на шестой этаж и постучалась в игрушечный номер, знаю одно: чайная церемония держалась в секрете. И то верно: зачем гусей дразнить?.. От взаимной вежливости и полного смущения можно было с ума сойти, а гор-таннный клекот закипающей в кружке воды, звяканье чашек в тесноте, тихие вздохи и случайные касанья, не глядя, — все сливалось в необыкновенную и новую музыку, которую создавал невидимый дирижер.

Пауз выходило больше, чем реплик, потому что единственное, чего хотелось, это побыть наедине, и, не доверяя до конца ни себе, ни госте, оч все-таки решился...

Печенье было ленинградское, и сахар тоже...

Вздор! Вздор!..

Вовсе он не раздевал ее, вовсе не разглядывал и не разглаживал с нежностью тоненькой шеи, смуглых плеч, покатых шафранных грудок с раскосыми сосками, а тем более всю ее ладную восточную плоть!.. Нет и нет!.. И узкие бедра, и глубокий зрачок прячущегося пупка, и прохладные гладкоствольные ножки с упругими ступнями, и тишайший ласковый кустик, укрывающий плотное лоно, — все это японское счастье и чудо всего лишь тайно воображалось ему!..

Лишь изредка он решался коротко взглянуть на ее гладкую черную головку, на чистый лоб, а еще реже в сияющие черные глаза. Ему хотелось сказать: «Дорогая, дорогая», — и услышать в ответ что-то незнакомое, утешительное и хоть на миг спасающее от привычного одиночества, но он только молчал и улыбался. Слишком она была чиста и недоступна в свои восемнадцать, а он — слишком осторожен и мудр в свои пятьдесят семь, чтобы решиться на что-то большее, чем чайная церемония в отеле...

— Благодарью, благодарью вас, сенсей! — говорила она, кланяясь ему, и эти ее сложенные перед грудью ладошки и привычные короткие грациозные поклоны просто восхищали его.

И все-таки, все же...

Чем церемоннее был чайный дуэт, тем неслучайней и бесцеремоннее росло в них обоих простое и ясное желание. Несмотря на большую разницу в возрасте. А может быть, именно благодаря ей.

Страсть и нежность — вот что чувствовал он, я знаю...

А она испытывала трепет и жажду...

Семен Ефимович Розенцвейг пил чай с печеньем и задыхался, а юная Иосико не сделала ни глотка...

Он уже любил ее, молча и безнадежно и, кажется, навсегда, словно от имени всего своего древнего и исстрадавшегося народа, не дающего прав своим мужчинам ронять семя в чуждое лоно. И так же молча она откликалась ему, чувствуя за спиной дыхание другого, не менее древнего мира, который налагал на нее свои запреты. «Будьте благословенны и обнимите друг друга!» — сказал бы я им, если бы знал о тайном свиданье, но я ничего не знал, а они не могли догадаться, что с чайными чашками в руках уже перешли границу моих авторских владений.

Вздор, вздор, что удавшиеся герои ведут себя своевольно и вопреки родительским желаниям!.. Это автор, достигнув высшей степени любви, разрешает им делать что угодно! И, почуяв негласное разрешение, они, как японские дети, принимаются расти без отказов и наказаний. А все их ослушанья, и уходы, и вольная жизнь вне отцовских пределов чреваты болью, и знаньем, и запоздалым раскаяньем, и скорбным возвращением блудных скитальцев к родительским стопам...

Моя вина, что не успел вмешаться и вместо любой другой безделушки она подарила ему часы. Откуда ей было узнать, как не от меня, что *счастливые часов не наблюдают?*..

Иосико подарила Семену часы, на которые он стал смотреть все время, театр прослышал об этом подарке...

А когда Семен Ефимович, стесняясь, представил однажды артиста Р. своей Иосико, тот, недолго думая, разразился легкомысленным монологом о Розенцвейге, какой, мол, это замечательный человек, и великий композитор, и какой, не в пример другим, воин и мужчина!..

— Приезжайте в Ленинград, Иосико, — пел артист, не зная, как глубоко вбирает юная японка эти слова, — мы покажем вам спектакли Достоевского и Блока, вы услышите музыку Розенцвейга и *увидите небо в алмазах!*..

В «Ревизоре» рольку, или, скорее, эпизод, Степана Ивановича Коробкина, «отставного чиновника» и «почетного гражданина в городе», должен был сыграть Юра Демич. Именно это назначение и позволило включить его в список едущих, так как ни в одной из четырех классических пьес Юра занят не был. И вот, в порядке поощрения за заслуги в современном репертуаре, ему дали роль Коробкина и взяли на японские острова.

Но Юра начал пить еще в самолете, продолжил в поезде, развернулся на теплоходе «Хабаровск», а в Японии его сначала вообще не было видно. Чтобы отыскать Демича, завтруппой Оля Марлатова звонила завкостюмерной Тане Рудановой, потому что Таня и Андрюша Толубеев, сойдясь с Юрой «на почве консервов» — их «дортюары» в «Сателлите» шли подряд, — по-товарищески старались его как-то прикрыть. Кстати, они же первыми нашли и навели остальных на токийский магазин русской книги, и эту их безусловную заслугу я просил бы читателя не забыть...

Какие у Демича были внутренние причины для питья, судить не берусь, но перед репетицией «Ревизора» в театре «Кокурицу Гокидзё» он в голубых тапочках заходил за ширму и, чтобы снять стресс, глотал валерьянку. Валерьянка не помогла: к роли покойного Миши Иванова Юра отнесся халатно, к вводу был не готов, так что Коробкина у него тут же отняли и отдали Валере Караваеву, тому самому артисту, который заменил заболевшего Гая в спектакле «Амадей».

Здесь не было его капризного умысла, все вышло как-то само собой, и Юра, конечно, смутился: во имя Коробкина был проделан неблизкий путь до самого Хондо, но, если не ошибаюсь, за сорок дней в Японии он на сцену так и не вышел, а если ошибаюсь, то вышел, но без имени и без слов.

Легко представить, как обиделся и рассердился Гога...

Еще в Ленинграде директор Суханов, стоя рядом с Товстоноговым, бросил реплику Р.:

— Что, «пристегнули» вас к Демичу?

Я переспросил:

— К Демичу?..

— Разве вам не сказали?..

— Нет... Или я прозевал...

— Скажут, — успокоил меня директор.

Гога мгновенно отреагировал:

— Слава богу, что не меня... Если бы меня к нему «пристегнули», я бы испортил все отношения.

Смысл реплики, в общем, понятен и, если подумать, не обиден: отношения все-таки хороши, но их не хотят подвергать лишнему испытанию. Однако тут, как на грех, Юра «загудел» и подвел Гогу, не говоря уже о покойном Мише Иванове и гоголевском Степане Коробкине.

Родился Юра на Колыме, где с тридцать седьмого по пятьдесят седьмой отбывал срок его отец, прекрасный актер Александр Иванович Демич. По доносу артиста-парторга, имени которого я не знаю, Александра Ивановича взяли в Москве прямо из Ермоловского театра, и первые восемь лет в магаданских рудниках он видел одно черное небо. Однажды был почти мертв и оказался в мертвецкой, но очнулся, выполз и выжил, а позже попал в лагерь, где отбывала свой срок артистка Урусова из того же Ермоловского. Урусова оказалась здесь потому, что отказалась подписать донос того же парторга на того же Александра Ивановича.

Из лагеря его стали привозить и приводить под конвоем в магаданский театр, где он играл главные роли, а знаменитый впоследствии Георгий Жженев был всего лишь «на выходах», а потом Демич-старший стал приходиться на работу уже без конвоя.

Даже в шестьдесят лет Александр Иванович был необыкновенно силен и спортивен, легко делал сальто и был способен выстоять в любой драке. Известен случай, когда на него напали трое хулиганов и Демич, как говорится, с пол-удара положил двоих, а третий убежал с криком: «Это я, Александр Иваныч, простите, не узнал!» После освобождения его снова звали в Москву, в Театр имени Ермоловой, но Демич-старший отказался, потому что там все еще процве-

тал упомянутый артист-парторг: Александр Иванович побоялся, что может его убить. Поэтому из Магадана он уехал сначала в Казань, а потом в Самару, где Юра окончил студию при театре и сыграл свои первые роли. Туда, смотреть его Гамлета, Товстоногов откомандировал Дину Шварц.

Демич-младший легко вписался в труппу, но был нетерпелив, нервен и, видимо, донимал Мэтра открытыми требованиями. Однажды он в сердцах швырнул заявление об уходе, но после драматической сцены в кабинете Мастера, где, по словам Дины, Юра плакал, а Гога дрогнул и пообещал ему повышение зарплаты и звание, Демич-младший заявление забрал.

В тот момент артист Р. поставил себе в пример поведение артиста Д.: «Вот как надо биться за свое положение!» Но себя не переделаешь, и в трудных случаях Р. по-прежнему замыкался в себе и отдалялся от Гоги.

Что касается Юры, то иногда казалось, что ему просто нравится роль бесшабашного гуляки или беспутного гения, навеянная, может быть, отчасти образом любимого отца, отчасти рассказами о Паше Луспекаеве, хотя все, кто знал самого Пашу, эту роль оставляли за ним одним и ни в какие сравнения не входили.

У Юры Демича, судя по репликам той же Дины, были какие-то сильные покровители в Москве. Они и помогли ему переехать в столицу, когда на спектакле «Амадей», где Стржельчик играл Сальери, а Демич — Моцарта, разразился скандал и отношения с Гогой стали невозстановимы.

Оглядываясь на короткие и малозначащие разговоры с Юрой, на его роли и романы, возникавшие на наших глазах, я думаю не о грехе пьянства и женолюбия, а о какой-то внутренней трагедии, которой он не мог поделиться ни с кем.

Кроме Гамлета и Моцарта (Д. сыграл у Шеффера, а Р. — у Пушкина) позже возникло еще одно сближающее обстоятельство. Отец Юры, Александр Иванович, переехавший вслед за сыном из Самары в Ленинград, поменяв трехкомнатную квартиру на волжской набережной на питерскую коммуналку, был похоронен на театральном участке Северного кладбища в Парголово в ближайшем соседстве

с общим участком, где упокоились отец и мать артиста Р., тоже в свое время переехавшие в Питер вслед за своим сыном.

Утром того дня, когда должна была состояться токийская премьера «Ревизора», мы шли по какой-то скромной улице, и Стриж рассказывал о приеме у посла, на котором были четверо: Гога, Кирилл, Лебедев и он. Стриж снова был не в духе, его возмущало и то, что похожий на японца Павлов не знал, на сколько дней мы приехали, и то, какую выпивку на приеме давали и как подавалась эта выпивка, а особенно то, что четырех сувенирных ручек не хватило на четверых, и послу пришлось во второй раз посылать за ручками, после чего ручек уже хватило.

Рассказы Владика о любой чепухе всегда были очень эмоциональны и зажигательны, потому что он был прирожденным артистом и должен был играть, играть, а «Амадея» не привезли, и за все сорок дней на островах у него были только «Мещане», два или три спектакля, черт знает что!.. Вот он и проигрывал в сердцах любую японскую сцену.

Навстречу нам показалась веселая процессия пожилых японцев, над которыми реял национальный флаг: алый кружок — восходящее солнце. Люди шли посреди улицы, таща на плечах нарядную пагодку, и радовались жизни. Старушки в скромных кимоно с наслаждением били в бубны; старик наяривал на каких-то клавикордах, висящих у него на шее и вовсе не похожих на аккордеон; в такт веселым шагам он еще посвистывал в сладкоструйный свисток. В толпе гремели погремушки, нежничали флейты, а большой барабан был украшен красными цветами и скрывал маленького барабанщика.

Среди шествия, на которое мы смотрели как на спектакль, кружилось несколько актеров-мужчин, отдавшихся женскому танцу, и благодарные зрительницы, подбегая, совали им деньги — за пояс или за пазуху. Один из удачников, видимо для примера, показал нам две толстые пачки по сто иен. Шествие смахивало на узбекскую свадьбу, с карнаем, зурнами и дарением денег, только молодых не было заметно, и, наверное, поэтому никто из нас даже не подумал совать свои иены за японские пазухи...

А когда колонна миновала, наша компания — Стриж, Волков и мы с Розенцвейгом — оказалась у старинного буддийского храма, в котором готовились похороны.

Приняв нас за американцев, один из «белых воротничков» объяснил по-английски, что хоронят человека дворянского звания, который всю жизнь прослужил в крупной туристической компании и вот, снискав заслуженное уважение сослуживцев и родственников, скончался, завещав часть денег своему храму...

У входа в дом Будды цветы и зеленые камни составляли печальную икебану, в центре которой бил родник с «народной водой». Это значило, что вода — общая и за нее не нужно платить. И мы попили «народной воды» из медных черпачков с длинными ручками. Когда много ходишь пешком, хочется пить.

Сцену чтения хлестаковского письма Товстоногов посвятил памяти Мейерхольда. Он сам об этом не раз говорил и решал ее отчасти как цитату из знаменитого мейерхольдовского «Ревизора». И костюмы шились по эскизам Мстислава Добужинского, сделанным для спектакля погибшего Мастера. И здесь позволю себе небольшое костюмное отступление.

Читатель, никогда не бывший за кулисами и ни разу не вдыхавший сладковатый нафталиново-пыльный запах большого театрального гардероба, должен простить автора за эту экскурсию. Каждый висящий на распялке костюм, независимо от изношенности, вместе с именем своего создателя — художника приобретает еще одно и, может быть, главное имя — носителя, то есть артиста, с коего снимали мерку, два, а то и три раза отправляли в мастерскую подгонять, подрубать и приталивать, наконец, торжественно облачали и вместе с костюмом выводили на специальный просмотр накануне генеральных репетиций и мероприятий с начальством и публикой.

Поэтому зеленый фракный мундир со вставкой песочного цвета на груди и оттопыренными проволокой фалдами, в котором его носитель отчасти напоминал кузнечика, должен по праву и до конца своих дней называться костюмом *Добужинского-Лёскина*. А в связи с тем что к моменту японских гастролей артист Боря Лёскин успел

эмигрировать в Америку, мундир по нем тосковал и ждал несбыточной встречи.

Это люди думали, кого бы внедрить в зеленый фрачный мундир с песочною вставкою, а сам он до последней петли и пуговицы хранил собачью верность отчаянному хозяину, мыкающему первое горе в равнодушных Штатах...

Костюм Коробкина, сшитый на покойного Мишу Иванова, Юре Демичу в *сотрудничестве* отказал. Он никак не предвидел в своем дорогом носителе ни укрепления грудных мышц, ни расширения бедер, ни горделивого вытягивания вверх, и потому, категорически протестуя против Демича, был вынужден в тоске отойти к другому невольнику. Демич же обязывался на японских островах исполнить роль Коробкина как раз в характерном фрачном мундире *Добужинского-Лёскина*, который был нами представлен выше и хотя бы по своим внешним параметрам Юру *принимал*. И автор не исключает того, что, помимо субъективных моментов, относящихся лично к Юре Демичу, сама судьба противилась тому, чтобы *ивановский Коробкин и коробкинский текст* исходили изнутри того костюма, в котором артист Лёскин был призван не говорить, а *молчать*...

Нетрудно также вообразить, какие муки испытывал костюм Хлестакова, сшитый на Олега Борисова, когда его хозяин оказался отставленным от роли, а играющий костюм Басилашвили от долгого употребления поизносился. Тогда *борисовский* костюм стали натягивать на *другого Олега*, и сюртуки пришлось пороть по швам, выпускать, надтачивать, а главное, заставляя делать вид, что так и нужно и все хорошо...

То же самое ужасное чувство, только чуть раньше, одолевало кожаный костюм принца Гарри, *сшитый на Рецептера*.

— Вам очень идет этот костюм, — сказал Товстоногов на просмотре, а после генеральной репетиции эту гармонию разрушил.

И когда Борисов замусолил и обтрепал свой кожаный колет и сапоги, тут-то и вспомнили о свежем наряде Рецептера, разлученного с ролью, и стали его как второй ладить на Олега: обузили, обкорнали и так далее, и тому прочее, вообразите себе такую трагикомедию...

Иное дело, если хозяин сам берет свой костюм из спектакля в спектакль. Вот Юрский затеял вывести в «Ревизоре» Осипа *в том же сюртуке, который он надевал как Чацкий*. Не берусь судить, испытал ли смущение носитель, но «чацкому» сюртуку, особенно в первое время, было очень даже неловко...

А тот, второй сюртук, который был шит на Чацкого-Рецептера, кажется, по рукам не пошел и, по словам Татьяны Рудановой, вон там, в третьем ряду, так и висит с вышитым на подкладке цветною ниткою первым слогом смешного имени: «Рец.»

Но, может быть, самые мучительные испытания прошел черный сюртук Мышкина, который был заказан при возобновлении «Идиота» по мерке Смоктуновского, потому что, полюбив богоугодного Иннокентия, он всегда маялся, попадая на чужие плечи — то к Юрскому в «Беспокойную старость», то к Волкову в «Третью стражу», то к Ивченке в «Смерть Тарелкина».

Впрочем, есть у нас и последний, потрясающий душу пример. Несказанные, танталовы, адовы муки пришлись на долю ревнивого сюртука из «Варваров», который вместе со Стрельчиком покорял публику ролью аристократа Цыганова, а когда «Варвары» с отъездом Дорониной в Москву сошли, был привлечен Стрижом на сенаторскую роль в «Правду, ничего, кроме правды». И только ближайшие соседи по вешалке могут рассказать, что сделалось со славным Славинным сюртуком, когда его разжаловали выручать Лаврова в плебейской роли доктора Астрова...

Костюмы к «Амадею» сочинил Эдик Кочергин, а помогала их делать Инна Габай. На атлас или парчу нашивалась крашеная гардинная сетка. А красить ее нужно было по чутью: похолоднее или теплее, и выходило необыкновенно красиво...

Гришин камзол шили из сиреневой парчи, перекрывая ее лиловой гардинкой; на штаны пошел сиреневый блестящий атлас; туфли были замшевые и тоже сиреневые, с бутфорской сиреневой пряжкой, ну и, конечно, белоснежная рубашка с жабо. Прибавив сюда белые обтягивающие чулки и напудренный парик, получим общую картинку...

Но, надевая дворцовый камзол и сиреневые штаны, натягивая чулки и башмаки, Гриша уже не мог отвлечься от собственных про-

блем. Он думал о старшей дочери, уехавшей навсегда в страну Израиль, и о судьбе потерянного внука. Ему казалось, что он должен спасти жену, обманутую немецким дельцом, и младшую дочь Настеньку, которая забывает русский язык. И о ком бы из своих он ни думал, жизнь поворачивалась так, что только тверди да тверди самому себе фразу из любимой роли: «Не падай духом, никогда не падай духом...»

И снова промах, накладка... Странности.

Обо всех случаях докладывали Гоге, и Гога стал его избегать.

Приняв БДТ, Георгий Александрович не тотчас позвал за собой Гая, а когда все-таки позвал или принял в расчет Гришино стремление, то уже на вторые, а не первые роли, о чем, судя по некоторым свидетельствам, его и предупредил. То есть речь шла об укреплении вторых ролей в БДТ артистом первого положения из «Ленкома», и ему самому предстояло решить, согласен он на новые условия или нет.

Пожалуй, это и было для Гриши первым ударом...

Помреж толкнул меня на сцену театра «Кокурицу Гокидзё»; и Бессловесный вошел в дом Сквозник-Дмухановского. Тут артист Р. и дал волю всему идиотизму, на который он был способен, и опять оказалось, что в этом плане он способен на многое.

Господин Бессловесный выходил прекрасным человеком и, конечно, понимал, что достоин счастья не меньше, чем любой из собравшихся, включая и самого Антона Антоновича. Он понимал, что при нынешнем раскладе с таким умом и почерком мог бы занять любую государственную должность, прежде всего — почтмейстера; но нет, нет, он выше служебной ревности, и пусть все останутся при своем, растут в чинах и будут счастливы!.. И даже если его не разглядят и не оценят в родном городке, Бог справедлив и видит, что дворянин Бессловесный, хоть и беден, но честен, и любит свой народ и готов ему послужить, даже не имея чина и звания.

О, господин Бессловесный был патриот и торжествовал вместе с семьей городничего. Боже и Господи сил, какого светлого будущего ждал он для всей России, как возносился в мечтах!.. А по причи-

не врожденного женолюбия, — разве оно помеха патриотизму? нет и еще раз нет! — как обжигал он страстными глазами обнаженные плечи собравшихся дам!..

И съесть, и выпить он был готов, если бы дали, так ведь не дали. И пусть, пусть не в этом счастье, он все равно, все равно...

— Уважаемые господа! — молча кричал он. — Не могу передать вам, какое это счастье быть дураком и знать свое дурацкое место! Какая всеобщая любовь и общественное признание станут изливаться на вас со всех сторон от благодарных современников, как только вы проявите себя действительным дураком! В сияющем нимбе вашей дурацкой светлости им покажется, что каждый из них поумней, а значит, и одаренней от Господа Бога, и в их душах настанет мир и покой, потому что они достойнее... Какое же это благодеение — показать счастливыми окружающих вас!.. Братья мои по разуму, светлейшие дураки! Будьте такими, как есть, не верьте случайностям лестных предложений, откажитесь от карьеры, которая погубит ваше здоровье и репутацию, будьте здесь, со мной, в самой близости к русской земле и великому народу, беззлобно наблюдающему за дурацкими перемещениями должностных лиц!.. Я люблю вас, люблю, как самого себя, и, глядя в японское зеркало, не могу наглядеться на эту дурацкую физиономию!..

Нет, никто, кроме коллеги-артиста, не поймет этого восторга, а за ним и самого вдохновения, переселяющего тебя в другое время, новое пространство и неизвестное прежде лицо, которое вдруг — ни от чего — почему-то знаешь, слушаешь и пестуешь, как самого себя!..

Тут и случается под чужими колосниками известная странность, и наверху, в черном небе, сдвигается крышка, и дырявится крыша и едет незнамо куда, и столп верхнего света упирается в твою темя, и тело теплеет, и, сам не свой под живой ладонью Господа, становишься честным проводником диктующей воли.

О, тогда все равно, все равно, принц ли Гамлет снова является в мир, или Ванька-дурак Хлестаков, или господин Бессловесный собственною персоною!..

Так что учтите, учтите, читатель, что весь наш скарб, гардероб, реквизит, все раны плоти и самолюбия, пустые надежды, праздная болтовня и пакеты с консервными банками, весь домашний сор и гастрольный мусор и трижды проклятый быт столько раз бывали опровергнуты, сколько раз выходил на сцену вдохновляемый ролью артист...

Бывает, бывает, знаете...

Особенно в виду Фудзиямы...

— 18

Виталий Константинович Иллич, в costume которого на японских островах сама судьба и лично Г.А. Товстоногов обязали меня выходить безымянным гостем в «Ревизоре», был не только умен, но и красив, и хорошо сложен, отчего наши женщины между собой называли его «Марчелло», сравнивая с самим Мastroяни. По манере поведения Иллич казался человеком флегматичным и даже степенным. На самом же деле в нем жил скрытый темперамент и, что особенно важно, притаенный и проявляющийся на полном покое юмор.

Как-то, еще до прихода в БДТ Г.А. Товстоногова, в театре готовили постановку пьесы И. Прута «Тихий океан» о суровой службе советских подводников, терпящих бедствие на дне океана. Офицеров подлодки играли Стрельчик, Иванов, Иллич, а ставил спектакль режиссер Альтус.

Поскольку в лодке кончался кислород, артистам, и прежде всего Виталию Илличу, казалось естественным играть некую заторможенность людей, испытывающих кислородное голодание. Но темперамент режиссера перехлестывал вялое течение подводного действия. Он взбежал на сцену и стал вдохновенно показывать всем, и прежде всего Виталию Илличу, как именно следует играть.

— Вот так, — приговаривал режиссер Альтус, увлекая исполнителей личным примером, — так... и так!.. Понял, Виталий?.. Ты должен сделать это так!..

На что Иллич, сводя на нет творческие усилия постановщика, совершенно невозмутимо ответил:

— Можно так, а можно и иначе.

— Только так! — не помня себя от ярости, на весь театр закричал обиженный режиссер...

Я понимаю, что выражение «можно так, а можно и иначе» совершенно банально и представляет собой общее место, но именно в театре, при неизбежной диктатуре режиссера, оно приобретает чуть ли не бунтарский смысл. Видимо, поэтому реплика Иллича сделалась крылатой и стала передаваться из уст в уста и даже из поколения в поколение. Если актеры хотели заявить о своем несогласии с режиссерским решением или подвергали его сомнению, они повторяли репризу. И в разговорах между собою пользовались ею как своеобразным паролем. Стоило раздумчиво и несколько флегматично произнести: «Можно так, а можно и иначе», и казавшаяся сложной ситуация парадоксально упрощалась. Часто, демонстрируя свое свободомыслие и независимость суждений, большедрамовцы, как заговорщики, намекали друг другу:

— Можно так, а можно и иначе.

Наследуя традиции актерского цеха, и Р. не раз пользовался «парадоксом Иллича». В конце концов, он учил широте художественных воззрений, звал к мирному сосуществованию враждующих театральных систем, наконец, наводил на мысль о будущем театральном рае, в котором никто никого не угнетает, не топчет и не ест...

Однажды, во время гастролей в Нижнем Новгороде, в то время еще Горьком, Иллича поселили в гостинице рядом с Ниной Алексеевной Ольхиной, неувядающей красавицей и неизменной героиней Большедрамта. Те, кто хоть раз видел Ольхину на сцене или смотрел фильмы-спектакли с ее участием, например «Разлом» или «Лису и виноград», не могли не обратить внимания на ее роскошный, сильный, с потрясающими низами и волшебными фиоритурами голос и дивную, классически театральную манеру придавать любой фразе романтическую приподнятость и выразительную звучность. Такие голоса знатоки по праву называют «орган». И этим своим органным голосом Нина Ольхина часто разговаривала по телефону с оставшимся в Ленинграде мужем, человеком образцового терпения и кротости.

— Витюня! Ты не можешь себе представить, — выпевала она, — какой здесь вид из окна! Я говорю с тобой и смотрю прямо

на Волгу, ты представляешь!.. А какая стоит погода, Витюня!.. Боже мой!.. Как жаль, что тебя нет с нами!..

Поскольку Виктор Зиновьевич находился действительно далеко от города Горького, Нина Алексеевна все повышала свое божественное контральто, передавая художественные впечатления так, что вместе с дорогим ленинградским абонентом ее слышала и вся гостиница «Волга».

— Витюня! Милый! Ах!.. Какое красивое лето! И представь — начинается нижегородская ярмарка! Может быть, ты все-таки приедешь к нам, Витюня?

Не выдержав оркестровой сцены, Иллич постучался к Ольхиной и сказал:

— Нина, подумай, стоит ли так надрываться, когда можно и по телефону поговорить?..

И эта фраза, несколько видоизменившись, тоже стала крылатой: «Стоит ли надрываться, — говорили мы друг другу, — когда можно и по телефону поговорить?»

Иллич был учеником знаменитого хударука Александринки Л. Вивьена и еще до войны заслужил одобрение старших коллег, сыграв в дипломном спектакле роль Егора Булычева. По окончании института он был принят в труппу своего учителя, получил броневую отсрочку и вместе с александринцами отбыл по эвакуации в Новосибирск.

Когда театр вернулся в Ленинград, Н.С. Рашевская, руководившая в то время Большим драматическим, пригласила Иллича к себе на солидное положение и роли социальных героев. Его внешнее спокойствие, отсутствие суетной экспансивности и философская уверенность в своей правоте соответствовали, по-видимому, тогдашним представлениям о положительном герое. Иллич успел сыграть Синцова во «Врагах» и Власа в «Дачниках» Горького, когда в БДТ пришел Гога.

Событие это сильно и глубоко повлияло на множество судеб, но здесь мы ограничимся лишь общими обстоятельствами.

Как острили тогдашние шутники, Большой драматический был награжден сразу «двумя Георгиями», потому что вместе с Георгием

Товстоноговым назначили и нового директора, которого звали Георгий Коркин. Конечно, он не снискал такой славы, как Гога, но хорошо запомнился многим старожилам.

В каноническую легенду «прихода» непременно включают две реплики: первого секретаря обкома Фрола Козлова в адрес Гоги:

— Возьмешь БДТ — я тебя в городе *главным дирижером сделаю*.

И самого Гоги в адрес общего собрания коллектива, сумевшего проглотить не одного худрука:

— *Имейте в виду: я — несъедобен!*

Свое заявление он подкрепил увольнением тринадцати объявленных ненужными артистов, один из которых тут же наложил на себя руки. Разумеется, приказы издавал другой Георгий, директор, но это не меняло сути дела.

Возникшая из множества слухов и свидетельств легенда варьирует число уволенных — «двадцать восемь», «тридцать четыре» и т.д., — доводя нас до цифр гипертрофированных и даже патологических, превышающих самое штатное расписание театра, и удваивая количество самоубийств. Однако автору оказывается совершенно довольно числа, наименьшего из названных, которое известно как чертова дюжина, и имени того отчаянного, который покончил с собой, узнав о своем увольнении. По странному стечению обстоятельств и его тоже звали Георгием, а фамилия его была — Петровский...

Попав на Гражданскую войну пятнадцати лет от роду, случайно или добровольно, Георгий Петровский успел послужить писарем в каком-то белом штабе, о чем неукоснительно сообщал во всех своих советских анкетах.

Говорят, Георгий Павлович был артист суховатый, а человек милый и отличался такой приверженностью к искусству грима, что в конце концов стал преподавать этот предмет в студии Большедрамта. Коллеги замечали, что он всегда приходил задолго до них и, устроившись перед зеркалом, с помощью париков, наклеек и краски старался изменить свое лицо, добиваясь при этом полной неузнаваемости.

Об этой странной манере лучше и проще других сказал в сердцах шекспировский Гамлет в переводе Бориса Пастернака: «Бог дал вам одно лицо, а вам надо непременно завести другое...» Правда, это относилось к Офелии и мотивы для изменения лица у Петровского были, очевидно, иные, чем у бедной дочери Полония, но это не отменяет и странного сходства...

С одной стороны, человек пишет о себе опасную правду в анкете, а с другой — пытается скрыться и стать кем-то другим...

Когда Петровскому сообщили об увольнении, он, придя домой, попытался зарезаться, и ему как-то удалось перерезать собственную глотку, но неудача преследовала его, и, по первому разу, врачи успели Георгия Павловича спасти... И уж после ненужного спасения он подготовил как следует веревку и повесился намертво.

Ужас, испытанный оставшимися в труппе, коснулся самых именитых и даже неприкасаемых, что уж говорить об артистах среднего положения или скромниках второй категории.

Не знаю, повлияла ли воспитательная атмосфера страха на актерские возможности Виталия Иллича или он был понижен в ранге априорно, но положение его изменилось, и он не стал бороться за прежние права. Может быть, именно эта его нерасположенность к борьбе и молчаливая терпеливость повлияли на установление между ним и Товстоноговым приятельских отношений. Помог и случай, безусловно, заслуживающий того, чтобы отразиться в нашей летописи.

Он произошел на репетиции «Гибели эскадры» Корнейчука, которую Гога прежде ставил в Театре Ленинского комсомола, а к очередной революционной дате решил возобновить в БДТ.

В знаменитой сцене прощания с кораблем Виталий Иллич играл черноморца, уносящего с собой клетку с канарейкой.

Мастер построил сцену так, что каждый из уходящих получил сольный выход из центрального трюма и чуть ли не минуту сценического времени лицом к залу, чтобы зритель видел одно за другим десять, а то и больше одинаково молчаливых и трагических, но по-человечески разных прощаний с родным домом, каким для каждого моряка является его корабль. Сцена шла без слов, под звуки торже-

ственного марша «Прощание славянки» в исполнении живого оркестра духовых инструментов.

Не знаю, что еще, кроме мощного дарования Георгия Товстоногова, подвигло всех участников так сильно и глубоко играть сцену и какие чувства теснили их души в кульминационный момент последнего расставания, но допускаю условно, что перед глазами Виталия Иллича, например, могли возникнуть и те тринадцать прощаний, которые у него на глазах пережили его товарищи, навеки покидая свой театр по приказу нового капитана. Каждого из них он хорошо знал и мог глубоко понять, потому что театр для артиста, как корабль для моряка, — родной дом...

Истории советского драматического искусства эти безымянные неинтересны, в отличие от славной когорты товстоноговского театра, но, воспитанные русской литературой с ее классическим вниманием к маленькому человеку, мы на мгновение склоним головы перед их братской могилой...

Итак, во время одной из репетиций «Гибели эскадры» в театре присутствовал и проводил свою тотальную проверку М. О. Фурай, известный во всех труппах и концертных организациях инспектор обкома профсоюзов по охране труда и технике безопасности. Маленького роста, лысовато-седой или, скорее, седовато-лысый носатый человечек с тихим голосом и скромными манерами, Михаил Осипович, и сам ставший вскоре одной из городских театральных легенд, умел навести панику на всех, чью работу он проверял, потому что, стоя на страже трудящегося человека, он никогда взятку не брал и предлагаемую водку не пил...

Я не знаю, как это могло случиться, но матрос, выходящий из люка непосредственно перед Илличем, неся на плече тяжелый станковый пулемет «максим», не то от полноты чувств, не то с бодуна уронил этот самый «максим» прямо на голову Виталию...

Номер мог стать смертельным, и Виталий действительно на миг потерял сознание, но опомнился и, белый как полотно, самоотверженно довел до конца эпизод с канарейкой.

Фурай насторожился и по горячим следам стал проводить служебное расследование, надеясь найти виноватых. Но допрошенный с пристрастием Виталий сумел убедить его, что ничуть

не пострадал, хотя его заявления не соответствовали правде жизни...

Товстоногов оценил этот поступок как проявление подлинного театрального патриотизма и актерского мужества и стал еще больше уважать нашего героя.

В «Третьей страже» Капралова и Туманова Илличу, как обычно, досталась роль человека немногословного и сдержанного. Если не ошибаюсь, это был не то дядька, не то телохранитель знаменитого Саввы Морозова, которого играл Копелян. Телохранитель был горцем, может быть, даже чеченцем, и роль обязывала Иллича участвовать во всех морозовских сценах. Если от Ефима Копеляна требовалось проявление необузданного русского темперамента, то от Виталия Иллича — по контрасту — ждали кавказской скрытности и внешней невозмутимости.

Однажды, выйдя со сцены, Иллич встретил за кулисами жену Копеляна, Людмилу Макарову, не занятую в этом спектакле.

— Люся, ты видела, как я играл? — строго спросил ее Виталий.

— Нет, — ответила Люся, — я только что пришла.

— Ты много потеряла, — сказал Иллич, глядя поверх ее головы, — я сейчас на сцене просто неистовствовал, — сказал Иллич, которого никто, нигде и никогда в таком качестве не видел.

Об этом случае напомнил мне Вадим Голиков, и в поисках подробностей я переспросил Макарову.

— Он сказал «свирипствовал», — уточнила Люся.

Она владела достоверностью факта, а Вадим пересказал ново-рожденную байку. И если я отдаю предпочтение редакции Голикова, то не потому, что факту предпочитаю вымысел. Просто слово «неистовствовал» в этом ряду нравится мне больше.

Бывал Иллич и за границей, в том числе с «Ревизором», и за портовым городом Гамбургом записан еще один его знаменитый случай, который нельзя пропустить.

Не зная других языков, кроме русского, и доброхотно принимая систему, согласно которой в чужой стране за все отвечает кто-нибудь другой — старший ли «четверки» или хотя бы сосед по номеру, — Виталий во всем полагался на других. Вот и теперь, решив поспать перед спектаклем, он твердо надеялся на то, что не останется

без попутчика. Разбуженный послушным будильником, он вовремя поднялся, принял душ, побрился, выпил чаю, перекусил на дорогу и собрался идти на спектакль.

Он толкнулся в дверь, но она не открывалась. Хитрый заграничный замок, казалось, нарочно прятал тайну своей защелки и не поддавался Илличу, отрезая его от внешнего мира. Что делать?.. Виталий стал деликатно стучаться изнутри номера:

— Жора!.. Валерий!.. Юзеф!.. Иван Матвеевич!.. — посылал он в замочную скважину, которой как будто даже и не было в плотной, идеально беленной и наглухо закрытой двери. Время между тем приближалось к «явке»: за сорок пять минут до начала подписи сегодняшних исполнителей на специальном листе с нынешней датой и именами действующих лиц должны убедить помощника режиссера в том, что все на месте и спектакль начнется вовремя.

Иллич стал стучать громче и звать о помощи все тревожней, но наши ушли на спектакль, а службы гамбургской гостиницы соблюдали закон неприкосновенности приватной жизни, и никто на внутренний стук не реагировал...

Он стал звонить по телефону, но на той стороне трубку снимал один и тот же служащий коммутатора, не понимавший или делавший вид, что не понимает простого русского языка...

Виталий смотрел на часы и с ужасом убеждался, что начинает опаздывать не только к «явке», но и к самому спектаклю. Это становилось похоже на дурной сон. Спросите любого артиста, какие кошмары мучат его во сне, и он вам ответит: «Забыл текст!» или «Опоздал на спектакль!..» Кошмар... Кошмар наяву!..

Иллич попытался высадить проклятую дверь с разбега — ничуть не бывало! Отчаянье его достигло предела: он подводил родной коллектив в условиях повышенно ответственных зарубежных гастролей. И, собрав воедино все мужество и все знакомые немецкие слова, Виталий в последний раз снял телефонную трубку и в ответ на равнодушную абракадабру служащего коммутатора безумно возопил:

— Айн, цвай, драй, SOS!!!

И еще, и еще раз то же самое, потому что номер, ставший его тюрьмой, значился как 123-й, и первые три цифры немецкого счета обозначились наконец в его воспаленном мозгу...

Тут пришли с ключами полоумные зрители, освободили Иллича из плена и отпустили с богом играть бессловесного гостя в «Ревизоре».

Стоит ли говорить, что «Айн, цвай, драй, SOS!!!» тоже стало крылатым выражением и вошло в анналы нашей истории.

Сердечная симпатия, которую питал к Илличу Товстоногов, росла и проявлялась не один раз. На гастролях худрук, бывало, заходил в номер Иллича, чтобы потолковать с ним о жизни, обсудить удачные покупки и даже посетовать на превратности судьбы.

Однажды, по сообщению очевидца, Гога показал Илличу четыре клетчатые кепки, счастливо купленные им сегодня в фирменном шляпном магазине. Примеряя их одну за другой у зеркала, Мастер предлагал Виталию последовать его примеру и советовал купить в том же салоне хотя бы один феноменально скроенный и предельно элегантный головной убор.

— Понимаете, Виталий, — сетовал Гога, всматриваясь в свое отражение то под одним, то под другим козырьком, — я очень люблю клетчатые кепки, а Нателла возмущается моей расточительностью: «Зачем тебе целых четыре кепки?..» А я ей отвечаю: «Они мне нравятся, все четыре!.. И я хочу купить все кепки, которые мне нравятся!..» По-моему, женщина должна понимать такие вещи!..

— Действительно, — вдумчиво согласился Виталий, — почему не воспользоваться случаем и не купить четыре?.. Всего по одной кепке на четыре времени года... Вам придется носить одну кепку целых три месяца...

— Это убедительно, — сказал Гога, на мгновение оставив зеркало и повернувшись всем корпусом к Виталию.

Тогда Виталий сказал:

— Почему, в конце концов, не позволить себе даже каприз?..

— Вот именно! — жарко подхватил Гога. — В конце концов, эти деньги я честно заработал!..

И, надев напоследок самую яркую из кепок, Товстоногов попрощался с Илличем за руку и, ободренный поддержкой, пошел к себе.

Поэтому я был глубоко убежден, что исключение Иллича из японского состава не доставило удовольствия нашему Мэтру.

Тем большая ответственность ложилась на меня.

Вынужденный заменить Иллича в «Ревизоре», я оказывался в трудном положении. Если с той или с другой, конечно, приблизительной степенью успеха можно было попытаться заменить артиста в роли г. Бессловесного, то заменить человека в поездке ни при каких обстоятельствах было невозможно. То бескорыстное равновесие, которого достигли в отношениях между собой Иллич и Товстоногов, оказывалось мне совершенно недоступно. В отличие от Виталия, который не претендовал ни на крупные роли, ни тем более на режиссерские работы, я всегда надеялся на что-то большее по отношению к тому, что у меня было, и этой своей незамаскированной надеждой по-человечески Илличу явно уступал...

Вот и сейчас, будь я хотя бы театроведом, я бы мог описать роли Иллича и, сделав его актерский портрет, оказать ему лучшую услугу, но я не театровед, а лишь временный наполнитель его костюма в спектакле «Ревизор» и, набрасывая этот кустарный рисунок, надеюсь на его великодушное прощение...

Прежде у Иллича была жена, которую звали Инной и которая удачно работала зубным врачом. А позже они разошлись, и от фигуры Виталия, такой, в сущности, близкой мне по фактуре, что на меня совершенно впору пришелся его родной костюм, стало веять еще большим одиночеством, чем прежде.

По истечении времени он вышел на пенсию и появляться в театре почти перестал.

Умер он от рака, а поскольку газеты об этом не известили и никто не позвонил, на проводах Виталия Иллича я не был.

— 19

На всю Японию Зину Шаркэ «пристегнули» к Ивану Пальму. Характерный артист небольшого роста, с кавалерийской походочкой и шамкающей манерой речи, он шамкал и причмокивал, кажется, не от природного недостатка дикции, а от горячего усердия и давнего навыка играть стариков. Это настолько вошло у него в привычку, что, несмотря на почтенный возраст, Пальму пребывал в постоянном убеждении, что все его герои по-прежнему старше его самого. Од-

нажды Товстоногов остановил репетицию и, обратившись к нему, сказал:

— Иван Матвеевич! По-моему, настал тот самый момент, когда вы можете перестать играть возраст!..

Р. казалось, что из тьмы сыгранных Пальму ролей он особенно любил роль деда Шукаря; Лебедев играл ее в театре, а Пальму — в концертах, которые Матвеевич обожал до полной самозабвенности: где угодно, когда угодно и за любой гонорар; можно и «шефский», давайте!..

Он пришел в студию БДТ в 1936 году. Рыжий, вечно торопящийся, Ваня казался моложе своих восемнадцати, как и много позже казался моложе своих восьмидесяти. Он все еще куда-то спешил и говорил так быстро, что эпизоды его жизни мелькали в рассказе, как на ускоренной киноплёнке. Отец его был финном, а мать — русской, и до Отечественной войны Иван Матвеевич считался финном, а после победы решил, что теперь им завоевано право писать в паспорте «русский».

В первый раз его призвали в тридцать девятом. Борис Бабочкин, худрук БДТ, дошел до самого Мерецкова, чтобы Пальму как человека очень театру нужного от службы освободить. Но Кирилл Афанасьевич Мерецков, тот самый, в лицо которого несколько позже молчаливый сталинский следователь, навстречу Бабочкину не пошел, сославшись на суровый приказ самого товарища Сталина.

— Всех финнов мы заберем, — сказал Мерецков, и Пальму был мобилизован в специальный финский корпус, который формировали накануне зимней кампании 39-го года. В тот раз Красной Армии от белофиннов крепко досталось.

Нетрудно догадаться, что в соответствии со сталинской национальной политикой наш герой был поставлен перед жестокой необходимостью всю жизнь, особенно смолodu, когда он считался финном, во что бы то ни стало и всеми средствами доказывать свою беспредельную преданность советской власти.

В 155-м дивизионе 378-го гаубичного полка специального финского корпуса комсомолец Пальму служил помощником политрука,

отвоевывая у белофиннов волость Уусикиркко, остров Равансари, речку Ваммельйоки, деревню Метсакюля и другие места, которые были тут же отданы русским переселенцам. Их названия стали соответственно меняться. В этих благословенных местах, забывающих свои финские имена, мы проводим порой свои вольные дни, например, в театральном Доме творчества в поселке Молодежный или в санатории под названием «Черная речка».

В сороковом году Пальму вернулся в театр, а в сорок первом, уже с другим худруком, Львом Рудником, выехал на гастроли в Ашхабад, откуда Большую драмату предстоял переезд в Баку. Как всегда на рысях, Ваня бежал по чужой улице, как вдруг навстречу ему Лев Рудник, представительный, между прочим, мужчина, и как раз с той самой красавицей артисткой Зинаидой Карповой, которую Товстоногов беспощадно уволил за выпивку, едва успев прийти в БДТ... И вот Рудник останавливает Ивана и, глядя ему в глаза, произносит эти исторические слова:

— Ваня!.. Война!..

С каким трудом добирались из Баку в Ленинград — рассказ отдельный. Но тридцатого сентября 1941 года последним эшеломом из Ленинграда Большой драматический был эвакуирован в город Вятку, и уже в Вятке Ваню мобилизовали во второй раз.

Служил он в красноармейском ансамбле Третьего Украинского фронта и с помощью острейшей сатиры и взрывного юмора, исполняя, к примеру, «Мы бежали русский край, айн, цвай, драй...» или под аккомпанемент баяна «Барон фон дер Пшик наелся русский шпик», создал колоритный образ неунывающего бойца Рукояткина... Да, да, автор текста сочинил грамотно: «Барон фон дер Пшик *отведать* русский *шпиг*...» и т.д., но Ваня пел так, как переиначило популярную песню народное сознание.

Путь ансамбля пролегал от Северного Донца через всю Украину, Кривой Рог, Одессу, Констанцу и Болгарию до самой столицы Австрии Вены. На одном штабном совещании полковник соседнего фронта приглашает как-то полковника Третьего Украинского, то есть Ванюного:

— Приходи к нам на концерт, у нас Штепсель с Тарапунькой будут выступать.

А наш полковник ему отвечает:

— Лучше ты к нам приходи, у нас самих есть Пальма-Рукояткин...

Тут, конечно, и орден, и медали, и долгожданное возвращение в сорок шестом в Большой драматический...

Иван Матвеевич прославился уже на первых зарубежных гастролях БДТ, которые состоялись за двадцать лет до описываемых нами японских событий в братской Болгарии.

Как вышло? Грандиозный правительственный обед, в сопровождении концерта выдающихся исполнителей, закатил коллективу Первый секретарь Болгарской компартии товарищ Тодор Живков, и этот его выразительный жест послужил примером и указанием для болгарских регионов. Идущую «сверху» протокольную обязанность хозяева сердечно топили в ракии и «Плиске», не говоря уже о волшебных болгарских винах.

По правде сказать, все мы сильно разбаловались, успев привыкнуть к хмельным рекам и ломящимся столам. Как вдруг один из болгарских городов вышел из общей шеренги и дал нам понять, что здесь «кина», то есть банкета, не будет... Постигшее всех разочарование с детской непосредственностью выразил именно Ваня. Приняв горделивую позу и отставив кавалерийскую ножку, с требовательной и капризной интонацией принца крови он спросил:

— А чем они это объясняют?..

Все грохнули, узнав в Иване Матвеевиче самих себя, и его крылатая фраза вошла в общий обиход на многие годы: плоха ли гостиница, завтраком ли почему-то не кормят, малы ли суточные и любые другие неудобства Большой драматический встречал славной фразой «А чем они это объясняют?», автором которой был не кто иной, как Иван Матвеевич Пальму...

Со своей женой он прожил пятьдесят девять лет, до самой ее смерти, и гордился неординарной для женщины прокурорской профессией супруги. И сын их пошел по юридической линии — сначала таможенник, потом адвокат. В такой симметрической позиции — между адвокатом и прокурором — Иван Матвеевич мог всегда чувствовать себя, с одной стороны, защищенным, а с другой — готовым

к нападению и обрадовался, когда внучка тоже поступила на юридический...

Неудивительно, что человеку с такой биографией, к тому же старому члену партии, в Японии доверили руководство «четверкой», в которую входила трудновоспитуемая Зинаида Шарко.

— Зина, — сказал он ей со всей строгостью в один из бездельных токийских дней, — ты почему ходишь одна? Почему нарушаешь?..

— А я языки знаю, — нашлась Зинаида.

— Какие? — удивился Иван Матвеевич.

— Немецкий. И французский, — сказала Зина. Главное было не задумываться и отвечать быстро.

— Откуда? — потрясся Пальму. Он не мог представить в своей подопечной такого языкознания.

— Из театрального института, — твердо отвечала Шарко. — Нам же преподавали!

Факта преподавания иностранных языков в театральном институте Иван Матвеевич опровергнуть не мог.

— Да? — переспросил он. — Ну, все равно, ты должна ходить в своей «четверке».

— Хорошо, Иван Матвеевич, — сказала непослушная Зина, — я поняла...

Через несколько дней в два часа пополудни Иван Матвеевич постучался к своей подопечной по личному вопросу. Запахнув кимоно, Зина впустила его, обратив внимание на рукопись, которую держал в руках взволнованный коллега.

— Послушай, Зина, — сказал Пальму конфиденциально-интимным тоном, — тут в Японии некоторые покупают камушки. Мне попался один такой... Красенький... Ну, как он называется?.. Ну, этот... У нас еще режиссер был такой... Агамирзян... Рубен Агамирзян... Ага!.. Вот!.. Рубин, камешек рубин!..

— Да, — авторитетно подтвердила Зина, — есть такой режиссер. И камешек такой есть.

— Но ведь этот рубин стоит столько иен, что на них можно купить... — и Иван Матвеевич передал Зине рукописный перечень предметов, равных по цене одному рубину.

Оказалось, что за те же иены можно приобрести роскошный видеоманитофон с телевизором и обширным «прикладом», или три гигантские стереосистемы, или тридцать пар модельных туфель, или двести пар «красоток», как выразился обуреваемый сомнениями автор расчетной записки.

— Кроссовок, Иван Матвеевич? — переспросила Зина.

— Ну да, — со вздохом сказал он.

Подсчеты велись скрупулезно и отняли у Пальму много сил.

— Так в чем же проблема, Иван Матвеевич?

— Так не стоит, наверное, этот рубин покупать, если столько красоток! — воскликнул в отчаянье бессонный Пальму.

— Я не знаю, Иван Матвеевич, — сдержанно сказала Зина, — это уж вы все-таки решите сами.

— Да? — спросил он и, собравшись с силами, подытожил: — Ну ладно, я решу... Но только очень тебя прошу, Зина, ходи как положено, ходи в «четверке»!..

— Будьте спокойны, Иван Матвеевич! — чарующим голосом сказала Зина.

После театрального института ученица легендарного Бориса Вольфовича Зинаида Шарко попала в театр Атманаки.

Сейчас объясню. В те времена — начало пятидесятых — в составе империи Ленконцерт жили два таких коллектива. Театр Райкина позже обрел независимость, его помнят все, а театр Атманаки забыли. Между тем так же, как Аркадий Исаакович, Лидия Георгиевна любила резкую смену костюмов, мгновенные перевоплощения и легко скользила от женских к мужским ролям, щеголяя разными очками, паричками, накладными носами и т.п. Основной ее стиль определялся парадной черной юбкой и черным смокингом с блестящими атласными отворотами.

Положив глаз на бойкую студентку, Атманаки сказала Зине:

— У меня ты получишь сразу восемь ролей, и мы объедем всю страну!

Коллектив приступал к работе над пьесой Владимира Полякова «Каждый день», а режиссером был приглашен лауреат Сталинской премии Георгий Товстоногов. С ним Зина была еще не знакома, но на восемь ролей и гастрольное турне клюнула.

Правда, профессор Зон успел порекомендовать ее в ТЮЗ, но Александр Александрович Брянцев сказал:

— Борис Вольфович, она же — Гулливер, что она будет делать в моем театре?

В действительности Зина не была настолько крупна. Очевидно, Брянцев имел в виду то, что артисты ТЮЗа, призванные всю жизнь играть пионеров и школьников, набирались на манер лилипутов.

На первых же репетициях в театре Атманаки Гога абсолютно Зину покорила и, оценив ее способности, пригласил на работу к себе, то есть в Театр имени Ленинского комсомола. Он сказал:

— Вы мне понравились, потому что сразу берете быка за рога.

Тут помимо творческого контакта между ними пробежала еще одна тревожная искра и, как, возможно, померещилось автору, начал исподволь развиваться роман, о котором до сих пор не известно читающей публике. Сама Зинаида Максимовна в воспоминаниях о Георгии Александровиче эту тему успешно обошла, и потому, что всегда была благородно скромна, и оттого, что по сей день служит в театре его имени.

Прочтя рукопись ее воспоминаний, сестра Гоги Нателла (друзья и домашние всю жизнь называют ее Додо) спросила:

— А почему у тебя не было с ним романа?

— А почему ты думаешь, что его не было? — мгновенно отпарировала Зина. И Додо переменяла тему...

Конечно, автору хотелось бы на этой слабой основе дать волю своему разнузданному воображению и, опираясь на собственный опыт, изобразить свободными красками нечто возвышенно-нежное и драматически-тайное, но он не созрел для такого поступка. Видимо, всё впереди, там, где под вулканическим силуэтом вечной Фудзиямы кроется случайное пристанище и оживает новая отвага.

О, какие извержения могут обрушиться на нашу голову, любимый читатель! Какая лава двинется с горы!.. Первого апреля 2000 года на острове Хоккайдо уже пробудился вулкан Усу, и местных жителей пришлось отселить в срочном порядке...

Вернувшись в Ленинград из двухгодичных гастролей, Зина почему-то к Товстоногову не пошла, а вступила в труппу Николая Аки-

мова. И за пять лет в Театре Ленсовета она сыграла много ролей у очередных режиссеров, но ни одной у самого руководителя.

— Николай Павлович, ведь вы меня любите, почему вы не занимаете меня в своих спектаклях? — спросила она напрямик, и так же напрямик он ответил:

— Если я скажу Гале Короткевич: «Стань на голову», — она не задумываясь сделает это, а ты спросишь меня: «Почему?»

Таковы были неприемлемые здесь особенности школы Б.В. Зона, который, согласно факту и одновременно легенде, приезжал к самому К.С. Станиславскому и из первых рук воспринял знаменитую систему накануне смерти великого реформатора. А Зина была верной ученицей Зона и любила задавать режиссерам неудобные вопросы.

Павел Карлович Вейсбрем, горячась, подбрасывал ей лихие приспособления, надеясь на мгновенный результат.

— Понимаес, Зина, ты тюдная артистка, и у тебя в этой роли будет настоясий успех. Всякий раз, когда ты входис и выходис, ты поес: «Тореадор, смелее в бой, тореадор, тореадор...» — И он показывал, как она должна входить и выходить, бодро напевая знаменитую арию, маленький, пухлый и по-детски шепелявый.

— Ну, поняла?

— Поняла, — отвечала Зина.

— Умниса! Молодес! Иди попробуй! — командовал Вейсбрем, и Зина шла на сцену.

— «Тореадор, смелее в бой...» — начинала она.

— Нет, нет, нет! — кричал Павел Карлович. — Нисего подобного!.. Иди сюда!.. Оказывается, ты не поняла. Я подбросил тебе тюдное приспособление. Слушай. Ты появляесся и поес: «То-ре-адор, смеле-е-е в бой!..» Вот о тём ресь!.. Теперь поняла?

— Кажется, поняла...

— Тогда иди, пробуй. — И Зина поднималась на сцену.

— «То-ре-адор, смеле-е-е в бой!»

— Нет, нет, нет, нет! — кричал Павел Карлович. — Нисего не поняла!.. Сто это за актриса? — спрашивал он у помрежа. — Не может понять такую простую вещь! Иди сюда!

Зина спускалась в зал.

— Слушай, у кого ты утилась?

— У Зона.

— Ну, потому же ты не понимаешь таких простых вещей?.. Я дал тебе роскошное приспособление... «То-ре-адор, смеле-е-е в бой!..» Ну?.. Сто ты смотришь?..

— Не знаю, Павел Карлович, по-моему, я поняла...

— Тогда иди! Иди и сделай! — И Зина шла на сцену.

— «То-ре-адор, смеле-е-е в бой!»

— Сто-о-оп! — кричал Павел Карлович в отчаянье. — Это узасно!.. Кто взял в театр эту актрису?.. Сто это такое?.. Совсем бес-толковая!.. Иди сюда!

Зина спускалась в зал.

— Кто тебя взял в театр?

— Худсовет...

— Этот худсовет надо разогнать к тертовой матери!.. Хоросо... Ты мозес сыграть мне... люсду на сыпотьках?!

Автор не убежден, что правильно понял образ, в пылу репетиции родившийся у Павла Карловича: то ли «люсда», то ли «узда», то ли что-то третье, но именно «на цыпочках». Однако на этот раз Зина почему-то его поняла.

— Тореадор, смелее в бой, — чувственно запела она.

— Во-о-от! Вот-вот! — закричал довольный Павел Карлович. — То самое! Наконес я понял, как с тобой разговаривать!..

В тридцатые годы П.К. Вейсбрем нерасчетливо приехал из Парижа помогать строительству социализма в одной отдельно взятой стране. В лагерь он, по счастью, не попал, но, как и все остальные, до конца жизни расплачивался за наивность постоянным страхом. И все же ему удалось сохранить необыкновенную доброту и французскую легкость, чем он расположил многих, а особенно артистку БДТ Марию Александровну Призван-Соколову. Вместе с ней Павел Карлович создал домашний очаг, уютный и укрывающий. На стенах общего жилища расположились картины (по слухам, в доме был даже Модильяни), а у двери на страже хрупкого покоя нес не легкую службу средневековый рыцарь, составленный из шлема с забралом, крепкого панциря, ручных и ножных лат и кольчужных перчаток...

Надежда Николаевна Бромлей репетировала с Зиной не только в театре, но и у себя дома, и даже дома, в халате, неизменно появлялась на людях в шляпке с вуалью. Беспощадные знатоки объясняли эту странность тем, что бывшая героиня Александринки жестоко облысела. Так это было или нет, но без шляпки и без вуали Надежду Николаевну уже невозможно было представить.

Когда-то она была неслыханно хороша и вместе с Николаем Симоновым блистала в чеховской «Дуэли». В роли Надежды Федоровны на нее вождеденно смотрели не только все партнеры, но и все мужчины-зрители. А теперь, ставя ту же инсценировку в Театре Ленсовета, Надежда Николаевна поручила свою роль Зине.

По признанию новой исполнительницы, роль ей не удалась настолько, что худсовет театра предложил Бромлей снять Шарко, на что она надменно ответила из-под вуали:

— Я сниму всех, кроме Зинаиды.

Тогда решили собрать городской худсовет в надежде на то, что этот авторитетный орган убедит непреклонную Надежду Николаевну. В его состав входил и сам Гога, который счел за благо поговорить с Бромлей накануне просмотра. Товстоногов убеждал снять Зину с роли Надежды Федоровны, приводя логичные доводы и восторженно вспоминая триумф Бромлей и Симонова в Александринке.

— Зачем вы подвергаете актрису такому ужасу? — спрашивал он. — Городской худсовет будет заниматься только этим, и сор вынесут из избы.

— А вы видели когда-нибудь такую фигуру? Она же как *танагрская статуэтка!*..

— Да, конечно, — начал Товстоногов, пытаясь возразить по существу вопроса, но Бромлей перебила его:

— А такие глаза вы когда-нибудь видели?.. Они же как два моря!..

И Гоге было нечего возразить, потому что перед красотой Зинаиды Максимовны и убежденностью Надежды Николаевны его осторожная логика оказалась бессильна. Позже моя героиня прочла, что в Индийском океане есть остров Танагра, на нем добывают камень танагр, из которого любил делать свои работы сам Бенвенуто Челли-

ни. И во всех музеях мира можно встретить ту или другую *та-нагрскую статуэтку* как символ красоты и изящества.

Конечно, в споре с Бромлей Гога потерпел поражение, но это ничего не меняло для Зины. Роль у нее не получилась; к тому же никак не решался квартирный вопрос, и кочеванье по снятым углам начало портить ее золотой характер.

Однажды Сева Кузнецов, — он тоже работал тогда у Акимова, — подсказал Зине простой выход.

— Слушай, — сказал он, — что ты маешься без дома, без жилья?.. Выходи за Владимирова! Игорь на тебя так смотрит, а ты не обращаешь внимания!.. Все проблемы будут решены!

Так Зина Шарко обратила внимание на Игоря Владимирова и неожиданно для себя самой вышла за него замуж.

Через год или два, при встрече, глядя из-под вуали в морские глаза Зины Шарко, Бромлей величаво спросила ее:

— Ну, как ваши авантюры?..

— Что вы, Надежда Николаевна, — испугалась Зинаида, — у меня муж, ребенок... Никаких авантур...

— Значит, вы не Зина Шарко, — сказала Надежда Николаевна и пошла мимо нее своим путем.

Вопроса об авантюрах Зина испугалась не случайно, а потому, что ее муж, Игорь Петрович Владимиров, мужчина крупный, красивый и явно в себе уверенный, ревновал ее страстно, мнительно и много больше, чем она заслуживала. Прежде он служил актером в Ленкоме, а теперь ставил знаменитые елочные представления в Выборгском Дворце культуры, пробивался к театральной режиссуре и, по-видимому, был в некоторой зависимости от Товстоногова.

И вот, приняв Большой драматический и собирая новую команду, Товстоногов поручил Владимирову работу режиссера-ассистента в своем спектакле «Когда цветет акация».

Нет ничего естественней того, что Игорь подумал при этом не только о себе, но и о своей жене и в разговоре с Мастером по поводу распределения ролей назвал кандидатуру Зинаиды.

И ничего особенного нет в том, что Мастер с этой идеей тут же согласился.

Так потекла ее служба в БДТ, а когда, не без Гогиного участия, Игорь был назначен главным в Театр Ленсовета, Зина с ним уже расставалась. Да, он был чрезмерно, неоправданно ревнив и держал жену в ежовых рукавицах. Но однажды она совершенно случайно напоролась на раскрытую записную книжку, в которой строгий супруг вел для памяти неизбежный при такой выдающейся внешности донжуанский список. «Леля, проводница, — читала Зина, — Галя, официантка, Нина, машинистка...» И когда ревнивец упрекнул ее в очередной раз в мнимой неверности, высказывая необоснованные предположения и называя звонкие имена, Зина ответила ему в сердцах:

— Считаю, что ты прав... Но учти, что из твоих трахтибидошек мог бы выйти третьесортный бордель, а из моих мужиков — лучший театр в Европе!..

С Борисом Вольфовичем Зоном Зина чаще всего встречалась именно в Летнем саду. Так вышло и на этот раз. Еще на первом курсе учитель велел ей выбрать какую-нибудь статую для этюда. И — надо же случиться такому совпадению! — они столкнулись прямо у Флоры, той самой, что пришлось по душе юной Зинаиде. Они поговорили об искусстве, и на вопрос о том, как идут дела, Зина ответила, что все хорошо.

— Знаешь, дорогая, — сказал Зон, — у меня в этом году намечается неплохой выпуск... Но на курсе есть одна девочка... чем-то напоминающая тебя... Конечно, не такая!.. Таких, как ты, вообще не бывает!.. Но девочка редкой одаренности, пожалуйста, обрати на нее внимание...

— А как ее зовут? — спросила Зина.

— Алиса Фрейндлих, — ответил Зон.

Именно к этой девочке и устремился вскоре Игорь Петрович Владимиров, чтобы создать новую семью и выстроить для Алисы репертуар Театра Ленсовета.

А у Зины Шарко возник другой союз, и несколько счастливых лет она прожила с Сергеем Юрским. Вместе они сыграли Адама и Еву в «Божественной комедии» Штока, много других спектаклей и «капустников» и, может быть, больше сотни концертов. Уточнить

эти цифры без всякого труда мог бы сам Сергей Юрьевич, потому что он по сей день с поразительной точностью ведет счет сыгранных им представлений и всегда мог сказать, какой нынче по счету «Генрих IV», «Беспокойная старость» или, допустим, творческий вечер... И вот однажды, по старой студенческой привычке, Зина гуляет по Летнему саду, а навстречу ей — кто бы вы думали? — верно, Борис Вольфович Зон. Они идут по аллее и рассуждают об актерском искусстве, и на вопрос о том, как ее дела, Зина опять отвечает: «Все хорошо». И как раз у статуи Флоры учитель ей говорит:

— Знаешь, Зиночка!.. В этом году намечается хороший выпуск, довольно сильный и ровный. И все-таки между ними есть одна девочка, чем-то напоминающая тебя... Нет, нет, конечно, не такая, как ты! Таких, как ты, вообще не бывает... Но что-то подсказывает мне, что она тоже будет прекрасной актрисой!..

— А как ее зовут? — спрашивает Шарко, и Зон отвечает Зине:

— Наташа Тенякова...

И надо же так случиться, что именно к Наташе Теняковой и устремился вскоре Сережа Юрский, чтобы создать новую семью и поставить свои спектакли именно с Наташей. А Зина опять осталась одна и решила больше не выходить замуж.

Прошло еще несколько лет, и однажды на вечере памяти Зона они втроем вышли на сцену Дворца искусств имени Станиславского и сыграли сцену из «Трех сестер»: Зина Шарко сыграла Ольгу, Алиса Фрейндлих — Машу, а Наташа Тенякова — Ирину. По старшинству. В тот вечер они нежно вспоминали дорогого Бориса Вольфовича и любили друг друга, как родные...

И вот Зина ходит по древней японской земле, то в «четверке», а то и одна, и, выбирая сувениры родным и друзьям, думает, что бы такое особенное подарить Гоге на его семидесятилетие. Коллективный подарок — само собой, но что подарит любимому режиссеру именно она, Зинаида, это пока еще вопрос...

— Выпейте японского молочка, Иван Матвейч, — ласковым голосом предлагала Зина в ответ на очередной стук в дверь. — Удивительно вкусное молоко!..

— Нет, нет, что ты, я сыт, — категорически отказывался он.

— Один стаканчик, — настаивала Шарко, — пожалуйста, Иван Матвеич!.. Попробуйте!..

— Что ты, Зинаида!.. Пей сама на здоровье!.. Тебе нужно!..

— Бутылка уже открыта, выпейте, не стесняйтесь!.. Ну!..

И Пальму наконец соглашался и пил японское молоко из Зининой бутылки, взяв с нее наперед честное слово, что она принимает его ответное приглашение и в Петербурге придет на полный обед в гости к Ивану Матвеевичу и его супруге, где они и отметят благополучное возвращение домой...

В национальный музей ходили всей стаей.

Сперва *кимоно кимоно* как полотна/Пейзажи с дворцом и деревней и морем/Река и мосты и дворы и деревья/Холмы и кустарник и берег и лодка/Не джонка а лодка Китай за забором/И желтое и голубое свеченье/Неведомой жизни.

Музейной тревоги/Нигде не унять ни в Москве ни в Киото/
А ритм изнутри помогает запомнить/Заполнить провал.

И шафранного тела/Стыдливый пожар, набеленные щеки/И красные полураскрытые губы/И все это на кимоно продолжение/Рассказа кино окинава киото/На белом шелку с поясами из шелка.

Вот легкие праздники чуждой одежды/И все это поочередно неспешно/И сдержанно я бы накинул на плечи/Твои как судьбу обнажив их сначала...

Ну да, конечно... Музеум... Ритмическая организация лъстящего нам фона... Гармонизированный хаос японского бытия...

А там *веера* золотые как рыбы И рыбы с серебряными веерами И парус косой и гора Фудзияма...

Но в том-то и дело, что каждый из нашей стаи, каждый, бредущий мимо этнографической утвари, расписных ширм, самурайских клинков, посудных горок, медных горшков, фонарных светильников, приземистых столиков для чаепития и прочего антикварного запаса, — каждый из нашей большой драматической стаи сам представ-

лял собой ветшающий экспонат на пути к музейной неподвижности и не догадывался об этом...

— 20

С первой репетиции «Розы и Креста» Р. предлагал всем участникам быть на виду и слушать не только свои, но и чужие сцены — ведь сперва у нас идет как бы застольная читка, а потом уже постепенно рождается спектакль... Но коллеги, что называется, забастовали, не желая изображать «живую декорацию» и быть в «антураже», так что пришлось им уступить. А Гога, не сговариваясь с Р., взял да выволок всю команду не только на первый акт, но и после антракта, чтобы все слушали историю Бертрана и Газтана, и, повинувшись Мастеру, ребята вышли и расселись, как положено, сделав добрые, чуткие и понимающие лица...

Здесь сказывался феномен, который был знаком всем режиссерам, имевшим счастье (или несчастье) осуществлять свои партитуры в Большом драматическом *при Гоге*. Сознательно это происходило или бессознательно, но как бы этически безупречно ни держались артисты во время репетиций с «другими» режиссерами, стоило Гоге войти в зал, а тем более начать вмешиваться, как у всех возникал общий патриотический зуд, а с некоторыми случались настоящие припадки преданности.

Казалось бы, ну что особенного содержит реплика: «Да, да, конечно, Г. А., именно так я и думал!..» (артист А.)?.. Почти ничего, кроме остающегося недосказанным продолжения: «Но Р. заставил меня делать не так, как я думал, а ваш приход ставит все на свои места».

Или другая реприза, в исполнении артистки Б.: «Ах вот оно что-о!.. Тогда — понятно!» Она переводится так: «До вашего прихода, Г. А., ничего нельзя было понять, а теперь все стало ясно».

Фраза же единомышленника В.: «Я понимаю вас, Г. А.!» — изящно вычерчивала в воздухе сразу несколько вариантов, включающих и тот, который приветствовал бы полное устранение путающегося у всех под ногами самозванца Р. ...

Автор просит не воспринимать его самодеятельные «переводы» и толкования в качестве упреков закрепощенным обстоятельствами

коллегам. Подобные фразы и реплики рождаются у них без всякого злого умысла и вылетают сами по себе как свидетельство изначальной и неискоренимой верности своему любимому режиссеру. Может быть, они содержат и тайный упрек в его адрес: «Зачем ты отдашь нас в чужое пользование, когда мы хотим работать только с тобой?»

Давно замечено, что в природе всякого артиста наличествует женское начало, вне зависимости от его первичных (или вторичных?) половых признаков. И это не более чем объективный факт, вызванный тем, что *не он выбирает*, а так или иначе *выбирают его*. Поэтому всякий артист подсознательно ведет себя, как девушка на ярмарке невест...

Или как восьмая жена в гареме...

Или — простите за сравнение — как последняя б... в бардаке.

Вот эти-то поляризующие нюансы, опять-таки вызванные судьбой и обстоятельствами, и следует принимать в расчет, имея в виду актерскую переменчивость.

У некоторых северных народов есть обычай, в соответствии с которым муж по закону гостеприимства радушно отдает жену на ночь приезжему. Такой эпизод содержится, например, в романе лауреата Сталинской премии Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы». Примерно то же самое происходит, когда главный режиссер театра отдает своих актеров во временное пользование «другому» — своему или заезжему.

И вот вообразите сцену: входит муж и застаёт свою благоверную в некоей позиции, вынужденно принимающей гостя. С одной стороны, выполняя мужнин приказ, она не может прервать творческого акта, а с другой — должна в то же время показать супругу, что любит только его...

Важное уточнение: сам Р., играющий в данном конкретном случае страдательную роль внештатного режиссера-постановщика, в качестве артиста вовсе не являлся исключением из общего правила, и автор не раз ловил его на кажущихся простительными и понятными, но явно нездоровых проявлениях гаремного патриотизма.

Ну, например, когда Гога появился в зале перед выпуском «Бедной Лизы» Н.М. Карамзина в постановке Марка Розовского, Р., за-

быв надменную барскую ленцу и глубокомысленную заторможенность, мгновенно оживился и рванул исполнять танцы и куплеты соблазнителя Эраста, как наскипидаренный, что было тут же отмечено впечатлительным Марком... Розовский-то пришлый, а Гога свой и, главное, — Хозяин... Видно, от актерского рабства, хоть его стыдись, хоть им гордись, никуда не денешься, и никому не дано пройти все испытания, сохранив на лице печать невинности. Особенно трудно приходится настоящим мужикам...

Прекрасный московский артист на амплуа социальных героев Александр Александрович Ханов играл главные роли в театре Н.П. Охлопкова. Автор видел его в спектаклях «Аристократы» и «Гостиница “Астория”» и готов засвидетельствовать, что это был несомненный талант. Но именно ему, артисту Ханову, крупному и уверенному в себе мужчине, не обиженному ни судьбой, ни природой, ни почетным званием, принадлежит, по слухам, потрясающий афоризм: «Стыдно быть старым артистом...»

Представляете? То есть вообще-то, до определенного возраста, артистом быть еще, мол, куда ни шло, а уж если дошло до старости — беда, спасайся кто может...

Иные имеют право, конечно, тут же возразить, а некоторые даже и возразят в том смысле, что и в старости — не стыдно, и приведут в пример себя или другие исторические персоны и будут, разумеется, правы. Почему? Да, во-первых, потому, что автор — не авторитет, а человек ошибающийся или, верней, ошибочный, о чем он — обратите внимание! — не устает повторять; а во-вторых, по известному школьному закону: исключения подтверждают правило... Но задуматься тут, ей-богу, стоит! И даже тем, которые — исключения. Потому что стыд, судя по историческому опыту, лишним не бывает, и под его благодетельной краскою спаслась не одна душа...

Откровенно говоря, эти рассуждения выгоднее, конечно, вычеркнуть, дабы не оттолкнуть любезного читателя от великого театрального искусства вообще и актерской нации в частности. Если Р., вслед за артистом Хановым, стал стыдиться своей профессиональной принадлежности, это его собачье дело, вызванное то ли неудачливостью, то ли бездарностью, а может, тем и другим вместе. Если

же он и в старости позволяет себе зарабатывать на хлеб актерским ремеслом, тогда речь идет уже о двурушничестве, то есть полной душевной патологии.

Да, да и еще раз да! Читатель догадался, и Р. действительно *стыдно вдвойне*, а от саморасстрела его останавливает лишь то, что это — тяжкий грех, и лишь во избежание тяжкого греха влачит он до сих пор свое гнусное существование, оскорбляющее патриотов актерской профессии.

Почему же автор этого не вычеркивает?.. Потому что, каким бы скромником он ни прикидывался, высокие примеры русской литературы не дают ему следовать соображениям корпоративной актерской выгоды. Истина, истина — вот что его влечет, полная правда и последняя откровенность перед другим читателем, без которых после А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского и братья за перо не моги!..

Единственное, что может сделать автор для бедного артиста Р., это дать ему выкрикнуть сквозь клетку своей ограниченности:

— Виват властителям дум и депутатам Балтики!.. Виват социальным героям и жертвам гражданственности!.. Bravo комиссарам и бесприданницам, шмагам и субреткам, парторгам и травести!.. Брависсимо ветеранам гонимого скоморошества и инвалидам гастрольных путей!.. Слава — патриотам! Гип-гип-ура! Позор — отщепенцам! Ату, ату!.. За нашу победу, товарищи!..

Вы как хотите, автор же предпочитает водку Санкт-Петербургского завода «Ливиз», коей является бесстыдным патриотом, и в качестве примечания сообщает для несведущих названия сортов: «Охта», «Менделеев», «Санкт-Петербург», «Синопская», «Пятизвездочная», «Петр Великий», «Дипломат», «Победитель» и т.д. Хороши все без исключения, а стыдно должно быть одному московскому заводу «Кристалл».

Последнее, что тут можно добавить, это уточнение о мизансцене. В некоторых мизансценах действительно не ощущается вовсе никакого стыда. Например, на корточках.

Не пробовали? Объясню. Когда Николай Константинович Черкасов разговаривал с Иосифом Виссарионовичем Сталиным о том, как ему играть Ивана Грозного, он всю беседу сидел рядом с Вождем

на корточках и, скрывая таким образом свой высокий рост, смотрел на Учителя снизу вверх.

За эту мизансцену в Николая Константиновича мы камень не бросим, уж больно велика была степень риска, тут актерская игра могла стоить жизни. А то, что Сталин ему дачу в Комарове подарил, так это — пустяки, мелочовка, дешевая плата за великий талант, искреннюю любовь и живой страх...

Но что удивительно, точно так же, как Николай Черкасов, вел себя на наших репетициях артист X по отношению к Товстоногову. Стоило Гоге подозвать его для замечания, он, вспорхнув, оказывался рядом и, умаляя свои габариты, тоже опускался *на корточки*... Вряд ли X в такие минуты вспоминал Николая Константиновича, а скорее всего, даже и не знал исторического примера. Но интуиция у него была надежная, и, не скрывая обожания, он тоже смотрел на нашего Учителя снизу вверх.

Некоторые свое обожание не демонстрировали и слушали Мастера, находя другие мизансцены и соблюдая внешние приличия, а он — нет, не скрывал. И, судя по результату, правильно делал. Имеется в виду не художественный результат, а житейский.

Стоит ли тут же обнародовать назидательный вывод?

Очевидно, стоит, потому что, несмотря на успехи гуманитарных наук и лозунг писателя Чехова о ежеминутном выдавливании из себя раба, у нас в актерском сословии, к сожалению, еще не все такие чеховеды и ревнителю. Значит, вывод.

Кто стыдится своего «невыдавленного» рабства, тот все равно раб и к тому же дурак. А кто им гордится, тоже, конечно, раб, но зато — настоящий умница!..

Да, в любых обстоятельствах лучше терпеть, а не горячиться. В японских обстоятельствах — тем более.

Цветок лотоса — символ рая, и если такой красивый цветок, как лотос, растет в болоте, то человек должен стерпеть все. Вот японский ответ на вопрос Гамлета «Что благородней духом?», вот почему хотя бы в Японии нужно было учиться сносить и терпеть. Если мы вообще могли научиться чему-нибудь еще...

Но Слава Стржельчик не мог больше терпеть и страшно горячился. Особенно при мне. Кроме остального, нас связывала теперь сцена вербовки в обкомгоркома и наш безрассудный отказ. «При народе» он еще сдерживался, а тут мы отстали от компании по пути на Акихабару, и он давал выход своему темпераменту. Каких-то вещей он вообще не мог терпеть.

— Хулиганство!.. Просто хулиганство! — объявил он и, таким образом обозначив тему, перешел к подробностям, которые я опускаю. Тот, чьим поведением возмущался Слава, легкомысленно вышагивал впереди и даже не оглянулся. Во-первых, он никак не мог услышать ни рассказа, ни вывода, а во-вторых, те нравственные глубины, которые волновали Стржельчика, не были предметом его забот.

А Славу постоянно заботила актерская порядочность, чистоплотность и, конечно же, моральный климат в коллективе, театральном обществе, городе и стране. Он и прежде был настоящим гражданином, а вступив в партию, принял свой поступок всерьез и стал по-сильно помогать людям уже не только по доброте душевной, как прежде, но и по долгу партийного гражданина. Одно удовольствие было играть с ним в «Мещанах», когда монолог моего Петра упирался в стену его великолепного презренья.

— Мещанин! — припечатывал Тетерев-Стржельчик и добивал: — *Бывший гражданином полчаса!*..

И — с последним слогом — удар по клавишам!..

И — аплодисменты нам на пару!..

Правда, это он и всегда играл хорошо, независимо от членства в партии.

Еще два года назад, в Буэнос-Айресе, Стриж рассказал мне на авеню Либертад мрачную историю о том, как первый секретарь обкомгоркома Гришка Романов, рассвирепев из-за Славиных проволок, вызвал на ковер Володьку Вакуленко, предыдущего директора, и приказал ему в течение десяти дней оформить вступление Стржельчика в КПСС, иначе Вакуленке несдобровать. И выгнал его из кабинета. А когда бледный Вакула рассказал это нашим первым сюжетам, они все заволновались и стали сокрушенно кивать головами и делать сочувственные глаза и все стали брать Стржельчика под руку и говорить: «Что делать, Слава, придется тебе вступать... Надо же

подумать о театре!.. Если ты не вступишь, у театра будут большие неприятности. Ты же знаешь, какой злопамятный этот Гришка, как он преследовал Юрского и выжил наконец Сережку из города и из театра!.. Что делать, Слава, такие времена, тут уж не отвертеться, придется тебе вступать...» А когда он поддался на их уговоры, и Володька на рысях побежал оформлять его членство, и он, ради общего дела, все-таки вступил, те же сюжеты стали морщить носы и отворачиваться, как будто он вступил прямо в дерьмо и от него уже воняет...

А потом все стали за глаза мыть ему кости: мол, смотрите, и этот туда же, мало ему «народного СССР», он еще метит в депутаты горсовета и прочее, и прочее, и так далее... Трах-тибидох-тибидох-трам-там-там!.. Там... та...

Положение и впрямь получалось поганое: и партийцы не больно-то держали его за партийца, и беспартийцы перестали считать своим. Хоть и член, однако не стойкий. Хоть и поляк, но почти еврей. И это несмотря на самого Гришку Романова и его принудительную рекомендацию... Полного доверия, которого Стриж, как никто другой, безусловно, заслуживал, он и не мог добиться ни у тех, ни у других...

Мы стояли у «Зоомагазина», как раз на полпути от «Сателлита» до Акихабары, и смотрели на попугаев. Я здесь всегда застревал.

Серо-белый, изящный, с красным хохолком, был сердит и выкрикивал какие-то японские грубости.

Другой, чуть крупнее, совершенно белый, с желтым тюрбаном и красным клоунским пятном на щеке, наоборот, вроде всегда улыбался. Нравился мне и зеленый, среднего роста упитанный попугай, который постоянно что-то раскусывал красным клювом и пожевывал, показывая черный язык; и два огромных гладиатора с мощными хвостами и в пестрых доспехах; и попугайные лилипуты, тоже разноцветные и веселые, вечно свистящие и поющие, как будто они живут не в клетках, а в раю; и черный дрозд с розовым клювом и желтыми очками; и щемящие душу колибри, совершенные крохи, никогда прежде не виданные...

Но обезьяна на цепи, сероголовая и белолицая обезьяна с длинным хвостом, сильная и грациозная, как женщина-вамп в кровавой драме, белолицая японская красавица, следящая за ходом продаж, — вот кто покорило мое беспутное сердце...

Я думал, что Слава успокоился, но оказалось, что это был только разгон.

— А тот? — грозно спросил меня Стриж и показал головой на северо-запад. — Ты-ы его-о не зна-аешь, — зловеще пропел он. — И я, оказывается, его не знал... — Мы уже отошли от «Зоо», но он снова меня остановил. — Володька, только — ни-ко-му!.. Клянись!..

Мне стало неуютно, и я сказал:

— Если не доверяешь, я обойдусь...

— Доверяю, — глухо сказал он, и я понял, что тайна, от которой он жаждет освободиться, может его разорвать. — Он взял меня с собой на «Черную речку», на дачу... На «спецдачу»... — И Слава сделал роскошную паузу, давая мне хотя бы отчасти вообразить себе «его» и «спецдачу». — Я спросил, куда мы едем, но он ничего не сказал... Он сказал: «Увидишь...». Встречали нас... такие... Коля... И Сережа... И еще один... Не знаю, как его звали, но — референт... Значит, пятеро мужчин, а их — четырнадцать... Четырнадцать девок... Слушай. — Тут Стрельчик взял меня под локоть и заставил идти с ним в ногу, а голос понизил, не доверяя даже встречным японцам. — «Кадры» — отборные, можешь мне поверить. Стюардессы с зарубежных рейсов в основном. — Теперь я понял, по какой причине назначен конфидентом: рассказ о стюардессах Люлечка могла неверно истолковать. — И вот этот Коля наставляет на меня палец, вот так, как пистолет, и спрашивает *его*: «Будет молчать?» И *он* говорит: «Будет». Тогда референт наставляет на меня палец и опять *его* спрашивает: «Ручаешься?» И *он* поворачивается ко мне и спрашивает: «Ты понял?» Я говорю: «Понял». А он мне опять: «Ты понял, что этого *не было*?» И я вижу, что это — другой человек, я его не знаю!.. И я ему говорю: «Я понял, это — сон!» И *он* — смеется... И эти тоже... И тут начинают подходить девицы... И все смеются, понимаешь?.. Всем — весело... Всем, кроме меня... Ну, я здороваюсь с ними, а Коля стоит рядом и говорит: «SOS! Эту — нельзя!.. И эту — тоже... А эту — можно...» А референт улыбается. А *он* — смеется, представляешь?! — Тут Слава меня отпустил, и некоторое время мы шагали молча. Потом я задал глупый вопрос:

— А эти — Коля и референт — они партийцы?..

— Они? — тревожно переспросил Слава. — Они же охраняют...

— И девки? — спросил я. — Как ты думаешь, они — члены партии?.. Или сочувствующие?..

— Черт их знает! Какое это имеет значение? — нервно спросил Стриж.

— Ну, если им доверяют летать за рубеж и давать начальству, неужели беспартийные?..

— Можешь мне поверить, Володька, я нарочно не оставался ни с кем наедине!.. Ну выпили, потанцевали...

— Конечно, — сказал я, — на хрен тебе это нужно, только сви-стни!..

— В том-то и дело, — обрадовался Стриж.

— А ему зачем? — спросил я.

— Лестно, понимаешь, — объяснил он. — Где эти, там и он!..

Квартала два мы прошагали молча, а когда показалась Акихабара, я спросил:

— Слава, зачем ты это рассказал?

— Не понял...

— Зачем мне знать, если это такая тайна?

Он хитро посмотрел на меня и объяснил:

— Потому что ты можешь не послушаться...

— Ну вот, — сказал я, — теперь понятно...

Чувствую, что любознательный читатель опять огорчен неполной ясностью, а может быть, даже и ярится против автора: кто же все-таки увлек бедного Стржельчика в притон партийного разврата на берега Финского залива, в устье речки Черной, именуемой ранее Ваммельйоки, но отвоеванной в боях Иваном Пальму и победоносной Красной Армией? Какой мерзавец задумал лишить его невинности с помощью коварных референтов и бесстыдных стюардесс?..

Но и тут роман не дает ясного ответа.

И тут уклончивый автор не называет точного имени.

Почему?.. Во-первых, обещал...

А во-вторых, сам не помнит. То есть, конечно, помнит, но...

Если он жив, сам вспомнит и застесняется.

А если не застесняется, Бог ему судья.

Главное ведь что? Что у него ничего не вышло, и Стриж остался чист, как слеза...

— 21

Читатель, не переживший наших времен, должен учесть, что мы десантировались на японские острова не при Брежнев, а при Андропове. Меньше чем за год до описываемых гастролей до нас донесся скрип исторического колеса в покорной ноябрьской Братиславе. «Глубокий славянский поклон» в адрес ушедшего лидера заслуживает особого внимания...

Однажды во время разговора о блоковском спектакле, в котором участвовал Семен Розенцвейг, в кабинет Товстоногова вошла Дина Шварц и с озабоченным видом сообщила о смерти вождя югославских народов Иосифа Броз Тито. Гога насупился и ничего не сказал. Тогда Дина внесла изящное предложение:

— Может быть, нужно выразить соболезнование нашему югославу? — У нас ставил спектакль Мирослав Белович.

Мирослав был человек полный и темпераментный и с ходу заявил, что лучше «скучать о театре, чем скучать в театре». Он не давал артистам шагу шагнуть без уточняющих указаний. Репетиции превращались в его моноспектакли, на которых Белович обливался потом и менял рубашки, а артисты холодно следили за его эскападами.

В ответ на предложение выразить соболезнование Мирославу выражение лица у Гоги сделалось кислым, потом недовольным и наконец брезгливым. Он посмотрел на Дину так выразительно, что реплики «Что за идея?» и «Кому это нужно?» беззвучно передались пронизательному завлиту, и она вышла за дверь.

О смерти Иосифа Броз Тито Мирославу Беловичу в Ленинграде пришлось скорбеть одному.

О смерти Леонида Ильича Брежнева мы скорбели всем коллективом и тоже вдали от Родины.

За завтраком переводчица Наташа вошла в кафе братиславского отеля «Девин» и сказала, что слышала по радио траурную весть. Басик переспросил, сама ли она это слышала, и она сказала: «Сама».

Тогда Миша Волков задал вопрос: «На каком языке?» И переводчица сказала: «На словацком».

Из уст в уста и от столика к столику известие распространилось по всей столующейся труппе, и после живых, но приглушенных оценок актерские лица приняли мужественное выражение хорошо скрытого горя, а движения челюстей, в соответствии с моментом, печально замедлились.

Помимо общей печали в коллективе возникло и частное замешательство насчет того, будет ли театр играть гастрольный спектакль или нет. Мнения разделились, но большинство сошлось на том, что в день смерти исторического человека показывать «Историю лошади» не очень тактично.

Дина Шварц вспомнила, что в день смерти Сталина в Ленкоме было назначено какое-то совершенно не подходящее случаю представление, в огромном зале сидело человек сто, но поступило указание играть, и спектакль играли.

Замдир Белобородов, имея в виду смерть Леонида Ильича, со значением сказал:

— На этот случай Рейган назначил «час икс».

Что такое «час икс» и во что он должен вылиться для нас, никто не знал. Неясно было и то, сам ли Рейган сообщил о своем решении Роме Белобородову или поручил это другим лицам.

Вскоре стало известно, что указаний из консульства можно ожидать не раньше двух часов пополудни, и все тихо разошлись, стараясь не встречаться взглядами в «Доме мод» и увешанных знаменитыми люстрами магазинах «Светидла». В два часа спектакль был отменен, а вечером администрация отеля «Девин» предоставила коллективу скромное помещение во втором этаже для проведения траурного митинга.

Артисты и цеха стали собираться и рассаживаться, сдерживая случайные реплики, поэтому шарканье и скрип стульев раздавались с особенной резкостью. Вадим Медведев как человек мастеровой заинтересовался формой и выделкой своего стула: как именно собран, гвозди или клей, какой материал пошел и нет ли где марки завода или имени мастера; он поднял изделие вверх ножками, при-

близил к лицу и вертел над нашими головами, пока другая половина знаменитой семьи, Валя Ковель, не осадил его в прямом и переносном смысле.

— Нашел время! — внятно сказала она мужу, выхватив у него стул и усевшись на него с официальным выражением лица.

Одеты были по-разному: кто в полудомашнем виде — спустились-то из номеров, — а кто в известном приближении к трауру. Лавров надел черный галстук, и стало ясно, что ему досталось говорить, а Гога пришел в серой курточке, из чего следовало, что он выступать не станет.

Стриж уселся в первый ряд и до конца митинга все оглядывался и оборачивался, интересуясь, кто и как реагирует на выступления и выступающих. А Сеня Розенцвейг вошел в зал в темном пиджаке, держа под мышкой черный футляр, и стало очевидно, что мы услышим скрипичную музыку.

Открыл митинг, конечно, Толя Пустохин, парторг, и сразу представил слово директору Суханову, которому предстояло играть на митинге первую роль.

Тут, пожалуй, уместно упомянуть, что наш директор не в первый раз соединял свои творческие силы с коллективом Большого театра. Еще в начале пятидесятых он, будучи тенором, появлялся к началу спектакля «Враги» М. Горького и в нужный момент соединялся за кулисами с Заблудовским и Лёскиным. Помреж Зина Либровская давала отмашку, и трио запевало печальную песню о горькой участи российского пролетариата: «Маслом прогорклым воняет удушливо...» и т.д. Закулисное пение создавало нужную атмосферу для тех, кто играл «врагов». То есть уже тогда Геня Суханов — так называли его участники трио — с полным правом подходил к кассе, чтобы получить свои «разовые». Теперь у него была лучшая, директорская зарплата, и, надо отдать ему должное, вместе с Толиком Пустохиным он отлично смотрелся в обстановке похоронного обряда. С бледным одутловатым лицом, Геня говорил ровным драматическим тенором, без тремоло, но с внутренним чувством, употребляя доступные даже потрясенному сознанию слова.

— ...перестало биться сердце... глубоко скорбим... борец за мир... коллективный разум...

Лично до меня заново дошла образная глубина мысли о «коллективном разуме». Особенно заинтересовал вопрос о процессе его сбора и месте размещения. Если весь коллектив единодушно и добровольно поотдавал собственный разум во всеобщую складчину и этот «общак» помещен в особом месте, то с чем же остается каждый отдельный член коллектива? Вызывали интерес температура хранения, общий объем серого вещества, а также размер сосуда, в котором «коллективный разум» доводят до кипения («кипит наш разум возмущенный»), и вопрос о том, сколько времени его кипятить, пока не выварится новый генсек... Впрочем, скорее всего, эта мысль возникла не во время траурного митинга, а гораздо позднее, и невольный анахронизм — следствие разнузданного «перестройкой» воображения.

Тут дали слово Кире Лаврову, который подготовился к событию слабее, чем Суханов, и присоединился к сказанному директором. От себя он добавил, что воочию видел Леонида Ильича всего один раз, но те, кто видел его чаще, уверили Киру, что это был добрый человек.

Сеня Розенцвейг сидел сбоку, так, чтобы удобнее было выйти вперед, и то отстегивал, то снова закрывал замки на футляре, стараясь, чтобы они не щелкнули. Но никакого понятного знака ему не подали, и Сеня так ничего и не сыграл.

Когда митинг был закрыт, все заметно раскрепостились, потому что в связи с отменой спектакля вечер и ночь впереди были совершенно свободны и как по долгу, так и по обычаю предстояло помянуть доброго человека и Генерального секретаря. Тут же составились соответствующие общежитию компании и расфасовались по номерам. У всех с собой было, а у кого уже не было, запаслись днем...

Мы пошли скорбеть вчетвером, все беспартийные: Басилашвили, Волков, Розенцвейг и я. Когда первая поминальная рюмка, предложенная Олегом, прошла на удивление удачно, он объяснил, что причиной тому сам Леонид Ильич, который хорошо относился к русским обычаям вообще и к поминальной водке в частности. Олег предложил не делать большой паузы между первой и второй рюмками, а дальше посмотрим...

Никто возражать не стал, тем более что хозяином номера был Семен, человек не только большой музыкальной одаренности, но и высокого понимания момента, что он и доказал, немедленно разлив по второй.

Когда вторая прошла не хуже, а может быть, и лучше, чем первая, я спросил Сеню, кто посоветовал ему прихватить скрипку на траурный митинг и почему он, в конце концов, не сыграл? На что Семен, подкладывая нам консервной закуски, признался:

— Вообще-то Гога...

— Что он сказал? — потребовал ответа Миша Волков.

— Он сказал: «Возьмите скрипку, сыграете Шопена...» — Сеня махнул рукой и добавил: — А, не в этом дело!..

Сеня Розенцвейг так часто употреблял в разговоре присказку «не в этом дело», что и мы стали пользоваться характерным выражением для того, чтобы намекнуть на самого завмуза. Иногда мне начинало казаться, что Сенино присловье не так просто, как кажется, и несет в себе бездну тревожащих смыслов.

Ну, во-первых, все сказанное перед «не в этом дело» превращалось в надводную часть речевого айсберга и намекало на подспудные толщи: вынужденно или намеренно скрывааемых тайн. Во-вторых, изо дня в день повторяемое «невэтомдело» заставляло мысль устремляться вперед, не дорожа изреченным, а подсказывая, что главное хотя еще не произнесено, но уже твердо обещано. Иногда от любимого присловья веяло тихой печалью, и оно наводило на мысль, что автор его однажды и навсегда утратил надежды быть понятым и сознательно обрек себя на скорбную недосказанность... Тут возникала догадка о великой и вечной непознаваемости жизни и горькой тщете всеобщих усилий ее разгадать...

Повторяя свое «невэтомдело», Сеня прибежал к такому разнообразию напевных, выразительных и ускользающих интонаций, что понять его в каждый данный момент было непросто, хотя я и сделал несколько шагов в этом направлении во время совместной работы над спектаклями «Лица» по Ф.М. Достоевскому и «Роза и Крест» А.А. Блока...

Итак, мы выпили по третьей за «скрип исторического колеса», и третья пошла просто отменно.

Не берусь показать под присягой, в промежутке между какими по счету рюмками Олег Басилашвили, которого мы чаще называли Бас или Басик, сообщил, что по дороге на траурный митинг Гога подхватил его под руку и раскинул свой пасьянс насчет того, кому быть преемником. «Хорошо бы Андропов», — сказал Гога. «Почему?» — спросил Бас. И Гога ответил: «Во-первых, он самый большой либерал из них всех, во-вторых, мгновенно решил вопрос о моем спектакле в «Современнике», а в-третьих, был за то, чтобы Солженицына не сажать, а выслать».

Впрочем, Бас мог перепутать порядок причин, так как мы уже не помнили порядка выпитых рюмок. Тут Сеня молча показал Олегу сначала на стены, а потом — на уши. Но Олег громко и артистически вкусно выдал известное русское выражение, посылая как стены, так и уши «трам-там-там» до востребования... В возвышенные моменты он вспоминал свою мхатовскую школу и начинал вести себя по образцу настоящих мужчин и кавалеров, какими были в его рассказах подлинные герои Анатолий Кторов, Борис Ливанов, Михаил Болдуман и особенно его педагог Павел Массальский.

Вскоре мы ушли от темы дня и стали утрачивать логику, а Миша Волков, достигнув апогея, принялся насыпать громы и молнии на голову блондинки, которая вчера вечером давала ему авансы в гостинице «Девин», а ночью коварно обманула все ожидания. От блондинки Миша перешел к девушкам других мастей, часть которых мы знали, и привел некоторые интимные подробности, которых не мог потерпеть целомудренный Сеня.

— Замолчи, ты, развратник! — приказал он.

Но Миша почему-то не обиделся, а только удивился и задал Сеня несколько прямых вопросов о манерах его поведения с женщиной.

— Только в темноте!.. Только в темноте! — неистово закричал оскорбленный Сеня, и мы поняли, что пора по домам.

Расходясь, почти за каждой дверью мы слышали знакомые голоса и громкие выражения чувств, впрочем, вполне уместные на государственных поминках.

Утром, когда труппа дисциплинированно пошла на выход с вещами, стало ясно, что наша ночная скорбь была действительно глу-

бокой: женщины томно прятали лица за косынками, а мужчины стоически несли свою долю и не скрывали твердого намерения доскоробить в автобусе.

На подъезде к Брно Розенцвейг подсел ко мне и сказал:

— Володя!.. Вы знаете, конечно, невэтомдело, но насчет скрипки я пошутил... То есть я пошутил насчет Гоги...

— То есть вы хотите сказать, что не Гога вам посоветовал взять скрипку, а вы сами решили сыграть Шопена в память Леонида Ильича?

Сеня засмеялся и сказал:

— Нет, не то чтобы... Просто я вообще-то принес скрипку, чтобы передать ее музыкантам, понимаете?.. Чтобы отдать для перевозки...

— Семен Ефимович! — сказал я. — Не переживайте... Я никому не скажу. А тем более Гоге...

Семен Ефимович был осторожным человеком. Жизнь научила его тому, что осторожность не помешает. Беда в том, что он иногда путал, по какому поводу стоило проявлять осторожность, а по какому можно было обойтись и так.

Тут Юра Изотов, зав радиоцехом, припав к своему приемнику, громко объявил, что новым генсеком стал Андропов Юрий Владимирович.

— Ну, что я вам говорил? — сказал мне Розенцвейг с видом победителя, хотя на этот счет он не говорил ничего, а по поводу Андропова догадался Гога.

В Брно, за завтраком, Товстоногов подсел к столику, за которым сидели мы с Басом, и, довольно дымя сигаретой, повторил рассказ о том, какая тревожная обстановка создалась перед сдачей спектакля «Балалайкин и Ко» Салтыкова-Щедрина, который он ставил в «Современнике», как панически боялась запрещения Галя Волчек, несмотря на то что пьеса была остроумно заказана гимнописцу Михалкову, как смотреть спектакль позвали Андропова с семьей и именно его приход повлиял на разрешение и дальнейший прокат острого спектакля.

Георгий Александрович надеялся на потепление.

Брно, большой город ярко выраженного немецкого характера (его описания вы найдете в туристических справочниках), строго соблюдал похоронные правила.

На здании театра было вывешено четыре траурных полотнища от крыши до земли, а дом напротив украсился черным флагом без единой красной ленты или бантика. Зато каждую витрину украшал портрет Брежнева в траурной рамке или с черной ленточкой наискось и непременно цветком.

И все же, по случаю субботы, торговля в магазинах и с уличных прилавков шла на редкость активно, а толпа на площадях и бульварах была говорлива и нарядна. Ожидаемому всю рабочую неделю отдыху и гулянию по главным улицам с женами и детьми не могло помешать ничто, даже смерть дорогого Леонида Ильича. Одно дело — их партийное начальство, другое — обыватели городов Прага, Брно, Братислава...

Так думал Р., участвуя в броуновом движении оживленной субботней толпы и, наряду с его коллегами, тратя нетрудовые чешские денежки. В дневнике поименованы магазины «Приор» и «Сребро», а значит, в тот день он, как и все остальные, думал о своей семье — сыне от первого брака Евгении и жене Ирине; ширина их плеч, талии и бедер была всегда с ним, если и не в памяти, то на отдельном листке блокнота, надежно опущенном в левый боковой карман рыжего гэдээровского пиджака...

Завтра все магазины окажутся закрыты, и мы поедем на экскурсию, надеясь на то, что будет добрая погода и, выйдя из-за ноябрьских облаков, воссияет солнце Аустерлица, или, как его называют чехи, города Славкова, а пока Миша Волков просит прощения у Сени Розенцвейга и в знак заключенного мира мы в том же составе решаем продолжить вчерашние поминки. Впрочем, в «Интеротеле» выясняется, что эта мысль пришла в головы далеко не одним нам. Брежнев умер, но дело его живет, и мы докажем это с помощью местных напитков. Посмотрите на нашего парторга Толю Пустохина: то ли он так близко к сердцу принял смерть вождя, то ли начинает брать пример со своего предшественника Жени Горюнова...

На повторных поминках наша самопальная четверка снова не заиклилась на теме всеобщей утраты, а подошла к текущему моменту если не глубже, то шире. Мы отметили преимущества русской водки перед ее славянскими аналогами типа «Выборовой» или «Сливовицы», и, несмотря на полную объективность, как «Московская», так и «Столичная» выиграли конкурс.

Что касается надежд, которые Г.А. Товстоногов возлагал на воцарение Андропова, то Сеня Розенцвейг в этот вечер их не комментировал. М.Д. Волков, известный зрителю как исполнитель главной роли советского разведчика, засланного в разведшколу абвера, в серийном фильме «Путь в “Сатурн”» и награжденный за эту роль именными часами ведомства, поддержал нашего Мэтра, а я, признаваясь вслух в своей тупости и неумении проникать в будущее, снова гнул в том направлении, что дело не в перепадах нашего климата, а в том, что себе позволяет каждый конкретный театр в каждом отдельном случае...

Тут Басик коснулся современной ситуации в любимом МХАТе и перешел на его историю, живописав следующий эпизод.

Однажды Виталий Яковлевич Виленкин, профессор школы-студии, бывший до войны сотрудником литературной части театра, выполняя срочное поручение Немировича-Данченко, решил сократить путь и во время спектакля, за кулисами, воткнулся с разбега в самого Станиславского.

Несмотря на то что Виталий Яковлевич был театральным деятелем крупного масштаба, он обладал миниатюрной комплекцией, и поэтому его голова ткнулась в живот гениального гиганта. Испытав священный ужас, Виталий Яковлевич только и смог что пролепетать:

— Простите, Константин Сергеевич, я очень спешу.

Станиславский, глядя на него с таким же ужасом и еще большим недоумением, ответил:

— Прошу вас немедленно проследовать в мой кабинет.

Покорно оставив срочное дело, Виленкин прошел вслед за гением, и тот, не откладывая в долгий ящик, принялся учить молодого сотрудника, как именно следует ходить по театру, не оскверняя его священных стен, то есть бесшумно и на цыпочках. Константин Сер-

геевич тут же принялся показывать Виталию Яковлевичу, как это делается, и потребовал точного воспроизведения крылатой и бесшумной походки.

Несмотря на то что Виталий Яковлевич действительно спешил, так как выполнял срочное поручение Владимира Ивановича, он попытался хотя бы удовлетворительно повторить грациозные балетные скольжения великого Учителя. Но Константин Сергеевич увлекся своим уроком, как всегда, возжаждал совершенства, и они битых два часа ходили по историческому кабинету гуськом: впереди по кругу и на цыпочках плыл огромный Станиславский, а за ним, соблюдая дистанцию и тоже на цыпочках, крался миниатюрный Виленкин...

Когда Константин Сергеевич отпустил наконец Виталия Яковлевича к Владимиру Ивановичу, Виленкину пришлось долго объясняться и, по просьбе Немировича, показывать ему то, чему его только что гениально обучал Станиславский...

Тут мы выпили за каждого из великих основателей МХАТа, дорогого Виталия Яковлевича и, что самое важное, за утраченное нами умение ходить по театру бесшумно и на цыпочках. Олег был в ударе.

— Еще был случай, — сказал он, закусив, — когда Борис Ливанов встретился в туалете с молодым артистом Владленом Давыдовым. Нет, скажем по-другому: молодой Давыдов имел счастье встретиться в туалете с великим Ливановым. Они постояли рядом у своих писсуаров, и так как время, необходимое обоим, совпало, то из туалета выходили тоже вместе. И тут Борис Николаевич остановил Владлена и назидательно рассказал ему о том, что, когда он молодым артистом встречался в туалете с К. С. Станиславским, то, не в пример Давыдову, не продолжал свое малое дело, а из уважения к старшему его прекращал...

Тут мы выпили за уважение к старшим и утраченное нами умение не вовремя начатое — вовремя прекратить...

И снова взяла разгон женская тема, в результате чего обсуждению подверглось несколько театральных романов, часть которых развивалась на разных гастролях у нас на глазах. Одному из них пытался гуманно воспрепятствовать Басик, так как роман мог разрушить одну из театральных семей, но героиня не захотела считаться

с общественным мнением, а герой безо всякого уважения к старшинству сказал Олегу: «Мастер, не встравайте!..»

Сеня слушал молча, как будто предчувствовал сюжет не саркастический и срамной, а глубоко драматический, с пропусками и пунктирами, который завяжется не здесь и не сейчас, а через десять месяцев и десять дней на белом теплоходе «Хабаровск» и станет развиваться в театре «Кокурицу Гокидзё», игрушечном номере «Сателлита», в Осаке, Киото и далее, далее, далее, включая заповедные места родного Ленинграда...

Коль скоро речь зашла о МХАТе, артист Р. напомнил собравшимся случай, когда Немирович-Данченко попытался исправить ошибку в фамилии Товстоногова и уточнил: «Либо Товстоног, либо Толстоногов». Об этом Р. переспросил Мастера во время недавних польских гастролей, и тот, шлифуя легенду о своем имени, стал уточнять. По его версии, разговор состоялся не в присутствии других студентов, а наедине, и не в Москве, а в Тбилиси... Гога упомянул сохранившуюся фотографию: Немирович смотрит его студенческий спектакль.

— Конечно, я должен был записать все, что он говорил, — делился Гога, — хотя, вы знаете, многое я помню довольно хорошо... Иногда мне звонил секретарь: «У вас свободен вечер?» — «Да». — «Владимир Иванович приглашает вас побеседовать». Конечно, беседа превращалась в монолог Немировича. У него вообще был этот пункт: филологические тонкости — ударения, суффиксы... Действительно, мой дед был Толстоногов, а потом, на Украине, переделал свою фамилию... Самое интересное из того, что он говорил, вот что... Еще в сорок третьем году Немирович предсказал конец МХАТа. Представляете себе?.. Он сказал: «Войну мы выиграем, еще какое-то время театр просуществует по инерции, а затем начнет гибнуть. *Останется одна чайка на занавесе...*» Пророческие слова... Театр может существовать только одно поколение...

— Георгий Александрович, — спросил любознательный Р., — может ли, по-вашему, сегодня возникнуть новая художественная идея?.. Именно теперь, во времена театральной всеядности?..

— Нет, Володя! — сказал он. — Для этого должны быть созданы условия, при которых студии возникали бы снизу, совершенно

свободно! Понимаете? Возникали бы и так же свободно отмирили. Как в двадцатые годы... А сейчас что?.. «Нужны студии» — и назначают сверху... Снизу возникли Ефремов, Любимов... Сейчас есть Спесивцев... А должно быть десять Спесивцевых... Вот он для укрепления репутации поставил спектакль в «Моссовете»... Кому это нужно?.. Твой театр — это и есть карьера... Или Шейко... Был способный человек, мог возникнуть лидер... Его высадили на асфальт, в Александринку, дали большую зарплату, квартиру, и вот — за семь лет — ничего... Важен момент сживания с коллективом... И на это уходит вся жизнь...

Прежде чем уехать в Прагу, мы должны были провести в Брно еще полдня, и часть сотрудников метнулась в «Дом обуви», так как кто-то из чехов сказал, что в Праге все дороже, а обувь — особенно.

В десять утра по местному времени холл был полон, потому что здесь стоял единственный на всю гостиницу телевизор, а на курантах пробило двенадцать и началась трансляция с места события, то есть с Красной площади. Тело Брежнева к кремлевской стене подвезли на пушечном лафете и установили на специальной подставке для последнего прощания...

Входившие с улицы невольно задерживались и, не успев разгрузиться, застревали перед экраном, чтобы посмотреть церемонию. Алексей Николаевич Быстров, главный машинист сцены, осознав трагизм текущего момента, замер по стойке «смирно», держа под мышкой большую коробку, в которой не могло быть ничего другого, кроме женских сапог. Невысокий, крепенький, в сильных круглых очках, он был человек славный и даже трогательный. Дочь его, для которой он купил сапоги, тоже работала у нас — костюмершей и, как многие молодые сотрудницы театра, мечтала о сцене, но в поездку она не попала, и было приятно, что Алексей Николаевич успел позаботиться о ней.

За год до чешской поездки, на гастролях в Буэнос-Айресе, у него неожиданно случился сердечный приступ, и, оклемавшись, он покори нас рассказом о том, как в машине «скорой помощи» к нему склонились аргентинские медсестры и стали нежно гладить

по лицу и напевать светлые мелодии, и тут ему почудилось, будто это не медицинские сестры, а добрые ангелы встречают его на небе. Потом, уже в больнице, число сестер увеличилось, лица их стали еще красивее, а пенье — нежней, и они, не давая ему шевельнуть рукой, раздели Алексея Николаевича догола, так что сначала ему стало несколько стыдно, а потом — уже нет. Сестры-ангелы стали обмывать его тело теплой водой, и все с песнями и улыбками, и одна их неслыханная ласка примирила его с сердечной болью и тревогой о том, как проживут без него жена и дочь. И хотя сестры не понимали нашего языка и пели Алексею Николаевичу, скорее всего, по-испански, он все повторял и повторял им то, что успел сказать Роме Белобородову, заместителю директора: живым или мертвым, он просил вернуть его домой и похоронить в России...

К счастью, сестры-ангелы и аргентинские врачи спасли Алексея Николаевича Быстрова, он выздоровел и даже поехал в новые гастроли, оказавшись в городе Брно как раз в то самое время, когда на Красной площади в Москве хоронили Леонида Ильича Брежнева. И мне показалось, что Алексей Николаевич встал по стойке «смирно» не только потому, что сильно уважал Генерального секретаря, но и оттого, что недавно сам успел прочувствовать зыбкую грань между жизнью и смертью и всеильную неотвратимость человеческого ухода.

Все-таки самое трудное мгновение на любых похоронах — это когда покойника целуют родные. Так вышло и с Леонидом Ильичом и его семейством. Теперь для жены, дочери и всех остальных началась другая жизнь.

Могильщики в черных чистых бушлатах слишком волновались, и то ли гроб оказался великоват по отношению к отмеренной могиле, то ли сам Леонид Ильич не хотел уходить в землю, но что-то застопорилось, и он на мгновение будто завис. А потом вдруг резко опустился, как будто его не смогли удержать, и гроб вместе с Генсеком канул в яму...

Стены холла в гостинице были стеклянные, и было хорошо видно, как на улице, позади телевизора, пожилой рабочий, очевидно дворник, полный и седой человек, принялся вынимать из бачка

большие темные пакеты и один за другим грузить их на тачку... Черная шторка скрыла от нас московскую трансляцию, и мы пошли по номерам, чтобы взять чемоданы и погрузиться в автобус. Впереди была Прага, давняя печаль и золотая память.

В Праге я нашел и потерял Ольгу Евреинову, пленную лебедь балетной страны, гордую длинноногую птицу. Вернее, она меня нашла, а я ее потерял. В шестьдесят восьмом году нас разлучили моя непроходимая тупость и вездеходные танки, которые бросил на Прагу покойный Леонид Ильич.

Когда автобус тронулся, Розенцвейг, сидя рядом со мной, философски и нараспев сказал:

— Да, Володя!.. Сегодня, пятнадцатого ноября 1982 года, я вам скажу, что, на мой взгляд, особых перемен не предвидится. Конечно, невэтомдело, но мне кажется, что Гога надеется напрасно...

— Вы сказали — пятнадцатого ноября? — переспросил я. — Это интересно... Пятнадцатого ноября, двадцать лет назад, я сошел с поезда на Московском вокзале и почапал пешком в БДТ...

— Что вы говорите! — воскликнул Розенцвейг. — Уже двадцать лет?.. Как быстро летит время!.. Конечно, невэтомдело, но в Праге, Володя, с вас причитается...

Он был глубоко прав, *в Праге с меня причиталось.*

— 23

В Токио с меня тоже причиталось: мои ташкентские устремления поддержал Товстоногов, и я мог катиться колбаской туда, откуда явился...

Равным образом с меня причиталось и в Ташкенте, где я по праву считался своим.

И в Ленинграде с меня причиталось каждый раз, когда кто-нибудь приезжал из Ташкента и любого другого города, где с меня причиталось. А так как я гастролировал во многих городах, не только с театром, но и сам по себе, представляете, сколько с меня причиталось в Ленинграде?!

И если иметь в виду, что в Ташкенте я оказался в результате войны и эвакуации, а родился, как все приличные люди, в Одессе, само собой разумеется, что с меня причиталось и в Одессе.

Более того, вы будете смеяться, но в Буэнос-Айресе с меня тоже причиталось. Однажды, в ответ на мои генеалогические вопросы, младшая сестра отца, то есть тетушка, прислала мне чудом сохранившуюся анкету покойного деда, в которой он честно указывал, что в 1906 году со всей семьей эмигрировал в Аргентину. Правда, в 1908 году он через Польшу вернулся в Одессу, но семья его во время эмиграции прибавилась на одного человечка, и прибавочным человеком оказался мой отец. Я могу об этом смело говорить, потому что всю жизнь дата рождения отца была окружена в его семье плотным туманом, настолько плотным, что и дед, и бабушка начинали волноваться, когда при них заходила речь о дате рождения отца. И вот после их смерти старая анкета приподняла завесу, и путем простых умозаключений я пришел к выводу, что мой отец родился не в 1908 году в городе Одессе, как ему записали в метриках, а в 1907 году «в далекой знойной Аргентине, где женщины как на картине» и так далее, в соответствии с текстом известного танго...

И волновались родные моего отца вовсе не напрасно, потому что к 1924 году, когда отцу пришло время получать паспорт, умер дедушка Ленин, а над его гробом произнес свою страшную клятву дядюшка Сталин, и мои бабушка и дедушка догадались, что нас всех ждет впереди. Ну чего мог ожидать от жизни советский человек, в чьей анкете, как кость в горле, торчало бы: место рождения — Буэнос-Айрес, Аргентина? А когда я рассказал эту историю моему отцу, он сначала очень удивился, а изучив дедову анкету, страшно разволновался, поняв, что всю кристально честную жизнь вводил в заблуждение товарищей по партии и отделы кадров разных республиканских министерств, невольно скрывая капиталистическое место своего эмигрантского рождения.

Теперь можете себе вообразить, насколько с меня причиталось в Буэнос-Айресе, когда я в составе труппы Большого драматического прибыл на место рождения моего дорогого отца...

Отметим кстати, что вопрос о смещенных датах и местах рождения крайне интересен, и автор пытается прояснить, где же и когда все-таки родился другой наш герой, Г.А. Товстоногов, семидесятилетний юбилей которого, по официальной версии, падал на сентябрь 1983 года и совпадал с его пребыванием в Осаке, а согласно

другим источникам, должен был быть смещен на два года вперед и менял свою географию. Теперь, как вы понимаете, в городе Осака причиталось уже со всех нас, советского правительства и посольства в Японии, не говоря уже о горящей синим пламенем фирме г. Окавы...

Вообще же, если бы автор стал перечислять города, в которых причиталось нам или с нас, и хотя бы вкратце привел причины по каждому городу, он не имел бы надежды добраться до финала. Что уж говорить о времени, необходимом для практического воплощения принципа «с вас (с нас) причитается»...

Так, следуя логике и шаг за шагом, мы вместе с читателями подошли к важнейшему выводу о том, что вопросы *где, когда и с кого именно причитается* и есть главные философские вопросы на рубеже двух тысячелетий. И, как всегда, они идут из России, приобретая всеобщее и мировое значение. И все же следует подчеркнуть, что, по выношенному мнению артиста Р., с которым в данном случае полностью солидаризируется автор, на этой земле нет места, в котором не причиталось бы с каждого из нас, хотя бы потому, что быть живым и посещать разные места — великое счастье. Поэтому, с точки зрения порядочного гастролера, *всегда и везде причитается с каждого, у кого есть*, а жмоты и жлобы не идут в благородный счет, и их в историю пускать не надо...

Да, чуть не забыл... До сих пор жалею, что во время наших гастролей в Буэнос-Айресе ни я, ни мои спутники, включая заведующего отделом торговли обкома КПСС, руководителя нашей поездки Букина и сопровождающих лиц из КГБ, не знали о хитроумной проделке дедушки, скрывшего от партии и государства место рождения моего отца, потому что именно в Аргентине и ее столице Буэнос-Айресе я бы наилегчайшим образом справился с обязанностями поставить товарищам выпивку (лично для меня в этом действии и заключается живое соответствие принципу «с меня причитается»), и вот почему.

Не успели мы ступить на интуитивно близкую мне почву, а дорога, повторюсь, была чрезвычайно долга и утомительна: Ленинград—Москва—Франкфурт-на-Майне—Лиссабон—Сантьяго—Гавана—

Лима—Буэнос-Айрес, — как Миша Данилов (случайно) и развед- группа «санитаров Европы» (намеренно) совершили одно за другим два оглушительных открытия.

Данилов с ходу напоролся на супермаркет рядом с гостиницей, в котором по баснословно низкой цене продавалось великолепное баночное пиво. На специальной и не вдруг различаемой нижней полке неистребимыми полчищами стояли так или иначе примятые банки, которые стоили в пять или семь раз дешевле нематых, так как справедливо считались бракованными. Но, как не менее справедливо заметил народный артист Всеволод Кузнецов, в помятой банке было ровно столько же пива, сколько и в неиспорченной, если, разумеется, умело к ней подойти и вскрывать с нежностью. При нашей бедности требовать товарного вида от глупых жестянок было еще более глупо.

Но не успел непьющий Данилов посвятить свое открытие разрешающему себе Кузнецову, как «музыкальный обоз» обнаружил в близлежащей аптеке под вывеской «Формация» чистейший медицинский 96-градусный питьевой спирт по еще более провокативной цене — одна условная единица за один литр. Более того, разведка боем обнаружила тот же спирт и по той же издевательски дешевой цене во всех окрестных «Формациях», которые были тут же нанесены на карту местности.

Наши музыканты не стали таить своего чудесного открытия от коллектива, и то ли Валя Караваев, то ли Женя Чудаков, подражая закадровому голосу Ефима Копеляна в фильме «Семнадцать мгновений весны», официально произнес:

— «Формация» к размышлению...

Образ был подхвачен, стал естественным путем развиваться, и вскоре коллеги привычно предлагали друг другу сбегать на угол за свежей «информацией». Дело кончилось тем, что во всех близлежащих аргентинских аптеках резко упали спиртовые запасы, а некоторых наших артистов стали в них узнавать как настоящих «звезд». И Женя Чудаков сказал:

— Пора уезжать, а то от избытка чужой «информации» красная труппа сильно посинела...

Разумеется, он шутил, и в шутке было сильное преувеличение, но вообразите себе, читатель, жизнь простых советских артистов да-

леко от Родины, под дамокловым мечом реакционной аргентинской военной хунты и бдительным приглядом заворотготделом обкома Букина, в условиях умопомрачительного сочетания вызывающе дешевого спирта с почти дармовым баночным пивом. Конечно, основной удар благородно приняла на себя партийная организация во главе с Толиком Пустохиным, грудью закрывая вражескую амбразуру.

Получив щедрую подпитку от латиноамериканской действительности, народный юмор продолжал расцветать. Не мог не тронуть, например, до боли близкий аргентинский обычай сдавать бутылки и, получая взамен жетоны, возвращать денежки через кассу; так, отель наш «Савой», рядом с «бутылочным» супермаркетом, довольно старый и, как сказали бы в Одессе, задрипанный, приобрел у нас название «Савой в доску».

А еще по пути в Аргентину, когда, преодолевая тяготы полета, ребята «взяли на грудь» в братской Гаване и на пересадке в Лиме (Перу), у некоторых возникли ощущения чугуна в голове, Миша Данилов, оглядев перуанский пейзаж и его печальных фигурантов, произнес:

— В чужом Перу похмелье...

Но вот что артист Р. сумел оценить только постфактум: оказалось, что глава фирмы «Даефа», вывезший нас в Буэнос-Айрес, мощный сангвиник Давид и его вторая жена могучая Неля — настоящие одесситы, так же как и мой дед, эмигрировавшие в Аргентину, но, в отличие от него, не рвущиеся обратно...

Мы появились в Буэносе в дни майских календ 1981 года, и, как порядочные одесситы и советские в прошлом люди, Додик и Неля сразу догадались, что с них причитается. Тут и был устроен праздничный выезд на катамаране по протоку Параны до виллы «Богемский лес», на которую была приглашена не только наша большая семья, но и директор театра «Сан-Мартин», где мы выступали, и советский посол в Аргентине, и его советники с семьями, и сотрудники продюсерской фирмы «Даефа», включая «мозговой трест» — заворотделом Леви и главу финансовой службы Соломона, тоже, разумеется, с семьями. Маевка вышла прекрасная, и ее описание достойно более высокого пера, чем то, каким располагает автор, хотя в нем все еще сильно искушение вернуться на виллу в прямом и переносном

смысле. Скажем лишь то, что главным действующим лицом маевки стала знаменитая аргентинская «осада», ради которой был зарезан жертвенный бык. Беря пример со знаменитого американского импресарио Сола Юрока и пропагандируя советское искусство, фирма «Даефа» по совместительству торговала аргентинским мясом, и большой бык не был для нее большой проблемой.

Гигантские куски мяса медленно переворачивались над жаровней, доспевая, шипели только что изготовленные могучие колбасы, столы были уставлены бутылками веселого вина и несметным количеством дразнящих ноздри приправ. До сигнала к атаке приходилось еще подождать, и, гуляя по вилле, гастролеры стали сшибать с больших орешин молодые плоды и, очищая их от кожуры, лакомиться в предвкушении «осады».

Некоторые сказали, что мяса все-таки многовато и надо было не стесняться, а захватить с собой пиво и спирт. Нашлись и те, которые сделали это. А когда всех пригласили к столам, стоящим на пленэре большой буквой П, один из наших прославленных едоков сказал: «Этого нам, по-моему, не сожрать!»

На что Женя Чудаков находчиво ответил: «Нет такой “осады”, которую бы не выдержали русские артисты». И, по-моему, он оказался прав.

И здесь автор задал себе следующий вопрос: какое отношение к путешествию в Японию имеет путешествие в Аргентину, а тем более — в Чехословакию? И тут же догадался, что для *нашего человека нашего времени*, каким и является автор, всякая загранка есть нечто экзотическое, а квинтэссенцией этого нечто является, конечно, Япония. И сегодня, оглядываясь назад, он может сказать, что Аргентина обнаруживает в себе три с половиной — четыре процента Японии, а Чехословакия ноль семь — ноль девять ее же процента.

Развивая мысль, в сопровождении водки завода «Ливиз» и в компании достойных собеседников, он пришел к окончательному выводу о том, что посюсторонний мир делится, в сущности, всего на две любимые страны: во-первых, материковую Россию и, во-вторых, островную Японию...

В драматические артисты Чудаков попал непростым путем.

Родился он в Донбассе, в потомственной шахтерской семье, прописанной в городе Артемово, и хотя мама его обладала абсолютным слухом и замечательно пела в стоящих случаях, она была просто поражена, услышав, что сын собирается поступать в культпросветучилище. А двинуть именно в него Женьку накрутили две заезжие девицы, строя глазки и обещая культурные и просветительские радости немедленно после поступления. В Артемово девицы залетели по невнятному поводу из самого Питера, так что их встречу с Женей можно считать знаком судьбы.

— Куда, — чистым голосом спросила его добрая мама, — куда, с таким аттестатом? — И действительно, в аттестате Жени сиротливо терялись две четверки, остальные отметки были сплошь неказисты. — Ну, пробуй... Только ты постарайся, сынок, похлопочи мордой, может, тогда и примут...

Училище Женя закончил не хуже других и, получив диплом «руководителя самостоятельности сельских клубов», поехал по распределению на Брянщину. Увидев полноценный диплом, директор сельского Дома культуры, бывший армейский старшина, сильно обрадовался и сказал:

— Ну, земля, давай, принимай хозяйство!

И хотя, как выяснилось, земляками они вовсе не были, Женя послушно подписал все бумаги, которые ему подsunул торопящийся директор. Сдав ДК, старшина срочно уехал в Сибирь.

Через несколько дней во двор Дома культуры заехала полуторка, и два блондина с белорусским акцентом сказали:

— Ну, так мы забярем ту жесьь, — и показали руками в верном направлении: посреди двора штабелем лежала новенькая листовая жесьь, ждущая капремонта ржавой крыши.

— То есть как? — спросил удивленный Женя.

— А так! — ответили ребята. — Мы ж договорились с тем директором!.. — И, споро побросав красивые серебриющиеся листы в полуторку, укатили с концами.

Еще через несколько дней появился невзрачный ревизор, прочел подписанные Женей бумаги и, обнаружив отсутствие жести на дворе, подал материал в прокуратуру.

И вот тут, в ожидании судебного крушения своей культурно-просветительской карьеры, Женя почувствовал, как в его жизнь снова вмешались высокие силы судьбы, потому что вместе с повесткой в прокуратуру на его шахтерскую голову белым голубком опустилась другая повестка — в районный военкомат.

Выслушав Женину историю и разглядывая обе бумажки, длинный майор из военкомата сказал:

— А ну, пиши на имя Дома культуры заявление об уходе!

Женя написал, но клубные работники заявления не приняли, потому что, на их взгляд, уж больно хорошо он смотрелся в роли козла отпущения. Тогда длинный майор лично приехал в ДК и рявкнул:

— Я вас всех посажу, если не дадите Чудакову расчета!

Через два дня Жене исполнилось 19 лет, он получил расчет в Доме культуры и превратился в полноценную боевую единицу стоящей на страже мира Советской Армии.

Между тем обиженная прокуратура Брянской области разыскала в Сибири знакомого нам старшину, вызвала его в Белоруссию, отдала под суд и отправила обратно в Сибирь отбывать за растрату. Пока старшина сидел, Женя, полный сочувствия к неудачнику, успел отслужить в армии, окончил Ленинградский театральный институт и как ученик Евгения Лебедева был принят в БДТ. И вот что особенно любопытно в контексте нашего повествования: оказалось, что именно Женя Чудаков был первоначально представлен Таней Рудановой в качестве вероятного кандидата на замену Гая в спектакле «Амадей». Потому что по своей комплекции Женя подходил к Гришиному сиреневому камзолу куда больше, чем артист Р. Но, оценив Танино предложение, Гога спросил:

— *Императорский библиотекарь из Донбасса?! — и поднял брови.*

И вот тут-то, в связи с библиотечным характером Гришиной роли в «Амадее», Мэтр вспомнил артиста Р. и устроил безрезультатную примерку сиреневого костюма, с которой начался наш небезупречный рассказ.

Когда грузились в автобус со всеми приобретенными в Токио пожитками и Р. позже других появился в салоне с большой япон-

ской коробкой в натруженных руках, Женя, кивая на коробку, ласково спросил:

— Воля, это ты все здесь *написал*?

И Р. упал бы от хохота, если бы в набитом автобусе было куда упасть. Смеялись все, и смеялись от души, потому что успели удачно угнездить в салоне новые японские пожитки, потому что весело было нам, не знающим своего будущего.

Надеясь на благосклонность Фудзиямы, мы ехали в Осаку, навстречу семидесятилетнему юбилею нашего Мэтра. Там и с него причиталось.

А Гриша Гай маялся в больнице...

— 24

Гай всегда был настоящим добытчиком и кормильцем. Он первым вскакивал по утрам, чтобы приготовить кашу для маленькой Насти. Принести же домой что-нибудь вкусное было для него постоянной задачей.

В наши времена мужчина, содержащий семью, по праву гордился, доставив в зубах и положив перед детенышем свежесхваченную добычу.

В постоянной охоте использовались как индивидуальные, так и коллективные навыки, и здесь трудно переоценить роль заказных или шефских концертов силами артистов БДТ перед работниками советской торговли.

Гастроли 1970 года протекали в приподнято-дружеской атмосфере празднования 40-летия Советского Казахстана, и БДТ играл роль юбилейного подарка от Российской Федерации. После встречи коллектива с Первым секретарем ЦК Компартии Казахстана т. Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым возник большой спрос на концерты в выдающихся трудовых коллективах республики.

В центральном гастрономе Алма-Аты театр представляла бригада, возглавляемая лауреатом Государственной (бывшей Сталинской) премии Григорием Гаем. Вначале Гриша излагал краткую историю рожденного революцией первого советского театра, подчеркнув, что после вступительных слов Александра Блока и знаменитых «Разбойников» Шиллера матросы прямо из зала шли штурмовать мятежный

Кронштадт. Затем Людмила Макарова и Владимир Татосов исполняли рассказ В. Катаева «Жемчужина» — шлягер, поставленный Александром Белинским, где Люся играла разборчивую морскую рыбку-невесту с жемчужиной под плавником, а Володя — морских коньков, жениха-дельфина, старого краба и ювелира-ската, который в конце концов и определял, что у стареющей переборчивой невесты вовсе не жемчужина, а бородавка. За ними шел Николай Трофимов с рассказом Михаила Зощенко «Стакан», который, ввиду бесконечных повторений, все знали наизусть, а затем — снова Гай, на этот раз с чтением Владимира Маяковского: «Стихи о советском паспорте» и лирики.

Накануне концерта сильно кутили, поздно легли, а гастроном заказал порцию драматического искусства пораньше, чуть ли не в восемь часов утра.

Перед началом в кабинете директора, несмотря на головную боль, Гриша завел целенаправленный диалог о дефицитных яствах, которые концертная бригада, разумеется, оплатит, причем помимо юбилейных колбас и печени трески Гай особенно интересовался говяжьим языком в банках. Устроительница заверила концертантов, что в ее распоряжении большой выбор благородных припасов и он будет предоставлен артистам БДТ, вставшим в такую рань...

— Кто рано встает-от, тому Бог дайте-от, — пропела уполномоченная.

— А говяжий язык в банках?... — деловито уточнил Гриша.

— Бу-у-дит, и все бу-удит, — спела уполномоченная.

Концерт пошел весело и с подъемом, несмотря на неурочное время и то, что местом действия был сыроватый подвал, уставленный таинственными ящиками. И вступление, и «Жемчужина», и «Стакан» вызвали горячие аплодисменты, наконец Гриша своим революционно-обворожительным басом проник в женские сердца мужественной лирикой и перешел к «Шести монахиням». В заключительном стихотворении Маяковского были пророческие слова: «Мне б язык испанский!/Я б спросил, взъяренный...» И едва Гай подошел к патетическому мгновению, как Татосов в качестве суфлера подбросил ему из-за ящика: «Мне б язык говяжий...» А Гриша басом

так и сказал. Тут и отец, и вся бригада согнулись пополам от сумасшедшего хохота...

И говяжий язык, и все остальное предназначалось Настеньке. Ну что тут объяснять? Младшая, долгожданная...

Последняя Гришина женитьба имела свою предысторию. Артист Р. по дружбе был представлен избраннице задолго до брака, когда она еще не обладала всей полнотой единоличной власти над Григорием и их роман из тайного подспудно и постепенно превращался в явный.

Ирина была намного моложе Гриши, тогда как ее предшественница, тоже Ирина, была намного старше его. Первую взрослую дочь его тоже звали Ириной, так что Настенька нарушила именную семейную традицию и, появившись на свет не только по любви, но и по закону, стала средоточием жизни и тем самым любимым детенышем, которому Гриша, вскакивая с утра, варил кашку, пел песни и рассказывал сказки.

Жизнь его обновилась, и сам он помолодел, это было заметно, и автор не исключает того, что новая семья в его сознании несколько оттеснила все остальное, может быть, даже и сам театр.

Оттого ли, что ей пришлось долго ждать, или просто по молодости Ирина, переехав вместе с матерью из Пушкина в опустевшую Гришину квартиру в Тульском переулке, открыто взяла в руки семейную власть; во всяком случае, так показалось Р., который, как свидетель прежних отношений, был ею от дома вежливо отлучен. Тем тесней и откровенней сплотила его с Гришей общая гримерка. Ни у артиста Р. от артиста Г., ни у Г. от Р. секретов не было, и все дальнейшее Р. переживал вместе с Гаем по мере развития непредусмотренных событий.

Однажды Гришиной Ирине досталась путевка в Болгарию, на Солнечный берег, куда она и уехала отдыхать, кажется, вместе с Настенькой. Там и возникло знакомство с немецким предпринимателем Х., тоже старше ее, однако моложе Гриши, взволновавшее ее настолько, что Ирина не стала делать из него секрета. Переписка с иностранцем, привлекая естественное внимание компетент-

ных органов, шла по домашнему адресу, на тот же Тульский переулок...

Мальчишкой господин Х. успел повоевать в составе вермахта, затем основал какое-то дело, женился, вырастил детей и похоронил жену. Будучи свободен и вдов, он, как и Гриша, увидел в Ирине новое продолжение жизни и честно предложил ей руку, сердце и переезд на постоянное жительство в портовый город Гамбург. И она честно приняла предложение, поставив Гришу перед суровым фактом.

Конечно, обоим было тяжело, особенно ввиду того, что пришлось делить любимую Настеньку, но Грише было больнее: выбор оказался не в его пользу, и, не беря на себя права заедать чужой век, он дал жене развод и скрепя сердце приобрел взрослый и детский авиабилеты до Гамбурга.

Здесь читатель может обнаружить в тексте следы остаточной аберрации, вызванной тем, что артист Р. в те времена совершенно не умел быть объективным и, болея за Гришу, не чувствовал такого же драматизма с другой стороны; повторим: он был моложе, беспощаднее к женщинам и глупее, чем теперь, хотя его сегодняшним критикам будет трудно в это поверить...

Во время полета случайный попутчик подсказал Ирине: нынешние советские правила таковы, что стоит ей с ребенком выйти из самолета и ступить на землю Гамбурга, как обратный путь будет навсегда ей заказан, а если она не покинет самолета и дождетя обратного вылета, то еще можно будет все отыграть назад. И они с Настенькой не вышли из самолета и вернулись домой, где их, естественно, принял Гриша, настраивавший себя на последнее одиночество и с радостью оплативший обратный маршрут.

Этот эпизод свидетельствует о раздвоении, томившем бедную Ирину, но в те времена Р. не мог этого оценить.

Однако история тем не окончилась, потому что господин Х. не оставил своей мечты и стал еще активней писать и звонить на Тульский переулок из Гамбурга. Более того, он сам прилетел в Ленинград, попросив личной встречи у Гая. Что было делать?

Гай согласился, а господин Х. пришел не один, а в сопровождении консула Федеративной Республики Германия, и они вдвоем ста-

ли убеждать Гришу, что это и есть та редкая любовь, о которой писали не только Шиллер и Гёте, но и русские классики, — и именно господин Гай мог бы освятить новый союз, чистосердечно благословив свою нерешительную супругу.

Насколько помнит Р. по рассказу Григория, встреча произвела на него особенное впечатление, так как частный случай перерастал в событие международное, а может быть, и глобальное, и от Гриши Гая частично зависело теперь не только преодоление тяжких последствий Второй мировой войны, но и — как знать! — начальное разрушение железного занавеса. В конце концов браки совершаются на небесах, говорил он мне...

Агитировать Ирину Гриша, конечно, не взялся, но обещал господам визитерам дать возлюбленным возможность последней встречи. И встреча состоялась. По ее убедительным результатам пришлось покупать новые билеты до Гамбурга, и Гай пережил второе расставание. Как он ни старался не падать духом, теперь это ему удавалось не вполне.

Стоит ли говорить о мелочном побочном эффекте события: в связи с выездом старшей дочери в страну Израиль, а жены — в Федеративную Республику Германия артист Гай перестал рассматриваться как кандидат в любые зарубежные гастроли и окончательно утратил доверие партийных, советских и компетентных органов.

Долго ли, коротко ли текло время, но Настенька успела прекрасно овладеть немецким языком, а Ирина — несколько разочароваться в своем суженом. Кажется, ей пришлось много работать и огорчаться по разным семейным поводам, она болела, и ей пришлось сделать операцию.

И вот по прошествии нескольких лет Гриша узнал, что Ирина с Настенькой хотели бы вернуться, и если он не возражает, то именно к нему, в Тульский переулок, для воссоединения разрушенной прежде семьи...

И Гриша тотчас согласился, проявив такое супружеское благородство, терпимость и широту, которые были описаны еще Львом Толстым в романе «Анна Каренина» и на каковые, конечно же, не был способен его узколобый, ревнивый и амбициозный коллега, артист Р.

Роли Призрака и Первого актера в «Гамлете» Козинцева озвучивал Гриша Гай, и призрак актерской трагедии стал вмешиваться в его судьбу.

То он опоздает на выход, то вовсе прозевает его...

То спутает партнеров и скажет текст из другого спектакля...

То уйдет за кулисы прежде, чем окончится сцена...

Не тот костюм, не те времена, а он опять императорский библиотекарь, о, Господи!..

Наконец Гришу отстранили от спектаклей, и он стал жить под домашним присмотром. И младшая дочь была рядом, и жена как будто здесь, а он все искал выхода из положения...

Однажды его пришел навестить Володя Татосов, который успел оставить БДТ и устроить свою актерскую жизнь по-новому. Но, увидев его, Гриша поднялся:

— Мне пора...

— Постой, я пришел к тебе в гости, а ты меня бросаешь, — сказал Володя.

— Я иду играть «Амадей», — разведя руками, сказал Гриша.

— Позволь, но вместо тебя ввели другого артиста...

— Это не важно, — сказал Гриша. — Я приду пораньше, надену свой костюм и буду играть... Или отниму костюм силой!..

— Постой, подожди, — просил Татосов, но Гриша был тверд и вышел из квартиры.

Валере Караваеву, новому исполнителю роли Ван-Свитена, директора императорской библиотеки, Гай позвонил из автомата.

— Валерий, это ты? — спросил он.

— Я, — ответил Валерий.

— Пожалуйста, не приходи сегодня играть Ван-Свитена, я сам его сыграю, — сказал Гай.

— Но, Гриша, — сказал Валерий, — в расписании стоит моя фамилия, и не мне решать такой вопрос, ты же знаешь, наше дело солдатское.

— А ты опоздай, приди попозже, а я надену костюм и сыграю. — Валерий молчал. Тогда Гриша добавил: — Или прикинься больным, я тебя в хорошую больницу устрою.

— Больницы не нужно, — сказал Валерий. — Лучше ты позвони в режиссерское... Или Гоге. Если меня вычеркнут, сыграешь ты. Я буду только рад...

И Гриша повесил трубку.

Опасаясь бедствия, Татосов позвонил Гоге.

— Вот такая история, Георгий Александрович, — сказал он. — Мне ужасно неловко, потому что я стучу на своего товарища, но Гриша совсем болен: он хочет надеть костюм библиотекаря и явочным порядком играть спектакль...

— Вы напрасно сомневаетесь, — убеждающе сказал Гога. — Это хорошо, что вы сказали... Вы поступили благородно и оградили Гришу от тяжелых неприятностей... Спасибо, Володя... Сейчас мы позовем врача и постараемся овладеть ситуацией...

И врач уговорил Гая лечь в Бехтеревку...

В один из Гришиных светлых промежутков Р. пришел к нему в Тульский переулок. Он уже знал то, чего не знал Гриша: старшая дочь умерла в стране Израиль, успев развестись с мужем и оставив мальчика... с кем же?.. На кого?.. Гриша показывал мне цветные фотки и жаловался:

— Совсем прекратила писать... И Гога не звонит...

Высыпав на ладонь таблетки нитроглицерина и проглотив одну, он медленно, как старик, спустился во двор с пятого этажа, чтобы выгулять свою беспородную собачонку, и мы вместе с ней обошли ближние окрестности... Он плохо вспоминал, говорил вяло и невнятно и был совсем непохож на того Гришу, с которым меня свела судьба: ни мощного дыхания, ни низкого грудного гудящего голоса не было в помине. Он только усмехался и осторожно хмыкал, будто подвергая ироническому пересмотру и то, о чем еще помнит, и то, что напрочь забыл.

— Ты помнишь Болгарию, Гриша?..

— Не помню, — и усмехнется...

— А Алма-Ату?.. Помнишь, как мы веселились, пили «калгановку»?.. Как ты варил уху?..

— А-а-а!.. Да-да-да-да-да... — И опять смешок...

В Бехтеревке его стала навещать умершая жена, которая казалась то матерью, то сестрой, то подругой. Она, как обычно, играла на фортепьяно, рисовала картины на холсте или стекле и садилась вышивать у его изголовья.

Когда Гришу донимали безумные соседи, она напоминала ему любимые стихи, и это по ее совету он вывел символическую табличку на тетрадном листе и повесил ее над кроватью: «Народный артист Григорий Гай». Несмотря на то что для него не добились даже «заслуженного».

— Эй, артист! Трах-тибидох-трам-та-тах!..

— Знаешь, Гриша, — говорила самая старшая Ирина, — ты стал читать Бараташвили лучше, чем Гога!..

— Ты так считаешь? — переспрашивал он.

— Безусловно!.. Ты вообще очень вырос как артист. И у тебя все стало получаться как-то само собой... И этот антисемит Куприн в татарской тубетейке!.. Настоящий писатель!.. Что делать, самых близких топчут прежде всего...

— Ты видела «Гранатовый браслет»?

— Конечно!.. И этот верный Дик в «Четвертом»! Вылитый Сент-Экзюпери!.. Настоящий летчик!.. Ты помнишь, как ты рявкнул на Гогу? Нет? Ты сказал ему: «Надо читать пьесы, которые ставишь!» И он смутился...

— Разве?..

— Да... И бандит Акула... Я видела «Жизнь прошла мимо». Твой Акула — настоящий рецидивист!..

— «Жизнь прошла мимо»?.. Ирина, прости меня...

— О чем ты, Гриша!.. Разве ты меня обидел?.. Ты носил меня на руках, когда я заболела. А теперь я поношу тебя!.. Спи, мой мальчик! И никогда не падай духом!.. У тебя такая чудная библиотека!.. И — Боже мой!.. — как ты сыграл императорского библиотекаря!.. Ты в этом спектакле — лучше всех!..

Потом стало еще хуже, потому что он совсем забыл себя. Перестал быть Гаем. И не понял, что это случилось.

Когда заболел Мопассан, он успел поймать роковую минуту и, переставая быть собой, записал: «Мопассан превратился в живот-

ное». А Гриша не успел. И, как сказал врач, стал опасен. Например, он мог открыть газ и взорвать весь сталинский дом.

Рядом со Смольным собором нашелся Дом хроников, и это было совсем близко от Тульского переулка...

— А это кто? — спрашивал Гриша своих гостей.

— Это — Настя!.. Настя!.. Ты узнаешь ее?..

— Да?.. Очень милая девушка...

— А вчера звонила Лида и спрашивала, как у тебя...

— Да?.. Кто такая Лида?..

— Жена Татосова... Ты помнишь Володю?..

— Нет...

— Ты же работал с ним в театре!..

— Я никогда не работал в театре, — убежденно отвечал он.

Ему казалось, что за какую-то провинность его мальчиком выгнали из дому и с тех пор он не может найти обратной дороги...

Одиннадцать лет Гай провел без театра и радости и умер в Доме хроников, совершенно не помня прошлого и самого себя.

Хоронили его в Пушкине, там, где Ирина оставила в земле своего младшего брата и мать. Незадолго до их с Гришей свадьбы ее двенадцатилетний брат погиб, случайно подорвавшись на немецкой мине, а мать умерла за несколько лет до Гриши. Теперь на Царскосельском погосте он окончательно вошел в свою последнюю семью.

Похороны прошли незаметно, потому что театр находился в отпуске и некому было сказать. Случайно оказавшийся в городе Кира Лавров отозвался на звонок и вечером заехал в Тульский на семейные поминки.

Дорогой Гриша! Пишу тебе на тот, вполне вероятный, случай, что ты сумеешь достать во вселенской библиотеке те номера журналов, где пишут о тебе.

Главные новости мне сообщила Настя, с которой я продолжаю общаться если не часто, то хоть изредка, и когда не воочию, то хоть по телефону. Рад тебе передать, что твои земные и небесные хлопоты увенчались большим успехом. Твоя младшая дочь Анастасия Григорьевна в свои неполные тридцать была избрана и утверждена в должности директора Театральной библиотеки,

той самой, в которой ты много раз бывал, заходя то со двора по Зодчего Росси, то с площади Островского, за спиной Александринки. А так как наша библиотека поначалу называлась Библиотекой придворного театра и указ о ее создании был подписан императрицей Елизаветой Петровной 30 августа 1756 года, то у нас есть основания считать твою дочь Настю — «императорской библиотекаршей».

Такое счастливое совпадение ее судьбы с той ролью, что досталась тебе напоследок в Большом драматическом, убеждает меня по меньшей мере в том, что цепь случайностей в нашей судьбе выводится иногда из закона высшей справедливости и хаос жизни уступает порой кажущейся гармонии...

Я рад сообщить тебе, что недавно у самой Насти родилась дочь, стало быть, твоя внучка, и, когда закончится ремонт в квартире Насти и ее мужа, они втроем переедут из Тульского переулка по новому адресу.

Нашелся и твой внук, сын старшей дочери Ирины. Ему исполнилось восемнадцать лет, и он пошел служить в армию; таково сообщение из страны Израиль...

Надеюсь, что тебе будет любопытно прочесть то, что пишут о тебе твои друзья — Ольга Дзюбинская (она переехала в московский Дом ветеранов сцены), Татьяна Марченко и другие. Надеюсь также, что ты будешь снисходителен и к тому, что сообщаю читателям я. Быть может, не все подробности, волнующие меня, существенны для других, но ты добровольно взял на себя роль моего друга, и чем еще, кроме рассказа о твоей судьбе, я могу выразить верность твоей памяти?

Помнишь, что ты сказал, прослушав стихи о себе и отвечая на вопрос, можно ли их печатать? Не помнишь... Ты сказал:

— Конечно, Воля. Это — твое право. Я ведь понимаю, что это уже не совсем я, а твой литературный герой...

Еще тогда ты оказался тоньше и прозорливее туповатого автора, разрешив ему новую свободу в обращении с собственным именем в частности и именем собственным вообще.

Если хорошенько вдуматься, каждый из нас, действуя в пределах чужого воображения, оказывается вовсе не тем, кем являлся

в своем озабоченном бытовании. Каждый из нас в чем-то рассказе в лучшем случае близнец своего прототипа, названный брат или, если хочешь, двойник, возникший на основе светящихся точек или пунктирных черт, оставленных за собой подлинником. А если это стихотворный двойник или романный близнец, то, стало быть, именно персонаж и литературный герой, а не клон, не сколок или фотка, удостоверяющая паспортную личность.

В конце концов, все носители достоверных имен на этих страницах, включая тебя, Гогу или бедного автора, не могут не оказаться фигурами остранными, совершающими жесты и поступки, которых не должны были себе позволять.

Скажу больше. Разве все мы, все до одного — не чьи-то печальные персонажи, наблюдаемые всевидящим оком и не всегда успевающие раскаться?..

Спасибо тебе за все и прости, если можешь...

— 25

В Праге с меня причиталось, как нигде.

В марте 1968 года Большой драматический гастролировал в Праге. Мы имели успех, восторгались спектаклями Крейчи, братались с его актерами и завидовали новой свободе — знаменитой «пражской весне». В неосмотрительных обсуждениях мы хвалили Дубчека, чешскую модель социализма и выражали надежды на что-либо подобное у нас. После забытой «оттепели» пора было наступить и нашему «лету».

В первом спектакле я занят не был, и, вернувшись в гостиницу, Басилашвили, Волков, а потом Заблудовский и Розенцвейг сообщили мне, что какая-то красивая пражанка передавала мне привет и обещала прийти назавтра.

— Красивая? — переспросил я Олега, зная его склонность к преувеличениям и розыгрышам.

— Да, — сказал он и посмотрел на Мишу.

— Можешь не сомневаться, — подтвердил Волков, и по его сухому тону я понял, что сообщение имеет под собой реальную почву. С точки зрения Волкова, все красивые женщины должны были спрашивать только о нем. Розенцвейг добавил:

— Конечно, невзтомдело, но девушка очень высокая... Может быть, даже капельку выше вас...

— Ноги — от самой шеи, — пояснил Изиль Заблудовский.

На следующий день, после «Мещан», за кулисами появилась высокая молодая женщина и молча подала мне руку. На ее губах была улыбка, читавшаяся как легкий вызов или намек. Рассиявшись в ответ, я сначала пожал узкую ладонь, а потом и поцеловал длинную, изящную, гибкую руку.

— Здравствуйте, Владимир, — медленно произнесла она.

У нее были балетная стать и необычное лицо, умное и независимое. Девушка молчала, продолжая испытующе улыбаться и не отнимая у меня руки. Пауза затянулась, но я об этом не жалел. Мне показалось, что она зашла поздравить меня с актерским успехом, но, к счастью, ошибся. Наконец она отняла руку:

— Меня зовут Ольга... Вы не помните меня?

Я почувствовал себя дураком и сказал:

— Да, конечно... Кажется, вспоминаю... — Она засмеялась.

— Вы меня не узнали!..

Она так нравилась мне, что я побоялся испугать ее ложью.

— По правде говоря, еще нет.

— Меня зовут Ольга Евреинова, — сказала она. — Я училась в Вагановском, и однажды мы встретились с вами на площади Ломоносова... Нас было много, а вы шли из театра один...

Мне стало жарко, и я сказал:

— Господи! Быть этого не может... Так это вы... оглянулись?

— Да, да! — сказала она и снова рассмеялась.

— Ольга, — сказал я и повторил: — Ольга... — Любопытные коллеги и костюмеры с гримерами поглядывали на нас.

— Может быть, вы подождете меня? — спросил я.

— Конечно, — сказала она. — Зачем же я здесь?

И я пошел переодеваться.

Я забыл, по какой причине день, который напонила мне высокая гостья, казался совершенно счастливым с самого начала. Может быть, настроение диктовала светлейшая погода, а может, репетиция

удалась, приманив новую веселость; в те поры, помнится, я был еще совершенно беспечен.

Я только что вышел из театра, и город, приподнятый солнцем, мгновенно отобрал у меня остаточные заботы. Я снова сказал себе, какая это радость — каждый поворот и оббитый угол, и наша протеецкая проходная, и залатанный асфальт на Фонтанке, и бликующая вода, и щелястое дерево перехода на левый берег, и оставленный без внимания, но имеющийся в виду переулок Лестока, и чистый рисунок гранитных башен Чернышова моста, и его тяжелые цепи, скованные для красоты, а не ради плена и тягот...

Я дошагал до «ватрушки» — так в просторечье зовется площадь Ломоносова за то, что кругла и украшена круглой травяной клумбой, с постаментом и бюстом по центру и круговым зеленым газоном, по которому посажены липы и прорезаны дорожки для пешеходов на все четыре стороны света, — и пошел наискось через дорогу, держа на бюст Михайлы Васильевича, чтобы, миновав Зодчего Росси, кратчайшим путем выйти на Невский...

И тут навстречу мне появилась стайка старшеклассниц-«вагановок», уже танцовщиц, но еще девчонок, смешливых, легконогих, быстрых, выделенных из нашего тусклого племени своей новоявленной породой — выворотной, но еще не натруженной стопой, узкими бедрами, твердыми плечиками и горделивой шеей. Солнце светило в них в глазах, и голоса сливались в птичий хор. Девчонки плыли мне навстречу, поражая родственным единством и совершенной избранностью каждого стебелька в летнем букете. Их разноцветные юбочки были совсем коротки, а ноги сильны и стройны, облитые замороженным солнцем.

Господи, как они ходят, готовые взлететь и закружиться, как разворачивают маленькие жесткие ступни, как выразительно, одной своей издали узнаваемой походкой, зывают к мужской поддержке и немедленной защите! всю жизнь меня охватывает безумная нежность при одном взгляде на женщину-птицу. А тут — целая стая!.. Их все еще держала вместе дисциплина общего станка и недавнего урока, но они уже были готовы рассыпаться навстречу судьбе и украсить собой скачущие подмости. Навстречу мне двигался сгусток юной энергии и невозможной любви, а может быть,



«Я был еще немой, но в Гамлетовой тени
В те времена и мной проговорилось время».
В Ташкентском русском драмтеатре я играл Принца Датского



*«ЧИТАТЕЛЬ,
НЕ ПЕРЕЖИВШИЙ
НАШИ ПРЕМЬЕРЫ,
НЕ ЗНАЕТ
О НАС НИЧЕГО.
НО БОЖЕ МОЙ,
ЧЕГО ОНИ СТОИЛИ!..»*





«Георгий Александрович Товстоногов (Гога).
Мне кажется, он представлял наше время как никто другой»

*«БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ЭПОХИ ТОВСТОНОГОВА – ТЕАТР ВСЕХ ВРЕМЕН
И НАРОДОВ, А «МЕЩАНЕ» – ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ НАШЕГО ВОЖДЯ»*



Семья Бессеменовых



Петр – В.Рецептер
Отец – Е.Лебедев
Мать – М.Призван-Соколова



Татьяна – Э.Попова
Тетерев – П.Панков

*«Роль князя Мышкина в спектакле «ИДИОТ» СТАЛА ТРИУМФОМ
СМОКТУНОВСКОГО. НО ВСКОРЕ ОН ПОКИНУЛ ТРУППУ...»*



Настасья Филипповна – Т.Доронина. Рогожин – Е.Лебедев

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
«МЫ, АКТЕРЫ, ЧТО КОНИ: ПОВЕЗЕТ – ПОВЕЗЕМ!
А ЗАМЕНИТ В ПРОГОНЕ – МЫ ЖЕЛЕЗО ГРЫЗЕМ»



О.Басилашвили и В.Ковель.
Сцена из спектакля



Холстомер –
Е.Лебедев



Жеребец Милый – М.Волков
Кучер Феофан – Ю.Мироненко

ТРАГЕДИЯ ШЕКСПИРА «ГЕНРИХ IV»
«РОЛЬ ПРИНЦА ГАРРИ Я НЕ СЫГРАЛ...»



Принц Гарри – О.Борисов
Хотспер – В.Стржельчик



На репетиции
с С.Юрским (король)



Верховный судья – В.Иллич

«ГОРЕ ОТ УМА»
**«Чацкий Юрского, по мнению многих, напоминал Пушкина,
мой – Грибоедова»**



Фамусов –
В.Полицеймако

Г-н D. – И.Заблудовский
Г-н N. – О.Басилашвили



«РЕВИЗОР»



Городничий – К.Лавров
Анна Андреевна – Л.Макарова

Хлестаков – О.Басилашвили



Марья Антоновна – Н.Тенякова

*«Вечные дети – артисты, все вам играть да играть,
может, попутал нечистый всю вашу пленную рать»*



М. Данилов
в спектакле **«МОЛЬЕР»**

Г. Гай –
«САЛЕМСКИЕ КОЛДУНЬИ»



Ю. Мироненко, В. Матвеев, Е. Соляков – «РОЗА И КРЕСТ»



Е.Копелян и З.Шарко –
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

П.Луспекаев –
«ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»



В.Медведев –
«ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР»



О.Борисов
и К.Лавров –
«ТИХИЙ ДОН»

«Они не играют на сцене, но главные роли – у них»



Легендарный завлит
Дина Шварц



Зав. музчастью
Семен Розенцвейг



Художник – Эдуард Кочергин



Режиссер – Роза Сирота

*«У АКТЕРА ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА ВРЕМЕНИ:
ДО СПЕКТАКЛЯ, КОГДА НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ, И ПОСЛЕ – КОГДА ВСЕ МОЖНО...»*



Наша гримерка: С.Карнович-Валуа (вверху), С.Мартинсон, я и Г.Гай



На гастролях в Японии с О.Басилашвили, Г.Штилем, Л.Неведомским

*«Я ВСЕГДА СЧИТАЛ ЛИТЕРАТУРНУЮ СРЕДУ ТАКОЙ ЖЕ СВОЕЙ,
КАК И ТЕАТРАЛЬНУЮ»*



С Булатом Окуджавой



Три Гамлета:
Владимир Высоцкий
Михаил Козаков
Владимир Рецептер



У меня дома (слева направо):
Александр Городницкий, Яков Гордин,
Александр Кушнер, Зиновий Корогодский,
Натан Эйдельман, Александр Иванов и я



Наум Коржавин –
страстный почитатель
БДТ



Юрий Давыдов



«Ах, дорогие мои, не спешите назначить замены.
Некем меня заменить, я вжился и впечатался в стены,
В тайные ниши вошел, в зеркала окупался...
Я вас любил, а когда уходил, оглянулся...»

это была сама жизнь в предельной готовности превратиться в искусство...

Стайка прошла справа от меня, обдав волной такой невозможной радости, что я засмеялся над собою.

Нет, нет, я не остановился, это было бы нахально и глупо; я продолжал намеренное движение, чувствуя уже за спиной их слитное сияние, и, сделав еще несколько шагов, не выдержал и обернулся...

Девочки-танцовщицы удалялись, щебеча и полыхая на солнце. Но одна из них, самая высокая из группы, оглянулась в одно мгновение со мной, и мы вместе — я и она, — смеясь и отступая, подняли правые руки и помахали друг другу на прощанье...

Честное слово, я даже не приостановился, встреча была мгновенна, а разлука необратима. Я даже не успел разглядеть ее лица. Но этот день, не помнящий летней даты, и оглядка на ходу, и невольное вскинутые руки — как вспышка и озарение — так надежно остались со мной, что спустя несколько лет в ней не было и тени сомнения: стоит только подойти и напомнить мне случайную встречу и невольную оглядку — и я заволнуюсь и растеряюсь.

Так и случилось. Когда гостя сказала: «Нас было много, а вы шли из театра один», я узнал скорее тот день, чем ее самое, соединение двух картинок — давней и нынешней — смертельным дуплетом ударило в меня, праздничное предзнаменование вернулось, и я задохнулся.

У нас было много знакомых адресов за спиной: набережная Фонтанки с моим театром, который она хорошо знала, их классы на Зодчего Росси и общежитие на улице Правды, куда они направлялись по Чернышову мосту через Пять углов; с нами был весь оставшийся позади Ленинград, и то, что случилось с каждым поврозь — со мной в середине шестидесятых и с ней за первые взрослые годы, и вся предстоящая Прага...

В марте 1968 года, в солнцезолосой Праге, я забыл гастрольную дисциплину и не стал никому докладывать о ежедневных отлучках. Конечно, «кураторы» знали о них, но, честное слово, в те дни я не помнил о здравом смысле. При одном взгляде на Ольгу было ясно, что она не станет входить в мое пленное положение. Спектакль?..

Да, это она понимала. Но до и после — наше время. Сам пражский воздух веял свободой и радостью, и наши бесконечные гулянья не знали мер и запретов.

Иногда и ее отвлекала работа — Пражский театр оперы и балета, — и по каким-то неявным приметам я понял, что она успела пережить первые разочарования...

В гостинице ее узнавали или считали нашей, и никто ни разу не посмел спросить у нее пропуск.

Как-то мы оказались на улочке без неба: над нами громоздились строительные леса в несколько этажей. Дощатый тротуар под дощатой крышей напрягся, стало темно и трудно дышать.

Ольга сказала:

— Кажется, впереди глухие ворота... Давай вернемся...

Но, почувствовав чью-то уверенную подсказку, я не согласился с ней:

— Этого не может быть... Через пятьдесят шагов будет выход, — сказал я.

Мы пошли вперед, считая шаги, и, когда досчитали до пятидесяти, небо открылось и мы оказались на площади перед Кампой.

И всякий раз, как ни безоглядно мы уходили в любом направлении и каким лабиринтом ни казались мне старые кварталы, выход открывался сам собою и мы оказывались в исходной точке — Карлов Мост и площадь перед Кампой.

Любая случайность казалась чудом.

— Видишь, круг замкнулся, — сказала Ольга, — я — кошка из твоего замкнутого круга...

Рильке она знала лучше, чем я; Цветаева была для нее пражанкой, но об Ахматовой она переспрашивала меня.

Мы целовались с открытыми глазами, целовались снова и снова, и мне казалось, что она целует лучше всех, кого я успел узнать...

Я и сегодня готов поклясться, что пражская архитектура рождена настоящей любовью для настоящей любви...

Однажды она сказала, что со мной хотят познакомиться родители, и я не отказался от встречи. Я не мог ей ни в чем отказать. Отец, мать и бабушка Ольги эмигрировали из Петербурга давно, ка-

жется, сначала в Париж, но теперь не представляли жизни вне Праги.

Покойный писатель и деятель русского театра Н. Н. Евреинов был каким-то дальним родственником моей героини. С того званого обеда прошло много лет, однако я хорошо помню, что их родство с Николаем Николаевичем за пражским столом упоминалось. Этот человек написал книги «Театр как таковой», «Театр для себя», «Происхождение драмы», пьесы «Красивый деспот», «Такая женщина», «Самое главное» и книги по истории русской сцены. По мнению нашей «Театральной энциклопедии» издания 1963 года, Николай Николаевич «отстаивал субъективно-идеалистический взгляд на искусство» и «утверждал, что творчество служит потребностям самовыявления», а «жизнь — непрерывный театр для себя...»

— О, как вы правы, Николай Николаевич, — сказал бы я ему на званом обеде, но его там не было, а в его книги я заглянул гораздо позднее.

В начале века Евреинову удалось создать свой «Старинный театр», но, сообразив, к чему идет Россия, он еще в 20-х годах отбыл во Францию и предпочел следить за нашими театральными событиями издали. Родившийся в 1879-м, дедушка Евреинов умер в том же году, что и Сталин, успев передать родственникам не только свои представления о сцене, но и стойкое предубеждение против коммунистов и советского образа жизни.

Когда Ольга подросла и стала проявлять интерес и способности к танцу, семья вспомнила русскую родину и решила послать свою надежду в Вагановскую школу. Это был, очевидно, политический компромисс, но в профессиональном отношении игра стоила свеч.

Разговор за семейным столом оказался не так свободен, как того хотелось Ольге. Отца и мать волновали, как я понял, мои беспечные и соглашательские отношения с той властью, которую представлял мой театр, а бабушка все порывалась прояснить, откуда взялась моя загадочная фамилия, ввиду чего я подумал, что евреи вообще и Евреиновы в частности не вполне одно и то же...

О том, что я женат, а мой сын поступил в школу, им, видимо, заранее сказала Ольга, приведя родных в замешательство, от которого они так и не избавились.

Несмотря на азиатскую толстокожесть, я сообразил, какой смысл могло иметь мое представление семье. И по тому, что я на него решился, нетрудно догадаться как о степени моей безумной безответственности, так и о высоте накатившего чувства.

Выйдя из родительского дома, я сказал Ольге:

— Знаешь, все-таки я здесь чужак... Чужак и иностранец.

— Только не для меня, — сказала она, и мы вновь забыли всех своих и вновь обнялись, говоря бог знает что и сходя с ума друг от друга.

И все же я был смел только в поцелуях. Может быть, я потому и был так отважен, что между нами оставалась последняя граница...

Однажды Зина Шарко, не раз восполнявшая мою дырявую память, привела наш давний гастрольный диалог:

— Ну что, блядун? — спросила она в упор, имея в виду мои долгие и опрометчивые танцы с одной прекрасной румынкой.

Используя литературный прием, называемый ассонансом, я сказал:

— Я — не блядун, я влюблен...

Вот, оказывается, какие обмены репликами случаются в гастролях, потому что гастроли кружат наши слабые головы.

— Спасибо, Зина, — сказал я, — спасибо за лестное воспоминание, ты возвращаешь мне себя в другом измерении.

Я привел этот лишний эпизод всего лишь как факт, а не попытку оправдания. Оправдания мне нет и быть не может. Впрочем, пока сюжет не исчерпан, нет смысла его обгонять... Но тема взаимоотношений любимых героев с их женщинами так драгоценна!

Недавно родная сестра Г.А. Товстоногова Натела в газетном интервью назвала покойного Мэтра «бабником», и во мне возникло глубокое несогласие с ней. Я уверен, что и в Нателе возникло бы такое же несогласие со мной, попытайся я одним словом определить эти опасные связи.

Всякий художник тоскует по красоте, гармонии и героине до последней черты. А большой художник — тем более. На фоне высокой тоски по идеалу следует рассматривать его лирические сюжеты. Причем каждый в отдельности и всегда в окружении историко-гео-

графических обстоятельств, а не в безвоздушном пространстве или романтической невесомости.

И ни в коем случае не надо обобщать: «блядун», «бабник». Тем более интересным женщинам...

Вот, например, Александр Блок и певица Мариинского театра Любовь Дельмас...

А вот Георгий Товстоногов и актриса Л... Или К... Или Ш...

Но довольно! Довольно, иначе я не завершу собственного сюжета.

В марте 1968 года театру предстояло сняться с места, сыграть свои спектакли в Братиславе, которую я в тот раз почти не запомнил, и, прежде чем уехать в Союз, снова оказаться в Праге.

То, на что мы с Ольгой надеялись и чего боялись, должно было случиться перед расставанием. Но здесь язык мой лукавит, и я оставляю уловку текста как улику против автора.

Ольга не боялась ничего. Это я до последнего дня, очевидно, боялся, зная, что еще шаг — и отступить будет некуда.

Но лишь до последнего дня... Девятого марта 1968 года страхи ушли, и в сюжет вмешались обстоятельства.

— Здравствуй, — сказал я, вернувшись, Праге и ее героине, и, одобряя мою решимость, Ольга прижалась ко мне. — Пойдем, — сказал я, и она не спросила куда.

Мы шли напрямик в мое временное пристанище, старинную гостиницу на Вацлавской площади, снятую для театра на последние сутки. Взявшись за руки, мы шли навстречу самой любви, два молодых человека, свободная балетная лебедь и драматический артемон, и я безумно гордился дивной подругой и внутренней свободой, которую наконец обрел наперекор упорному воспитанию. Подходя к парадному входу, я был уверен, что ступаю на порог новой жизни, и не ожидал от судьбы ни малейших препятствий.

Но, вопреки ожиданиям, нас остановил швейцар с квадратной мордой и пошлейшими галунами и, повертев мой одинокий пропуск, показал, что я войти могу, а гостя — нет.

— В чем дело?.. Что такое?! — захорохорился я, и этот тип, глядя на Ольгу с наглой ухмылкой, сказал, что у него есть указание ни-

каких гостей к нам не пускать. — Минуту, — твердо сказал я Ольге и, пытаясь сыграть роль безупречного джентльмена, наваянную моему воображению артистом МХАТа Анатолием Кторовым, пошел к стойке администратора.

Но и этот был в глупой форме, и этот, гнусно улыбаясь, вежливо повторил шокирующий отказ...

— Черт с ним, — сказала Ольга, когда я в растерянности вернулся к ней. — Черт с ними. Пойдем отсюда.

И мы ушли в Прагу.

С нами был Бог.

Читатель, не переживший наших времен, должен понять, что мужчина, которым по некоторым признакам мог себя считать артист Р., вовсе не походил как на джентльменов, сыгранных Кторовым, так и на героев Ремарка и Хемингуэя, открывающих левой ногой любую дверь. И беда его была в том, что он не имел ни денег, ни опыта — давать швейцарам на чай. Он был воспитан Родиной и родителями в благородном социалистическом отвращении к взяткам и поборам.

А главное — теперь это хорошо заметно — он был привычно и неосознанно нищ, не имея в кармане или кошельке хотя бы минимальных валютных резервов. По-моему, у него и кошелек-то не было, не говоря уже о плотном кожаном бумажнике, который даже во времена зрелого социализма помог бы ему решить возникшую проблему. При всей любви и решительности он не мог предусмотреть вероятной необходимости швырнуть в лицо негодяям хрустящие купюры и не сообразил сэкономить в Братиславе ни на черный, ни на светлый день. О, будь у него денежка и опыт, он пошел бы в другую гостиницу, и, не предъявляя паспорта, записался бы господином и госпожой Ивановфф, и смог бы осуществить наконец свои сумасшедшие стремленья!..

Как мы шли по городу и какие были у нас остановки, как мы танцевали на пустых улицах и обнимались на виду у темных и ярких окон, как мы прощались и не могли проститься, расходясь и возвращаясь друг к другу, и какие были у нас лица, когда она махнула напоследок лебединой рукой, я передать не смогу.

Скажу одно: не было у нас никаких клятв, никаких условий и договоров, и обещаний писать письма и заверений о будущих встречах тоже не было. Все поручалось судьбе.

Театр вернулся домой.

За нашей спиной в город ворвались танки, и «пражская весна» была убита. В те дни у меня появились короткие стихи, которые я приведу в строку, не изменяя прозе, как ступеньку сюжета, потому что в них имелась в виду прежде всего она.

— О, Господи, прости мне Прагу, Прости бессилие и страх, И то, что я костями не лягу На ленинградских площадях. Прости мне, Господи, поступки, Которых я не совершал. Я был лишь содержимым ступки, Не я толок, не я мешал. О, Господи, прости мне эту Судьбу, не избранную мной, И дай надежду кануть в Лету С неотягченную душой.

Однако такой надежды мне дано не было.

В ноябре я получил письмо, написанное в Нормандии, в котором не было ни слова о том, что семья Евреиновых успела пережить вторую эмиграцию и новый исход Ольга испытала на себе. Обратного адреса на конверте не было.

Тридцать лет я прятал письмо от всякого глаза так же неизобретательно, как тысячи книжников прячут свои бедные сокровища — записки, фотографии или пару выморочных сотен на крайний случай. Оно было уложено между страницами сборника «Катулл. Тибул. Проперций» и навсегда вошло для меня в состав древнеримской лирики. Вместе с этой главой я возвращаю Ольге часть ее письма и прошу у нее прощения за это и за все мои другие грехи, вольные и невольные.

«Мой корнет Рильке, — писала она, — ты помнишь ту улицу, где не было неба, потому что были леса, и поэтому было тяжело дышать? Это было в старом городе, в нашем заколдованном кругу. Здесь — много неба, и много воздуха, и много духов носится по скалам...

Я знаю, что есть один, один, один — чужак, иностранец на этой земле.

Сейчас я одна в заколдованном кругу — я жду чужака...

Вот что еще расскажу.

Весь август я бродила по Руси. Не во сне, а наяву. По своему — замкнутому — кругу... Стояла у Зимнего и на Фонтанке... Видела утонувшую Лизу. Видела много. Чувствовала пустоту, которая приходит уже потом, после всепонятия...

Вот что еще расскажу.

Третьего дня стояла в Париже перед домом Тургенева. Во мне смешиваются чувство счастья быть опять в Париже с ностальгией, дальней и давней, родившейся еще до меня — праностальгией.

Поэтому я нарушила слово и пишу — впервые посылая — письмо.

Я отключилась от жизни с 9 марта. Хожу где-то в давности, где мы хорошо знали друг друга и где не было в конце улицы никогда глухих ворот. Там — тогда — не было пятидесяти шагов — до конца. Вот там я хожу с тех пор. Пишу тебе сказки — когда увидимся, буду рассказывать три дня и три ночи.

Я тебе махала не на прощание, а на свидание на Фонтанке, и на площади у Кампы я махала тоже на свидание.

Свидимся, свидимся, должно так быть. Я — кошка из твоего замкнутого круга, знай это».

Но больше мы не увиделись.

Ты превращен в мое воспоминанье
Анна Ахматова

*Сквозь бег облаков
Открывает мне Фудзи
Свои сто лиц*

Хокусай

*...будешь поступать как все, —
самому радости не будет;
не будешь поступать как все, —
будешь похож на безумца...*

Камо-но Темэй

Часть Вторая

— 1

Только приближение к священной горе могло скрасить потерю столицы. Только обещание будущей встречи утешало в разлуке. Только вездесущая музыка врачевала прощальное утро.

Маэстро не знал своего будущего, и стоическая печаль осеняла его редковолосое чело. Складывая гастрольные пожитки, увязывая японские обновы с тем тщанием, которому его обучал сначала военный, а потом семейный уклад, Сеня Розенцвейг еле слышно пел себе самому, стараясь не потревожить соседей и оберегая волшебные следы, оставленные ему девушкой Иосико. Номерок все еще был полон ею: вот нежная ямка на подушке; вот еле заметная складочка на простыне...

Он импровизировал, не отдавая себе отчета в том, что поет; слова и мелодия возникали вместе, не мешая друг другу, и посылались вдогонку ей.

— Благодарю, благодарю, — пел он, не зная, к кому обращаться, — за эту чистую радость и праздник смелого тела, за то, что я узнал, как это бывает!.. Нежность, нежность, нарушительница границ, природная близость девушки и мужчины, несущая песню и свет... Ни-на-ни-на-на-ни-на-на, Фу-ди-ди-я-фу-ди-ди-мей, Ай-яй-яй-яй-ай-яй-яй-яй, И со-би-ра-йся по-ско-рей!..

Вдруг он остановился и, опасливо оглянувшись в сторону закрытой двери, встал на колени перед расстеленной коечкой.

— Золотко мое, — сказал он. — Уточка моя!..

Касаясь лицом белейшей простыни, он потянул носом и быстро, как растревоженный желанным запахом пес, стал жадно обнюхивать покинутую постель.

— Неужели больше никогда?.. Господи, неужели?! — И неожиданно для себя он заплакал, не понятый никем на этой земле, никем, кроме нее одной, и плакал, не раскаиваясь в свежем грехе, но моля о любом продолжении...

И он засмеялся, услышав это безусловное утроенное «р».

— Я был бы очень и очень рад!..

Банальные слова, банальное прощанье, сколько было в его жизни таких условных, временных, ни к чему не обязывающих гастрольных знакомств и летучих расставаний! Но, пожимая ее маленькую теплую ладонь, он не удержался и дружески — честное слово, исключительно дружески! — приложил свою правую щеку к ее правой же, прохладной и твердой щеке...

И тут оба они почувствовали грозный толчок. Священная гора Фудзи вмешалась в их легкомысленную жизнь и послала мощные сейсмические волны, заставив содрогнуться потревоженные разлукой сердца.

Повинуясь великой горе, девушка отступила на шаг и, пробежав легкими пальцами по октаве пуговок, раскрыла блузку, под которой не было ничего, никакой сбруйки, только маленькая грудь, полная преданности, только пристальный взгляд нежнейших сосков. Юбочка упала на пол от одного прикосновения или, может быть, знака, сама собой, оставив глазам узкий белый парусок на узких бедрах.

А он, всю жизнь такой стыдливый и сдержанный, привыкший обнимать женщину только в предписанной темноте, почувствовал внезапную свободу и стал раздевать себя на свету, замороженно глядя в узкие черные глаза будущего. И тотчас, лелея и благодаря ее незнакомое маленькое тело, послушно прилег рядом с ней прямо на светлое покрывало...

«Любовь — это свет», — думалось ему, и все стыдные и прагматические жесты, которых он обычно стеснялся, оказались осмысленны и гармоничны, как новая жизнь, в какую он вступал по велению священной горы.

— Благодарю вас, сенсей! — выдохнула она, и они поплыли на белом пароходе, снова скользя вдоль борта, вдоль борта... Поворот по корме и обратно вдоль борта... Поворот у форштевня и снова к корме...

И, проплыв положенное расстояние, они поднялись вверх, зависая над озером Кавагути и вглядываясь сквозь бег облаков в прекрасные лики Фудзи. К обоюдному счастью, им хватило общего дыхания несмотря на большую разницу в возрасте, а может быть, именно благодаря ей...

За окошком стемнело и снова стало светло. Из черной норы тоннеля вырвалась ранняя подземка. И большие часы над стеной отеля «Сателлит» остановили прощальное время.

«Вот Родос, здесь и прыгай!..»

Было все это в действительности или нет?.. Или всему виной одно лишь разгульное воображение нетрезвого автора, за которое он просит прощения у девушки Иосико, наследников и друзей композитора Р.?

То есть было это в воображении или в действительности?..

Ах, не факты важны, господа, а их вещие сигналы!.. А что такое сигнал, как не дуновение вероятности и эхо невнятного факта?..

Кто сигналил, кому и каковы бессудные следствия — вот первые ступени влекущего сюжета!.. И вяло текут за кулисами беспочвенные споры, осуществила ли себя телесно неслыханная любовь.

— Не было этого, не было, — артикулирует вкусный баритон, помня о благородных правилах прошлого.

— Какая разница, — надменно бросает драматический тенор, довольный тем, что не о нем речь.

— Никто там свечку не держал, — игриво вступает нарочитый басок и зычно хохочет...

— При чем тут Семен Ефимович? — мелодически выпевает сладкое сопрано, щедрое на услуги жарким мужским голосам...

И только бездоказательный автор, меря на свой аршин, настаивает на своем, чтобы тут же отказаться от опрометчивых слов...

— Это было, — неуверенно заявляет он. — А если и не было, должно было быть!.. Это была любовь, призванная осуществить себя в полном объеме телесных явностей и душевных скорбей... Это была любовь, а не один лишь подлый «сигнал» в компетентные органы! Верьте мне, господа, иначе дальнейшее покажется вам слишком несправедливым!.. Впрочем, дело ваше... Ваше дело... Потому что сочинитель, по правде говоря, все-таки раздваивается, зная по опыту, что чувство неосуществленное может пронзить на всю жизнь ничуть не слабее того, которое счастливо разрешилось. Мается, мается бестолковый рассказчик в запоздалых раздумьях, как довести до читательского сердца этот безумный прокол, и вслед за артистом

Виталием Илличем неуверенно бормочет: — Можно так, а можно и иначе...

Ночь перед отъездом в Осаку была праздничной не только для Сени: день рождения отмечала Наташа Данилова, героиня сериала «Место встречи изменить нельзя», и дверь их общего с Тамарой Ивановой номера не закрывалась до самого утра. Бездумно тратя последние запасы, угощали красной икрой, ветчиной из банок и другими домашними и покупными яствами. Сакэ окончательно обрусело и шло в ход безо всякого подогрева.

Арбуз был связан с семейной традицией. Перед самым Наташиным рождением на свет ее неопытная мама с удовольствием вкушала ломти алого астраханца и думала, что это еще не схватки, а просто она объелась волшебной мякоти; но за пять минут до смены суток от нее внезапно и чудодейственно отделилась красивая Наташа. С тех пор на праздничном столе всякий раз главенствовал уроженец сладкой бахчи. Так вышло и на этот раз: за пять минут до полуночи дверь номера распахнулась, и Юра Демич не внес, а вкатил через порог очередного красавца. Правда, он тотчас ушел, потому что они с Наташей пребывали в очередной ссоре, но японский арбуз появился в самое время.

В ту ночь Наташа «прощалась с комсомолом» и позвала всех, и все приходили поздравить ее, самую молодую артистку гастрольной труппы. Она была необыкновенно хороша в подаренной себе шикарной джинсовой юбке.

— Поздравляю тебя, солнце мое! — пропел Стржельчик и со вкусом расцеловал Наташу в обе щеки, а молодые японцы и японки из драматической студии, окружавшие ее обожающей стайкой, стали аплодировать сцене, особенно эффектной оттого, что номер тонул в цветах.

Вдруг во всей гостинице погас свет, и в коридорах начали вспыхивать огоньки фирменных сателлитовских спичек с белыми головками. А когда стало ясно, что темнота празднику не помеха, перед Наташиным окном театрально возникла пожарная лестница, улыбающийся японец в каске сделал в ее адрес понятный, успокаивающий жест, и свет вернулся...

— Наташа, — сказал Розенцвейг, почувствовавший в большой компании новый прилив радости и принадлежность родной стае, — дай вам Бог никогда не выходить из этого возраста!.. Впрочем, будьте здоровы!..

— Аригато, сенсей, — отвечала Наташа, — охаегадзаимаста!..

После тостов и ликований предстояли сборы. Багаж следовало разумно разделить на две части: первую составляли вещи, без которых не обойтись в Осаке и Нагое, а вторую — все остальные; их нужно было снести в общий номер, где они пролежат до последнего гастрольного дня...

Звукооператор Тамара Иванова уже не в первый раз становилась соседкой Наташи, отвечая просьбе ее матери, Светланы, которая тоже одно время работала в БДТ и даже заведовала костюмерным цехом. Но сослуживицей дочери она побыла недолго, потому что ей, красивой и самостоятельной, знающей китайский язык, в нашей атмосфере что-то мешало.

— Не каждый человек может работать в театре, — объяснила мне Тамара.

Ближе к утру появился начальник ее цеха Юра Изотов и стал их бранить: скоро выезд, а вещи не уложены. Он посильно помог им в сборах и поволок остающиеся в Токио баулы на общий склад.

Некоторым из нас казалось, что Тамару с Юрой связывают не только служебные, но и лирические отношения, хотя мы могли ошибаться, так же, как в случае с Наташей Даниловой и тем или другим молодым артистом. За Наташей пытались ухаживать многие, и автор упоминает об этом исключительно для того, чтобы подчеркнуть красоту и привлекательность нашей молодой героини. Но было бы несправедливо отказать в шарме и ее соседке, которую по делу и не по делу ревновал начальник. Юра всегда тщательно подбирал и готовил кадры звукооператоров, и большинство из них были так хороши и предприимчивы, что почти все повыходили замуж за иностранцев и со своими русскими детьми живут кто в Англии, кто в Германии, а кто в Соединенных Штатах. На освободившиеся должности приходилось набирать молодых, начиная обучение с самого начала, и однажды, задумчиво глядя на рабочее место звукооператора, Андрюша Толубеев сказал:

— А ведь это кресло опасное; сядет дева и не заметит, как родит...

Воротясь домой, Наташа с Тамарой поневоле разобщались, но стоило прозвучать гастрольной трубе, и они вновь делались близки, как сестры. Время от времени Наташа говорила Тамаре о ком-то из своих знакомых: «Такой мальчик хороший», но кто они были, эти мальчики, и куда затем девались, Тамара не знала, и получилось, что обе они так толком замуж и не вышли. Правда, один наш артист держался за юную Наташу довольно цепко, но тут поблизости оказался Мастер и, озабоченный ее судьбой, спросил:

— Наташа, неужели вам нравится Икс? Что вы в нем нашли?.. Бросьте его, вы достойны лучшей участи!..

И хотя, по мнению автора, это была сущая правда, Наташа продолжала дружить с мистером Икс и другими молодыми артистами, которые мечтали перевести свои отношения с ней в другую плоскость.

А сколько слез она пролила, слушая о себе глупые и досужие байки!..

Красивым женщинам в театре живется непросто...

Наконец погрузка закончилась, и артист Миша Данилов, Наташин однофамилец, сделал коллективный снимок. Во дворе «Сателлита» на фоне забора и грузового трейлера, в четыре ряда стоят, сидят и лежат попеременно с молодыми японцами Наташа Данилова, Люда Сапожникова, Валя Ковель, Женя Соляков в солнцезащитных очках, Андрюша Толубеев с усами и бородкой, Иван Матвееч Пальму, пригнувшись, Гена Богачев и Юра Демич, довольные жизнью, Кирилл Лавров, моложе своего возраста, Коля Турбанов и Коля Рыбаков, и все беззаботно улыбаются или хохочут, а там, в глубине, виден и артист Р. в кожаной шляпчонке...

26 сентября 1983 года в 9 часов 20 минут утра гастрольная труппа на двух автобусах отчалила от любезного «Сателлита». Товстоногов как генерал двинулся впереди на отдельном японском лимузине, марка которого испарилась из необразованной памяти автора.

На выезде из Токио зеркальное шоссе сопровождали высокие стены, берегущие то ли от ветра, то ли от звука. Затем пошли эстакадные взлеты и падения, на взлетах призывно открывались урбанистические картины вероятного и для нас будущего. Потом стали возникать равнинные отрезки, тяготеющие к мирному пастбищному романтизму...

Розенцвейг сидел у окна в седьмом ряду и выглядел отрешенно, но никому или почти никому померещиться не могло, чем была полна его волшебная голова; он пристально вглядывался в дорогу. «Золотко мое, — пели мощные моторы, — уточка моя!..» Напологую горку зелеными уступами поднималось беспечное кладбище. Белая мельница двигалась навстречу, лениво крутя белым пропеллером и напоминая спортивный самолет. Белая башенка вышагивала из-за стен изящного замка, чтобы завлечь в курортный район. Вадим Медведев всю дорогу развлекал переводчицу Маргариту, и у него получалось слишком откровенно. Эта мужская самоуверенность казалась Сене особенно утомительной именно теперь, когда автобусные моторы сами ладили широкую оркестровую партитуру его «Первой японской симфонии»...

— Вадим, оставь Маргариту в покое, — белым голосом на весь салон призвала мужа Валентина Ковель, — ты для нее слишком стар.

— Валя, если ты еще раз сделаешь мне замечание, я тебя публично пошлю... Предупреждаю!..

Сеня удивился: шутят они или нет?.. И тотчас на японской обочине склубился его собственный семейный очаг со чады и домочадцы и, вспыхнув трескучими искрами, скрылся за поворотом... «Шесть татами... шесть татами... Ай-ай-яй-яй-яй!.. Едем, едем к Фудзияме... Ай-ай-ай-яй-яй...»

На каждой из трех остановок расточители ели сосиски с поджаренной картошкой, пили пиво и кофе в шикарных дорожных заведениях, а бережливые открывали термосы и жевали постылые бутерброды.

«За что мне такая радость в эти годы?» — думал композитор Р., лелея во рту маленькое пирожное. И снова в окне мелькали бамбуковые рощи и японские кипарисы, снова возникали на горизонте ту-

манные контуры гор, а в счастливой голове плескались скрипичные волны непобедимой мелодии...

— 2

— Почему ты все-таки ушла из БДТ, Наташа?.. — спросил автор артистку Данилову двадцать лет спустя на премьерном банкете.

Может быть, автору не следовало задавать столь прямого вопроса, но он уже прозвучал, и теперь некуда было деваться, как только слушать ее монолог, вникая в судьбу еще одной отщепенки и понимая, что на оставленной родине могут думать об этом иначе. Наташа говорила, не задумываясь, как будто давно готовила ответ, и Р. позавидовал трезвости ее мысли. В отличие от него, она с собой не спорила, и ей не мешали незримые оппоненты.

«Есть только два ухода, — думал Р. — Один — в незнакомую жизнь, другой — в смерть, но оба связаны с неизвестностью и требуют правды и силы. Рано или поздно это предстоит всем, и каждый уход похож на выпускной экзамен: там, за чертой, — свобода...»

В автобусе ее снова поздравляли и предлагали сакэ, а Наташа опять врубала «Three days», и Анни Ленокс находила все новые краски. Беззвучно работал мощный «кондишн», и Наташа отчаянно простудилась в дороге, а в «Истории лошади», куда ее ввели молодой кобылкой, нужно было хорошо петь под требовательным взглядом нашего Маэстро.

Кавалькада подошла к парадному причалу «Hotel Osaka Grand» в 18 часов 50 минут, изучив все повороты, капризы и прогибы могучего хайвея Токио—Осака за девять с половиной часов.

Расселение прошло безболезненно, так как на погонах отеля было на две, а то и на три звезды больше, чем у «Сателлита». Лидеров поместили в шестом этаже, и Сене достался дивный номер под цифрой 621, а артиста Р., помня его токийскую эскападу, приподняли на этаж выше...

Пока чемоданы вносили в холл и шла раздача ключей, к Олегу Басилашвили незаметно подплыл заместитель нашего продюсера и сказал:

— Дорогой Олег Варерьянович! Я знаю, у васе сегодня с днем рождения, приглашаю васе в ресторан!..

Заместитель был подшофе, а рядом стоял Миша Волков.

— Спасибо, — сказал Олег, — вот у моего товарища, Михаила Давидовича, тоже день рождения!.. Мы родились в один день.

Поддатый заместитель повернулся к Мише:

— Михаил Давидович, поздравляю васе и приглашаю тозе в ресторан!..

Читателю может показаться, что неуклюжий автор выдумывает бесконечные и совпадающие с японскими гастролями дни рождения для собственного удобства и украшения бедного сюжета. Но это — не более чем случайная правда, возьмите театральную энциклопедию и убедитесь. И хотя на эти страницы выходит далеко не вся подноготная героев, и далеко не все детали общежития предаются праздной огласке, как отказать себе и читателю в утешительных радостях календарно узаконенных застолий?..

Имя заместителя нашего продюсера, к сожалению, забылось, но щедрость его была оценена, и, не привлекая к себе коллективно-го внимания, советско-японское трио вошло под сень ресторанных пальм.

Мгновенный официант раскрыл перед ними туманные карты.

— Что вы хотите? — спросил Олега кутящий заместитель, а Олег с той же щедростью переадресовал вопрос Мише. И тут, вспомнив актерскую молодость и киевский ТЮЗ, Волков с некоторым вызовом сказал:

— Хочу котлету по-киевски!..

— Вот это да, — сказал Басилашвили. — Красивый заказ!.. А что?.. Я бы тоже не отказался от котлеты по-киевски!..

Услышав перевод, официант сделал короткую паузу, но заместитель, повысив голос, добавил русского матерка, на столе мигом появилась смирновская водка, и господа артисты выпили за свое здоровье. Самым удивительным было то, что котлеты по-киевски, приготовленные в лучших традициях украинской кухни, тоже появились очень скоро. И тут Миша сплоховал, не учтя с дорожной голодухи характера блюда: едва туповатый нож пробил плотное тельце куриной торпеды, как ароматный жир стрельнул в его гордую грудь. Это была

расплата за попытку избежать коллективного праздника: народ ждал, и с именинников причиталось...

Не успел Р. распаковать предметы первой необходимости и привести в порядок брненное тело, как в боковую, не замеченную им прежде дверь раздался стук. Р. повернул ручку и, открыв легкую створку на себя, встал лицом к лицу с Г.И. Сухановым. Оказалось, что их номера не просто соседние, но сообщающиеся и, помимо сепаратного выхода в коридор, снабжены, одна в одну, двумя дверцами в смежной стене, так что каждый из проживающих был волен запереть или отпереть тайный лаз к ближайшему соседу.

Директор оказался при галстуке и в светло-бежевом костюме, ему предстоял наблюдательный выезд в зал «Осака-Косэйэнкин Кайкан», где скоро должна была начаться разгрузка декораций, костюмов и реквизита, а через два дня — пойти спектакли. Геннадий Иванович, или, как его называли некоторые, Геня, вошел к Р. с предложением объединить усилия для производства летучего ужина.

— Хотелось бы какого-нибудь супчика, — беспомощно сказал он. Очевидно, сосед нуждался в бытовой поддержке, а Р. — в партийном пригляде.

В отличие от «Сателлита» «Отель Осака Гранд» обладал большим набором услуг, была даже электроплитка с инструкцией, но раскошегаривалась она невообразимо долго, и где-то между десятью и половиной одиннадцатого вечера 26 сентября 1983 года у соседа было время доверительно поведать Р. одну печальную историю...

Великий русский артист Юрий Михайлович Юрьев большую часть жизни проработал в Александринском театре, но *в момент создания Больдрамте* оказался одним из его основателей и с октября 1918 года вплоть до скандального разрыва в конце 1920-го служил именно в нем.

В последние годы своей славной жизни Юрий Михайлович был ужасно одинок. Правда, в его большой двухэтажной квартире на Петроградской стороне обитали две женщины, почитавшие хозяина чуть ли не за Бога и бравшие на себя все домашние заботы. Но женщины не шли у Юрьева в серьезный счет, а близкий ему по духу друг

и внучатый племянник Виктор Ялмарович фон Армфельд отбывал срок в ГУЛАГе.

Суханов предположил, что оснований для ареста фон Армфельда у чекистов было несколько: служба офицером царского флота, посещения шведского консульства (в нем текла частица шведской крови) и, наконец, неуместная близость к дальнему родственнику...

После злополучного октября 1917 года морской офицер Виктор Армфельд вспомнил о своем певческом голосе и стал искать новой карьеры. Солист Малого оперного, потом — Театра оперетты, он брал посильные ноты и честно трудился до тех пор, пока очередная волна большевистских репрессий не вымыла его из Ленинграда. И Юрьев остался один.

Истосковавшись по другу и будучи не в силах более сносить жестокую разлуку, слабеющий рыцарь Мельпомены решился на отчаянный по тем временам поступок. Он написал заявление в Ленинградское управление госбезопасности, прося отпустить на волю единственного родственника, дабы осужденный фон Армфельд мог скрасить его последние дни.

И случилось чудо: через некоторое время после подачи прошения перед Юрьевым предстал изнуренный человек, безо всяких видов на жительство, однако сияющий и счастливо обнадеженный невероятной встречей. В огромную квартиру, заполненную антикварной мебелью, музейной живописью и скульптурой, вернулась радостная идиллия...

Впрочем, казавшаяся современникам безумной, просьба Юрьева была совершенно в его характере. Юрий Михайлович не сгибался даже перед Сталиным. Как рассказывал потрясенный Н.К. Черкасов, на одном из правительственных приемов «хозяин» с курящейся трубкой подошел к курящему сигару Юрьеву и спросил:

— Как собираетесь провести отпуск?.. Поедете в санаторию?..

— Нет, — ответил гость, — я — в свою деревню. Мне вернули дом, и я отдыхаю у себя. Мои крестьяне очень меня любят.

И Сталин понимающе покивал головой, он тоже высоко ценил преимущества крепостного права. А Юрьев никогда и ни от кого не скрывал, что ведет свой род через бояр Юрьевых от самого князя Рюрика...

Между старыми александринцами ходила легенда о пылком романе молодого Юрьева и дочери М.Н. Ермоловой, соединению с которой помешал ее отец, знаменитый московский адвокат. С этого-то драматического момента Юрий Михайлович перестал интересоваться женщинами и переехал из Москвы в Петербург. С годами забываемая любовь перешла в дружбу, и говорят, что, бывая в Москве, Юрьев даже останавливался в ее доме...

Со дня возвращения Виктора фон Армфельда прошло около двух лет. Юрьев завещал свое наследство ему, и наступил день, когда великий артист мирно опочил на руках своего друга, а горько плачущий друг, или, если хотите, внучатый племянник, благодарно закрыл его блистательные глаза.

Это произошло 13 марта 1948 года...

Едва провожающие вернулись с бывшего Тихвинского кладбища Александро-Невской лавры и расположились за столом, поминая великого артиста, к дому подкатил ретивый «воронок», и прямо на глазах у театральной общественности города деловитые чекисты подхватили фон Армфельда под белые руки и увезли досиживать срок. Имели хождение и другие версии, согласно которым фон Армфельда брали не из-за стола, а прямо из прихожей или еще во дворе, пересадив из машины в машину...

Таким образом, наследство Юрьева отошло советскому государству, а его домовые женщины, о которых Юрий Михайлович просил позаботиться Виктора Ялмаровича, остались без крыши над головой.

— Конечно, — говорила няня, — если б не посадили Армфельда, мы были б устроены, а так — остались на бобах...

Между тем в знаменитую квартиру вселился сын сталинского наркома Ворошилова, о котором «плохо не говорили», и до александринцев дошел слух, что юрьевскую няньку он вскоре взял к себе...

Конец внучатого племянника был печален. По освобождении из ГУЛАГа фон Армфельда не пустили в Ленинград. Как лишенец он был вынужден прозябать где-то на сто первом километре в неизвестности, убожестве и грязи. Правда, чуть позже бывшему сидельцу удалось выхлопотать разрешение на выезд в субтропический Сухум,

но вскоре там он и умер, добитый последним одиночеством и беспощадным параличом...

В ожидании супа выяснилось, что Суханов знает эту историю не понаслышке, ибо, служа с фон Армфельдом на одной музыкальной сцене, оказался вхож в дом великого артиста и посещал его не единожды. Там, на Каменноостровском, в присутствии моего рассказчика, погибающий от скоротечного рака Юрий Михайлович *выкурил свою последнюю сигару...*

Был наш директор и на похоронах, когда оказался переполнен не только зал Александринки, но и весь Екатерининский сквер перед театром, а председатель горисполкома, обращаясь к великому покойнику на «ты», сказал: «Дорогой *Михаил Юрьевич*». Зал вздрогнул и зароптал, но деятель не смутился и, повернувшись лицом к усопшему, повторил:

— Спи спокойно, дорогой *Михаил Юрьевич*.

Трагедия превращалась в фарс, но если вспомнить, что *Юрий Михайлович* много лет играл Арбенина в «Маскараде» *Михаила Юрьевича* Лермонтова, гробовую оговорку можно считать неслучайной...

Не знаю, почему Геннадий Иванович для первого вечера в Осаке выбрал именно эту историю, но он не ошибся: сюжет произвел сильное впечатление на артиста Р. и врезался в его слабую память...

— Прекрасный суп, просто прекрасный! — пропел Суханов, сделав первый глоток, и с ловкостью фокусника опрокинул кружку на свои бежевые брюки. Заметно пострадал от гастрольного супа и светлый ворсистый ковер.

За что был наказан наш незлобивый директор?.. Хотелось надеяться, что не за дружбу с бедным Виктором Армфельдом...

Не сгибая колен, Геннадий Иванович осторожно пошел к себе.

— Вы не обожглись? — спросил ошеломленную спину артист Р.

— Нет, ничего, — с кротким достоинством ответила спина.

Ситуация осложнялась тем, что весь гардероб Гени был заперт в одном из грузовых контейнеров и в это время медленно парковал-

ся у зала «Осака-Косэйнэнкин Кайкан». Р. полез в свои закрома, но выбор был невелик, и опечаленному директору пришлось довольствоваться домашними и, безусловно, тесными штанами...

Но это еще что... Знаете ли вы, например, чем закончилось посещение знаменитого берлинского зоопарка артистом Кузнецовым?... Ах нет?!

В одно из гастрольных воскресений вместе с артистами Копеляном и Солововым Сева пошел в местный зоопарк. Он хорошо подготовился и так же, как Суханов в незабвенной Осаке, выступил в новом светлом костюме. Предварительно пообедали и выпили темного пива...

Осмотрев тех зверей, каких им хотелось, и сравнив их с теми знакомыми, кто оказался достоин сравнения, господа артисты оказались у клетки уссурийских тигров, на которой висела свежая табличка на чужом языке. Русскоговорящий зритель перевел: тигрица Занда больна, и близко к ней подходить нельзя. Но Сева не мог упустить своего шанса. Он отважно приблизился к клетке и стал вызывать скрывающуюся в будке красавицу на желанное свиданье. Немного помедлив, Занда вышла наружу, приблизилась к зовущему и, величественно развернувшись, ударила ему в лоб мощной струей горячей, изобилующей эритроцитами тигриной мочи...

Стоит ли говорить, в каком виде оказался новый импортный костюм?... Стоит ли объяснять, как катались у клетки избежавшие помывки коллеги?... Трудно ли догадаться, что с этого дня Всеволода Анатольевича стали называть *артист Кузнецов-Уссурийский*...

Ну что за отрава это сочинительство?! Откуда тебе, например, знать, как звали тигрицу в берлинском зоопарке, если сам в него не ходил?.. Неоткуда, право, неоткуда... Тем более что нет и полной уверенности в том, берлинский это был зоопарк или, скажем, ташкентский... Если вообще не тифлисский... Так нет же, берешь и с размаху обзываешь бедное животное Зандой, а через минуту уверен, что другого имени у нее и быть не могло!..

Говорю вам: сочинительство — отрава, ей-ей!..

Но, с другой стороны, не может быть, чтобы у конкретного хищника, поставленного на довольствие в одном из столичных зоопар-

ков, не было своей клички. Какая-нибудь да была, тогда почему не Занда?..

Скажу больше, автор не убежден, что в эпизоде участвовали Копелян и Соловов. Ну и что?.. Разве они не могли сходить в зоопарк в свободное от работы время вместе с Кузнецовым?.. Или, скажем, откупорить шампанского бутылку в жарком кабачке, отчего содержимое любезного сосуда взбеленилось и освистало новенький костюм Ефима Захаровича?.. Или Юры?.. Или все-таки опять самого Севы?.. А Копелян, со свойственной ему смешливостью, снова хохотал, как мальчишка, на весь кабачок?..

Факт испаряется, а анекдот жив. Вот почему спешит лихорадочный сочинитель, швыряя в один котел все, что коснулось его поврежденного слуха и чудом задержалось в смертной памяти. Простите его, господа, ведь он ради вас старается, ей-Богу, не только для себя!..

Ну да, и ради них всех, конечно, хотя некоторым героям может показаться, что лучше не надо и они обошлись бы. Прежде и самому автору так казалось, но при дальнейшем внимательном рассмотрении вышло, что это была очередная грубая его ошибка...

Вечером следующего дня, по завершении экскурсии (г. Осака — «Большой холм» — создан в 1534 году, 3 млн. 200 тыс. населения, подробнее — в путеводителях и энциклопедиях), артист Р. и артист С., то есть Стржельчик, пили чай с запасным медовым пряником и говорили о превратностях жизни. Понизив трубный голос, так как в непосредственной близости, как помним, обнаружился директор Суханов, Владислав Игнатьевич приводил аргументы, говорящие в пользу его перехода в Малый театр и переезда из Ленинграда в Москву. Символическая тема возникала всякий раз, когда по отношению к нему совершалась какая-нибудь несправедливость или обнаруживалась *недооценка его дарования и заслуг*.

Такая ситуация должна быть признана на русском театре типической и неизбежной, потому что дарования и заслуги, как мы понимаем, наличествуют у всех без исключения, тогда как оценивать и вознаграждать их берется горстка демагогов, пекущихся, якобы, о театре в целом.

Но может ли восемнадцатый должностной разряд даже и с «губернаторской надбавкой» или девальвированное местными интригами звание дать представление о масштабе дарования и заслуг артиста А., например?.. Или артиста Б., тем более?.. Даже смешно!..

Что же говорить о тружениках шестнадцатого или четырнадцатого разрядов, или, как их называли прежде, «артистах второй категории»? Спросите каждого члена любой труппы, ценят ли его дарование и заслуги так, как он заслуживает, и он завоет, как Призрак из «Гамлета»: «О ужас, ужас, ужас!..».

— 3

Поработав в Большедрамте около двух лет и сыграв маркиза Позу в поставленном для открытия спектакле «Дон Карлос» Шиллера, Ю.М. Юрьев потребовал для себя так называемой *красной строки*, сочтя, что его дарование и заслуги оцениваются ниже должного уровня. Это означало, что имя его должно печататься в афишах крупнее остальных и сумма, получаемая в кассе, выглядеть на порядок больше.

По наблюдению А.В. Луначарского, Юрьев *говорил всегда несколько сконфуженно*, однако на этот раз сумел выставить художественному совету настоящий ультиматум. Он заявил, что если его дарование и заслуги не будут оценены так, как он того ждет, он повернется к Большедрамте классической спиной и уйдет в свободное революционное плавание. Из требования вспыхнул скандал, и юрьевский демарш вошел в историю, так как его свидетелем оказался А.А. Блок, внесший впечатления в записную книжку и давший обычной театральной сценке характерное освещение. А поскольку Блок и Юрьев *были основателями театра*, запись произвела сильное впечатление на автора.

В сцене участвуют:

Андреева Мария Федоровна — драматическая артистка, комиссар отдела театров и зрелищ союза коммун северных областей, урожденная Юрковская, в замужестве Желябужская, гражданская жена Горького;

Крючков Павел Петрович — управляющий делами ТЕО, он же впоследствии секретарь Горького;

Лаврентьев Андрей Николаевич — главный режиссер Большого драмтеатра;

Старостин Имя Отчество — председатель месткома Большого драмтеатра;

Монахов Николай Федорович — артист Большого драмтеатра;

Блок Александр Александрович — поэт, председатель режиссерского управления Большого драмтеатра;

Мозжухин Имя Отчество — артист оперы.

«13 декабря 1920 г. Вчерашнее экстренное заседание режиссерского управления и местного комитета в театре по поводу заявления Юрьева об уходе... Конечно, очень тяжело. Юрьев очень много ломался над всеми два года. Ломался гораздо больше, чем имел право по своим размерам. И вот всеобщее озлобление сказалось. Люди вопили от ярости (конечно, в воплях было много и актерского). «Благородство» и «ревность о доме» во всех таких случаях внушают мне не полное доверие. Я всегда вижу что-то второе, не слишком казистое (как среди актеров, так и среди литераторов). Вообще, когда патетически говорится о нравственности, она в большой опасности... Я нашел в себе силу указать на свою точку зрения: считая поступки Юрьева возмутительными и разделяя мнения присутствующих, я хотел бы, однако, чтобы кара была мягче, ограничилась бы воздействием товарищей, местного комитета, общего собрания, «профсоюза» даже, прессы, только бы дело не дошло до «милиции», потому что Юрьев — художник, а искусство с воздействием какой бы то ни было власти несовместно...

За это я претерпел нападение Монахова, Лаврентьева, Старостина и Андреевой. Лаврентьев вопил, что Юрьев — вовсе не художник, а только работник, что всем, что он дал, он обязан только тому окружению, которое дал ему театр. Мысль, не лишенная доли истины, но чувствуется личная обида. Андреева, по обыкновению, выплюнула на меня всю свою злобу...

На этот раз лучшей ее язвой было — обозвать меня «зрителем». У Крючкова злобно косился рот. Старостин по-мужицки сказал, что Юрьев, хотя и художник, досадил всем столько и все столько от него

терпели, что щадить его не стоит. Общее мнение было таково, что надо устроить, чтобы он не ушел, а его с позором ушли...

Я не раскаиваюсь в том, что оказался в роли защитника, хотя и очень слабого, но услышанного, Юрьева, которого вовсе не обожаю. Однако же дело обойдется для Юрьева без полиции не благодаря мне, а благодаря тому, что на днях Крючков, совместно с «профсоюзом», потерпел жестокую неудачу на этом деле в опере. Именно: Мозжухину не дали той же красной строки, и он отказался петь. Милиция привела его в театр. Он все-таки не пел. У него разлилась желчь, и он стал героем, «пострадав» и получив много сочувствий от труппы и публики...»

А.А. Блок. Записные книжки

Читая рассказ Блока, живо перенесший его в легендарные времена, Р. вспомнил сравнительно недавний эпизод, о коем слышал от многих.

После триумфа в роли князя Мышкина И.М. Смоктуновский стал часто сниматься и покинул труппу БДТ. Ну, покинул и покинул, так нет же!.. По прошествии некоторого времени он одумался и решил все-таки вернуться.

И тут Г.А. Товстоногов, принявший не одно самостоятельное и крутое решение, неожиданно *вынес вопрос на художественный совет*, подверг его подробному и персональному обсуждению и, наконец, поставил на голосование. Разрешать ли, мол, Смоктуновскому вернуться в театр или нет?.. А если разрешать, то давать ли впредь льготные послабления для съемок ввиду масштабов дарования и величины заслуг. Осознав особую роль, возложенную на него руководителем, худсовет решительно проголосовал за отказ премьеру-отщепенцу. Не станем называть звучные имена запрещающего большинства, однако подчеркнем, что прогрессист и оппозиционер Z, вопреки своему имиджу, проголосовал против возвращения Смоктуновского в БДТ, а склонный к позиции государственника и вовлеченный позднее в позорные ряды КПСС Стрельчик, наоборот, подал голос за его возвращение.

Оба факта произвели, признаюсь, обескураживающее впечатление на автора, так как не укладывались в рамки сложившихся обра-

зов. Вследствие природной мнительности ему показалось, что в решающий момент Z. успел подумать о Смоктуновском как о возможном *сопернике*, а Стриж, напротив, не убоился оказаться за спиной гениального Кеши...

Понятно, что все голосующие против возвращения Смоктуновского считали себя патриотами и уверяли совесть, что действуют в интересах театра. Но, как заметил Блок по поводу сцены с Юрьевым, «благородство» и «ревность о доме» во всех таких случаях внушают... не полное доверие»...

Отметим также, что этим коллегиальным решением Товстоногов ведущих артистов мудро «повязал» и частично дисциплинировал...

И вот теперь, посреди экзотической островной страны, не глядя на поучительные примеры из истории родного театра, Стржельчик, как в свое время Юрьев и Смоктуновский, изнывал от недооценки своего исторического значения. Более того, он тихо бунтовал, строя ненадежную логическую схему, по которой именно в Малом театре его дарование и заслуги будут наконец оценены поделом и во всем масштабе...

— Надо решаться, — говорил он, — надо ехать...

Играя в поддавки, Р. задавал требуемый от него вопрос «почему», и Владик начинал перечислять причины. Во-первых, Люлечка по рождению москвичка, а на «Мосфильме» работает оператором ее родной брат. Во-вторых, дорогу в Малый проторил Кеша и получил для дебюта заглавную роль «Царя Федора Иоанновича». В-третьих, с худруком Малого Юрой Соломиным у Владика прекрасные отношения со времен популярного сериала «Адъютант его превосходительства», где Соломин сыграл «адъютанта», а Стржельчик — «его превосходительство». И в Малом могут взять да и поставить «Маскарад» Лермонтова, а Владик получит Арбенина, то есть ту роль, о которой он мечтал и которую играл сам Юрьев...

Р. же, как бывало и в прежних гастролях, например в Буэнос-Айресе или Риге, приводил контраргументы, говоря, что это не выход, так как настоящего спокойствия не даст, а дарования и заслуг не повысит...

— Ты вспомни, — говорил Р., — как бежали из Александринки Черкасов и Толубеев. Хотели уйти от Игоря Горбачева, а ушли из лю-

бимого театра!.. Ведь это им жизнь укоротило. А БДТ — твой дом. И Товстоногов пришел работать к тебе, а не ты к нему... И он тебя любит как свое создание... И считает, что твоя биография с него только и началась. Он же ни о ком персонально не печется, а печется только о театре...

— Кроме Жени и Киры, — ревниво перебил Стриж, имея в виду Евгения Лебедева и Кирилла Лаврова.

— А ты спроси их, и оба тебе пожалуются... Назови хоть одного артиста, довольного своим положением!.. То-то... Помнишь своего Чаадаева?..

То, что Стриж куда-то не уйдет, было ясно с самого начала.

Случай с Чаадаевым достоин внимания хотя бы потому, что телеспектакль «Смерть Вазир-Мухтара» так и не был показан широкой советской общественности. В двухчастной инсценировке тыняновского романа участвовал звездный состав: Пушкина играл Юрский, Булгарина — Трофимов, Паскевича — Лебедев, Ермолова — Корн, Алаяр-хана — Копелян, Николая I — Медведев, Бурцева — Баси-лашвили, Аделунга — Гай, Родофиникина — Рыжухин, Нессельроде — Татосов, Ленхен Булгарину — Наталья Тенякова... А как играли ссыльных декабристов Заблудовский и Караваев! А Сашку Грибова — Володя Козлов... И Кузнецов, и Карнович-Валуа, и Галя Микрюкова. Практически вся труппа БДТ конца шестидесятых во всей своей силе и сиянии должна была появиться на малом экране. Но когда телефильм был смонтирован, переписан на одну пленку и, принятый худсоветом, заблаговременно объявлен в эфир, произошло нечто непредвиденное. Оказалось, что Министерство иностранных или, по Тынянову, престранных дел в тот же день осуществляло визит Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Подгорного Н.В. в ту же самую Персию...

И наши, и тегеранские дипломаты по причине занятости вряд ли в эти дни смотрели бы телевизор, но один из московских редакторов уловил *странное сближение* и решил посоветоваться с редактором на ступеньку выше чином. Мол, как вы думаете, Имя Отчество, удобно ли в дни государственного визита в город Тегеран напоминать принимающей стороне о том, что сто с лишним лет назад бунтующая

местная чернь разорвала на куски полномочного российского посланника?.. Хотя товарищ Подгорный Н.В. никогда не совершил бы такой глупости, как покойный Грибоедов А.С., и не стал бы с оружием в руках защищать в ограде посольства каких-то армянских беженков, самовольно покинувших шахский гарем. Вышестоящий редактор впал в задумчивость и, не беря на себя смелого решения, позвонил следующему, несколько выше него самого. А следующий, ни минуты не размышляя, стал накручивать телефон к товарищу Кузакову К.С. Кузаков, в свою очередь, поднял прямую трубку, ища товарища Мамедова, зампреда Комитета, а уж тот отменил передачу решительно и навсегда...

Далее никак не сдвинуться, не сказавши хотя бы полслова о Константине Степановиче Кузакове, с которым Р. имел честь познакомиться лично. К заведующему литературно-драматическим телевидением всей страны он пришел по поводу того же фильма: нельзя ли, мол, вернуться к данному названию; *заплатить артистам постановочные и дать фильму в эфир*. И заведующий был к собеседнику благосклонен, разрешив устроить в Москве *закрытый просмотр* по утвержденному заранее списку...

Этому визиту предшествовало письмо Ленинградского отделения ВТО, подписанное Ю.В. Толубеевым и Г.А. Товстоноговым, за № 321 от 28 октября 1970 года на имя зампреда Комитета тов. Мамедова Э.Н. с просьбой о закрытом показе телефильма в Ленинграде, на секции драматических театров. Секции было интересно, как БДТ был сыгран «Вазир-Мухтар». Подписанты гарантировали т. Мамедову *«полную сохранность пленок и возврат их через 3 дня (считая провоз из Москвы и обратно)»*. Однако Энвер Назимович вывел на письме резолюцию о *«существующем порядке и очень оправданном, согласно которому до эфира просмотры не допускаются»*. О передаче же в эфир речь и не шла. И хотя из вежливости т. Мамедов добавлял *«к сожалению»*, его собственноручный текст сожаление начисто исключал...

Встреча же с т. Кузаковым заслуживает нашего внимания не только в связи с судьбой телефильма. В те годы по Москве ходила изустная легенда о том, что он — не кто иной, как *побочный сын Сталина*. Мол, еще до побега из ссылки Сталин свел в Туруханском

крае очное знакомство с будущей матушкой Константина Степановича. Поэтому, используя методику фамусовского исчисления и прогноза — *«она не родила, но, по расчету, по моему, должна родить»*, — знатоки и исследователи биографии вождя нашли сроки этого знакомства удачно совпадающими и даже благоприятными для появления на свет туруханского отпрыска.

И артист Р., имевший к телеспектаклю непосредственное отношение как сорежиссер и исполнитель роли Грибоедова, на протяжении разговора не раз отвлекался от разрешительной темы. Он пытался понять загадку природы, вчитываясь в характерные особенности фаса и профиля невысокого, седоватого чиновника с тихим голосом, смуглым лицом, темными бровями и закругленным, ей-ей, похожим на сталинский, носом. Временами впечатлительному Р. даже казалось, что в тихий останкинский кабинет влетает крылатая тень великого стервятника...

Впечатление, однако, нарушали глаза Константина Иосифовича, то есть Степановича, в которых явно читалось то «к сожалению», которого не было у Энвера Назимовича. Кажется, он даже испытывал облегчение оттого, что к расстрельной стенке телефильм поставил не он, Кузаков, а он, Мамедов. А в подтверждение сочувствия тихогоголосый сталинский бастард принял решение деньги артистам отдать, а группе московских интеллигентов разрешил прощальное свидание с телефильмом «Смерть Вазир-Мухтара»...

Ну вот... А Слава Стржельчик репетировал в телеспектакле роль Петра Яковлевича Чаадаева, и у нас с ним ничего не получалось. У Р. не получалось, потому что он был озабочен доделками сценария и другими режиссерскими проблемами, а у С. — потому, что он еще не брался за роль. Может быть, Стриж рассчитывал на Розу Абрамовну Сироту, сопостановщика Р. Она обещала к началу съемок появиться в студии, взять на себя руководство телекамерами и дать наконец возможность артисту Р. сосредоточиться на собственной роли.

Мы сидели в Славиной гримерке, и, облаченный в махровый синий халат, он одним глазом посматривал в текст, а другим следил

в зеркале, как сходит с холеного, покрытого вазелином лица отработавший грим.

— «Поздравляю вас с приездом в наш Некрополь... Некрополь... город мертвых!» — читал он. Привезя в Петербург победный Туркманчайский мир, Грибоедов пытался заразить опального философа своими строительными идеями, и у него — вот совпадение! — тоже ничего не получалось. Мы снова произнесли текст, стараясь уложить его в памяти, но тыняновские слова продолжали топорщиться и звучать почти чужеродно.

И вдруг, очевидно от отчаяния, Р. осенила простейшая аналогия.

— Слава, — сказал он, — послушай, ты ведь в этом театре с самого детства. Поступил в студию до войны, ушел в армию, вернулся, окончил учебу, начал работать, пережил все режиссерские смены, сыграл сто ролей... Так?..

— Так, — настороженно подтвердил Стрельчик.

— Что нужно сделать, чтобы жизнь этого театра стала лучше, богаче и благородней, тебе известно не хуже моего?.. Так?..

— Так, — повторил он, довольный моими признаниями.

— И вот из Ташкента приезжает какой-то чудак, — тут Р. употребил более сильное выражение, — и учит тебя, как жить в твоём собственном доме!.. Понимаешь?.. Ситуация просто чудовищная!.. Только английское воспитание заставляет тебя сдерживаться!.. Они оба говорят о России, как о своём доме, понимаешь?.. Но ты-то старше, ты-то мудрее... И боли в тебе больше...

— Давай попробуем, — сказал Слава, опустив глаза в роль.

Он все еще сидел перед гримировальным столиком, а Р. — сбоку, на диванчике, глядя в его левую щеку и ловя взгляд в зеркальной створке.

Минуту Стрельчик держал паузу, а потом отдельно, значительно, с горьким сарказмом произнес:

— Поздравляю вас с прибытием в наш Некрополь, город мертвых, — и поднял на Р. прозрачные, раненые, пронзительные глаза...

Теперь, потрясенный результатом, держал паузу Р.

Наконец, снимая напряжение, он решил:

— Все!.. Репетировать больше не будем. Вот так завтра и сыграй...

Разрешенный побочным сыном товарища Сталина просмотр был устроен в Москве, в Театральном музее имени Бахрушина. На него собралась утвержденная по списку группа лиц, в том числе Виктор Шкловский, Вениамин Каверин, Ираклий Андроников, Виталий Виленкин, Валентин Непомнящий, Лазарь Лазарев, Наум Коржавин, Станислав Рассадин... Они подробно и детально обсуждали телефильм и даже хотели писать в его защиту.

— Но, Боже мой! — говорил каждый из них. — Как Стржельчик сыграл Чаадаева!.. Какая глубина!.. Какое проникновение!..

А последний из названных даже подошел к автору с вопросом:

— Такое впечатление, что Стржельчик прочел всего Чаадаева!.. Это действительно так?..

— А как же! — подтвердил Р. — Он, кроме Чаадаева, с детства ничего не читает!.. Ты с ним поговори...

Когда все разошлись и мы с Сиротой остались вдвоем, она сказала:

— Знаешь, Володя, — фильм получился, артисты замечательные... Но лезть на стенку... Ей-Богу, не знаю... Пусть остается легендой!..

За окном тревожил душу темный канал, мощные быки торчали по тому берегу, держа незнакомый и неизвестно куда стремящийся хайвэй. По дуговой эстакаде на уровне наших глаз двигалась бесконечная вереница пестрых авто. А чуть левее зазывал перебраться на другую сторону широкий мост с пешеходными полосками и длинным рядом цветочных клумб в больших светлых посудинах. В круглых корытцах жили красные цветы, в овальных зеленела высокая травка, и этот пестрый пунктир — через три красных — зеленое — почти подмигивал нам: «Пошли гулять, пошли!..».

Но инструкции были совсем другие, и нам оставалось следить за жизнью города из своих сепаратных окон, как одесским пенсионерам...

«Что слава? — думал Р. словами любимого поэта, — яркая заплата...» И пестрые японские зонтики казались ему цветами...

Но можно ли обойтись без славы трепетному артисту?..

И можно ли насытить его ветреной славой?..

Незадолго до отъезда из Токио произвольная пятерка — Стриж, Басик, Розенцвейг, Аксенов и Р. — стояли, как вкопанные, наблюдая экзотическое зрелище. По узкой улочке дети тащили легкие носилки, украшенные цветами и лентами; взрослые сопровождали их на некотором расстоянии, неся в руках ведра, кастрюли, какие-то палки и запасы пестрых украшений. Собственно, мы оттого и остановились, что нам перекрыла ход эта японская процессия. Тут же взрослые принялись мыть улицу, лья на асфальт принесенную воду и усердно охаживая огороженный участок тряпками и швабрами.

В центре вымытого отрезка они поставили большой пластмассовый таз, в котором плавали морские угри или другие похожие на угрей длинные змеевидные рыбы. И вот девушка приятной наружности, конечно, не такая красивая, как Иосико, но все-таки, достала из таза одного угря и, выпустив его на мокрый асфальт, показала детям, а заодно и нам, как трудно ухватить скользкую рыбку на скользком асфальте. Но именно это она призвала делать. Детям раздали полиэтиленовые пакеты, белый таз опрокинули вверх дном, угорьки заскользили в разные стороны, а дети принялись их ловить. Победителем должен был стать тот, кто поймает больше скользких угрей. На мокрой уличной лужайке раздались громкие крики, и дети, веселые и серьезные, зашлепали по мелкой воде, охотясь за убегающей рыбкой. Они кричали и хватали длинных угрей, а угри выскальзывали из рук и ловко удирали, их пробовали поймать другие, опять упускали, и долго над узкой улицей стоял веселый галдеж, а победителей все не было. И тогда Сеня сказал:

— Конечно, невзломдело, но, кажется, мы похожи на этих детей, а наши успехи — как рыбки на асфальте — выскальзывают прямо из рук...

Он был неплохим философом, наш тихий Семен, и его внезапные перлы рождались в воздухе гастрольной свободы...

— 4

Читатель, не переживший славных времен, представит себе нашу жизнь, только возбудив свое воображение и хотя бы на минуту оказавшись пленником суровых обстоятельств. Ну, в карантине, например, посреди всеобщей холеры. Или в черте оседлости, закрепо-

щенный царской тюрьмой народов... Впрочем, этих исторических ужасов никто и не помнит...

Как же объяснить новым людям, которые, имея средние деньги и неважно какое образование, в любой день могут отправиться по стране или в дальнюю «загранку», что чувствовали мы, пленные отпущенники, на острове Хондо, посреди вражды и приязни, на пике своей загадочной гастрольной судьбы?... Как им объяснить... А-а-а-а... Попробую... Представьте, господа, что вас сначала арестовали и подержали в Крестах или Бутырке, а потом выпустили *под подписку о невыезде*... Представили?... Ну вот...

А разница между вами и нами в том, что каждый из нас был арестован с рождения и *всю свою советскую жизнь проводил с этой самой подпиской*...

И вдруг — на гастроли, за кордон, за бугор!.. На волю, в пампасы!..

Ну, конечно, за бугром — настоящая слезка, у гостиничных стен — чуткие уши, но в то же время и настоятельные подсказки руководящих лиц:

— Вы — свободные люди! Вы — римляне Третьего Рима, товарищи!..

И вы начинаете верить в предложенную роль, и мысли ваши делаются некоторым образом свободными...

Иллюзия свободы — вот что такое гастроли, господа!..

По этому поводу вспомнился автору славный эпизод незабвенных шестидесятих годов, когда Р., прибывший из своей азийской провинции, впервые услышал спетую Зиной Шарко и Сережей Юрским песенку о свободе. Они составляли тогда дружную пару и исполняли на сцене и в закулисных посиделках смешные номера и веселые скетчи. Начиналась песенка так: *«Раз в Ростове-на-Дону попал я первый раз в тюрьму, на нары, блин, на нары, блин, на нары. Сижу на нарах, жрать хочу, не помню строчки, чу-чу-чу, кошмары, блин, кошмары, блин, кошмары»*. В результате приключенческих событий ситуация счастливо менялась, и для героя наступала *«слобода, блин, слобода, блин, слобода!..»*.

Ни за что не расскажет автор, в каких лирических обстоятельствах оказались тогда все четверо, ни под каким видом не откроет ни

петербургского адреса, ни четвертого нежного имени. И, век свободы не видать, не забудет ту странную ночь, когда обе красавицы обыграли артистов Ю. и Р. в карты, оставили в дураках, велели раздеться до пояса и сидеть за веселым столом с обнаженными торсами, наслаждаясь короткой отвязкой...

Никакого наглого продолжения или дурного смысла. Каприз летних посиделок, не более. Игровой морок белых ночей. *Чудная прекрасная молодость*. Легкое помешательство внезапной воли. Тайна. Радость. Нева...

Ну, ладно... Вы уже поняли, что гастроли — квинтэссенция театрального воздуха, и БДТ в этом смысле очень даже везло. Во всяком случае, начиная с одна тысяча девятьсот шестьдесят третьего года, чему свидетелем артист Р.: в том году состоялись первые гастроли БДТ в Болгарии и Румынии, и он в них попал. А став солидным концертантом, Р. гастролировал не только с театром, но и единолично от имени таких могучих организаций, какими являлись Ленконцерт, Росконцерт, Союзконцерт и даже Москонцерт, причем каждый год, так что, может быть, третью часть своей актерской жизни Р. провел в разнохарактерных и постоянных гастролях.

В начале восьмидесятых, например, для того, чтобы закончить ремонт на Фонтанке, БДТ устремился и в «загранку», и в Омск, и в Тюмень, с отчаянной самочинной отлучкой одного энтузиаста и одного дурака (артист Заблудовский и артист Р.) в исторический Тольск...

Тут уж было проведено специальное собрание, где Валя Ковель от имени профсоюза нацеливала нас на *дальнейшее окончание ремонтных работ*, а директор Суханов объяснил, что театру предстоит освоить 720 тысяч советских и 260 тысяч инвалютных рублей, отчего и готовился беспремерный разъездной сезон. Не забудем также упомянуть, что, по специальному разрешению министерства, дирекция БДТ получила право выплачивать до пятидесяти процентов «*гастрольной надбавки*». «Ага, ага, гип-гип, ура!» (артист М.)

Понимаете, господа, здание бывшего Малого театра, построенное в 1870 году на набережной *Фонтанки* архитектором *Фонтана* (какое созвучие!), в начале двадцатого века, к несчастью, горело,

и в дело его восстановления пришлось вмешаться архитектору *Гаммерштедту*... К началу же восьмидесятых в результате войн, революций, блокады и смены репрессивных погод дом пришел в ветхость. Чтобы поддержать Большедрамте и улучшить условия нашего труда, и затевался ремонтный аврал. Предстояли: реконструкция кровли, реставрация живописного плафона, лепных и архитектурных деталей, воссоздание позолот, настил паркета. На репетиционной сцене ставили радиооборудование, «подстрочный» свет, круг и кольца, подвешивали штанкеты. Нас заботила отопительная система, возвращение на взлет парадного входа двух бронзовых фигур с канделябрами (одна из них нашлась на складе, другая почему-то — в театре Ленсовета); главное фойе, гардероб, то есть «вешалка», с которой, по словам Станиславского, начинается театр, ну и, прошу прощения у дам, туалет. А большая и шесть других лестниц?! А центральный и два побочных буфета?! Автор оказался бы небрежен, не упомянув прокладку дренажа под сценой, установку гидравлического подъемника к ней, то есть монтаж финского оборудования «Соастамайнен» и «Хелвар». Для полноты картины вообразите, господа, новый антрактный занавес, метлахскую плитку, уложенную где можно и где нельзя, новые системы комплекса связи и вентиляции с двумя воздуховодами, охранной пожарной сигнализацией и аппаратами автоматического пожаротушения. Кроме того, подрядчикам предстояло заново обустроить фойе любезной артисту Р. Малой сцены и, наконец, приведя в порядок светильники и бра, укрепить люстру в зале, чтобы не грохнулась на головы восторженных зрителей.

И вышли мы вон *на целых семь с половиной месяцев*, и кочевали по питерским дворцам культуры, городам и весям родины плюс — премиальная, лакомая, лакмусовая «загранка»...

Большой ремонт, как водится, не обошелся без последствий, то бишь многослойных ревизий, советских жертв, частных увольнений и партийных выговоров. Более других подвергалось склонениям имя краткосрочного директора-распорядителя с быстрыми глазами, не то Молочкова, не то Сосункова, в точности вспомнить не могу, да и не больно нужно...

Неожиданно за дверями номера послышался недозволенный шум — стуки, возбужденные диалоги, нервные повизгивания, — и, боясь прозевать нечто существенное, Стрельчик с Рецепторм выглянули в коридор навстречу событию, преуменьшить масштаб которого не позволил бы им никто.

Оказалось, что, настроив новенькие японские приемники на волну родного «Маяка», Вадик Медведев и Кира Лавров в разных номерах в одну и ту же минуту услышали Указ Президиума Верховного Совета о присвоении Г.А. Товстоногову звания Героя Социалистического Труда. Вот и вообразите, что сделалось в японской гостинице.

— Ура!.. Ура!.. Победа! — восклицали возбужденные девушки разного возраста. — Какое счастье!.. Слава Богу!..

— Наконец-то! — говорили радостные мужчины. — Давно пора!.. Отметить, отметить, не откладывая!..

Нет, вы только подумайте, господа!.. Это надо же!.. Здесь, в Японии!.. Именно теперь, когда темные силы метутся и ветер нам дует в лицо!.. Сказка, просто сказка!.. И в то же время безупречный документированный правительством факт!.. Теперь и мы... Теперь только попробуйте!.. Теперь и у нас, милостивые государи, собственная «Гертруда»!.. Вон!.. Вон и в сторону, сучье племя!.. К черту теперь «датские» спектакли!.. Теперь мы себе все позволим, все, что захотим!.. Трепещите, тираны!.. Воспряньте, рабы!..

Гога вышагнул из номера и принимал горячечные поздравления с тихим, но явным удовольствием. Некоторое время разные двери продолжали открываться и закрываться, лифты шуршали, но за стенами отеля ночной город Осака дышал ровно, а японская слава ждала завтрашнего утра. Выкурив в новом качестве первую сигарету, Мастер вернулся к себе, но отель продолжал жить коллективной лихорадкой, и первые тосты еще на ходу и почти символически обозначили начало главных гастрольных торжеств...

— Какое вы себе звание зарабатываете — *социалистическое* или *капиталистическое*? — спросил Георгия Товстоногова накануне пермских гастролей потерявший над собой контроль Борис Левит. Он ратовал за безраздельную преданность Мастера делу социализма.

Вы спрашиваете, что случилось?.. А то, что, получив приглашение на зарубежную постановку, Товстоногов пытался выкроить для нее свободное время, и его личный план вошел в противоречие с партсъездом или госюбилеем, которому требовалось посвятить очередную «датскую» премьеру. И Левит не нашел ничего остроумнее, как задать Мастеру этот патриотический, но опасный для него вопрос. Разумеется, тут и вспомнили все грехи распоясавшегося директора-распорядителя, но последней каплей, переполнившей чашу Гогиного терпения, стал случай с двумя билетами на «Ревизор». Вернее, с отказом в этих двух билетах. Его изложил автору бывший директор БДТ Владимир Вакуленко, на чьи сутулые плечи ложилось много тягот.

Вообразите два эпизода. Б.С. Левиту звонит секретарь Г.А. Товстоногова Елена Даниловна Бубнова и говорит:

— Борис Самойлович! Георгий Александрович просит на сегодняшний спектакль два билета для своих друзей.

Читателю, не пережившему наших времен, желательно знать, что все артисты, рабочие и служащие театра, как правило, обращались в администрацию с просьбой о билетах заблаговременно: за десять дней, две недели, за месяц до вожделенного спектакля. И то у них возникали трудности. А здесь, с одной стороны, редчайшая в наших условиях просьба «на сегодня», а с другой — от самого Товстоногова. А на Левита, как говорится, нашло.

— У меня нет билетов, — ответил он, и после короткой паузы Елена Даниловна положила трубку.

Через одну минуту перезвонил Сам и сдержанно сказал:

— Борис Самойлович, мне нужны два билета на сегодняшний спектакль.

— У меня билетов нет, — с упрямой интонацией повторил Левит.

Как выяснилось впоследствии, билеты у него были, по меньшей мере четыре, но их, согласно некоей инструкции, он всегда держал до последней минуты. Чтобы внезапное появление представителя высшего руководства не застало театр врасплох. По мнению Левита, зажимать эти билеты до последнего мгновения было государственной позицией, а по мнению Товстоногова — чудовищным надругательством над этикой и моралью.

Швырнув трубку, Товстоногов влетел в кабинет директора Вакуленко и с темпераментом выдающегося трагика объявил: «Или я, или он!».

На этом вопиющем примере мы убедились, что не только по отношению к Юрьеву, Смоктуновскому или Стрельчику, но и к самому Товстоногову оказалась возможна грубейшая недооценка великого дарования и беспримерных заслуг. Что же, спрашивается, до всех остальных? Пытаясь сдержать личное горе и с выражением мужественной простоты на поблекшем лице, повторим трагическую цитату из «Гамлета»: «О, ужас, ужас, ужас!..».

А теперь обратим внимание на бедственное положение Володи Вакуленко, перед которым была поставлена непосильная задача: несмотря на допущенное Левитом кощунство, никаких формальных оснований увольнять его не было: «Трудовой кодекс Союза Советских Социалистических Республик» закрывал директору пути неправового посягательства на директора-распорядителя. И он оказался между молотом и наковальней, если Гогу приравнять к молоту, а Боря — к наковальне...

А Гога рвал и метал!.. На глазах растерянного Володи он ринулся звонить в горком. Потом в обком. Затем стал апеллировать к республиканскому Министерству культуры. После республиканского — к всесоюзному...

Все напрасно. Высокое начальство беспомощно разводило руками. Да, они понимают Георгия Александровича и от всей души ему сочувствуют, да, они глубоко возмущены беспрецедентным отказом в двух билетах на «Ревизора», но ревизовать трудовое законодательство не смеют, так как Левит действовал согласно некой инструкции и в интересах социалистического государства. В случае чего он как партиец-патриот мог обжаловать увольнение в обкомгоркомцека и раздуть дело, из которого вышло бы, что личные интересы Товстоногова ставились им в данном случае выше государственных. В длительном и упорном противостоянии уже опальный Левит дважды или трижды успел заявить, будто «БДТ — это не только Товстоногов!..».

Ну, знаете, господа, тут, и вправду, нужно было быть не просто безумцем, но и кем-то еще. Кем же?..

В прошлом Левит был боксером, если не ошибаюсь, второго полусреднего или первого полутяжелого веса и выходил на ринг, отстаивая спортивную честь Пермской области. И хотя во время наших гастролей на его родине Бориса с нами уже не было, болельщики и ученики Левита в память о нем, а не только из уважения к нам настужь открывали перед коллективом все торговые склады региона. Во всяком случае, меховыми зимними шапками из соболя, песка и ондатры отоварились, кажется, все...

Однако, оставляя в стороне спортивную и административную стороны его дарования, близкая театру и весьма авторитетная женщина убежденно утверждала, что Левит был «просто полковником КГБ». Известным стало также высказывание заведующего отделом торговли обкомгоркома Николая Букина, руководителя гастролей театра в Аргентине. Высокомерно и грубо обозвав Бориса Самойловича «главным бдилой БДТ» и проведя в Латинской Америке свой собственный надзорный анализ, Коля Букин доверительно сообщил Славе Стржельчику: *«Не за теми следят!..»*. И этим выводом Слава, не откладывая, поделился с артистом Р.

На чем основывали свои суждения о Левите столь различные люди, автор не справлялся, но, как выяснилось впоследствии, скрытых полковников наплодили у нас вдоволь. Один народный депутат по земельному вопросу внезапно оказался новоиспеченным полковником ФСБ и принимал братские поцелуи соседей по партам в Государственной думе...

Наконец в республиканском министерстве культуры нашелся мудрый человек, а именно любимый во многих театрах России начальник планово-финансового управления Борис Юрьевич Сорочкин. Он и предложил достойный выход из тупиковой ситуации в виде создания персонально для Левита новой должности директора-распорядителя Ленинградской филармонии. По другой версии, этот «ход» придумал сам Товстоногов. Но, как бы то ни было, к идее прислушались, и крамольник без понижения в ранге переплыл на другой берег Невского проспекта. И — вот парадокс! — не только с первым, но и со вторым симфоническим оркестром под управлением Мравинского, Темирканова, Сондецкиса или Дмитриева Борис Левит стал еще более интен-

сивно, чем с БДТ, посещать ненавистные его душе капиталистические страны...

Вернемся, однако, в главный событийный ряд, в Осаку, к волнующему моменту, когда мы узнали, что Товстоногов удостоен звания Героя. Там же внезапно и, кажется, не в первый раз возник важный для историографии вопрос с оттенком правдоискательского занудства. Нет, в отличие от Левита, мы не подвергали сомнению социалистический характер героизма Мастера. Смущение возникло в связи с недостаточной отчетливостью факта, *исполнилось ему к моменту награждения семьдесят лет или еще нет*. Или 28 сентября 1983 года в городе Осака Г.А. Товстоногову стукнуло всего *шестьдесят восемь лет от роду*...

— Два года сюда, два года туда, — заметил Сеня Розенцвейг по поводу биографической туманности. — Мы же не отменим указ!..

— Ни за что! — сказал Басик и бросил в рот ломтик японского сыра. — Указ в нашу пользу...

— В конце концов, все это просто слухи! — резюмировал композитор Р., положив перед нами по маленькому пирожному от Иосико.

— Нет, Семен Ефимович, — строго заявил Миша Волков тоном советского разведчика и, входя в роль, повысил голос. — Это не просто слухи! Это — враждебные слухи!.. Это происки израильской военщины, которой нужно дать по рукам! — и разлил остатки сакэ.

— Мальчишки! — сказал Стриж. — Перестаньте хулиганить!.. Выпьем все-таки за вас. — Смысл умиротворяющей реплики Владика заключался в том, что, напивавшись вчерашним угощением японского зама, «деньрожденщики», т.е. Волков и Бас, постарались событие замять, но мелкие подначки заинтересованных лиц типа «с вас причитается» спровоцировали символические посиделки у Розенцвейга, который «на минуточку» зазвал нас к себе.

На всяких наших посиделках рано или поздно возникал разговор о дорогом лидере, а нынче и сам Бог велел. Мы отметили его бесспорное дарование и подлинные заслуги, не те, «датские», за которые прежде всего и давали «гертрудные» звания, а заслуги перед

богиней Мельпоменой, счастливо равнодушной к сменам общественных формаций и очередным съездам КПСС...

Прогрессистам и шестидесятникам, нам не хотелось смешивать одно с другим, и мы были уверены, что на своей гастрольной кухне сумеем отделить мух конъюнктуры от котлет творчества. Может быть, мы заблуждались, но собравшиеся у Сени считали себя прогрессивным крылом коллектива. И Стриж, и Басик, и Розенцвейг, и Миша Волков, и даже артист Р. чувствовали себя перьями этого крыла и, по мере возможностей, старались развернуть мэтра в сторону творческой свободы. Вплоть до идеологической оппозиции. Однако все названные были разобщены личными проблемами и страдали от недооценок их дарований и заслуг. Тогда как другое крыло, сплоченное в партийную организацию, открыто тянуло Мастера в противоположную сторону, то есть к бесконечным доказательствам его и нашей преданности делу социализма.

— 5

Два года назад, после триумфальной премьеры «Мещан» в Буэнос-Айресе, «прогрессисты» шли пешком до самой гостиницы: Гога, Семен, Басик, Миша Волков и Р. Разгоряченный аргентинскими аплодисментами, артист Р. стал ломиться в открытую дверь и убеждать Гогу, что пора выйти из-под бдительной опеки партийцев, покинуть ряды юбилейных старателей и позволить себе решительный поворот к чистому искусству.

Бас открыто поддержал его, приведя веские аргументы и решившись назвать мэтру имя его ложного друга. И Волков не остался в стороне, стараясь шагать в ногу и заверяя, что неложные друзья рядом и всегда готовы его поддержать. Расчувствовавшись в ответ, Гога сказал, что, конечно, мы правы и он на нашей стороне, но неужели мы не понимаем главного?..

— Чего, Георгий Александрович? — помог ему вопросом чуткий Бас.

— Того, что я не могу, понимаете, не могу всему противостоять!..

Как друг и учитель, он страдал из-за тупости учеников, имея в виду тяжелую машину социалистической идеологии, со всеми ее моторами, приводами и шестернями.

— Но почему же? — спросил двоечник Р.

— Почему, Георгий Александрович? — с волнением и участием повторили Олег и Миша, а Розенцвейг с любовью смотрел на него дивными глазами.

Тут Гога остановился посреди аргентинской столицы и с обидой в красивом голосе сказал:

— Ну как же вы не понимаете?! Единственное, что я в силах сделать, — это сохранить художественный уровень!..

— «Сохранить художественный уровень», — задумчиво повторил Стриж в ночь великого награждения. — Конечно, это — главное...

— Да, — сказал Р. — «Новые песни придумала жизнь...».

— Это не песня, — возразил Розенцвейг. — Это что-то другое... Он действительно так думает... А что остается?.. На него давят и сверху и снизу, жмут масло... Вы помните, как он говорил на собрании?.. Когда вручали знамя?..

— Какое знамя? — спросил Бас.

— Наверное, все-таки красное! — вспылал Семен. — Какая разница! Мало нам давали знамен? Невэтомдело!.. Дело в том, что он говорил до вручения...

— Это было давно, — сказал Р. — Но речь была героическая...

14 февраля 1978 года мы увидели Гогу мрачным до чрезвычайности. Он вошел под общий шумок в большой репетиционный зал над сценой и, оглядев принарядившуюся труппу, сказал:

— Если так будет продолжаться, я из театра уйду!..

Все замерли. Какие-то неясные разговоры о его недовольстве общим состоянием дел и угрозе ухода по театру ходили, но никто не думал, что это всерьез: мало ли он ворчал. И вдруг — открытое заявление, почти ультиматум.

— Я в этой панихиде участвовать не намэрен, — впечатал в наши уши Мастер. — У меня ощущение кризиса театра, при всем его внешнем успэхе. Можно мобилизоваться для Амэрики, но мы не для Амэрики работаем! — И он победно посмотрел в сторону партийного крыла. В это время велись переговоры о гастролях в США, и труппу, скажем прямо, будоражила идея вояжа в страну зрелого капита-

лизм. — Мы не для Амэрики работаем, — повторил он с полемическим напором и, понизив бархатный голос, еще глубже проник в дрогнувшие сердца. — Мы же легендой стали, но не потому, что такие хорошие, а потому, что людям нужен Идеал!.. И от этого еще страшнее!..

Теперь, поведя орлиным носом, Гога по очереди оглядел и правое, и левое крыло. В репетиционном зале стояла мертвая тишина. Он был прекрасным артистом, и его ораторское искусство тоже было безупречным. Он говорил, как Наполеон перед гибнущей армией.

— Все ведущие артисты преуспели на стороне! У всех за пределами театра растущие интересы!.. Факты последнего времени — вовсе не случайности, это уже способ жизни! — Тут «киношники» вздрогнули, «телевизионщики» узрели свой грех, а «концертанты» познали свою наготу. — Участники «Ханумы», — гремел Пастырь, — обсуждая размер съемочного гонорара, выглядели стяжателями и забыли, что у них за плечами — Театр! — Он имел в виду перенос спектакля на киноэкран и, конечно, полемически сгущал краски, но было видно, что чем-то он задет глубоко. — Женя Горюнов гибнет на наших глазах, а коллектив равнодушен. Мы проходим мимо своих товарищей, нуждающихся в поддержке. Это — эгоизм, доходящий до полного цинизма!.. Что получить для себя, что взять себе — самое главное!.. И, что ужасно, мы привыкаем к подобному!..

Теперь он напоминал римского трибуна.

— Я не хочу стыда за спиной. Либо это будет преодолено, во что я плохо верю, либо у вас должен быть новый лидер и новый театр!.. В день, когда нам вручают знамя победителей социалистического соревнования, я хочу сказать в глаза всем!.. Я не жду объяснений, выступлений и так далее. Я хочу, чтобы вы все вместе об этом от меня услышали!.. Если театр живой и здоровый, он не должен себе позволять такого... Я вам не угрожаю, а делюсь своими чувствами и мыслями. — И, упразднив пафос, с проникновенной печалью в голосе Гога заключил: — Спасибо за внимание...

Сделав два шага в сторону выхода, он внезапно вернулся, вспомнив упущенное, и еще более горько сказал:

— Жаль, что нет Лаврова!.. Забыть о собрании, о котором вчера при мне его предупреждал Валерьян!..

Завтруппой Валерьян Иванович Михайлов потупился и вздохнул, принимая вину на себя. Он любил Кирилла не просто как сотрудник сотрудника и не только как партиец партийца, он любил его самого, его семью, его фильмы, в судьбе которых принимал непосредственное участие, любил верно и преданно и, когда его спрашивали: «Кто лучший в театре актер — Копелян или Стржельчик?», уверенно отвечал: «Давдов!», то есть «Лавров». Валерьян Иванович красиво грассировал и не выговаривал звук «л».

Тут, беря на себя роль, уготованную Кириллу, не выдержал Стриж.

— Позвольте сказать, — решительно поднялся он и, не ожидая формального разрешения, продолжил: — Это началось давно... Это равнодушие... Равнодушие, — повторил он с тремоло в голосе, — и хулиганство!.. Часто, очень часто приходится смотреть в глаза партнеру, который не соответствует температуре сцены!.. И ты понимаешь, что это не что иное, как внутренний саботаж!.. Спектакль вроде бы идет, и актер как будто существует... Но он не существует, и спектакль не идет!..

Слава хотел продолжить свои намекающие инвективы, но его перебил Гога, получив ту эмоциональную подпитку, какую ожидал от Лаврова.

— Мы разлагаем людей, — снова вступил он. — К нам приходят новые люди и видят: артистка Икс не знает, видите ли, в силах ли она закончить спектакль, а доктор, понимая, что ей ничего не грозит, уговаривает ее как маленькую! А артистка Игрек действительно больна, у нее звездная болезнь!.. Не явиться на свой спектакль!!! — Он подержал наводящую ужас паузу. — Молодые усвоят эти законы, и театр рухнет!.. Очевидно, нужно менять правила и делать замены!.. Нужно решительно *заменять* таких «больных»!..

Тут поднялся лес вскинутых рук, но раньше других успел вступить Рыжухин, член худсовета и ярчайший представитель партийного крыла.

— На любой сбор, на любое собрание, — флегматично забубнил он, — труппа не приходит полностью!.. У всех оказываются дела поважней!..

— Каждый заменяем?! — нервически перебила его артистка Игрек.

— О-бя-за-тель-но! — страстно проскандировал Гога.

— Раньше этого не было! — нападала и защищалась поруганная.

— И я говорю, — гневно подхватил Мастер, — раньше этого не было!.. Но я отлично понимаю, что заклинания здесь не помогут. От речей никогда и ничего не меняется. Я хотел быть с вами честным. Мы были вместе и в горе, и в радости. Но нельзя работать в организации с чувством стыда. Когда театр перестает быть серьезным, он становится стыдным. А мне стыдно смотреть, как зрители рвутся в наш театр! — Он посмотрел на часы. — Все... Три часа... Надо идти вниз, получать знамя!..

Разумеется, в Осаке сцену вспомнили в общих чертах, а ее драматическое течение помогла восстановить черная тетрадь, извлеченная из-под спуда женой автора Ириной через много лет после событий. Но каково было его изумление, когда, перевернув несколько страниц, он наткнулся на запись нервического диалога между Товстоноговым и артистом Р. Последний просил у Мастера разрешения *сыграть главную роль в другом театре*. Месяца не прошло со дня воспитательного собрания, виноватые актрисы «и башмаков еще не износили», по расчетам руководителя, во всех нас должна была кричать разбуженная совесть, и — на тебе! — этот наглый глупец, или, если хотите, глупый наглец, Р. опять терзал его эгоцентрическим бредом!..

— Георгий Александрович, — начал Р., остановив вождя во дворе театра, — я хочу с вами посоветоваться...

— Да, Володя, — благосклонно разрешил мэтр.

— Понимаете, мне предложили великолепную роль...

— Где? — мгновенно изменившись, перебил тот и, припирая Р. к стене, наступательно повторил: — Где?!.

— В спектакле «Строитель Сольнес», который в Ленкоме будет ставить Сирота... Она предложила мне заглавную роль...

— Это исключено! — быстро и нервно сказал он. — Это для меня вопрос принципиальный!.. Это просто исключено!..

Еще бы не принципиальный!.. Мало того что он развернул борьбу с посторонними интересами, опять тут возникает Сирота!.. Та самая инакомыслящая Роза Сирота, которая во второй раз ушла из БДТ, требуя для себя самостоятельных работ. Вместо того чтобы, как тень, знать свое место и беззаветно помогать Мастеру, она зовет за собой одного из артистов труппы!..

На что рассчитывал Р., называя уже враждебное имя?.. Трудно ли вообразить реакцию Ивана Грозного на просьбу дворового боярина дать разрешение объединиться с предателем Курбским?..

— Я с вами советуюсь, — тупо повторил Р.

— Я всем говорю, что это невозможно, — горячился мэтр. — Всем!.. Вы получите это право, только перейдя в другой театр!.. Я отказал Стрельчику, отказал Лебедеву, и это только недавно!.. Если я разрешу вам, будет прецедент, я не могу создавать прецедента...

— Но прецедент был, Юрский играл в этом театре, — упорствовал Р..

— Это было совсем другое! — полемически опроверг мэтр. — Заболел артист, и, чтобы выручить театр, в последние дни перед премьерой ввели Сережу!.. А второе, если вы со мной советуетесь, скажу вам, что это обречено на провал. Зачем вам участвовать в провале?.. Это вопрос вашей совести, Володя, передавать мое мнение Сироте или нет, но я не верю в то, что она сможет поставить Ибсена... Это будет заумно, темно и невнятно!..

— Ей может помочь Гена, — предположил Р.

— Опорков?.. Ничего не поможет!.. Но я повторяю — это вторая сторона вопроса, а первая — то, что для меня это невозможно в принципе!..

— Артист хочет играть, — с тоской сказал Р., и тут наконец прояснился его тактический план. — Если бы у меня была такая полнокровная работа в БДТ, я бы ни о чем не советовался...

— Здесь я вас понимаю, — смягчился Гога. — Нет артиста, который не ждал бы хорошей роли... Но я говорю вам, как всем: нужно уметь ждать...

— Это не просто хорошая роль, — сказал Р. — Это нечто большее...

— Да, конечно, я видел спектакль в театре Корша, там замечательно играла Попова, — и, очевидно, считая разговор оконченным, Гога пошел к своей машине, а Р. остался смотреть ему вслед. Он продолжал быть цифрой на дикой рулетке и верил, что рано или поздно Мастер поставит на него. Даже из этого диалога он сделал ложный, но утешительный для себя вывод: «Он не хочет, чтобы я уходил»...

Через два года Р. приступил к постановке «Розы и Креста»...

Сакэ кончилось, а вино было слабое, но расходиться не хотелось. Завтра спектакля нет, и будет пир горой в честь нашего «Кавалера Золотой Звезды», а видимость свободы и гостиничное общежитие — прекрасные условия для праздных закулисных толков. И представители «прогрессивного» крыла, и их оппоненты по соседству снова принялись обсуждать домашние обстоятельства, словно подтверждая шекспировскую фразу: *актеры не умеют хранить тайн и все выбалтывают*.

— Опять поедем в Грузию, — сказал Стржельчик, — вот увидите. Грузия любит своих героев...

— Ты имеешь что-нибудь против? — спросил Басилашвили.

— Хулиган, — ответил Стриж. — Я сам почти грузин!

— Мы все грузины, — возразил Миша Волков.

— Да, — подтвердил Розенцвейг, — особенно я...

— Теперь мы все японцы, — сказал Р. — И это надолго, увидите...

— Но у нас еще не освоен Китай, — задумчиво сказал Волков. — Юрка Аксенов восхищался Китаем.

— Китай в сердце, — сказал Бас и стал рассказывать эпизод из жизни Ленкома. — Гогин спектакль, Лебедев — Сталин, и Гога решил вывести Кирова...

— Да, — сказал Сеня, — только он не сам решил, а ему подсказали... Чтобы был финал... Чтобы был апофеоз...

— Да, — сказал Бас, — и тут гример заявляет, что Гай — вылитый Киров, и он берется сделать портретный грим... Идет прогон с публикой, зал — битком, подходит финал, и на сцену выезжает лодка...

— Нет, — мягко сказал Семен, — вы не видели... Вас еще не было. Не лодка, а пароход... Действие шло на палубе, потому что художник Юнович придумала пароход... Между прочим, пьесу написали Мариенгоф с Козаковым... «Остров великих надежд», в том смысле, что мы все плывем на пароходе на этот остров, в коммунизм... Такой образ...

— Спасибо, Семен Ефимович, — сказал Бас. — Так вот, на палубу выходят Сталин и Киров, и вдруг весь зал вскакивает и начинает скандировать: «Мао Цзэ-дун!.. Мао Цзэ-дун!.. Мао Цзэ-дун!..».

Мы засмеялись, а Розенцвейг решил пояснить:

— Потому что Гай в гриме Кирова был настоящий Мао Цзэ-дун!.. Но вы смеетесь, а между прочим, могли быть большие неприятности... Спектакль сняли, потому что мог быть погром...

— Кто снял? — спросил Волков.

— Сам театр, — гордо сказал Семен. — Сам Гога... Он их опередил!..

— Вот молодец! — сказал Р. — Я бы ему подсказал еще одно название!..

— Не болтай! — приказал Стриж и тут же спросил: — Какое?

— Ну вот, — сказал Р., — так я теперь и скажу!..

— Интересно, кто у нас следующий? — меняя тему, спросил Волков, он имел в виду нового «кавалера».

— А ты не догадываешься? — спросил Бас.

— Все-таки вопшем это зависит от пьес, — сказал Розенцвейг.

— Конечно, — сказал Р. — Вот Арсений Сагальчик студентом ходил на все Гогины спектакли по несколько раз... Он хотел понять механизм успеха...

— Глупец, — сказал Бас глубоким мхатовским голосом. — У успеха нет механизма, у него есть только характер...

— И смотрел «Где-то в Сибири». А там в финале *Ленин* спрашивает *Сталина*: «Ну, что? Будем работать, Иосиф Виссарионович?». И *Сталин* ему отвечает: «Будем работать, Владимир Ильич!». Сагальчик не поленился пойти в библиотеку и взял пьесу Ирошниковой. А там — наоборот: *Сталин* спрашивает у *Ленина*: «Будем работать, Владимир Ильич?», а *Ленин* ему отвечает: «Будем работать, Иосиф Виссарионович!..»

Все помолчали, и Волков сурово сказал:

— Не вижу особой разницы.

— Я тоже, — сказал Р. — А Гога увидел...

— По-моему, ты тоже хочешь понять механизм успеха, — сказал Бас.

— А как же, — сказал Р. — К чему мне режиссура?..

Но он, конечно, хитрил. Не в режиссуре было дело и не в механизме успеха. Верней, не только в них. Жадный интерес, который испытывал Р. по отношению к Мастеру, не исчерпывался второй театральной профессией или актерской зависимостью от Гоги. Этот человек, умудренный и инфантильный, скрытный и навязчивый, непредсказуемый и неразгаданный, притягивал к себе все мысли и чувства, и объяснить свою прикованность Р. еще не мог. Теперь-то ясно, что дело было в будущем романе, попытке запомнить, понять, а потом и воскресить ушедшего героя во всем одиночестве, блеске и непокорности автору. Иначе все встречи и диалоги с ним не оказались бы подробно записанными и даже отчасти осмысленными по горячим следам. Иначе не продолжался бы их пожизненный диалог. Наш дорогой мэтр был совершенным образцом высокого художника, предельно зависящего от обстоятельств. И автору кажется, что он представлял наше время, как никто...

— Он его ненавидит, — неожиданно сказал Волков, отвечая своим тайным мыслям.

Очевидно, Р. был не одинок в постоянных раздумьях о Мастере.

— Кто? — спросил Розенцвейг. — Кого?

— Гога — Сталина, — ответил Миша с уверенностью личного исповедника.

— Будет завтра телеграмма от *первого* или нет? — подумал вслух Стриж.

— От Гая точно будет, — сказал Р. — Если он не в больнице.

— Да, — сказал Владик, — вот кому действительно не повезло...

— Ну, он тоже кузнец своего счастья, — сказал Миша.

— Это — болезнь, — сказал Стриж, и все замолчали, и каждый подумал, насколько повезло ему и что он может сделать, чтобы по-

мочь собственной удаче. О своих болезнях не подумал никто. И о смерти никто не подумал...

Розенцвейг засмотрелся в окно. Ему вспоминалась прогулка под дождем, парк с короткими пальмами и статуя гибнущего героя, над которым склонялась крылатая скорбь. Ему вспоминалась юная Иосико...

Откуда же взялась у автора запоздавшая страничка мелкого блокнота, на которой оказался записан Сенин монолог? Выпала из клетчатой тетради?.. Тогда почему именно теперь, а не раньше? Чтобы разрушить иллюзию?..

— Это грустная история, — определил жанр Сеня, возвращаясь к японским гастролям уже издалека. — Понимаете, было несколько девушек, несколько фанатов, которых пригласил Миша Волков... И тут наш продюсер Окава, вы его помните... Он стал бегать, махать руками, позвал переводчика, позвал меня... И среди них была Иосико... И Окава ни с того ни с сего стал жутко хвалить ей — меня, а ее — мне... Понимаете?.. Спровоцировал все Окава...

Вот оно что!.. Поздняя версия Розенцвейга весьма интересна: не он инициатор «грустной истории», а все тот же Окава; и гастроли затеял продюсер, и роман «спровоцировал» он...

Но тогда нам не хватает еще одной фразы композитора: «А мы познакомились уже на пароходе!..» Читатель, кажется, помнит обстоятельства этой встречи. Кто нам рассказывал об утренних пробежках на теплоходе «Хабаровск»? «Вдоль борта, вдоль борта, поворот по корме и снова вдоль борта, поворот у форштевня и снова к корме...» Может быть, легенда соединила воедино два разных персонажа? То есть на теплоходе «Хабаровск» Семен бегал с другой девушкой, а в Токио появилась уже сама Иосико?..

Но тогда за порог прошлого внесен произвол, и гастрольный роман движется самовольно. Что прикажете делать бедному автору — держаться за новоявленный Сенин монолог и опровергать собственную предысторию?.. А где гарантия того, что Розенцвейг нисколько не сочинял и не подпускал в «грустную историю» легкого тумана?.. Прости, любезный читатель, простите, Семен Ефимович, но возника-

ющая легенда много лучше робкой версии героя, и художественная реальность должна выглядеть так:

— *А мы познакомились уже на пароходе,* — помолчав, добавил Розенцвейг.

Как всякий творец, он был по-детски наивен и склонен к вольному вымыслу.

Однажды Розенцвейг вернулся довольно поздно и принялся рассказывать домашним, как трудно складывалась вечерняя репетиция, какие сложные задачи ставил перед ним Товстоногов и какие усилия ему понадобились, чтобы их разрешить. Между тем как раз сегодня из Большого зала филармонии транслировали концерт Владимира Спивакова («Ах, какая скрипка, какой музыкант!»), и, скользя по лицам слушателей, беспечная камера не раз фиксировала просветленную улыбку Семена Ефимовича, сидящего в гостевой ложе рядом с девушкой Иосико. Это был первый после наших гастролей ее визит в Ленинград, и именно в тот вечер и таким образом с нашей героиней познакомились Майя Ефимовна, супруга героя, и его сын Ефим. Он-то и сообщил автору о пустяжном эпизоде, так же, как и некоторые другие, уверенный в платоническом характере отношений Семена Ефимовича и девушки Иосико. И, держа перед глазами его письмо, дышащее любовью к родителям, автор скрепя сердце соглашался с сыновней версией...

Но, как бы ни обстояло дело в сухой действительности, к нашему удивлению, романский сюжет продолжал жить неухоженным растением и не желал зависеть от авторских и даже родственных оценок.

Она прилетела, и они встретились. Какое значение имело все другое?..

Перед самым отъездом в Осаку она возникла во дворе отеля в потрясающем кимоно, и одна эта деталь способна опровергнуть безумные фантазии автора, которым он дал излишнюю свободу. Раньше ему мерещилось, что Иосико приходила прощаться в юбочке и блузке. Но вот фотография, сделанная тем утром: она — в кимоно...

Правда, соблазн безнадзорного сочинительства по-прежнему велик, и дьявол нашептывает нам свои варианты. Съездила домой (у нее была малолитражка) и переделалась. Хотела скрасить недостаток внимания, вызванный сбитым «Боингом» и зрительским бойкотом. Но довольно фантазий! Представьте себе плотный белый набивной шелк с темными поперечными волнами по левому плечу и под грудь. Рисунок набивки напоминает пчелиные соты; острый треугольник открывает нежную шею. Фотография черно-белая, и я не вижу цвета... Широкий узорчатый пояс прячет талию; простые цветы — ромашки и дикие хризантемы — ласкают живот и бедра, скользят по длинным полам. Несколько многозначных, узорчатых кругов — один на левом плече, другие ниже пояса и скатываются наискосок к белым босоножкам, ускоряя удары сердца, туманя нежные взоры...

По плечам — темные пряди, которые легко отбросить назад, гладкий зачес со лба и висков, овальное лицо с круглыми щеками, пухлые приоткрытые губы и поразительной формы удлинённые глаза, на редкость большие для хрупкой японской девушки. Прелесть, одно слово, прелесть, и это уже не фантазия, а трепетный факт!.. Я смотрю на нее сквозь два десятка лет и чувствую, как в то утро волновалось сердце Розенцвейга. «Золотко мое, золотко!» — шепчу я за ним и надеюсь, что нас услышат...

В кимоно она потрясла всех, это было слепящее чудо, и многие бросились щелкать аппаратами, чтобы запечатлеть ее на прочную пленку и слабую память. Захотелось стать рядом и главному машинисту сцены Алексею Быстрову, и осветителю Гале Автушенко, и Ваде Медведеву, которому она была по грудь, и Володе Горбенко, осторожно приобнявшему ее за плечико, и Юре Изотову с Юрой Аксеновым, составившим благоприятный улыбчивый фон...

Розенцвейга нет — как видно, это его снимок...

Кто в юбилейный день и вправду подумал о Гоге, так это Лита и Лена. Они подумали о нем еще до того, как в Осаку долетели фанфарные радиоволны, и готовились поздравить мэтра с днем рождения, не зная, что он станет «кавалером Золотой Звезды». Они не забыли о нем самом.

Сначала Лена и Лита пошли в посольский магазин и купили за иены «Советское шампанское». Потом заглянули в буддийский храм и выбрали фонарик, который зажигался и звонил, потому что внутри него была свеча, а снаружи — колокольчик...

Аэлита Шкомова и Елена Алексеева были завязанные гастролеры: играя молодых кобылок из «табуна», они обскакали с «Историей лошади» весь мир. Будто угадав его и свою судьбу, они отнеслись к спектаклю творчески, тогда как другие высокомерно пренебрегли открывшейся возможностью. Когда Марк Розовский показал Гоге свой прогон и тот подключился к работе, он сразу предложил освободить «неверующих», и кое-кто поднял руку. Так из спектакля выпала Алина Немченко, а Аэлита Шкомова в него вошла. И когда состоялась сенсационная премьера, директор и Товстоногов с чувством написали на программках всему «табуну», что у каждого из них — настоящая роль, а вовсе не массовка...

С Леной Алексеевой артиста Р. свел в работе тот же Розовский: в «Бедной Лизе» по Н.М. Карамзину она сыграла героиню, а Р. — соблазнителя Эраста. Успех режиссерского дебюта и привел к тому, что Гога дал Марку приступить к «Истории лошади». Это потом у них возникли осложнения...

Лене и Лите всегда давали номер на двоих, и у них не было тайн друг от друга. Сначала они были подружками на выданье, а потом одна за другой вышли замуж: Лена — за драматурга Генриха Рябкина, а Лита — за инженера Алешу Срыбника. Рябкин был человек известный, юморист, одна из его пьес шла у нас на Малой сцене, а потом Генрих прославился еще больше, одним из первых рискнув открыть на Петроградской стороне кафе «Тет-а-тет». Сначала кафе процветало, и вечерами в нем играл хороший пианист, а потом Генрих не вовремя умер, оставив Лену вдовой и матерью-одиночкой...

А Леша Срыбник отличался от других соискателей Аэлиты тем, что был скромнее, надежнее и феноменально похож на красивого Пушкина. Ролан Быков в гриме был, говорят, сверхъестественно похож на Пушкина некрасивого, а Алеша — наоборот. Когда он появлялся на берегу Сороти, все паломники забывали экскурсовода и потрясенно вперялись в его медальное лицо.

— Пушкин на велосипеде поехал! — кричали мальчишки, когда он отправлялся в дальний магазин...

Конечно, тут был элемент случайности, когда Лита с Лешей впервые поехали на лето в Пушкинские Горы и сняли угол у доброй старушки в деревне Зимари. Но был, видно, в этом и Божий промысел. С тех пор прошло около тридцати лет, и они ежегодно там: купили старушечий домик, потом построили новый, потом баньку, и теперь со второго этажа, сквозь осенние ветви, на том берегу Сороти им виден музейный дом Александра Сергеевича в сельце Михайловском...

Когда пробило двенадцать и наступило 28 сентября, Лена и Лита запахнули свои кимоно и, выпив для храбрости «сакэ» из автомата, постучались к Гоге. Кстати, автомат с фирменной японской выпивкой в вестибюле отеля быстро вошел в наш обиход благодаря своей трогательной доступности. Сначала девушки хотели оставить подарки под дверь и скрыться, но Гога не дал им этой возможности, мгновенно вышагнув на стук. Несмотря на недавнюю общую агитацию он был совсем один и от их появления так растерялся, что тяжелые очки съехали у него на кончик носа.

Подружки в два голоса поздравили его, и тут же прояснилось, что он страшно рад их ночному визиту, и началась суета, потому что ему захотелось быть радушным хозяином, а как осуществить эту задачу, он не знал. Посуды в японских номерах никакой не было, но мэтр ринулся в ванную и победно принес оттуда стаканчики для зубных щеток...

Так они и уселись, на ночь глядя, все трое в кимоно, а на столе — «клик» и буддийский фонарик.

Вначале разговор несколько буксовал, но Гога задал молодым актрисам животрепещущий вопрос: «Что покупаете?» — и они перечислили ему свои покупки. Потом все освободились от зажима, и он доверительно жаловался им.

— Почему меня боятся? Стоят артисты, разговаривают, стоит мне подойти, умолкают... Я стал бояться подходить, — и он разводил руками, такой одинокий и робеющий, не видя в себе ничего, способного испугать.

— А мы вас не боимся, — отвечали храбрые гости и смеялись, звоня в дареный колокольчик, и провозглашали тост за его здоровье...

Нужно сказать, что именно Лита и Лена по поручению Вали Ковель собирали с артистов иенные взносы на подарок и могли рассказать юбиляру немало интересного о том, как расставались с японской денежкой его верноподданные. Но им не пришло в голову открывать Гоге частные секреты, и они от всего сердца поздравляли этого пожилого, с их точки зрения, человека, с которым оказались так решительно связаны их еще молодые жизни.

Да, многие отсчитывали «подарочные» охотно, а некоторые давали и больше, но нашлись и такие, кто заставил Лену и Литу походить за собой, и это было неприятно, не для себя же они собирали, в конце концов! Два тенорка просто бегали от них. Но особенно отличилась новенькая, сладкоголосая. Все не могла «разменять» большую купюру. И один преданный баритон: что это, мол, за «поборы»!.. Но от этих ничего другого и ожидать было нечего, хотя только благодаря юбиляру они оказались в чудесной стране и получили сказочную прибыль...

Шампанское было великолепно, а Гога, как обычно, почти не пил...

— 6

В истории русского драматического театра было два фантастических музыканта, которые понимали свою подчиненность Мельпомене не как жертву, а как миссию. По странному стечению житейских обстоятельств артист Р. имел отношение к ним обоим. Первым (исторически) нужно назвать заведующего музыкальной частью МХАТа композитора Илью Саца, роль которого Р. играл в спектакле БДТ «Третья стража». А вторым — Семена Розенцвейга, глядя на которого, он «входил в образ»...

Главными персонами представления были Николай Бауман — Стрельчик и Савва Морозов — Копелян, а Р. в пьесе Капралова и Туманова досталась небольшая, но славная роль композитора-мхатовца, в доме которого проходили конспиративные встречи и скрывался герой.

В рабочем расписании сцена так и называлась: «У Саца». Можете представить, какой соблазн для наших каламбуристов и как они им воспользовались. И сцена получалась смешная: Сац постоянно

норовил украдкой выпить рюмку (преувеличенная достоверность), а его все время застукивала кухарка в исполнении Марины Адашевской.

Но главное смысловое содержание роли состояло в том, что Сац должен был срочно дописать музыку к спектаклю «Смерть Тентажиля» Мориса Метерлинка (историческая достоверность), а ему непрерывно мешали толкущиеся в доме идеологи революции. Искусству всегда мешают идеологи, независимо от исторического периода, и, помогая Товстоногову, Сирота подбрасывала Р. все новые задачи. Она сообщала ему глаголы, считая, что это — единственный язык, возможный между режиссером и актером. Он (я) должен был все время держать себя в руках и, как интеллигентный человек, не подавать виду, до какой степени ему (мне) мешают эти бездельники. А если на сцене стараешься не подавать виду, скрываемое передается зрителю.

Финал спектакля был у нас мощный и даже патетический: Товстоногов решил проводить Баумана в последний путь под звуки духового оркестра, причем вживую, а не с помощью звукозаписи. А кому дирижировать оркестром, как не композитору Илье Сацу, то есть артисту Р.?

Призванные из разных коллективов инструменталисты должны были скрытно накопиться на колосниках, и всякий раз их сопровождал Розенцвейг, делая страшное лицо и требуя двигаться на цыпочках. Боже упаси, если кто-нибудь шаркнет о стенку трюбомом или заденет о перила гудящим басом. Двигаясь гуськом по всем четырем маршам узкой лестницы, процессия и впрямь напоминала траурную...

Доведя пришельцев до последнего яруса, Семен Ефимович тут же сбежал вниз, входил в зал и, стараясь быть незамеченным, становился справа от сцены, рядом с местом дежурного режиссера. Теперь вся надежда была на меня, и дирижировать нужно было властно и даже яростно, чтобы пестрая компания разовиков почувствовала сильную руку.

Понимая всю меру финальной ответственности, артист Р. под гипнотическим взглядом композитора Р. выходил на авансцену в черной бархатной блузе, с черной бабочкой (как у Розенцвейга!)

и, наполнившись революционной скорбью, делал широкий и характерный жест (совершенно как Семен Ефимович!), собирающий внимание пришлых умельцев.

«Раз, два, три, четыре, — считали про себя оба Р. — И...»

И вдруг на головы замершей публики откуда ни возьмись обрушивалась мощная духовая лавина неподдельного траурного марша. Хотел этого зритель или нет, он оказывался участником погребальной процедуры...

Не могу сказать, что сборный состав под управлением артиста Р. играл в силу Тосканини или фон Караяна. Но всеми доступными ему средствами доморощенный дирижер старался воздействовать на низкооплачиваемых музыкантов и заставить их сыграть вместе, а не врозь и не как Бог на душу положит. А ведь они были рассеяны по всему периметру последнего яруса, а не собраны под гениальной рукой, как у названных корифеев...

И почти всегда это почти удавалось.

К чему я все это говорю?.. Может быть, к тому, что, сыграв Саца похожим на Розенцвейга, Р. проникся к нашему маэстро еще более теплым и родственным чувством, чем прежде, и, несмотря на некоторую разницу в возрасте, скорее подсознательно, чем осмысленно начал искать в нем своего нерожденного близнеца. А композитор Р., с редкой отзывчивостью отвечая творческой приязни артиста, даже написал несколько песен на стихи его сочинения. Вот только где их искать, эти ноты?..

Скажем больше. С той поры, как артист Р. ступил на зыбкую почву сочинительства и стал вызывать на страницы гастрольного романа утраченные тени, он начал то ли бредить, то ли заговариваться, бормоча на людях чужие реплики и монологи. А стоит ему дойти до событий, связанных с Семеном Ефимовичем и японской девушкой Иосико, как заболевание приобретает откровенный характер и призрак мистического «двойничества» толкает его в объятия «мании грандиозо»: артисту Р. кажется, что он и есть композитор Р.

Упрощая беззаконную реакционно-идеалистическую мысль, автор признается: все или почти все происходящее на этих страницах с Розенцвейгом он принимает слишком близко к сердцу; отсюда вероятные aberrации обратного взгляда. И если кто-нибудь знал это-

го героя несколько иным или думает о нем по-другому, пожалуйста, господа, держитесь своего образа, а к нам просто не подходите. У вас есть прекрасная возможность вместо того, чтобы придирайтесь, взять точно такую же шариковую ручку и катиться на собственном шарике отдельным путем...

Однажды утром в гости к артисту Р. приехал замечательный писатель Виктор Платонович Некрасов. Познакомились они давно, во время единоличных гастролей Р. в городе Киеве, когда Некрасов пришел на «Гамлета» в филармонию вместе со своей матушкой и пригласил Р. домой. Он кормил гастролера украинским борщом и котлетами, весело говорил о Шекспире и других знакомых писателях и показал документальные альбомы, с вырезками и фотографиями, о Бабьем Яре. Некрасов собирал устные рассказы уцелевших очевидцев, фотографировал засыпанный овраг и восстанавливал утраченную картину. Мы поехали туда, где произошла скрываемая властями трагедия, и здесь, на местности, он рассказал свою потрясающую повесть.

Как ни печально, природа постаралась приукрасить и замаскировать двойное кощунство — убийц и скрывающих фашистское преступление коммунистов, и, если бы не Виктор Платонович, Р., глядя на светлые зеленеющие холмы и свежие деревья, ни за что не угадал бы, что здесь произошло.

Через несколько лет украинское КГБ провело у писателя тотальный обыск и изъяло кропотливо составленные альбомы...

Нужно сказать, что киевские встречи и разговоры с замечательным человеком и писателем проходили не всухую, а как положено. И когда дорогой Виктор Платонович, в свою очередь, появился в Ленинграде и оказал честь артисту Р., посетив его в типовой «распашонке» на улице Брюсовской, рядом со станцией Пискаревка, они, естественно, начали принимать уже с утра и за доброй беседой добрали все, что было в доме. Включая вьетнамскую рисовую водку, которую для поддержки воюющей братской страны закупили в то время наши безвкусные идеологи...

Самое интересное, что именно в этот вечер артист Р. должен был создать на сцене БДТ незабываемый образ композитора Саца,

а стало быть, и дирижировать скорбным оркестром. И хотя вся роль удобно укладывалась во втором, заключительном акте, явиться он должен был за пять минут до начала первого, причем, сами понимаете, трезвым, а не на бровях. Р. же, никогда прежде не нарушавший этого правила, легкомысленно понадеялся, что, играя поддающего композитора, и сам может однажды поддаться, и этого никто не заметит. Уважительной причиной он считал приезд выдающегося прозаика.

На стоянке такси у Мечниковской больницы артист Р. вместе с Виктором Платоновичем, тоже, как известно, бывшим артистом, появился не только в рискованном виде, но и в рискованное время, но, обратившись с интеллигентной речью к интеллигентной очереди, встретил ее понимание и добрался до Фонтанки, 65 без опоздания. Спектакль начался...

И тут, подчиняясь правде жизни, автор обманет лучшие ожидания читателя: в тот исторический вечер «Третья стража» прошла без накладок, а оркестр под управлением Р. скорбел в соответствии со стандартами. Конечно, за кулисами заметили повышенную возбужденность Саца, но никто из партнеров и obsługi на него в тот раз не наступал. Более того, после спектакля встреча с Некрасовым продолжилась и достигла еще более высокой ноты, так как в ней приняли участие Стржельчик, Копелян и, конечно, Розенцвейг — все большие поклонники приезжего писателя.

Чего не было, того не было, революционный этюд о меценатах и штурманах первой русской революции Виктор Платонович смотреть не стал, но из уважения к артистам мирно ждал их в верхнем буфете, усмиряя вьетнамскую рисовую армянским коньяком. Финал он приветствовал с таким же удовольствием, как наши благодарные зрители, а ереванские звездочки победно осветили наши дальнейшие ночные пути...

И все-таки, все-таки... Смертельный конфуз на похоронах Баумана однажды случился. И случился в момент, когда артист Р. был вопиюще, отвратительно трезв, а вот сборный оркестр заявился в театр после развратного банкета с фуршетом и танцами. На этот раз объединенные усилия композитора и артиста, Р. и Р., пошли прахом, так как многие музыканты плохо различали дири-

жера и не имели достаточных координационных средств, чтобы почувствовать локоть соседа. Особенно ужасен был первый душе-раздирающий «кикс» трубача, от которого революционер Бауман в исполнении бедного Стрельчика должен был восстать из свежего гроба...

Когда запоздалый маршрут довел наконец артиста Р. до самого Парижа, с Некрасовым было уже не встретиться, и гастролер долго стоял у его могилы на Сент-Женевьев де Буа. У него оказался с собой маленький «Спас Нерукотворный», купленный в годовщину смерти Пушкина в Святогорском монастыре, и Р. оставил иконку на скромной плите Виктора Платоновича.

Через некоторое время на русское кладбище под Парижем налетел безумный ураган, и многие деревья, кусты и памятники тяжело пострадали...

К счастью, есть и более поздние сведения о том, что на этот раз кошунство природы постепенно исправили добрые и терпеливые люди...

Сказав о лестном для Р. знакомстве с писателем Некрасовым, нельзя не добавить здесь же, что дарили его своим расположением, а иногда и дружбою, и другие мастера отечественной литературы, что, конечно, кружило его актерскую голову. Если же принять во внимание, что он и сам время от времени печатал стихи или статьи в журналах и даже издавал разные книжки, нетрудно догадаться, как тянулся Р. в эту сторону, считая литературную среду такой же своей, как театральную. Основанием для этого полагал он свое филологическое образование, публикации и сборники, а позже и членство в Союзе советских писателей. Но именно двойственность общественного положения ослабляла позиции Р. на том и другом поприще, не давая коллегам по актерскому и литературному цехам считать его окончательно своим. Нельзя также исключить, что ни там, ни здесь не считали его своим даже отчасти: отщепенец и только! И все же эта неокончательная подчиненность, или неполная подведомственность, или, если хотите, постоянная раздвоенность давали ему порой чувство внезапной легкости и, разумеется, мнимой, но опьяняющей свободы...

Однажды в начале шестидесятых Р. свел беспардонное знакомство с Василием Аксеновым и сделал инсценировку его нашумевшего романа «Звездный билет». Кажется, он даже читал ее в лицах тронутому автору, который, хотя и сомневался в возможностях спектакля («По-моему, задробят»), собственноручно на чистом листке вывел, что «безоговорочно визирует» труд, «бережно выражающий авторские идеи». «Жму руку. Вася», — поощрял В. Аксенов ташкентского идеалиста, собираясь приехать на премьеру, буде она все-таки состоится. И надо же случиться, что в тот самый день, когда глубоко партийный худсовет Ташкентского театра беспощадно дробил названный опус, — тут Вася как в воду глядел: по идейным соображениям, — в театр заглянул знакомый артисту Р. московский писатель Камил Икрамов, который привел с собой молодого столичного критика Станислава Рассадина.

Камил Икрамов — сын легендарного, расстрелянного в 30-е годы вождя узбекских коммунистов Акмаля Икрамова, как «член семьи врага народа», сам провел немало черных лет в лагере и ссылке. После реабилитации он пытался вступить в Союз писателей, но в Москве с его биографией это было безнадежно, и Камил стал искать возможностей в столице советского Узбекистана. Позже он напечатает несколько книг, в том числе ставшую популярной «Караваны уходят, пути остаются», напишет трагическую повесть об отце и, еле дождавшись ее появления в журнале «Знамя», безвременно уйдет...

А в тот светлый день Р. вышел из театра, расстроенный неудачей, но москвичи постарались его утешить, и они втроем отправились шататься по Ташкенту, пробуя молодые узбекские вина и обсуждая достоинства и недостатки современной советской литературы...

Рассадин оказался ровесником артиста Р., а его взгляды и оценки свидетельствовали о завидной зрелости ума и беспартийной свободе честных критериев. Он был круглолиц, очкаст, крепко сбит, стеснителен и совершенно убежден в своем безупречном знании русской поэзии. Каково же было его удивление, когда провинциал Р., прихлебывая дивный «Ак Мусалас» в прохладном павильоне

сквера Революции, озвучил восемь строк, авторство которых москвич не смог тотчас определить.

Нет, обманула вас молва,
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца.
Молился новым образам,
Но с беспокойством старOVERца...

Рассадин приехал в Ташкент впервые, испытывая понятный художественный интерес к ориентальным красотам, и никак не предполагал, что среди аборигенов могут отыскаться особи, знающие наизусть его любимого Баратынского. Приведенные стихи он случайно забыл либо не обратил на них должного внимания. Это произвело на гостя впечатление не меньшее, чем «Хасилот» (таких волшебных вин теперь нет и в Узбекистане) или увиденный на другой день принц Гамлет в исполнении провинциального артиста. Вернувшись в Москву, критик напечатал рецензию о ташкентском Гамлете в журнале «Театр» и стал рассказывать о своем «открытии» друзьям-литераторам. С этих эпизодов и вступила в свои права многолетняя дружба.

Здесь автора, как пьяного Хлестакова, подмывает перечислить всех славных писателей, с которыми его свел Станислав (в дальнейшем — Стасик), всех, с кем Р. оказался в дружбе или на «дружеской ноге», но он отложит это до следующего, трезвого случая. Рассадин и напечатал в журнале «Юность» знаменитую полемическую статью «Шестидесятники», давшую имя целому литературному и общественному направлению, к которому хотя бы по идейным и дружеским мотивам считал себя причастным артист Р.

В течение всех последующих лет Станислав Борисович Рассадин продолжал испытывать чувство ответственности за опрометчивые шаги сперва азийского, а позже петербургского провинциала, даря его этическим надзором и дружеским участием в затруднительных случаях. В судьбе же «Гастрольного романа» сыграл он роль

просто беспримерную (хотя и провокативную), убеждая Р., что современную прозу следует писать не так, как это делают признанные мастера Х., Y., Z. или даже Р., J., S., а именно так, как случайно выходит у него, самозванца. То бишь абсолютно независимо и с откровенным пренебрежением к надменным умельцам и их правилам...

Ввиду особого расположения планет фамилии артиста и критика начинались на одну и ту же букву; на редкость сближены оказались дни их рождения, и здесь мы снова предполагаем то ли замечаемое двойничество, то ли намеренную путаницу, соответствующие, впрочем, известным традициям отечественной литературы...

— 7

14 ноября 1962 года в Курсовом переулке, у профессора школы-студии МХАТ Виталия Яковлевича Виленкина, собирались слушать Ахматову. Это совпадало с нынешним отъездом артиста Р. в Ленинград. Событие намечалось в той самой столовой, где на гостевом диванце он имел честь провести несколько ночей перед началом своей новой жизни. Нехитрые ташкентские манатки были собраны с утра и, прижавшись к коридорной стенке, ждали ленинградской участи. Завтра на заре артисту Р. предстояло выйти на Невский проспект и проследовать на Фонтанку. Но обратите внимание, господа, перед слепящим броском на большую сцену он увидел Анну Ахматову...

Скажем прямо, Р. был оглушен встречей, тем, *что* читала Анна Андреевна, и тем, *как* она читала. Прежде ему довелось быть представленным и слушать в авторском исполнении стихи залетевших в Ташкент советских поэтов — Смелякова, Светлова, Симонова, — но разница между ними и ею была велика и в словах еще неопределима. Если Р. этого и недопонимал, то явно чувял. По особым случаям у него обострялось лишнее чутье...

Выпивали и закусывали. Белая скатерть, подробная сервировка стола...

Судили и рядили о театре: Софья Станиславна Пилявская, Владлен Давыдов с Маргошей, Игорь Кваша с Танечкой...

Потом слушали музыку... Потом — стихи...

Для стихотворения голос Ахматовой выбирал какой-то соседний, гудящий регистр, а губы как будто ленились... Приковыливающая,

странноватая, кажущаяся неохотность и беспрепятственное проникновение в твой главный тайник.

Р. сидел через стол от Ахматовой и не отводил от нее глаз. «Крупный план» завораживал, а звук уносил за пределы места и времени. Совершенно уносил.

Есть три эпохи у воспоминаний.
И первая — как бы вчерашний день.
Душа под сводом их благословенным,
И тело в их блаженствует тени...

Может быть, в тот вечер Ахматова читала и не то, что слышит сегодня оглячивый автор, в «подвале памяти» нехватка свечей, но он бормочет слышанное из ее уст и, конечно, свое сокровенное.

И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни...

Другой человеческий масштаб — вот что увлекало, но Р. не сразу это определил. И все последующие встречи усиливали впечатление. Ни прежде, ни потом, во всю жизнь, людей такого масштаба Р. не встречал.

— *А ведь сон — это тоже вещица, / Soft embalmer, Синяя птица, / Эльсинорских террас паранет*, — гудело в его ушах, и Р. казалось, что это — для него. Может быть, снова почуял? Позже Анна Андреевна назначила Р. чтецом «Поэмы без героя». Почему именно его?..

Вспоминая Ахматову, чаще всего говорят о царственной величавости. Р. поразила ее речь. В одно и то же время она касалась прошлого и будущего. Не по смыслу, хотя, конечно, и по смыслу, но прежде всего по звучанию. Замедленный, протяженный, низкий и, со всем тем, возвышенный звук тайной властью сводил с «серебряным веком», но здесь же влек в опасные темные порталы предстоящих и следующих за ними лет...

Гул вечности — вот что это было, ее речь, и блажен тот, кто ее слышал...

Понимая значение встречи, хозяин представил Р. Анне Андреевне, сказав о Гамлете, о том, что с завтрашнего дня он станет жить в Ленинграде, и о первой книжке, вышедшей в Ташкенте накануне переезда.

— Вы родились в Ташкенте? — спросила она.

— Нет, в Одессе, — ответил Р.

Анна Андреевна кивнула красивой головой, может быть, оттого, что опять на одну линию стали три города ее судьбы, и сказала:

— Надпишите и подарите.

Первое приказание показалось Р. трудно выполнимым, второе — просто опасным. Он вышел в коридор, достал тоненькую книжку, уселся на свой баул и долго складывал надпись, открывая для себя несовершенство подарка и мучась неожиданным косноязычием. Он снова почувал, что, передав книжку Ахматовой, подвергнет свои стихи и себя самого другому, чем прежде, счету и будет обязан отвечать за слова и поступки по-новому.

«Анне Андреевне Ахматовой, — выводил он, — с глубокой любовью, несказанной благодарностью за сегодняшний вечер и паническим ужасом эту первую книжку... В.Р. 14 ноября 1962 года. Москва».

Потом, в числе одиннадцати других, даренных в Москве, в том числе с книгой А. Тарковского, ее передадут Валентине Андреевне Беличенко, бессменному директору музея «Анна Ахматова. Серебряный век», и во всей открытой беззащитности она останется лежать навзничь под застекленной крышкой музейной витрины...

Сочинив неуклюжую надпись, Р. вернулся в гостиную и уже перед самым уходом Анны Андреевны рискнул передать книжку по назначению.

Ахматова была благосклонна и на прощание сказала Р., что в Ленинграде он может позвонить ей по телефону и даже навестить...

В спонтанных и запланированных поздравлениях Г.А. Товстоногова по поводу семидесятилетия и получения звания Героя ар-

тист Р. оказался задействован плотнее, чем предполагал. Вышло это так.

На другой день после коридорной увертюры, вернувшись из глубокого автобусного рейда в торговый квартал Осаки, похожий на лабиринт и растянувшийся на несколько квадратных километров, Р. надел штатное кимоно и принялся готовить вечерний завтрак. Тут помреж Витя Соколов и сообщил, что в номер 740, к Товстоногову, просили приходить не ранее 20 часов 30 минут, иначе поток приветствий мог начаться гораздо раньше и утомить триумфатора. Р. поздравил себя с тем, что по какому-то наитию приберег бутылку пятизвездного армянского коньяка. Разгуливая в летучем кимоно по просторному апартаменту, он наметил соответствующие штаны и рубашку и, несмотря на то что Гога жил рядом, принял вежливое решение сменить домашние туфли на визитные штилеты. Успел он составить и легкое двустушиие, шутивно сопровождающее коньяк, как вдруг раздался звонок телефона.

Не знаю, как вы, дорогой читатель, но в течение своей нервной и двойственной жизни автор почти всегда безошибочно определял по сигналу, к добру он или к худу. Этот звонок ему не понравился: начальственные нотки и повелительное наклонение. И точно, на другом конце провода была руководительница японской поездки Анта Антоновна Журавлева. Кстати сказать, некоторые японцы выражали недоумение на ее счет: «Таким большим театром руководит женщина? Почему?». «По контракту», — отвечали наши находчивые. Так вот, без объяснения причин Анта просила зайти в номер 726, то бишь к ней, тут же и ни минуты не откладывая. Зная, что начальство по хорошему поводу не зовет, Р. стал размышлять: кто и о чем именно на него настучал, и уже пошел к выходу, но столкнулся в дверях с Валею Ковель, которая была крайне возбуждена.

— Володя!.. Скорее, мы тебя ждем! Это я просила Анту тебе позвонить, — и пока шли по коридору, объяснила: — У нас не получилось с подарком... Они прошляпили, и нужно срочно выходить из положения!.. Как кто?! Эти горшки, которым поручали... Слушай!.. Мы собрали по триста иен и подарим Гоге тридцать тысяч в конверте, понимаешь? У японцев есть такой обычай — дарить деньги в конверте!

— У узбеков тоже, — сказал Р.

— Ну вот, — подхватила Валя. — Это нужно обыграть в стихах, у тебя же есть чувство юмора!

Слышать это от Вали было лестно.

— А когда нужны стихи? — спросил Р., как обычно недопонимая всей остроты обстоятельств.

— Да сейчас, сейчас! — обиженно и даже с какой-то обвинительной ноткой в голосе сказала Валя. — Садись.

Место за столиком в будуаре Анты Антоновны было готово, и, по их мнению, Р. должен был тут же принять позу вдохновения. Анта с одной стороны, а Валя — с другой взяли за спинку изящного кресла, собираясь жарким дыханием в затылок вдохновлять придворного творца.

— Валя, — сказал Р., посмотрев на часы, — а раньше ты сказать не могла?..

— Ну думали же, что подарок будет! — еще более обиженно и капризно сказала Валя и посмотрела на Анту. — Пиши!..

Выходило, что все давно все понимают, один Р. не врубается.

— Я лучше пойду к себе! — сказал он. — Дайте хоть минут десять!

— К приему в посольстве — поздравительный стих, а сейчас — обыграй конверт, и — все! Пять минут! — белым голосом скомандовала Валя.

Анта молчала, считая довольным того, что указания шли из ее номера.

Положение было плачевное. Объяснять им, что Р. не только не умеет, но и терпеть не может сочинять поздравительные вирши, было бесполезно. Да еще, как говорил сэр Джон Фальстаф, «по принуждению»!..

У Р. уже был случай, когда он надолго потерял расположение Дины Шварц, объявив свое лирическое творчество «неподведомственным» театру. По-видимому, он тайно склонялся к порочной и осужденной партией позиции «искусства для искусства». А тут какой-то, извините, профком дает вольному певцу любви и Мельпомены низкое прикладное задание!..

Но, как сказал артист Кваша в роли Маркса, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» (впрочем, возможно, автор

путает, и это сказал другой артист, в другой марксистско-ленинской роли). Несмотря на общую тупость, Р. понял, что сегодня не тот случай, когда стоит принимать горделивую позу. В условиях японской оторванности от признанных мастеров «капустного» жанра принадлежность к цеху поэтов обязывала его выручить родной коллектив и «обыграть» «конвертацию» некупленного подарка.

В конверте... Черт побери!.. Только что, пока никто не давил, он родил две прикладные строки: *«Когда рождается «Гертруда», уместна звездная посуда»*; а что делать теперь, когда издевательски подмигивают номерные часики, и он «по принуждению» тщится опозитизировать японо-узбекский обычай. В конверте, это надо же!.. Поверьте... Ага!.. Это уже кое-что... И Р. впряг горделивого Пегаса в гастрольный тарантас...

Когда вошли к Гоге, Р. держался за спинами своих вдохновительниц, но Валя потащила его за руку, чтобы подчеркнуть единство всеобщего порыва. Голосом циркового шпехштальмейстера она заявила:

— Вручается коллективный подарок! Нашему дорогому, единственному и любимому Георгию Александровичу Товстоногову! — И поскольку шум не стихал, прибегла к легендарному приказу Бориса Левита: — *Ти-хо-о все-е!!!*

Народ притих, а Валя, взглянув на тонкий листок рисовой бумаги с фирменной маркой отеля, продекламировала текст. К крылатой фразе *«Тихо все!»* мы еще вернемся, а сейчас, нарушая зарок, автор с болью приводит вымученные строки, которые несмотря на литературную беспомощность (или благодаря ей) приобрели сюжетное, а стало быть, и историческое значение. *«Примите, Мастер, и поверьте, / такой в Японии закон: / все наши чувства — здесь, в конверте: / вклад, благодарность и... поклон!..»*

«О, Боже!.. Какая бездарная чушь! — корчился Р. — Как можно поклон поместить в конверте?!..» Но Валентина с таким победительным пафосом прочла этот бред, сопроводив последнюю строчку глубоким славянским поклоном, что участники сбора, битком набившиеся в Гогин номерок, разразились горячими, долго не смолкающими аплодисментами и стали выкрикивать: «Ура!», «Банзай!», «На *“мерседес!”*». Хотя денег в конверте было на одну запаску, и поста-

новочная часть явно выиграла соревнование с трупной, подарив юбиляру роскошные крупногабаритные часы с боем...

Тут началось общее ликование, передача рюмок и закуски стоящим далеко от стола, появились пельмени, и на этот счет спорят две равноправные версии: Анта Журавлева уверена, что их через второго секретаря прислал первый повар посольства, а Тамара Иванова убеждена, что пельмени были куплены семьей юбиляра и разварены в гостинице, то есть их надо было лишь опустить в кипяток, а Нателла решила варить, и пельмени слиплись...

С восторгом и восклицаниями был принят также и подарок фирмы, который вручал сам Ешитери. Не мудрствуя лукаво наш господин Окава...

Чур, чур меня! Никакой рифмы более!.. Вот они, чертенята, сами лезут, если без принуждения!.. Посмотрим, как себя поведут, когда придется писать торжественную оду для оглашения в посольстве!..

Итак, господин Окава подарил господину Товстоногову кимоно, причем какое, ручной работы, музейное, бесподобное. На следующее утро, в особое время, отведенное для просмотра, мы вновь с благоговением вступали под Гогины своды, вспоминая посещение исторической выставки подарков Сталину. Кимоно произвело на всех оглушительное впечатление. Мало того что Мастер смотрелся в нем, как император Хирохито или какой-нибудь еще более славный японский монарх, он плавно поворачивался вокруг своей оси, как главный музейный экспонат, твердо убежденный в своем художественном и историческом значении... Впрочем, может быть, Гога кимоно не надевал, и оно было повешено в простеночке между двух коек?.. Может быть... Но для романа лучше бы надел... Стало быть, надел...

Кимоно было ослепительно белое, шелковое, а может быть, парчовое, с тончайшим узором и нечастыми алыми цветами по всему полю, волшебное, вызывающее робость и шепот. Кто-то шепнул, что такие кимоно не носят, а кто-то прошелестел о цене: около миллиона иен. Розенцвейгу все же показалось, что девушка Иосико в своем более скромном кимоно выглядит предпочтительней...

Часы от постановочной части были с маятником: по концам блестящей штанги — два блестящих шарика, и вся конструкция мерно раскачивалась перед красивым циферблатом, освобождая мысль и вселяя надежду, что перпетуум-мобиле достижимо если не везде, то в Японии. Подарок можно было поставить на стол или буфет. Или отвезти на дачу, где часы оказались бы центром интерьера и дарили юбиляру ощущение блаженной вечности. Деньги молниеносно собрала осветитель Альбина Гатилова: по дороге из театра, в автобусе, отдали иены монтировщики и световики, а в гостинице — радисты и гримеры с костюмерами. Наутро Кутиков, Изотов и Куварин съездили в намеченный магазин, кажется, на Акихабару, и почти без споров выбрали этот удивительный экземпляр. А за завтраком Гога подошел к столу, где Альбина сидела с Галей Автушенко, и задал потрясший их простецкий вопрос:

— Можно к вам, девочки?..

— Господи, Георгий Александрович!.. Конечно!..

Будем справедливы, во время вечернего торжества равно приветствовались и более скромные подарки, потому что и они совершались от души. И все ахнули, когда Зина Шарко внесла сказочные орхидеи. Это был жест бескорыстной любви и признания. Хотя некоторые не могли удержаться и осудили безрассудство: цветочки с собой не увезешь...

Под шумок достал бутылку и Р., бормотнув вольнорожденное двустиишие, но армянский коньяк гости не прозевали, заставили повторить шутку о «Гертруде», и Р. сорвал-таки свои аплодисменты, ловкач!..

Да, это был вечер шуток и импровизаций, народного гулянья по коридорам, распахнутых дверей, надежд на чистое творчество и новые роли и награды всем верноподданным героического монарха. Юра Аксенов тут же начал прикидывать капустник, а Валя Ковель «среди шумного бала, случайно» напомнила Р., что стихи для посольского вечера — за ним, за ним!.. И всякий празднующий понимал, что, стоит только вернуться в Ленинград, как состоятся новые чествования, а там должна озаботиться достойными торжествами и столица нашей родины Москва...

Восклицание «*Тихо все!*», которым воспользовалась Ковель, было сугубо нашенское, «бэдэтэшное», и, как я говорил, родилось из уст Левита, с которым так трудно расставался юбиляр. Как-то перед началом спектакля, когда окно и дверь администраторской штурмовали зрители, стараясь предъявить законные и мифические права, перед его глазами появилось удостоверение охранника, и он услышал фамилию лица, чьи портреты люди носили на праздничных демонстрациях. Это, не помню какое, грозное лицо имело не то дочь, не то племянницу, явившуюся в БДТ запросто и без предупреждения. Водоворот жаждущих и так грозил утащить Бориса на самое дно, а тут — смотрите, кто пришел!.. Пытаясь овладеть ситуацией, — вот она, звездная минута! — он выскочил из-за стола и, перекрыв рядовые голоса, заорал благим матом на весь бурлящий вестибюль: «*Ти-хо-о все-е!!!*».

И эхо отчаянного вопля, как предание и анекдот, донныне раздастся под сводами первого советского театра...

Не зная, удастся ли вернуться к колоритному образу Бориса Самойловича, автор считает долгом сказать, что это был выдающийся работник, как, впрочем, все, кого собирал под свои знамена наш театральная вождь. Его административный дар был настолько высок, что, когда театральный институт открыл факультет управления и экономики, Борис был приглашен исполнять обязанности доцента и читал лекции, пользовавшиеся большим успехом. Еще в советские времена он начал осуществлять продюсерские функции, представляя Центральное телевидение, и именно Левит как исполнительный директор создал команду и организовал съемки «Смерти Вазир-Мухтара», сценаристом которого был знаменитый социолог и директор ленинградского телевидения Борис Фирсов, а редактором — талантливая Бетти Шварц, однофамилица нашего завлита.

Уйдя из БДТ и сработавшись с Евгением Мравинским, Левит не сумел сойтись с его наследником Юрием Темиркановым и вышел в открытое пространство. Он организовал одно из первых частных гастрольбюро и продолжал вывозить в загранку славные российские оркестры.

Когда, ненадолго пережив Гогу, Борис внезапно умер, его, отплывающего в роскошном полированном дубовом гробу, какого Р.

не выдвигал на театральных похоронах, пришли проводить многие известные музыканты, артисты и директоры. На щедрых поминках во Дворце искусств они сказали о Левите немало добрых слов, стараясь утешить его молодую и преданную вдову...

Марина была студенткой Левита и, влюбившись в учителя, счастливо прожила с ним двенадцать лет. Она вспоминала о его надежности, точности, абсолютной компетентности, безусловной ответственности, врожденном таланте импресарио и, не скрывая обожания, рассказывала о том, как энергично и по-джентльменски он пользовался своей властью.

Однажды глубокой ночью она приехала в аэропорт, ожидая мужа после европейских гастролей. Встречающих почти не было, никакой информации тоже, и Марина пошла искать хоть кого-то из персонала. Наткнувшись наконец на дверь «Диспетчерской», она, несмотря на запретную надпись, заглянула внутрь и спросила, когда ожидается самолет из Дублина.

— Девушка, — недовольно ответил старший, — самолет из Дублина в Ленинграде никогда не садится. Это прямой рейс на Москву.

— Никогда не садится, а сегодня сядет, — сказала Марина. — На борту — мой муж, он везет домой оркестр и посадит любой самолет там, где нужно!..

Дежурные смотрели на нее, как на больную, но в этот момент зазвонили телефоны, и они стали принимать информацию. Сначала диспетчеры переглянулись, а потом один из них сказал:

— Вы знаете, действительно, самолет из Дублина сядет на десять минут, чтобы дать выйти музыкантам...

И самолет приземлился, и в пустое здание еще старого аэропорта вышел Борис, — он почти всегда выходил первым, — и, увидев Марину, помахал ей рукой: он уже здесь, и все в порядке. Она запомнила эту встречу острее, чем его объятия с Вэнном Клайберном или другие выдающиеся сцены...

И, слушая влюбленный рассказ, Р. думал о том, как же сошлись Левит и Товстоногов в небесном зарубежье, на тех бесконечных гастролях, откуда не возвращается ни один самолет, и где их встреча,

видимо, неизбежна. Он старался представить себе, что мирного сказали они друг другу по поводу последней пылкой ссоры на земле, и вдруг ужаснулся тому, что, расставшись врагами здесь, они и там могли остаться верны себе и горделиво разминуться, даже не кивнув в знак забытого согласия и общих трудов в прежние лета...

— 8

Композитору Р. не спалось. Он тяжело ворочался на одинокой постели и думал о том, как непредсказуема быстрая жизнь. Почему узкобедрая девочка так легко отодвинула родственное гнездо на Зверинской, всю его заслуженную биографию, поденную работу и дорогой коллектив?... Каким чудом все это стало далеким и неважным, а душа наполнилась новыми звучаниями, в которых так стройно сливался большой симфонический оркестр и нервные струнные синкопы новоузнанных японских инструментов?

«Тарирара, рапапа, umpa-umpa... Дарикура, Нагойя, солнце, солнце...»

У композиторов это называют «рыбой»: рождающуюся мелодию заполняют любыми словами и междометьями; потом кто-то придаст им посильный смысл, и выйдет песня или оратория. Или «рыба» растворится, уплывет в океан бессловесных звуков, а оркестр оденется парадной симфонической формой, и музыка взлетит под белые потолки Большого зала...

«Тарирара, рапапа, umpa-umpa... Дарикура, Киото, Фудзияма...»

Семен Ефимович вставал, зажигал свет, записывал несколько нот и, запрещая себе продолжать, вновь устраивал темноту. И уже под легким одеялом чувствовал, какой силой и молодостью наполняется его новое тело...

На круглой башне против его окна погасли огни, и бегущая круговая строка, споткнувшись, исчезла, и загадочный «Fasom» рядом не горит, и «Daina Bank» притух, только зеленый указатель под мостом светится: вот главная дорога. А если что, как раз под самым хайвеем не дремлет трехэтажный особнячок с горящим иероглифом и понятным английским словцом на лбу: «Police», обращай за помощью. И на остановке автобуса свет. И в доме наискось верхний

этаж освещен. И справа заявляет о себе «IM» — кто такой? — большие внятные буквы, стройные, но без нахальства. А светильники по всему видимому участку хайвея желтые и лучатся, как у Ван-Гога. А на углах и антеннах осакских высоток красные огни. Чтoб ночные пилоты не врезались, и вертолетчики знали, куда садиться. Небо совершенно без звезд... Темное нестеганое одеяло... Где же Бог?.. Бог на месте.

— «Кто идет, кто идет, Сузуки, отгадай, / То зовет, то зовет: Баттерфляй, Баттерфляй», — неожиданно для себя пропел полуночник Р. и в совершенном блаженстве отдался на волю Пуччини. Он расхаживал по номеру и пел, стараясь быть неслышным, но чем сильнее он глушил в себе сладчайшие отзвуки колоратуры и могучие волны итальянского оркестра, тем мощней они отдавались в ушах, груди, животе, гулкой голове и стиснутom горле.

Р. плотно сомкнул губы и начал дирижировать оперой сначала. Партитура перемещалась в расширившееся сознание, ставшее конгениальным узурпатору Пуччини, и он долго раскачивался перед окнами, закрыв глаза и поводя гибкими руками. «Господи, Боже мой, какое счастье эта музыка!»

Сыграв божественный финал, Семен Ефимович обратил внимание на то, как оживает за окном новый рассветный цвет.

— Смотрите-ка, уже утро! — сказал он неизвестно кому.

Защитная сетка на лесах оказалась синей или даже голубой. Это слева. А стройка справа оделась в зеленую безрукавку, и на ней уже видны первые муравьи. И вновь загорается дневная реклама, соблазнительные пестрые плакаты, — ночью умные японцы сэкономили электроэнергию. И вот — смотрите! — прямо на глазах возобновила бег эта нервная строка на круглой башне, и заново родились синие и зеленые иероглифы. Какая прелесть эти таинственные значки! А куда делось плотное небесное одеяло? Одна голубизна, скажите, пожалуйста!.. И отдаленные шумы появляются без спроса, как гости у меня в Ленинграде.

Конечно, итальянские певицы поют волшебно, но именно в Японии лучшей Чио-Чио-сан признали молдаванку Биешу. И она дивно поет эту партию. Хотя, по-моему, героиня должна быть тоненькая,

миниатюрная, как цветок. Если фильм-оперу снимал бы Дзефирелли, он бы записал на фонограмму кого угодно, и на экране мы увидели бы что-то совсем юное. Скажем, голос Биешу, а лицо Иосико... Она была бы чудная мадам Баттерфляй, чудная!.. Золотко мое!.. Уточка моя!..

Когда автобус тронулся на экскурсию в Киото, композитор и артист Р. оказались вместе, Семен Ефимович, пришедший заранее и севший у окна, похлопал ладонью рядом с собой:

— Садитесь сюда, Володя!..

Из Осаки выбирались долго, и им удалось обсудить вчерашнего «Ревизора» на полторы сотни зрителей. В огромном — две тысячи мест — зале они казались участниками действия и личными гостями Городничего.

— Ну, как вы играли свой эпизод, своего Бессловесного? — Розенцвейг уже знал, как артист Р. называл своего временного героя.

— Вдохновенно, — сказал Р. — Я люблю его, как брата. Ни одного слова, настоящий мужик.

— Так скажите Гоге, он сохранит это удовольствие за вами!

— Нельзя отбивать хлеб у товарища!.. Боря Лескин изобразил в «Ревизоре» дворника, вышел со сцены, отклеил бороду и говорит: «Ну вот, встретился с Гоголем»...

— Вы помните «Чио-Чио-сан»? — без перехода спросил Розенцвейг.

— В какой-то степени, — осторожно ответил Р.

— Это же японская история!

— Конечно, — подтвердил Р. и запел: «У ней такая маленькая грудь и губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь, оставив девушку из Нагасаки...» Впрочем, это из другой оперы...

Красная путевая тетрадь лежала у него на коленях, и 30 сентября 1983 года артист Р. по наитию записал Ленинский монолог. Если бы он был более сведущ в мировом оперном репертуаре и лучше знал творчество Джакомо Пуччини, он бы только покивал Семену Ефимовичу, продолжая думать о своем. Но не было бы счастья, да несчастье помогло...

— Понимаете, во всем, все они итальянцы, — говорил Розенцвейг, — я имею в виду либреттистов и самого Пуччини. Джакозо и Иллика. И вот они берут экзотический сюжет, но в то же время там есть и что-то фактическое. Может быть, что-то было в газетах. Но — невэтомдело!.. Вы понимаете этот фокус?.. С Моцартом то же самое!.. Пишет австриец, истории французские, но все на итальянском языке!.. В переводе, конечно, эффект уменьшается. Слушать оперы Пуччини надо на итальянском!.. «Тисара, Тисара-а-а...» Ах, как это написано!.. Во всем, она расставляет цветы, убирает комнату и смотрит в окно, как приближается корабль. Она думает, что это плывет он. Тут стреляет пушка, и корабль причаливает в ту же самую Иокогаму.

— Ну да — сказал Р., — корабль называется «Хабаровск», но это — военный трофей, и его девичье имя — «Герман Геринг»...

— Слушайте, слушайте! Вы тоже, между прочим, могли бы сделать какое-нибудь либретто!.. Вот он уже идет к ней, ближе, ближе, и это нарастает в музыке, сейчас войдет... Нет!.. Это — не он! Все! Ошибка!.. Рухнула ее последняя надежда. И музыка здесь... Сердце переворачивается!.. Ее отдали замуж на 999 лет! Кто отдал? Дядя!.. У нее есть дядя, его зовут Бонза. Не смейтесь!.. Он служитель бога Ямато. И свадьбу организовал администратор Геро. А этот лейтенант, этот Пинкертон, которого она ждет, между прочим, клялся, что ее не бросит!.. И тут она открывает ящичек и начинает разворачивать белую бумагу. Вы знаете, что такое сепукка? Это нож для разрезания живота, специальный инструмент для харакири. Что интересно, что его заворачивают в рисовую бумагу и вынимают только на крайний случай... Но тут появляется ребенок, сын, и идет сцена прощания. Невозможно слушать без слез, сколько раз слушаешь, столько раз текут слезы... Она уводит мальчика, заходит за ширму... И ударяет себя. Удар, конечно, под ложечку и — вниз, к почкам!.. Но это не все. Тут раздается голос, он все-таки приехал, этот Пинкертон!.. Он уже капитан, и у него есть жена Кэт...

— По-моему, это мелодрама, — сказал Р.

— Во всем, да, — согласился Розенцвейг. — Сюжет — может быть, но музыка... — он оборвал себя и со счастливой улыбкой стал смотреть в окно.

— Шеф ему доверял слепо, — сказал о Сене Рюрик Кружнов. Рюрик умел играть на фортепьяно, закончил театроведческий и лет пятнадцать работал у нас радистом. Музыкальное образование позволяло ему хорошо понимать Маэстро. — Он мог все, он учил петь безголосых...

— Это я знаю по себе, — сказал Р.

— То есть как? А «Бедная Лиза»? — недоверчиво спросил Рюрик.

— Сеня научил... А помнишь детский хор в «Лицах»?

— Еще бы!.. Он мог сесть и наиграть любую мелодию. И оранжировал, как Бог!.. Мы переиграли все скрипичные сонаты Бетховена и Моцарта, просто так, для себя, он на «тирольке», а я на фоно. Мог взять трубу и сыграть, как трубач. Вы знаете, что вокализ в «Ревизоре» спел он?.. Что этот баритон — Семен Ефимович?

— Ты открываешь мне глаза, — сказал Р.

— Влюбился в пятую симфонию Канчели, потом в Уэббера... Был еще такой Элгар, никому не известный. — Рюрик помолчал и добавил: — Знаете, мне кажется, к вашим спектаклям он написал свою лучшую музыку.

— Ты думаешь? — спросил недоверчивый Р.

— Да, — сказал образованный Рюрик. — У меня в ушах звучит финал к «Лицам» Достоевского... Это можно сравнить с Малером, ей-богу!..

И хотя никакой заслуги артиста Р. в этом быть не могло и, конечно, не было, он разволновался. Свидетельство Рюрика снова указало на странную и никем прежде не отмеченную душевную, а может быть, и мистическую близость артиста Р. к покойному композитору.

Худущий, сутулый, бледный, с реденькой рыжей бородкой, Рюрик смотрел на мир немигающими голубыми глазами и в театре по большей части молчал. На первых шагах в радиоцехе он не смог спаять малознакомые детали и получил разнос от Изотова. Рюрик защитился:

— Я думаю, и Товстоногов не мог бы это спаять!

— Поэтому он и занимается другим делом, — невозмутимо ответил Изотов. — Он знает свой недостаток...

Как-то по аналогии с «бедным Йориком» Р. в шутку назвал его «бледным Рюриком»...

— Что вы такой бледный, Рюрик? — спрашивал его Заблудовский.

— Хвораю.

— Отравились?.. Простуда? — тревожился Изиль.

— Да нет, просто весна, — печально отвечал наш Пьеро.

— Да, да! — сочувствовал Заблудовский. — Причем каждый год!..

Когда Рюрик выиграл почетное право быть сфотографированным и занять место на профсоюзной доске «Лучший по профессии», он так и не смог выдавить из себя улыбки. Оценив его портрет, кто-то сказал:

— Вы не лучший по профессии, вы — лучший по процессии...

Однажды Рюрик заменил ушедшую в декрет пианистку, и уж тут-то, несмотря на духовную близость, ему от Розенцвейга досталось. Солируя, он еще справлялся с новыми задачами, но стоило ему заиграть с другими, как обнаруживался крайний индивидуализм. Театр — искусство играть с другими, а оркестр — тем более. Главное — это «цузаммен», «тогезер», «вместе» и так далее, на всех языках. И тогда музыка обходится без перевода. А в драматическом театре она должна помочь высказаться режиссеру и подчеркнуть волнение артистов. Подчеркнуть, а не заслонить, понимаете? В этом все дело...

Профессор Хокке «Лица» Достоевского оценил высоко.

В первый раз мы надрались три года назад, в восьмидесятом. Профессор Осацкого университета господин Кадзухико Хокке пришел на спектакль и высказал горячее одобрение, так что не пригласить его домой было бы просто невежливо. А дома, кроме большой бутылки водки и маленькой банки маринованных грибов, ничего не было. Как на грех. Ни жена Р., ни переводчица профессора не смогли ничего противопоставить растущему взаимопониманию культур и бурному развитию ученой беседы. И артист Р. с профессором Хокке крепко набрались.

Стало быть, в Осаке причиталось с Хокке. Но как раз на те дни, когда БДТ гостил в Осаке, дела русской кафедры швырнули профессора Хокке в Токио. Конечно, он нашел интересный выход,

но в следующий раз мы сумели ответственно надраться только в Твери.

— «И буде не я, карапела бы ты Твери», — цитировал профессор Грибоедова в удалом номере одноименной гостиницы, вспоминая, как мы разминулись в Осаке и обмывая удачу очередной международной пушкинской конференции. На столе, кроме всего прочего, опять были грибы и водка, а рядом с Хокке-сан сидела его жена, Митико, владелица небольшого аптечного бизнеса в Осаке, поддерживающая мужа в его научных переговорах как морально, так и материально. Особенное впечатление произвела она однажды в Пушкиногорье, когда, приглашенная на день рождения, надела по совету мужа тончайшее кимоно и гэта — высокие деревянные сандалии. Из конца в конец Петровского мелкими шажками шла японская картинка по глубоким весенним лужам, и потрясенная деревня следила ее путь...

И в Нижнем Новгороде хорошо посидели. И в Одессе, само собой разумеется. Имейте в виду, господа, что международные пушкинские конференции — не что иное, как парадные гастроли востребованных пушкинистов...

А в Осаке Хокке придумал вот что: вместо себя прислал на встречу с Р. свою талантливую аспирантку по имени Гие, и она скрупулезно выполнила наставления учителя. Прежде всего изящная Гие выставила большую бутылку виски, доказательство того, что профессор хорошо освоил не только нравственные уроки русской литературы, но и наши гастрольные обычаи: в Осаке с него причиталось, и он не хотел оставаться в долгу. Во-вторых, Гие подарила Р. номер газеты «Майнити» со статьей профессора Хокке «Творчество Достоевского и современные проблемы», где он не только осмысливал «Бобок», «Сон смешного человека» и исполнение Р. спектакля «Лица», но и высказал глубокие обобщающие мысли о повсеместной защите от зла всемирного «маленького человека». В статье говорилось, что добрая цель может быть испорчена недобрыми средствами, что Достоевский и Пушкин близки японскому читателю. Все мудрые мысли с милым акцентом перевела артисту Р. аспирантка Гие.

Принимая изящную посланницу, добравшуюся до «Отеля Осака Гранд» из городка Нисиномия, что между Осакой и Кобе, три часа

в один конец, Р. угощал ее чем Бог послал, но от виски она скромно отказалась. «Это для васе!» — сказала она с поклоном и принялась так горячо хвалить своего руководителя, что Р. ему позавидовал. Внушить такое чувство впечатлительной аспирантке мог только крупный и безупречный ученый...

Гие передала Р. еще один подарок — пластинку модной японской певицы Токико Като, выбранную ею самой. Токико поет в русском ресторане города Киото, рестораном владеет отец певицы, женатый вторым браком на русской женщине, Токико неплохо знает русский язык, может быть, не хуже, чем сама Гие и даже профессор Хокке. Но главная мысль верной аспирантки заключалась в том, что, слушая пластинку Токико Като, Р. легко вообразит, будто они с профессором не разминулись, а встретились. И даже отправились в Киото, чтобы посидеть в русском ресторане под сладкие звуки песен Токико. Более того, Р. представлялась возможность поставить дареную пластинку и выпить дареное виски в любой географической точке мира, и профессор Хокке тотчас мысленно присоединится к нему...

Но и это было не все. Уже от себя Гие подарила Р. сувенирный плакат с портретом невероятно красивой молодой японки в тонком кимоно, с веерами и зонтиком и прочла на японском и русском в переводе В. Марковой прекрасные стихи поэта Иссы, которые так любит профессор Хокке:

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету...

А когда, покоренный поэтической встречей с Гие, артист Р. имел неосторожность рассказать о ней артисту В. и Сене Розенцвейгу, первый из них тут же задал ему грубый и оскорбительный вопрос:

— И ты отпустил ее просто так?..

— Почему? — ответил Р. — Угостил, передал сувениры и проводил...

— Дурак! — обиженно сказал В. — Он тебе аспирантку прислал в подарок, а не пластинку! А ты ни хрена не понял!..

Р. тоже обиделся и ответил В. на грубом эсперанто.

— Перестаньте! — махнул рукой Розенцвейг. — Не обращайтесь внимания! Он завидует, что у вас такие японские связи!..

Семен Ефимович имел в виду не только аспирантку и профессора, но и моего ташкентского одноклассника Ирика Рашидова, работавшего токийским корреспондентом «Известий» и украсившего мою японскую жизнь.

Вслед за театром Ирик приехал в Киото...

Ирик остановился не в «Садах принцессы» — так пышно назывался наш отель в центре златого района, — а в маленькой гостинице «Канойя», неподалеку от нас. Назавтра Р. играл последний гастрольный спектакль, переходя на положение туриста, и у них с Рашидовым возникла дерзкая идея отмежеваться от коллектива и дунуть на «тойоте» куда глаза глядят. Ну, не совсем уж так, но до самого Токио. Такой автономный отрыв с остановками и сворачиваниями где заблагорассудится будоражил их воображение, как памятные побеги со школьных уроков...

Однако не тут-то было. Всезнающий переводчик-секретарь, сопровождавший Ирика во всех переговорах, молодой человек редчайшей вежливости и предельной скромности, на тихом английском растолковал нам, узбекам, что полученная Р. японская виза не персональная и общечеловеческая, а, наоборот, коллективно-стадная, и отрываться от своего обоза он не имеет прав и оснований. А нарушать японские правила нам с Ириком мешало правильное международное воспитание...

Окончив школу с серебряной медалью, Ирик уехал из Ташкента, поступил в какое-то престижное московское военное училище и надолго исчез с горизонта. Теперь, через тридцать лет, наши «бдящие» были к нему расположены, а корреспонденты — наоборот. Например, Юра Тавровский из «Нового времени» говорил об Ирике с оттенком профессионального высокомерия, слишком краткие заметки посылал он в «Известия» и слишком рвался порыбачить поближе к Окинаве, где дислоцировалась американская военная база. Но кто бы что ни говорил, это не отменяло сердечной приязни и дружеской расположенности двух одноклассников и выпускников муж-

ской средней школы № 21, достигших половой и политической зрелости в сталинские времена на пыльных тротуарах незабвенного Ташкента...

Директор нашей школы Яков Иванович Турин вошел в коллективное сознание класса истинным комиссаром. Однажды, отправляя старшекласников на уборку хлопка в Кашка-Дарьинский район и почуяв колебания интеллигентов и их родителей, Яков Иванович побагровел, как школьное знамя, вытянул руки по швам и закричал трубным тенором на весь школьный плац:

— А ну! Кто за советскую власть, от-хо-ди-на-ле-ва! — А когда весь строй шарахнулся в указанную им сторону, остыл и, теряя избыточный цвет, добавил: — А саботажников... Поханой метлой, каленам жалезам!..

Яков Иванович был сух, чисто брит, подтянут и любил кителя со свежими подворотничками. Жена его, Глафира Алексеевна, напротив, была женщина тучная, большелицая, благодушная и, в отличие от мужа, вносила в нашу жизнь мотивы чуждого временам абстрактного гуманизма. Согласно легенде, Глафира начинала карьеру школьной буфетчицей и правила голодными ордами, раздавая «пончики с повидлой», но, выйдя замуж за директора, проявила недюжинные способности и вскоре стала преподавать отечественную историю. Не имея своих детей, она любила наш класс материнской любовью и, являясь его руководителем, ходила на все выпускные испытания в качестве члена экзаменационной комиссии.

— Какой билет знаешь? — с искусством чревовещательницы, не шевеля губами, мимоходом спрашивала она в коридоре заведомого слабака.

— Двадцать первый, — буркал несчастный, не смея поднять на Глафиру преданных глаз, и она скрывалась за решающей дверью.

Вскоре его вызывали, и, подходя к страшному столу, жалкий неуч видел, что все неразрешимые для него вопросы сгрудились грозным сплошняком и лишь один бедный отщепенец скучает чуть в стороне от безумного стада. Его-то, голубчика, и хватал никчемный гуманитарий, радостно рапортуя жестокому и, безусловно, пьющему физику Михаилу Петровичу Брыксину:

— Билет номер двадцать один!..

А Глафира Алексеевна Турина подмигивала ему веселым карим глазом из-под выгнутой и по-узбекски густо насурьмленной брови...

— А Марат?.. А Сканчик? — спрашивал Ирик. — И Р. рассказывал ему одиссею классного гения, композитора Марата Камилова, который тоже жил в Ленинграде и боролся с чиновничьим холодом Союза композиторов то фантастической симфонией, то моцартианским загулом. И об Искандере Хамраеве, который, окончив ВГИК по курсу Сергея Герасимова, клевал ленфильмовское зерно.

— Здорово! — говорил Ирик. — Это надо же! Трое наших в Ленинграде!..

— А двое — в Японии! — напоминал Р., и мы пили за наш класс в тихом баре отеля «Канойя», где, кроме нас, ошивался поддавший тучный японец, грубовато хватавший за бока женщину в красном кимоно...

За окном шел долгий дождь, и мой одноклассник, очевидно, хорошо подготовленный к японской командировке, привел строчки вечного Басё:

Словно сон одной короткой ночи
Промелькнули тридцать лет...

— 9

Любому артисту известно и каждому ежику понятно, что уходить из театра нужно после победы, а не после поражения. Но мы знаем, что, при всей своей условной начитанности, артист Р. был дураком, и с этим автор ничего поделать не может. Ему остается лишь быть максимально точным в воспроизведении любых сердечных сцен и доверительных диалогов, так же, как и тогда, когда он, с Божьей помощью, подойдет к суровой сцене разрыва и формального расставания.

Почему формального?.. Да потому, что служба и жизнь — все-таки вещи несоизмеримые, и, когда завершается совместная служба, это, как выяснилось, имеет не слишком большое значение для дальнейшего. Сама смерть не в силах разомкнуть патетических объятий

судьбы, что и подтвердят, надеюсь, запоздалые страницы гастрольного романа.

Что же касается этого выдуманного и нарочито приbedняющегося жанра, то в одном из своих стихов, который стал незаслуженным поводом для волшебной музыки Розенцвейга, Р. сболтнул, что вся наша актерская жизнь — не более чем «короткие гастроли на медленно кружащейся земле».

Читатель, не переживший наших премьер, не в силах вообразить, какое пьяное чувство охватывает виновников, как ароматен светящийся воздух похвал, какая музыка льется в их чуткие уши, когда из уст в уста передаются сладчайшие реплики умников и умниц. «Вы слышали, что сказал Арбузов?.. А Беньяш?.. Вам не звонила Нонна Слепакова?.. А Фоняков?.. Он будет писать?.. А кто из ваших?.. Киракосян?.. А что она сказала?..»

Дина Шварц — великая мастерица победы. Что банкеты!.. Она расцветала и хорошела в наши звездные дни! Поговорите с ней, поговорите, и вам будет трудно заснуть, перебирая волшебные закулисные сценки!.. И весело будет вставать, предвкушая огни вечернего боя!..

Читатель, не переживший наших премьер, не знает о нас ничего.

О воскурения сладкого кальяна!

О чистейший гашиш!..

О вожденный укол в открытую вену!..

Короткое приключение славы, в котором ты главный герой — вот за что сражаются бедные авантюристы. «Победить или умереть» — таков наш пиратский лозунг. Чаще или реже, но мы пируем славные победы!

Рано или поздно, но под тем же пиратским флагом за нами плывет по Фонтанке одноглазая смерть...

Когда Гога отнял у него роль принца Гарри, артист Р. был близок к смерти. У него немели руки, темнело в глазах и останавливалось сердце. К нему отнесли, как к смертельно больному, и даже пытались спасти. Сам Гога, приобняв, завел его в кабинет и, лаская будущим, сказал, что *эта потеря никак, ну, совершенно никак не отра-*

зится на его актерской карьере, и его ждут новые роли, а что касается финансовой стороны, то уже написаны письма в Министерство культуры и Управление авторских прав, и Р., как создатель литературной композиции по двум частям «Генриха IV», должен получать гонорар вместо Шекспира. Гонорар сперва значения не имел, но обещание ролей и отеческое внимание мэтра обмануло смертельную боль, и артист Р. выжил. Больше того, он остался жить в этом театре...

Но рана вскоре снова открылась, и он стал думать, как это могло произойти. Как дело, которое он затеял и выносил и на которое имел все права, могло уйти из его рук? Ведь он не только строил композицию, но должен был сам ее ставить и играть, об этом они с Гогой уже договорились. Но вот «Генрих» идет на большой сцене, а артиста Р. на ней нет. Ну пусть, пусть принца Гарри играл бы еще и Борисов, но почему Гога отнял роль у Р. напроць и насовсем? Нет, ни на одно мгновение Р. не мог заподозрить Мастера в нетворческих мотивах, но, кажется, сама Мельпомена, да что там, сам Господь Бог диктовал ему здесь достойный компромисс: пусть артист Р. играет во втором составе, пусть через два раза на третий, но дайте ему играть! Ведь дал же ему Гога играть роль Чацкого, несмотря на то что Сережа Юрский против этого возражал! И даже ходил к Гоге с протестами. И у «Горя от ума», кроме «юристов» и «юристок», возникли «рецептористы» и «рецептористки». Ведь дают же Борисову иногда сыграть Петра в «Мещанах» вместо Рецептера, и здесь бы так!.. Нет, нет и нет!.. Почему?! Чтобы никто не мог сравнить?.. Разве Борисов не выдержал бы этого сравнения?.. Что там еще?..

Больше тридцати лет на вопрос не было ответа. Но он пришел, и пришел, откуда его совсем не ждал Р. Оказавшись по ту сторону самой смерти, все начистоту рассказал Олег Борисов. В дневниковой книге артиста Б. Р. прочел то, о чем бы никогда не догадался...

«На следующий день, — писал Олег, — позвонил Юра Аксенов и сообщил, что начинает репетировать «Генриха...» у меня дома.

Я тогда шок испытал. Почему дома? Почему не в театре вместе со всеми?.. «Так велел Георгий Александрович! — сказал Аксенов, переступив порог моего дома. — Будем готовить тебя вмес-

то Рецептера на роль принца. Володя с ролью не справляется. Я получил задание... Но только никто не должен знать, ни одна душа! Только твои домашние...»

Пахло это дурно, но правила этой игры нужно было принять...»

Почему? Ведь это так унизительно...

Может быть, этого унижения Олег и не сумел простить Гоге? Защищая достоинство, он мог потребовать, ну, предложить, наконец, попросить открытого назначения на роль и открытого соревнования на сцене. Или он был в таком положении, что ничего просить и требовать не мог? И принял «правила игры», которая ему так не понравилась и так «дурно пахла».

«...Мы репетировали месяца два. Они — в театре, мы — дома...»

Значит, за два месяца до окончания репетиций Товстоногов заведомо знал результат?.. Бедный Гога!.. Как же он мучил себя два долгих месяца, ежедневно наблюдая артиста Р. и готовя ему тайную замену!.. Но почему же все-таки тайную? Почему сразу не заменил, кто подскажет? Сразу было неудобно? Гамлета Р. играет, а с Гарри не справляется? Или сразу было незаметно, что не справляется? А надо было, чтобы стало заметно?

«Мне уже не терпелось выскочить на сцену, — пишет Борисов, — однако нужный момент долго не наступал. Я незаметно приходил в театр, когда репетиции уже начинались, устраивался на балкончике. Повторял за Рецептером «свой» текст. Однажды меня засек любопытный Стржельчик, стал выведывать: «Что это ты здесь делаешь? Уже второй день ходишь!» Товстоногов тоже Аксенова втихаря допрашивал: «Ну, как там Борисов? Готов?» А Борисов как на дрожжах... Наконец мой день настал. Георгий Александрович делал Рецептеру очередное замечание... Володя Рецептер, видимо, чувствовал, что за его спиной что-то происходит (а может, знал? ведь это театр, и любая «тайна» быстро становится явью! — достаточно хотя бы одному человеку это унюхать...»

— Да не знал я, не знал! — закричал, читая, артист Р.

«Рецептер был раздражен этим замечанием шефа и сорвался: «Я не м-могу, Г-Георгий Александрович, к-когда вы мне изо дня в день... изо дня в день...»

Р. — Господи! Изо дня в день. И заикается. Что же это за пытка такая?

Борисов. — *«Это была последняя капля. Далее последовало, как в шахматной партии «на флажке»:*

Товстоногов: *Где Борисов?.. Я хотел бы знать... Юрий Ефимович, вы не могли бы мне сказать, где Борисов?..*

Я (с балкона): *Борисов здесь!..»*

Р. (пытаясь сдержаться): — Господи, твоя Святая Воля!..

Борисов. — *«Поначалу тряслись руки...»*

Р. — Нет, руки немели...

Борисов. — *«Но Товстоногов, вроде, был доволен: и как я играл, и как они с Аксеновым придумали эту «партию»...»*

Р. (ошеломлен и не замечает временной дистанции) — *«Придумали "партию"»!.. Вот оно что!.. Придумали и разыграли!.. А ты был уверен, что проигрывал в честной борьбе...»*

Борисов. — *«Помню, как был взбешен Копелян: "А зачем мы тут два месяца корячились? Можно было тебя сразу назначить..."»*

Р. — Да! Да!.. А Розе Балашовой Копелян сказал: «У нас такого еще не было, по-моему, Володя хорошо репетировал, я не понимаю, что произошло...» А Олег так и играл мою роль — не Гарри, а меня в роли Гарри!..

Автор (из-за столика). — Стоп!.. Стоп!.. Артист Р!.. Я лишаю вас слова!.. Или возьмите себя в руки, или убирайтесь вон!.. «Стыдно быть старым артистом!..» Это никуда не годится!.. Одни дурацкие «чувства», и никакой дистанции!.. Вспомните Брехта, вспомните прием остранения!..

И по мере сил «оостранившись», Р. позвонил Юрию Аксенову, твердо решив вопроса «Почему ты мне этого никогда не говорил?» не задавать.

— Что это было, Юра? — спросил он. — Получается, что Гога приговорил меня заранее, а потом только разыгрывал «партию»... Что ему мешало назначить Борисова сразу?..

— Ну, Володя, я не могу ответить за него... Я, как ты понимаешь, выполнял его поручение. Он меня позвал за несколько дней до начала и сказал: «Юра, вы будете работать со мной на спектакле „Король Генрих IV“». Я понимал, что здесь ситуация непростая, ты делал пьесу...

— Я тебе напомню, — сказал автор, — сперва он пообещал Р. самостоятельную постановку, а потом решил ставить сам и *предложил помогать ему в режиссуре и вместе с Лавровым играть принца*... Иными словами, Р. было открыто предложено уступить «первородство» и перейти на вторые роли. А он отказался: «Вы ставите, а-играю я... Один...». Так вот, не слишком ли опрометчиво, с твоей точки зрения, отвечал Р.?

— Конечно, опрометчиво! — сказал Юра. — Надо было хватать то, что в этот момент дают. Чем больше схватишь, тем больше останется, когда начнут отнимать. Помогать в режиссуре ты в последний момент отказался, а он на это уже рассчитывал, пришлось звать меня. И потом, ты фактически навязывал свое распределение, путал карты. А что касается моего прихода к Олегу, ты это должен понимать... Какой артист поверил бы мне на слово? До того, как пришел я, с Борисовым должен был быть разговор у Гоги. Олег об этом не пишет, но сначала должна была быть договоренность между ними, а уж потом состояться наша встреча. В последние годы Борисов, выступая по телевизору, вообще не упоминал Товстоногова, как будто его не было...

— Но он испытывал неловкость, записал, что это «дурно пахнет»...

— Не знаю, Володя, тогда я этого не заметил...

— А куда делся Лавров?.. Товстоногов назвал мне Лаврова...

— Точно сказать не могу, но у меня такое ощущение, что он отказался за несколько дней до распределения, прочел и отказался...

Не почувствовал для себя... Там Лебедев, Юрский... Много эмоций, а он любил играть закрыто...

— Но Юра, у артиста Р. могла быть другая биография, если бы он все-таки сыграл эту роль, поэтому важно понять: когда Гога его приговорил — сразу или потом?.. Ведь ты участник этой «партии»... Р. играл генеральную репетицию!.. А до нее, с появлением Олега на сцене, была установлена строгая «очередь»!.. И эта очередь — тоже игра?

На что рассчитывал глупый автор, задавая опоздавшие вопросы? Что он хотел узнать и чего добивался? Этого он и сам не понимал...

— Все решал Гога, — сказал Юра, — а почему, не объяснял. Он был непредсказуемый, ты же знаешь. У меня с твоим «Генрихом» была своя история. Я ведь апогея вашего противостояния не застал... Сначала репетировали возле буфета, это было в шестьдесят девятом году... А потом Гога меня послал в Калинин, повторять у них «Правду, ничего, кроме правды!..». Где-то весной приезжаю в театр, и Валерьян (заведующий труппой В.И. Михайлов. — *В.Р.*) мне говорит: «Юра, зайдите ко мне!..». Захожу. Он показывает афишу. Я смотрю — все, вроде, нормально, и вдруг — «режиссер-ассистент — Аксенов». А я был всегда или «режиссер» или «сопостановщик». Меня это слегка возмутило, я спрашиваю: «А что такое, почему «ассистент»? Валерьян отвечает: «Не ко мне!..». И я ему говорю: «Или пишите «режиссер», или снимайте с афиши вообще!». И афиша «Генриха» вышла без моей фамилии... Осенью, после премьеры, захожу к директору, у него сидит Гога и вдруг он спрашивает меня: «Ну что? Вы осознали свою вину, поняли заблуждение, раскаялись?». Я сделал скромный вид и говорю: «Вроде, да». Тогда он поворачивается к Наричину и говорит: «Верните его имя на афишу!».

— Хорошая притча, — сказал Р. — Может, и я должен был «осознать вину»?.. Может, он и меня хотел чему-то научить?..

— Не знаю, Володя, — уклончиво сказал Юра и вдруг добавил: — История — ужасная проститутка, и рассчитывать на нее нельзя. Во всяком случае, я не верю, что, репетируя «Генриха», Олег испытывал большую неловкость...

— Иначе он бы не написал, — сказал Р. — И Балашовой говорил на озвучании: «Вообще-то хвалят, но такой осадок на сердце, как будто это моя вина перед Володей...».

Работая во МХАТе, Борисов узнал знакомый сюжет в перевернутом зеркале. По рассказам знатоков, он хорошо сыграл Астрова в постановке Ефремова, но на гастролях в Японии — автор обращает милостивое внимание читателя на глубокоуважаемое место действия! — у них вышла размолвка, и Ефремов решил сыграть Астрова сам.

«После Японии, — пишет Борисов, — кто-то остановил меня у доски расписаний: «Олег Иванович, вы на репетицию?» — «Да нет, разве сегодня есть репетиция?» — «Есть... в кабинете Олега Николаевича». Так я узнал, что мастера принялись за работу. Я вспомнил лекцию Ефремова об этике (!), идею объединения всех артистов, исповедующих «систему»... и у меня оборвалось все в один миг. Это всегда так неожиданно обрывается. Ведь репетиции исподтишка, тайком я проходил у Товстоногова...»

В конце жизни Борисова опять приманил Петербург. Лев Додин, ставивший с ним «Кроткую» и в БДТ, и во МХАТе, позвал его на роль Фирса.

Малый драматический снял квартиру на улице Рубинштейна, почти рядом с театром, Олега встречали с полным почетом и, чтобы подчеркнуть внимание, наполнили продуктами холодильник...

А в БДТ, на Фонтанке, шел свой «Вишневый сад» в постановке Адольфа Шапиро, здесь роль Фирса играл Евгений Лебедев, и ситуация снова оборачивалась соревнованием...

Репетиции шли полным ходом, когда у Олега подскочила температура. Вызвали из Москвы жену, и Алле удалось вернуть его в строй...

Когда подошли к финалу, Олег еще держался и даже сыграл полный прогон или генеральную в костюме и гриме.

Но, понимая, что премьера под угрозой, Додин, страхуясь, позвал смотреть репетицию Лебедева. Борисов этого не знал, но увидел Лебедева в зале.

После генеральной его состояние ухудшилось настолько, что пришлось увезти его в Москву и положить в больницу.

— Премьера была? — спросил он жену.

— Была.

— А кто играл? Лебедев?

— Да, — сказала Алла.

Олег отвернулся к стене и умер.

Последний сюжет восходит к свидетельству самому достоверному. И хотя позднее могли, а возможно, и возникли другие варианты, именно этот дошел до артиста Р., поразив его своей завершенностью.

«Господи! — думал он. — Благодарю тебя, что не я отнимал, а у меня отнимали!.. И прости, прости нас, грешных, Господи!..»

— 10

Р. приехал к Анне Андреевне в Комарово, в Дом творчества писателей, который позже станет для него местом отпускных стоянок и попыток догнать другую судьбу. Тогда же, в первый раз, как и положено провинциалу, он испытывал священный трепет. Все было оговорено звонками на улице Ленина, откуда связывались с Комарово, и, подобрав удобную электричку, чтобы не опоздать и не являться прежде времени, Р. постучался в положенный срок. Обстановка в двенадцатой комнате — первый этаж, по коридору направо, последняя дверь с левой стороны — была необычная: пол устлан газетами, скульптор, не в силах оторваться от работы, то руками, то стэком охаживает на станке сырой портрет героини, а она сама сидит в кресле и послушно держит голову прямо перед собой...

Здороваясь, Анна Андреевна нарушила позу и то ли назвала друг другу скульптора и артиста, то ли без этого обошлась, точно не вспомнить...

Чувствуя, что его время истекло, скульптор стал нехотя укрывать бюст мокрыми тряпками, как видно, это был не последний сеанс, а Р. подчинился паузе, которую взяла хозяйка. И стоило того. В молчании можно было как-то освоиться, а первые реплики оказались общего характера.

Наконец скульптор простился, и дала о себе знать пожилая женщина, роли которой Р. сперва не понял, а потом, для себя, стал звать «компаньонкой». Она подсказала говорить погромче и тоже вскоре ушла...

Позже автор восстановил, что скульптора звали Василий Павлович Астапов, а женщину — Ханна Вульфовна Горенко, оба имени при знакомстве прозвучали, но актерская память капризна, и Р. их тотчас забыл.

И тут пошел разговор вдвоем, занявший, как доложил Р. Виленкину, почти три часа. Как его передать? Тем более в нашем неустойчивом жанре? Если бы это были мемуары артиста Р., вы узнали бы, что с этого момента никого ближе к Ахматовой не было, а речь между ними шла, конечно, о его выдающемся даровании. Так «мемуарят» многие, и, что интересно, поэты. Но у вас в руках именно роман. Да, гастрольный, однако же... И ввиду жанровых сложностей и двойственности исходной позиции автор попытается пройти над ареной по натянутому канату без батута и лонжи и постарается не упасть. Следите за ним, господа!..

— Где вы жили в Ташкенте? — спросила Анна Андреевна, Р. стал называть адреса, и оба с удовольствием вернулись под тополя и тутовник и вспомнили старую орешину у зоопарка. Отрезок улицы Жуковского, на котором в последние месяцы была ее комната на балхоне (второй этаж), шел от Пушкинской до Советской, а тут как раз на углу и зоопарк, и огромная орешина у входа, и лев рыкает по ночам... Не рыкал?... Может быть, в войну его не было, или был другой, терпеливый... Это ведь позже Р. жил на Карла Маркса, между Первомайской и Жуковского, и слышал вечерами стоны голодного льва, а в войну — на Хорошинской, вернее, в Третьем Хорошинском тупике, по другую сторону Алайского базара. А через три дома, на углу Хорошинской и Третьего тупика, жила семья Козловских, у них Анна Андреевна встречала Новый, 1942 год, и братья Козловские играли Бетховена в четыре руки, а утром ее провожал до дому Женя Пастернак, сын Бориса Леонидовича.

Мимо ворот, за которыми жили Козловские, по Хорошинской торопился столетний арык; будущим летом Р. побежит по нему босиком и наступит на узбекский нож, острием кверху...

Эдика Бабаева, Валю Берестова и Зою Туманову, носивших ей стихи, — Р. познакомился с ними чуть позже, — она хорошо помнила. Вопросов с ее стороны больше не было, но вышло так, что Р. все о себе начисто выложил.

Заговорили о Ленинграде, театре, впечатлениях первой зимы, и Р. потерял легкость и уверенность. В ответ на его спотыкания Ахматова сказала:

— С этим городом и у меня невыясненные отношения...

Тут и появился Александр Сергеевич Пушкин; Ахматова упомянула «Каменного гостя», и они обменялись впечатлениями о Дон Гуане, причем у Р. опять развязался язык...

Далее последовали ее вопросы о Шекспире, не экзамен, нет, а свой интерес: что происходит в вашем Эльсиноре и что имел в виду автор, беря такой сюжет; и оказалось, что «Гамлета» Ахматова знает блестяще, хотя ее любимая трагедия — «Макбет». Тут важны английские ударения, а то у нас, в России, говорят по аналогии: Га́млет, Ма́кбет... Нет, не Ма́кбет — Макбѐт...

О Гамлете Анна Андреевна слушала внимательно, поощряя монолог, и все же перевела на автора: *неужели он был актером?*..

— А кем же? — удивился Р.

— Вот именно, кем, — повторила Ахматова и отложила тему до другого раза, чтобы собеседник к ней попривык...

Перешли к стихам; Р. прочел три стихотворения — тут надо отдать ему должное, сам догадался, что больше не надо, — и услышал, что они...

Ну, как тут быть? И сказать неловко, и не сказать нехорошо. Одно слово повторилось не раз, о нем и все сомнения. С одной стороны, оно касается лично читавшего, а с другой — сказано Ахматовой. Так приводить это слово или нет?.. «То be, — как говорится, — or not to be?..» Опять-таки, в письме Виталию Яковлевичу артист Р. его, конечно, выболтал. Но, во-первых, это — частная переписка, а во-вторых, — артист, что с него возьмешь? «Актеры не умеют хранить тайн...» Правда, письмо это вместе со всем архивом Виленкина — в Музее МХАТа, и дошный аспирант может его откопать. Как откопал автор. Подарил музею ксерокопии писем В.Я. Виленкина артисту Р. и получил в ответ ксерокопии писем артиста Р. В.Я. Виленкину. Голова-то дырявая, а там — какая ни на есть фактография. И это самое слово...

И все же, все же... Одно дело артист, а другое — автор. Нет, мы, право, в замешательстве и без подсказки критика Р. приводить его не решимся. Как он скажет, так тому и быть, так что, господа, потерпите, пожалуйста!..

Далее по просьбе Р. читала стихи Анна Андреевна, читала ему одному.

Впечатление было беспримерное и оказалось глубже, чем в первый раз, несмотря на толстую кожу. Тут звучали отрывки из пьесы «Энума Элиш», «Поэмы без Героя» и «Реквиема». И опять исчез быт, раздвинулись стены, и явился Пророк...

Однажды, когда Ахматова прочла Мандельштаму отрывок из «Божественной комедии» (явление Беатриче), тот заплакал. «Я испугалась, — пишет она. — Что такое?» — «Нет, ничего, *только эти слова и Вашим голосом*»...

Р., конечно, не заплакал, он на это и права не имел, но явно вибрировал и за своим лицом не следил, такое за ним водилось. Щедрость подарка и степень доверия казались незаслуженными, и только отнеся их к авторитету своего рекомендателя, он себя отчасти унял... *Ее стихи и ее голосом*...

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных «марусь»...

У нее отнимали сына и мужа, у Р. — мать...

В «Гамлете» есть сцена, когда бедный принц слушает Тень отца... Это было не совсем то, но что-то похожее... Из ряда вон...

В обратной электричке Р. сидел в углу и прижимал к груди завернутые в газету сокровища. Фотография, машинописный экземпляр «Реквиема» и книга стихов с надписью: «*Владимиру Рецеттеру, при кедре. Анна Ахматова. 28 марта 1963 г. Комарово*».

Большая семья композитора Р., состоящая из жены с тещей, сына с невесткой, дочери с зятем и двух сиамских котов (три семьи и два кота), проживала на Петроградской стороне, по улице Зверинской, лелея хрупкую мечту о достойном разъезде. Воплотиться она должна была по завершении кооперативного строительства на Финляндском проспекте, 1, в доме, стоящем напротив гостиницы «Ленинград», бочком к набережной.

Конечно, по мере сил домочадцы старались создать главе семейства условия для творчества и на Зверинской, а сиамского кота Фомку и кошку Дуньку ради всеобщего спокойствия даже кастрировали, но в большой семье одна за другой появлялись непредусмотренные проблемы, и домашний покой композитора Р. был чрезвычайно зыбок.

Особенно тревожила его судьба сына, мальчика живого и подвижного, занимавшегося ремонтом телевизоров, но мечтавшего о театральной режиссуре. За сыном нужен был глаз да глаз. Еще в то мирное время, когда семья составляла монолит и путешествовала на горбатом «Запорожце» по Украине и Прибалтике, Сеня назначал Ефима «штурманом» и велел ему пристально следить за картой, отвлекая таким образом от опасных инициатив.

Когда мальчика призвали, бывший военный капельмейстер рванулся в часть, чтобы дать ему дельные советы и смягчить суровость первых испытаний. И это ему отчасти удалось. Как только Сеня появился в «учебке», сержант Токказов Батраз Таймуразович достал из кармана гимнастерки избранные стихи, вырезанные из армейской газеты, и потребовал от рядового и необученного Ефима Розенцвейга обратиться к отцу с просьбой. Во-первых, композитор Р. должен был написать на эти стихи строевую песню, а во-вторых, посвятить это произведение самому Батразу Токказову, что отец немедленно сделал, несмотря на полевые условия и отсутствие нотной бумаги. С тех пор сержант не забывал Сениной заслуги и учил рядового шагать в ногу со взводом под эту, самую родную для него песню: «Солдатская простая дружба, как сигаре-, как сигаре-та на дво-их!..»

Драматизм в атмосфере начал повышаться, когда, поступая на режиссерский курс Товстоногова, Ефим не прошел по конкурсу. Молодая жена прошла, а он — нет. На следующий год — опять осечка,

и отец ничем помочь не мог: тесное сотрудничество с Мастером в таких случаях в расчет не принималось. И тогда молодая жена Лариса, о которой Семен выразительно сказал сыну: «Ты ее выиграл в миллион!», убедила его подать документы в Институт культуры. Туда Ефим поступил, но чувства глубокого удовлетворения у него не возникло, и, помимо режиссуры, его стала привлекать борьба за права человека...

В подробности политической деятельности младшего Розенцвейга автор не посвящен, но факт известен: к шестидесятилетнему юбилею советской власти у него обнаружили какие-то листовки, и в ноябре 1977 года он был арестован по 70-й статье Уголовного кодекса ЛО УКГБ при СМ СССР, то есть Ленинградским областным управлением Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. Забрали его прямо из семейного гнезда на Зверинской и отвезли в «Большой дом» на Литейном проспекте.

Семен Ефимович держался мужественно, но страдал глубоко.

Господь не приведи не ведать, что происходит с мальчиком, и носить ему скудные передачи! Боже упаси помнить наизусть регламент приема и списочный состав дозволенных вложений! Невольно вспомнишь тридцатые годы. И сороковые. И начало пятидесятых, с делом врачей и готовыми бараками на Дальнем Востоке. «Что я могу для него сделать?» — маялся он, а в театре изо всех сил старался не подавать виду...

За Фиму хлопотали друзья и знакомые, вступался Товстоногов, трудился адвокат Хейфец и дальний родственник, имеющий чин генерала. Наконец что-то повернулось, дело объявили «мальчишеской выходкой», и через несколько месяцев Фима вышел на свободу, «ввиду изменения обстановки».

В одной из бесед на Литейном, куда его продолжали ежемесячно выдергивать, отпущенник упомянул, что отцу не дают почетного звания. И получил искренние заверения беседчиков, что, как только сын даст согласие им помогать, отец свое звание получит «тут же». Разумеется, имелся в виду не адрес, а скорость получения, то есть «литейщики» не скрывали, что у них была надежная связь с ребятами из наградных учреждений...

Постепенно жизнь стала как-то налаживаться, и по утрам Семен Ефимович, как обычно, ходил в театр, а вечером возился с железной дорогой.

Забыл сказать, у него было хобби, если даже не страсть. Как-то он купил забавную игрушку детям, Фиме и Рите, но они отнеслись к подарку халатно. А паровозик так весело шустрил и тарыхтел по замкнутому кругу, что композитору захотелось умножить его музыкальные маршруты.

— Чуки-чуки-чуки-чук, чуки-чук, чуки-чук... Ту-ту-у!!!

Год за годом росла изящная система: докупались реле, стрелки, семафоры, вагончики, пассажирские и грузовые, цистерны, рефрижераторы, полустанки, вокзальчики и, конечно, новые отрезки путей. А если в ДЛТ вдруг «выбрасывали» новые узлы, композитор Р. просил всех знакомых, по возможности, занимать очередь и сообщать об этом ему. И сын Фима, бывало, стоял в очередях, потому что, как вы понимаете, найти режиссерскую работу после случившегося было непросто. Потом в доме появились журналы из ГДР со всякими схемами и советами, а кое-кто из коллег, например Юра Изотов, втянулся в игру и стал помогать Семену Ефимовичу в составлении нестандартных и индивидуальных схем. И за границей часть валюты композитор нерационально тратил на свое вечное детство...

О жене Розенцвейга, Майе Ефимовне, артист Р. ничего вразумительного сказать не может, так как с нею практически не был знаком. Да, на общих премьерах здоровались, но написать ее портрет автор затруднился бы. Говорят, Майя Ефимовна окончила юридический и преподавала в ПТУ. А ученицы любили ее и часто донимали дома, требуя срочных советов: делать ли аборт от женатого друга и продавать ли товарке почти новые сапоги. Советы ее были в цене, и дружбы продолжались долгие годы...

Семья — это государство, со своей экономикой, географией, историей, климатом, конституцией и общественным устройством. И тот, кто этого не понял, ни за что не постигнет законов жизни. Семья — кровные радости, тесные узы и страшные тайны. Конечно, в ней случаются войны и революции, появляются свои отщепенцы, но любые вспышки и бунты ничего не значат, потому что и на даль-

нем краю побега эмигрант продолжает чувствовать принадлежность семье и, в случае чего, готов встать на ее защиту.

Что касается глав семейного государства, то конец прошлого века стал постепенно размывать властные полномочия мужчин, и дымные изверженья вулканирующего матриархата вздыбили почву не одной гостиницей. Кухонь мы не берем, это не наша область. Но горе подданным, которые оказались меж двух огней, не успев присягнуть ни королю, ни королеве...

Семья есть семья, скажем мы, подражая Чехову, и вслед за ним вычеркнем все предыдущие рассуждения... Впрочем, нет. Это ведь он в пьесе вычеркивал, а у нас — не пьеса, а, может быть, даже роман...

Не станем ничего вычеркивать, оставим как есть, тем более что в письме к другу-литератору Александру Бестужеву сам Пушкин настаивал: «Роман требует *болтовни*; высказывай все начисто»... И «*болтовню*» не доморощенный автор, а Пушкин подчеркнул...

Расстреляв почти все патроны, то есть потратив гастрольный боекомплект, Стриж заскучал: «Мещане» отыграны, иены расфуканы, что делать?... Особенно его раздражали «гонорарные» выдвиженцы, обсуждавшие покупку столовых сервизов и других красивых штучек.

— Никаких Акихабар! — объявил он. — Магазины — это хулиганство!..

Собравшись погулять, мы с Ириком позвали Стрижа с собой, но Владик сделал паузу и отказался, потом перезвонил и согласился, а когда мы наконец вышли из «Садов принцессы» на нашу злачную улицу, стал рассказывать увлекательные истории. Он водрузил на нос темные очки и не взял с собой ничего, кроме фотоаппарата, подаренного ему на ЛОМО, крупнейшем оптическом предприятии Питера, после трехчасового и, конечно же, триумфального выступления. Правда, «каше» обнаружило перекося, но Стриж принялся набум щелкать нас с Ириком, Ирик — Р. с Владиком, а Р. — их вдвоем. Хорошо, что у Рашидова был свой аппарат, а то бы я не заимел прекрасной фотки: плакат с четырьмя голыми красотками, на одну из них рекомендательно уставлен палец Владислава Игнатьевича, а на другую в глубоком раздумье засмотрелся Р.

Надо сказать, что втроем мы, вероятно, выглядели недурно: Ирик в стального цвета костюмчике и при стальном галстуке был похож на respectable японца. Владик в темно-зеленой рубашке навыпуск, с кнопками и накладными карманами — на богатого американца. А Р. в красном джемпере поверх белой рубашки — неизвестно на кого. Но в присутствии двух первых тоже как-то смотрелся. Во всяком случае, местные сутенеры в нас поверили и кинулись в ноги, как бешеные. У них была раздражающая манера, привлекая внимание, хлопать в ладоши перед лицами возможных клиентов, и в тот день мы двигались по городу Нагойя под аплодисменты сутенеров.

Особенно старался карликовый зазывала, почти лилипут. Подпрыгивая перед каждым из нас, он трижды исполнил бесстыжую пантомиму о том, какие радости ждут нас в его заведении: то совал указательный пальчик в маленький кулачок и принимался им быстро-быстро сучить, то закладывал «большой» в неумолкающий ротик, то принимался по-собачьи дергать мелкими бедрами, так что, если бы мы и рвались к японским девочкам, он сделал все, чтобы от них отворотить.

Наконец до малыша дошло, с кем он имеет дело, и он твердо стал на нашем пути, широко расставив ручки и тормозя независимое движение.

— Русски, русски, ea?! — закричал он так, чтобы его услышали все коллеги и подопечные девушки. — Русски, но моней, ea?.. Но моней — гоу хоум!..

— Сейчас я его убью, — сказал Стриж, и мы с Ириком взяли его под руки.

Если бы артист Р. обладал даром предвидения, он утешил бы дорогого Стрижа, рассказав, как триумфально сложится его следующий приезд на Хондо, как потрясет он японских дам ролью Сальери в пьесе «Амадей», получит достойный гонорар и в нем возродится здоровое любопытство к местным промтоварам. А главное, что тратить честно заработанные иены ему поможет Люлечка, и тут же чудесно повторится фокус с присвоением Героя Соцтруда... Каков дуплет, господи! И Товстоногов узнал о «кавалерстве» в Японии, и Стрельчик тут же! Нет, положительно, великая Фудзияма была равнодушна

к моим героям! Впрочем, что я вру? Какое дело Фудзияме до наших геройств? К композитору Р. гора благоволила больше.

Перед красным синтоистским храмом веселые ремесленники рекомендовали розовых и синих игрушечных голубей, сделанных с такой любовью и искусством, что хотелось купить целую стаю. Стоило накрутить голубку резиновый хвост, и он, трепеща пластиковыми крыльями, взлетал ввысь и, как авиамодель, ходил по кругу над зелеными трубчатыми крышами и золотыми коньками синтоистского храма!.. Ах, Нагойя, Нагойя, как тебя забыть!.. Белая ручка «Pilot» этого не позволит, в пестром лотке артисту Р. удалось купить целый ворох прекрасных шариковых штырей для этой ручки, так что их надолго хватило. Даже сейчас есть...

Притомившись, мы вошли в приличную харчевню, где Рашидов кормил нас спагетти и поил пивом, а Владик почему-то вспомнил жестокую историю, как он снимался на острове Валаам и ему встретились страшные заточённые существа — человеческие обрубки прошлой войны. Очевидно, на мысль о калеках его навел карлик-зазывала.

Безрукие и безногие обрубки, говорящие тулова, головы на плечах, вот кого он вспомнил. Обрубки были изолированы от победившей страны на острове, и кормили их впроголодь, и он сам, Владислав Стржельчик, видел, кажется, последних оставшихся в живых. Их было всего четверо. Их осталось только четверо, потому что на Валааме шел отстрел, жесточайший и беспримерный отстрел искалеченных, униженных и оскорбленных, трах-тибидох-тибидох-трампампам-тратата. Такова была советская жизнь, и люди, не пережившие наших времен, не могут ее представить...

Позже появится рассказ Нагибина о калеках на Валааме, но Владик первым открыл нам военную тайну, и мы слушали его, стекленея от ужаса, посреди легкого прогулочного дня, в Нагойе, в Нагойе, куда я уже не вернусь...

Временная дислокация коллектива в злачном районе и ежедневные нападки японских сутенеров не могли нарушить нашего социалистического целомудрия, но косвенное воздействие эротической

ауры все-таки сказывалось. Отдельные товарищи стали оказывать игривое внимание своим и японским девушкам и, если бы не слабая гастрольная еда, неизвестно, чем бы это в ряде случаев кончилось. Но это были исключительные исключения. Да, мы фотографировались в вольных позах рядом с бордельными афишами, но именно вольные позы демонстрировали нашу свободу и независимость как от фарисейских условностей, так и от сексуальных соблазнов.

Однажды в Цюрихе куратор П. принялся подначивать артиста Р., демонстрируя ему полную доступность местных див, и даже прицелился к одной, довольно-таки ледащей и невыразительной. Оплата швейцарской сироты оказалась тарифной: разовая, почасовая, с дневной скидкой и ночными надбавками. Она стояла на углу и крутила на пальчике ключ от приюта любви. По прикидкам артиста Р., полковник П. процентов на шестьдесят шутил, а на сорок профессионально провоцировал, и Р. пришлось в ответ изложить ему бородастый анекдот о румынских офицерах...

А в прекрасной Нагойе был отмечен случай, когда артист А. в уютном номерке «Садов принцессы» ткнул не ту кнопку, и на экране телевизора возникла экзотическая порнушка о вечной любви. Не выключая программы, А. кинулся в соседний номер к артисту Б. и поделился опытом. Б. нажал на ту же кнопку, и «Принцесса» выдала параллельный результат. Чтобы не утратить сюжетной нити, А. вперился в экран и так увлекся, что забыл о своем номерке, где крутились те же картинки. На другое утро А. и Б. получили от «Принцессы» счета. Посоветовавшись между собой и с секретарем парторганизации, оба, тоскуя, отключили кровные иены...

Скорбный опыт поучителен, и другая компания решила перехитрить коварную «Принцессу». Она составила щадящую и остроумную калькуляцию просмотра. У Д. собралась антрепризная бригада, которая могла бы осилить любую пьесу, а главное, дать ей верное идеологическое освещение.

— Подумаешь, по пятьсот иен! — сказал беспартийный.

— И думать нечего! — отозвался партиец.

И блок коммунистов и беспартийных дружно просмотрел образовательную программу о девушке, которой был подсыпан опасный порошок, — тут заспорили, шпанская ли это мушка или тайное япон-

ское фармацевтическое оружие, — о ритуальном искусстве превращения девственниц в женщин и наоборот и душераздирающий сюжет о мстящей лесбиянке...

Закрывая постыдную тему, автор утверждает, что коснулся ее с единственной целью сообщить, что в описанных сексуальных оргиях С.Е. Розенцвейг участия не принимал и от всех призывов решительно отмахнулся...

— 11

Путь к свободе — вот что такое любовь. Новый взгляд на прежние обстоятельства. Большой пересмотр. Когда взрослый мужик, подчинясь звериному чувству, не позволяет себе вилять и стесняться, это становится опасным. И он ищет опасности, потому что созрел и хочет дорого платить за чистую радость. Семен Розенцвейг и сам не заметил, как выпрямила его дружба с девушкой Иосико. Почему дружба, а не любовь? Разве вы не знаете по себе, как близки эти земные благодати и как легко одну принять за другую? Именно так воспринимал отношения с Иосико мечтательный композитор Р. Вернее, именно так понял наконец своего героя склонившийся к провинциальному романтизму автор...

Маэстро и в голову не приходило прятать ее фотографии и подарки. Он был прав в своем чувстве перед всем миром, не говоря уже о театре или семейном общении на Зверинской. Время его пошло по часам, подаренным девушкой Иосико... Как все стало известно жене и семье?

Это и составляло отчасти скрытые обстоятельства сюжета, куда, по слухам, так или иначе вмешивались артист Х., музыкант Y., чекист Z., сплоченный коллектив, общественное мнение, чувства зависти, ложно понятой заботы, советского патриотизма и, разумеется, соответствующие ведомства.

Существовала версия, согласно которой артист Х. позвонил Майе Ефимовне и, любуясь своим поступком, сказал: «Майя, имей в виду, Сеня влюбился в японку, ты должна защищать свою семью...».

Было мнение, что музыкант Y., надеясь на служебное повышение, начал стучать на Сеню задолго до Японии и вошел в дружбу с чекистом Z...

Догадывались, что чекист Z., движимый долгом службы, организовал доставку отравленной информации до ул. Зверинской через секретных сотрудников S., L. и O., возвращенных в творческом коллективе...

Имелось предположение, будто Майя Ефимовна написала несколько писем, в том числе — девушке Иосико, и оно было перехвачено бессонной цензурой...

Говорили даже, что сам Товстоногов получил некий сигнал и обсуждал тему с дирекцией и, поочередно, с М. Е. и С.Е. Розенцвейгами...

Не довольно ли версий и предположений?.. Более чем...

Имейте в виду, господа: даже если бы автор и знал имя несчастного доносителя, то все равно не привел бы его здесь, потому что существующие или чаемые художественные пределы помешали бы ему паспортизировать древний грех. Он решительно отводит тень подозрения от любого возникшего на этих страницах имени и предлагает считать, что донос сооткался в позорном воздухе любимой эпохи и сам по себе достиг чертовского адреса...

Майя Ефимовна, которую домашние почему-то называли «Лялей», чувствовала себя оскорбленной. Всю жизнь она трудилась в ведомствах и учебных заведениях связи, вносила честную лепту в семейный достаток. Вместе с Семеном они пережили все эти времена, вырастили и воспитали детей. Ну, не все вышло так гладко, как хотелось бы, у Фимы случилось то, что случилось, а Рита могла бы выйти замуж чуть раньше. Но вот уже всё, слава Богу, и дождалась первой внучки, и есть все-таки машина, и дача в Горелове, и два любящих кота, никто не препятствует его музыке и железнодорожному хобби, с положенными остановками жизнь катится по своей колее, и вдруг на тебе — у него японка! Как вам это нравится? Поехал в Японию и завел себе японку!.. Седина в голову — бес в ребро!..

Живи Майя Ефимовна в другое время, она обратилась бы за советом к доброму ребе. Но она сама была умной и образованной женщиной, к кому она должна обращаться теперь? К кому?! Подскажите!..

Конечно, прежде всего надо сохранять юмор, она же понимает, что за этим японским романом нет никакого развода и распада се-

мы, но к чему эти демонстрации? Приехать и вывесить над столом эти подарочки, эти семисены и фотографии, то она в блузочке и брючках, то она в кимоно! И все время смотреть на ее японские чашки! «Который час? Без пяти двенадцать!» Знаете, как это называется? «Японо-мать» и никак иначе!..

Но смех смехом, а самолюбие задето глубоко, об этом уже судит весь театр, а вместо ребе с ней имел беседу Товстоногов, как будто это его дело. И все друзья и знакомые разделились на два противоположных лагеря, кто за Лялю, а кто за Сеню. И большинство, конечно, за Сеню, потому что он — главный кормилец и пострадал за любовь!..

Семен Ефимович умел молчать и не поддавался на выпады. Он продолжал ходить по утрам за свежим кефиром и есть домашние сосиски, хотя театральный буфет при таком положении дел был даже предпочтительней. Но как могла Ляля, мать его детей, стать напряженной и саркастической, как могла обсуждать с чужими совершенно необсуждаемое?.. Сделать его посмешищем для театра, для друзей и знакомых... И это на старости лет!.. Предать все эти годы, все эти трудности, все с кровью завоеванное благополучие и спокойствие!.. Он же вернулся, привез подарки, у него же и в мыслях не было рушить семью и вступать в поздний международный брак! Он же наступил на горло японской симфонии!.. Впрочем, невэтомдело! Невэтомдело!..

Дело в том, что *она не понимает*... Они все *не понимают*, не могут, не хотят понять, что он все-таки музыкант, все-таки художник, и его внутренняя жизнь не терпит никаких посягательств!.. Только Иосико в одно мгновение это до конца поняла!.. «Господи, что мне делать?» — думал он, и обида душила его, и слезы подступали к глазам. И если бы не кошачья пара, верные Дунька и Фомка, которые не придали значения ни одной из угнетающих душу версий и ласкались к нему с прежней страстью, ему нечего было бы делать под старой зверинской крышей.

— Фомочка, Фома, — говорил он, касаясь электрической головы любимого кота, и сразу подбегала ревнивая Дунька, со стоном выгибая нервную спину под музыкальной ладонью главного кормильца.

И тут пришло письмо от Иосико...

Заносит автора, заносит!..

Он так привык к Дуньке и Фомке, что поневоле продлил им жизнь, скорее всего, из нелогичной приязни к загадочной сиамской породе. Нелогичной потому, что сам он принадлежит к убежденным собачникам, а вовсе не к кошколюбам, и его пекинесь Мотя и Нюся, по паспорту — Ненси и Майкл, существа высшей императорской породы, которым он поклоняется. Как известно, человечество делится на кошколюбов и собачников, и тут уж ничего не поделаешь, этот вопрос неразрешим так же, как и национальный, так что не будем в него вдаваться слишком глубоко.

Но правда жизни требует уточнить болезненные обстоятельства. В то время, когда на Зверинской разворачивалась семейная драма, сиамской пары не было в живых. Сперва умер Фомка, который принял дом Розенцвейгов из лап сопородника Фомки Первого, долгожителя и интеллигента. А вслед за Фомкой Вторым скончалась нежная Дунька, и Сеня лично повез ее отяжелевшее тело на дачу в Горелово, где и захоронил на взгорочке, у забора, устроив мягкую могилку и скромную рукописную дощечку...

Печальные последствия японских гастролей выпали на долю двух беспородных котов, обожаемых Семеном не меньше сиамцев. Первого стали прикармливать еще в Горелово, а осенью, когда перед семьей возникла перспектива бескошачьей зимы, беспризорника Кошу, со всеми его деревенскими повадками и распутными привычками, взяли в Ленинград. А Фомка-Третьяк, такой же парвеню, как и Коша, был родом с Фонтанки, 65, и характер его был явно испорчен врожденной привилегией. С молодых ногтей он оказался наделен тяжелой и неистребимой фанаберией служащего БДТ, сродни той, которая портила нравы малой части нашего худсовета.

Матерью его была прописанная в БДТ Муся, или Машка, всегда беременная или обремененная сосущим потомством, что требовало от коллектива постоянного поиска «хороших рук». Известен случай, когда Машка, или Муся, в состоянии крайней беременности вошла в зрительный зал и имела неосторожность потереться о брюки Товстоногова.

— Что такое?! — нервно вскричал он. — Кто пустил кошку на рэпетицию?! Где командант?!

Но вместо коменданта на сцену вышла завреквизитом, красивая и спокойная Лида Курринен, и умиротворяюще спросила:

— Георгий Александрович, разве вы не знаете, что кошки приносят в дом счастье?..

В зале повисла пауза, во время которой Муся приблизилась к сцене и стала тяжело подниматься по приставной лесенке, предназначенной для главного режиссера. Увлекаясь, Гога спешил к артистам и вспархивал на сцену, чтобы показать или объяснить что-то важное. Именно этот адмиральский трап и заняло собой брюхатое, плебейское, жалкое существо. Общее напряжение росло, а Муся во все не спешила, отдыхая на каждой ступеньке, и наконец стало ясно, что без посторонней помощи ей не подняться.

Первым не выдержал Товстоногов и с той же страстью, с которой только что выражал свой протест, властно потребовал:

— Помогите же человеку подняться на сцену!..

Раздался вздох облегчения, и Лида Курринен поспешила навстречу бедной роженице. Так Муся получила человеческий статус и стала пользоваться признанием не только дирекции и театральных служб, но общественных организаций и близких театру людей...

Никто не взялся бы подсчитать, сколько детей она произвела на свет, выдавая их большими обоями и с неслыханной частотой. И Фомка-Третьяк, попавший в прекрасные руки Розенцвейга, был одним из них. В отличие от матери, казавшейся трехцветной, серой, с черными и рыжими пятнами, отпрыск был удручающе сер и, несмотря на явную откормленность, напоминал жителей помойки. Немного лучше выглядел и гореловский дачник Коша. Между тем оба они чувствовали себя хозяевами Зверинской и научились не только вскрывать холодильник, но вскакивать на стол и совать носы в тарелку столующегося композитора.

В напряженной атмосфере молчания и неожиданных вспышек коты взяли сторону Сени. Говорила ли в них мужская солидарность или глубокое понимание внезапной влюбленности, сказать трудно, но оба они, как могли, спасали композитора Р. от домашнего одиночества.

И тут пришло письмо от Иосико. «Я люблю вас, сенсей», — прочел он и быстро вышел на улицу...

Смотрите, как далеко вперед забежал одышливый автор!

Они еще катят в автобусе, едут на экскурсию, в седьмом ряду по левой руке Р. и Р., артист и композитор, один уперся в красную тетрадку, а другой смотрит за окно. Они не знают, что произойдет по приезде домой ни с тем, ни с другим. Куда же спешить? Дай себе время войти в сад камней, сбрось свое бремя, дай себе время ступить в мир теней, дай себе время... Эй, что такое?.. Да так... Не обращайтесь внимания...

— Что пишешь? — это Валя Ковель подошла к нашему ряду. — А поздравление Георгию Александровичу уже написал?

— Но это же к шестнадцатому!.. Время есть...

— То у тебя мало времени, то много, — недовольно сказала Валентина. — Ты смотри, не подведи!.. В посольстве все должно быть знаешь как?! Чтобы подымало!.. Как гимн!.. Юра Аксенов уже полкапустника написал!..

— Молодец, — сказал Р. и попросил: — Валя, ты, пожалуйста, не дави, а то ничего не получится...

— Как это не получится? — Она повысила голос, и к разговору стали прислушиваться соседи. — Имей в виду, *от тебя ждут!*.. Вечно ты, Володька, выегиваешься!.. Вот у тебя тетрадка, вот ручка, пиши давай! — И она вернулась на свое переднее место.

«Егда зъвань будеши на брякъ не сяди на предньемь месте», — вспомнил Р. урок старославянского, которому не нашлось лучшего применения. На свежие японские картинки за окном снова стали наплывать сценки с Мастером. И правда, вот ручка, вот тетрадка, какие проблемы?.. Но прикладные вирши к конверту с иенами — сущий пустяк в сравнении с заказной славицей для посольства. *От тебя ждут*. Кто?.. Сам Гога?.. Вряд ли!.. Надо же так сказать: «*Чтобы подымало!*». Она и сама не поняла, как точно выдала задание. Это смешно, но его ставят в положение гимнописца Михалкова или других, настоящих поэтов, от которых страшное время требовало сладких стихов. Им нужен «Марш энтузиастов». Или парадный портрет со звездой на лацкане. «Знакомая, негаснущая трубка»... В нашем случае — сигарета «Мальборо»...

За окном продолжали мелькать иностранные радости хайвея. Евсей Кутиков, Тэд Щениовский и кто-то еще, загружая новенькие стереомагнитофоны, громко восхищались солнечными батареями на каждой крыше и удивительно красивыми рощами бамбука. Сказочная Япония бежала навстречу. Будь благодарен, пиши!.. Нет, он — в размышлении!..

Играя моноспектакли, Р. привык спорить с собой, нанося и отражая удары, добиваясь своей цели от противника и чужой — от себя. И в фильме «Лебедев против Лебедева» он играл две роли: современного рефлектирующего физика и его циничного альтер эго. Здесь тоже шел нервный спор со своим зеркальным отражением.

— «Почему такое сопротивление? — спрашивал двойник в манере этого фильма, отвлекая от японских пейзажей. — Разве ты не ценишь Мастера? Не уважаешь его?» — «Ценю... Уважаю...» — «Тогда в чем дело?» — «Не хочу доказывать...» — «Благородно, но похоже на комплекс Корделии. Младшая дочь Лира тоже не хотела признаваться в дочерней любви. Помнишь, что из этого вышло?» — «Убирайся вон!» — «Минуту, братец-кролик! Разве ты не смирился со своими жертвами Мельпомене?.. Или тебе мешает близость к другой компании? Что скажут друзья поэты и прозаики? Что скажет критик Р., который не меньше тебя переживал потерю принца Гарри?.. Но ты же не собираешься печатать свой «гимн» в «Известиях»!.. Ты в Японии, вместе со всей труппой! Пиши не от себя, а от «народа»...» Помнишь гимн истфака, который пела твоя бедная мама и ее бодрые студенты? «Работы не пугаемся, упорно занимаемся, примером быть стараемся, такой уж мы на-а-род! Шагаем мы уверенно, учебой мы проверены, и лозунг наш поэтому: историки, впе-е-ред!» Что, если «историков» заменить на «артистов?..» — «Вон пошел!!!» — «Ах, какой нежный!.. Скажи спасибо, что я у тебя есть!.. Ну, не пиши гимна, пиши портрет! Вот тебе рифмы: Товстоногов — эпилогов, Товстоногов — диалогов... Товстоногов — враг подлогов, Товстоногов — друг бульдогов». — «Заткнись», — сцепив зубы, сказал артист Р. У него уже была зацепка, и он твердой рукой вывел в красной тетради: *«Не приспособлен Товстоногов для подведения итогов»*. Тут он успокоился и, оторвавшись от верноподданной строки, вернулся к действительности.

— Ах, какие домики я вижу за окном, эт-то удиви-тельно! — пел в микрофон Евсей Кутиков. — Ой, ой, ой, опять эти знаменитые глушители вдоль дороги!.. Э-т-то удиви-тельно!.. Боже мой, что я ви-ижу, бамбук!.. Ка-кой бамбук!.. По-моему, эт-то са-мый удиви-тельный бамбу-у-к!..

«Пусть продлится держава нашего Императора! — вспоминал Р. — Пусть он царствует тысячу, да, тысячу лет... Пусть он царствует, пока камни не станут скалами и не затвердеет мох...»

За окном блаженствовала в веках великая японская империя...

У людей с идиопатическими нарушениями организма нравственный дискомфорт вызывает и физические недомогания. Скажем, давящая необходимость принудработ может породить внезапный прострел, или флюс, или что-нибудь еще, совершенно непредвиденное. Кстати, термин «идиопатический», принадлежащий медицинской науке, означает отклонение от типа, возникшее вследствие ничего, не вызванное никакими причинами.

— Явление идиопатическое, — сказала автору одна красивая докторица, — это явление самостоятельное, однако, неведомого происхождения...

— Ага, — откликнулся автор и напомнил ей реплику гоголевского Поприщина: — «А знаете ли, что у алжирского бея под носом шишка!».

— Вот-вот, — сказала докторица. — Шишка явно идиопатическая...

Отчего этот чужой термин так ласкает авторский слух? Не только ведь оттого, что внутри его организма обнаружилось роскошное и опасное идиопатическое отклонение. Очевидно, с приближением завидного прилагательного для автора открылась чудная возможность применять его к шишковатому характеру артиста Р. и происходящим вокруг него театральным событиям. Автору остро захотелось придать медицинскому словцу расширительный, философско-художественный смысл. Представьте, господа, одним из героев у него выходил доброкачественный дурак, с идиопатическими нарушениями ординара!.. Повезло, просто повезло!..

Итак, необходимость создать хвалебную оду настолько разволновала Р., что у него еще в автобусе возникли кошмарные поясничные боли. И это в разгар непрерывных экскурсий в исторические дворцы и храмы. При том что сам объект поздравления широко и радушно предложил Р. присоединиться к интеллигентной компании, идущей в Музей современного искусства.

«Идти, несмотря ни на что идти», — решил скрюченный острой болью и вредностью характера Р. и натер больные чресла вьетнамской мазью «Звездочка», которую ненавидел еще больше, чем вьетнамскую рисовую...

Осторожно шагая вслед за командой ценителей, Р. вспомнил на собственный счет случай из жизни, рассказанный Волковым.

Однажды на звездном пляже сочинского санатория «Актер» к Волкову обратился прославленный мастер Малого театра Владимир Кенигсон.

— Вот вы, Миша, по моим наблюдениям, следите за собой, — сказал Кенигсон, — делаете зарядку, кушаете по системе Брегга, читаете журнал «Здоровье»... И несмотря на все это легко хватаете насморки, инфлюэнцы и прочие заразы. Казалось бы, нелогично, но я могу объяснить, почему...

— Почему? — живо откликнулся Миша.

— Гены — говно, — сказал Кенигсон и ушел в Черное море...

Музей современного искусства выставлял пестрое собрание вторичных опусов, не вызывавшее нашего энтузиазма. Ну, хорошо, золотоволоска в белом платье, со свечкой в руке; ну, хорошо, крестьянин в камышовой шляпе и запрокинутая в истоме крестьяночка; ну, цирк шапито, арлекин с кошкой, клоун с пуделем. Ну, бык, целующий женщину, он — фиолетов, она — желта... Обилие фривольных сюжетов объяснялось просто: молодые художники приносили в галерею свой товар, и лучшие образцы выставлялись на продажу...

Борящийся с болевым синдромом Р. успел было пожалеть, что поддался групповой ажитации, и возмечтал о тихом возвращении в номер, как вдруг услышал победный клич Товстоногова:

— Володя!.. Идите сюда!.. Ваша тема! — И, когда догнал мэтра в следующем зале, тот жестом демонстратора, словно делая подарок, представил ему средних размеров полотно в синева-розовой гамме: — Ваши русалки!..

Русалки оказались явно не его, но Мастер не был обязан вдаваться в детали: родовые признаки хвостатых див были налицо.

В многолетних размышлениях о природе загадочных персонажей Пушкина, а особенно прекрасной утопленницы, замышляющей ужасную месть, Р. задавался исходным вопросом: как должна появиться перед зрителем исполнительница главной роли: *на хвосте или все-таки на ногах?* И при каждой попытке воплощения на сцене или телевидении Р. двоился и шел на внутренний компромисс, потому что, честно говоря, не мог похвастать личной встречей с чистокровной русалкой. Нет, разумеется, красивые девушки, каждую из которых в нежную минуту он мог опрометчиво назвать русалочкой, на его пути попадались, но действительная представительница водной стихии никак в руки не шла...

Как мерещилось артисту Р., одним из скрытых источников сатанинского характера Царицы русалок и ее неутолимой жажды мщения должна была стать какая-то острейшая эротическая неудовлетворенность. Во всяком случае, приводя аргументы Михаилу Шемякину, вместе с которым он выпустил книгу «Возвращение пушкинской Русалки», Р. говорил:

— Понимаете, Миша, Русалка — абсолютно ваша героиня! Вы ведь соболезнуете странным животным, образцам кунсткамеры, всяким карлам и монстрам... Вы страдаете всем *инакоскроенным!*.. А тут, вообразите, женщина, которая не может раздвинуть ног...

— Да, — откликнулся Шемякин, — трагедия...

И этот аргумент стал одним из решающих, подвигнув знаменитого художника на создание русалочьей серии...

А японский художник, не задумываясь, изобразил пышнотелых одалисок со всем необходимым для жизни и любви: отменные груди, пышные бедра, натуральный хвост и удобно расположенные птички... Ну, те, которые в одной из сказок Пушкина легко взлетали на деревья... И вождедеющие чайки хищно присматриваются к трем русалкодевицам...

Товстоногов и новый главреж Театра Комедии Аксенов в соответствии с генеральским статусом приобрели каталог, а артист Р. удовлетворился одной открыткой. Вы догадались, господа, это были японские русалки...

— 12

Конечно, все зависело от настроения. В дни блоковской премьеры Гога сказал о литературных занятиях Р.: «Я вас понимаю», а на рижских гастролях взял наставительный тон и привел слова Чехова, мол, сказать о себе «я — писатель» — то же, что «я — хороший человек». Контекст разговора этого не требовал: Р. пытался внушить мэтру, что такие занятия могут стать материалом, если речь идет о персонаже пишущем. Узнав о приближении «Дяди Вани», он «мылился» на одну из ролей. Профессор Серебряков, например, пишет «брошюры» и «работает за столом». Но, может быть, именно это и царапнуло мэтра: Серебрякова сыграет Лебедев, и не о чем тут рассуждать. На Гогино замечание Р. ответил, что слова Чехова помнит и с утра до ночи занимается самоедством, но тут же превысил уровень необходимой обороны:

— А сказать о себе «я — режиссер» — не то же самое?.. Эта профессия ниже писательской?.. Как вы думаете о себе? — Разумеется, это была наглость, но кто вам сказал, что артист Р. был лишен этого качества? Вот его и качало от самоедства до наглости и наоборот. Особенно в разговорах с Мастером, от которого, как ему казалось, зависели течение жизни и судьба.

— Я всегда подвергаю это сомнению, — наставительно ответил мэтр.

— Можете мне поверить, я тоже!

— Это правильно, — сказал Товстоногов тоном уже примирительным.

Как он относится к литературным занятиям Р., понять нетрудно. Автор, невольно перенявший у Мастера многое, занимаясь с учениками актерским мастерством, говорит пишущим студентам: «Я вас готовлю в актеры, а не в литераторы», — и они его слышат. Пока...

Неспешные рижане с достоинством шли по своим делам. В прудах, тянущихся к вокзалу, так же не спеша и сохраняя достоинство,

двигались водоплавающие. Время от времени на темное зеркало падал кленовый листок...

Проводя свободное время по своему дурацкому усмотрению, Р. потерял несколько подручных бумаг: визитку гостиницы «Рига», месячный проездной билет до станции Асори, где снимали дачу его друзья, и августовский календарь театра — издаваемую ежемесячно маленькую записную книжку с переписанными в нее телефонами рижских знакомых. Но заметить потери не успел: на пороге гостиницы его ждала незнакомая Лилита, служащая рижского горисполкома, которая подобрала бумаги и легко вычислила растяпу.

«О, если бы так и терять всю жизнь, узнавая об утрате в миг нового обретения!» — думал Р., благодаря Лилите и обнявшись доставить ей по месту службы билеты на «Бедную Лизу», где он пел и даже танцевал. Простившись с вестницей удачи, он пошел в оперный, чтобы окоротить волосы, и на пороге театра встретил Гогу. Удача, удача! Пошел постричься и...

Минуту, господа. Деталь достаточно характерная... Актеры, надо вам сказать, редко ходят в парикмахерские и прибегают к помощи своих постижеров; в старом театре гримерный цех называли постижерским.

В первые годы службы в БДТ артист Р. отдавал заросшую голову на милость красавицы Лены Поляковой, а когда Лена с мужем, знаменитым фотографом Лево́й Поляковым, уехала в Америку, ему не давали зарастать жена артиста Валерия Караваева Наташа, в девичестве Лаппо, и Наташа Кузнецова, жена его однокурсника Юзефа Мироненко.

Ефима Копеляна стриг Леня Прокопец, руки золотые, но выпить любил. А до него — знаменитый мастер Алексеев по прозвищу Адмирал. Родной брат Адмирала служил гримером в Александринке и приводил в порядок не менее знаменитые головы.

Панков, Данилов и Басилашвили никогда не изменяли Тадеушу Щениовскому, а Сергей Сергеевич Карнович-Валуа превращал пострижение в ритуальный спектакль. Он никогда не просил очаровательных гримерш об одолжении, не принеся за кулисы торта или букета цветов. А вот Толя Гаричев не доверялся гримерам и охаживал

свой венчик самостоятельно, глядя на лысину в трельяж и ловко орудуя ножницами и расческой. Главбух Панна Анисимовна Перминова по особым дням уходила из кабинета пораньше и с полным доверием занимала кресло в гримерном цехе, где его командирша Екатерина Федоровна Максимова, испытанный партиец и агитатор, принималась над ней колдовать.

Кто-то склонялся к гримершам женской стороны, например Юлечке Исаевой или другим, новеньким, которых Р. уже не застал. А Юлечка так удачно подстригла однажды главного художника Кочергина, что он навсегда привязался именно к ней и, залежавшись однажды в кардиологической больнице, просил именно Юлечку навестить его и привести в божеский вид...

У своих «одолжались» и Луспекаев, и Лавров, и Лебедев, и Юрский, и Трофимов, и Штиль, и Заблудовский, и Гай. Поступали так все не от скупости. Стрижка в госпарикмахерской, — а тогда все они были государственными, — стоила гроши. Но вслед за неизбежной операцией артистам предстояло выходить на сцену в той или другой роли, а они требовали той или иной прически. Поэтому с чужими ножницами встречаться опасались. Поди объясни человеку, что именно тебе нужно. А наши знали все бугорки и пригорки актерских голов и требования текущих ролей. И хотя, по правде говоря, для мастеров выходило это лишь дополнительной морокой, не было случая, чтобы кто-нибудь из них отказал...

Г.А. Товстоногов никогда не доверял головы служащим театра. Заявив однажды, что он — «несъедобен», Мастер никогда не «подставлялся» ни в прямом, ни в переносном смысле и стригся в неизвестных местах, мы замечали только результат. В то же время его глубоко заботило, как выглядят артисты, а особенно артистки БДТ. Не любя париков, Гога запрещал героиням неожиданные стрижки или покраски. С. и Ф., например, схлопотали по выговору, и приказы были вывешены на общее обозрение. Представьте, приходит Волков играть «Еще раз про любовь», и вдруг партнерша — темная шатенка!.. Вчера была яркая блондинка, а сегодня...

— Что это? — трепеща, спрашивал он. — После ухода Дорониной меняют артисток и даже не сообщают партнерам?!

Но ввиду того, что поступки С. и Ф. были совершены ради сценического совершенства и без злого умысла (обе они так же, как Таня Доронина, нравились Р. независимо от цвета волос и характера стрижки — по случаю он сыграл ту же роль, что и Волков, и любить каждую из «Наташ» был призван), — автор изменяет строгому правилу. Любуясь и сострадая, он открывает читателю закулисный секрет: артистка С., получившая выговор за стрижку, — Люда Сапожникова, а артистка Ф., наказанная за перемену цвета, — Галя Фигловская, да будут неувыдаемы их долгие дни...

И вот еще что. Имейте, пожалуйста, в виду новооткрытый нами факт: *Александр Александрович Блок тоже стригся в Большедрамте!*.. Да, да!... Таскал с Фонтанки дрова, оставался ночевать на известном диване, получал продуктовые выдачи, одалживал у артистов деньги, доверялся нашему парикмахеру и т.д. Вот она, неопубликованная запись, которую с волнением разобрал автор.

«20 марта 1920 г.

В театре пусть... (нрзб) можно обстричься, что и сделал...»

(А. Блок. «Записные книжки»)

Читатель, не претерпевший наших времен, наверное, уже понял, какой стальной юбилейной поступью шла страна, кланяясь большим римским цифрам очередного партсъезда и большим арабским знакам красных дат советской власти. Прибавьте дни рождения и смерти кумиров и основателей. Вот эти-то глубокие римско-арабские поклоны вошли в нашу плоть, кровь и серое вещество, оставляя нетронутыми лишь укромные уголки, где ютились опять-таки юбилеи, хотя и другого характера. Например, драматурга Шекспира. Или поэта Ахматовой. И поскольку Шекспир был прописан в допартийной эпохе, а Ахматова подвергалась партийной критике, юбилей первого мы отметили, а юбилей второй замотали...

Артист Р. постоянно и неуклюже хитрил, стараясь в госслучаях обойтись малой кровью, а в художественных — включиться от души. Здесь, за заборами юбилеев, и шла его частно-предпринимательская жизнь: то — съезд, то — Блок, то — Ленин, то — Пушкин, то обойдется, то предпримет...

С Лениным хлопот не было, тут следил театр, «перечитывая заново» страницы сладостной «ленинианы». Выйдешь лейтенантом Корном с кортиком, утопишь черноморскую эскадру, «открыть, мол, кингстоны», и — баста!..

Правда, потом поклоны — широким фронтом участников. Но в русском театре есть хорошая актерская традиция: кланяешься публике и шепчешь: «Простите меня, пожалуйста, простите!..». Сколько раз поклонись, столько раз попросишь прощения. А они все хлопают, хлопают...

Почему?.. А потому!.. И Ленин красивый, и эскадра на дне, и церкви порушены, и священников — в расход, и всю вашу говенную интеллигенцию — к стенке, в застенки, за колючий забор!.. Или, в лучшем случае, — за бугор!.. На хутор, кибитки ломать!.. Браво!.. Би-ис!..

Однако нужно быть справедливым и не причисывать зал под одну гребенку. Были в нем не одни ленинцы, но и те, кто видел в нас борцов, и кто просто ходил на одну или другого, *и знаток, суд которого должен был перевешивать для нас целый театр, полный остальных.* Как сказал Гамлет. Или тот, кто, по мнению Ахматовой, мог выйти на поклон вместо Шекспира...

Главное, что зритель любил нас оптом и в розницу, и мы отдавались ему целиком, веря в светлое будущее. И не важно, что для одних это был коммунизм, а для других — его крушение, важно, что мы составляли с залом одно существо, потому что были зеркалом, в котором зритель видел, что хотел. В этом и был Гогин гений: и Мышкин — человек, и Эзоп, и даже Ленин по-своему человекообразен...

Как-то в случайной компании один мыслящий товарищ из бывших большевиков, не замечая анахронизма, предложил тост за Р. как представителя того славного БДТ, очередной юбилей которого был у всех на устах. *Как повод для тоста Р.* оказался не хуже других, тем более что разливали водку «Дипломат» завода «Ливиз». Так вот, этот вдумчивый правосторонний (по-старому) зритель поставил в заслугу БДТ то, что *театр подготовил общественное мнение к бескровному переходу от недоделанного социализма к недоделанному капитализму.*

— Вы ковали новый менталитет, — сказал тостующий. — А случись новая революция без такой художественно-исторической подготовки, опять пролились бы реки крови! Нет, кровь, конечно, была, но в сравнении с семнадцатым годом и гражданской войной ее почти не было...

И, что интересно, другая зрительница, из бывших прогрессистов, фактически присоединилась к бывшему большевику, хотя и другими словами:

— Мы, — говорит, — были вместе, мы вместе сопротивлялись режиму. И театр был абсолютно свой, даже когда ставил «датские» спектакли. Мы бы не выжили без вас, понимаете? Мы вами сопротивлялись. Когда друзья из провинции смотрели «Протокол одного заседания», они были потрясены и рассказывали, что у вас «говорят такое...», и замолкали, и все равно оглядывались по сторонам, не слушает ли кто! И в этих спектаклях было что-то еще... Что-то человеческое. Но главное, конечно, «Горе от ума» и «Мещане». Это была революция, понимаете?.. Нет, вы понимаете?!

И Р. сказал «да», хотя автор в этом сомневается, зная, о ком речь.

На всякий пожарный (не приведи Бог!) случай повторим: *«Большой драматический эпохи Товстоногова — лучший театр всех времен и народов, а «Мещане» — лучший спектакль нашего вождя»*. И поскольку Р. был в нем занят, он знает, что такое общее счастье, и может предложить читателю отдельные тосты, за каждого из членов труппы, каждого представителя цехов, бухгалтерии, администрации, каждого работника гардероба, буфета, билетного стола, пожарной охраны и отдела кадров. Разумеется, если речь идет о людях нашего исчезающего племени и разливается водка «Ливиз». Нет, нет, московский «Кристалл» даже не предлагайте, идиопатическое отклонение от сердечного ординара заставляет следить за чистотой продукта... Да, и за частотой... Что?.. Шотландский виски?.. Да, безусловно... И, чтобы избежать дальнейших вопросов, — настоящая грузинская чача и русский самогон-первач. Тот, который делают для себя... Да... Спасибо... Ваше здоровье!..

И с какими противоречиями этому заявлению ни встретится читатель на этих страницах, пусть помнит: мы с нашим залом бы-

ли заодно. И если кто-нибудь выходил к зрителю в одиночку — «Гамлет», там, или что-то вроде этого, — за его спиной стоял театр. Поэтому все лучшее и успешное, чем отличался артист Р. в зале Чайковского или на камчатской погранзаставе, автор просит записать на счет БДТ, а все худшее и провальное — на его личный...

Но вернемся к нашим юбилеям.

«Юбилей как движущая сила культурной истории» — вот на какую тему мог бы защитить ученую диссертацию артист Р. Благодаря юбилею Блока он поставил «Розу и Крест», благодаря юбилею Пушкина основал Пушкинский театральный центр.

Десять лет тому назад, 3 октября 1993 года, в городе Бостоне Н.Л. Готхард снимал на видеокамеру моноспектакль артиста Р. «Прощай, БДТ!». В зале собралось много бывших москвичей и ленинградцев, в их числе Наум Коржавин с женой.

И он, и Р. всю ночь не спали, потому что в Москве, у Белого дома, шла пальба, и они не могли оторваться от экранов...

А тридцать лет тому назад, умыкнув красавицу Любаню у кишиневского мужа, Наум, или, как его называют друзья, Эма Коржавин, прислал Р. фототелеграмму и явился с любимой, чтобы провести медовые недели в маленькой, но уютной квартирке театрального общежития БДТ на Фонтанке, 65.

«Милый Гамлет, я не смог / К вам прибыть в удобный срок, / Буду, сон и лень поправ, / В семь утра. Сэр Джон Фальстаф...»

Коржавина на гастрольный спектакль Ташкентского театра привел Рассадин. С тех пор Эма прочих Гамлетов не признавал и громил пародиями.

— Слушай, пайщик! — требовал он после просмотра и высоким поющим голосом, помогая себе пухлой рукой, читал:

Там все равны, дурак ли, хам ли,
Там — плеск волны, там — дикий брег,
Там пост занять мечтает Гамлет,
Простой советский человек!..»

О первой книжке стихов ташкентского «принца» Коржавин тиснул заметку в «Новом мире» и вскоре после переезда Р. в Ленинград срочно вызвал его в Москву для встречи с С.Я. Маршаком.

— Эма, ну что я ему скажу?!

— Говорить будет он, ты будешь слушать!..

Так и вышло. Маршак два часа рассказывал о поэте Некрасове...

— Читайте со сцены Некрасова, голубчик! — с придыханием убеждал он.

На Фонтанке за Коржавиным осталась пачка вдохновенных черновиков, в том числе «Поэмы существования», «Братского кладбища в Риге» и других лирических произведений, имеющих предметом будущую жену Любовь.

Отметим кстати, что в квартирку Р. любили заглянуть многие московские литераторы и, что интересно, вместе со своими девушками. То ли Москва относилась к их героиням суровой, то ли они хотели совместить приятное с полезным и, навещая достопримечательности, провести романтические гастроли. И артист Р. с радостью их принимал. И Олега Чухонцева с милой подругой, и Володю Войновича со способной ученицей...

Голубой мечтой Чухонцева, или Чухны, как его тогда называли, было посещение Эрмитажа. Но, доехав наконец до Ленинграда и поселившись в общежитии БДТ, он стал подниматься поздно, до часу пил кофий, тут с репетиции возвращался Р., опять возникало застолье с разными разговорцами, а вскоре за окном начинало темнеть. До Эрмитажа так дело и не дошло...

Увлеченный Чухонцев тоже на радостях оставлял в театральной квартирке мелкобисерные черновики, а увлеченный Войнович рассказывал наизусть первые главы ненапечатанного, но уже пошепту славного «Чонкина», и гости — Гай и Гога с Диной — падали от хохота...

А в 93-м в Бостоне Коржавин привел на спектакль Н. Готхарда с кинокамерой, и Р. втайне прощался с гастрольной свободой...

Еще ночью кто-то из идейных эмигрантов звонил ему: «Оставайтесь здесь, черт знает, чем это кончится в России!». Но в ушах у Р. загудело:

«Мне голос был. Он звал утешно...», —

и утром он ускорил вылет домой.

На прощанье Готхард успел рассказать о Ханне Вульфовне Горенко, к которой Р. был так невнимателен при встрече с Ахматовой в Комарово...

Вся семья Ханны Вульфовны погибла в Николаевске-на-Амуре от рук банды атамана Тряпицына. В 1933 году, уже в Александровске-на-Сахалине, она познакомилась и вышла замуж за Виктора Андреевича Горенко, родного брата Ахматовой, который после бегства из Севастополя, где ему грозила смерть, и скитаний по России оказался на Дальнем Востоке.

В связи с тем, что названные места Р. навещал с гастролями, следить за рассказом было вдвойне интересно. Как бывший морской офицер Виктор Горенко проходил у советской власти «лишенцем» и найти работу не мог. Китаец-проводник перевел через границу сначала его, а потом и Ханну Вульфовну. Горенко начал плавать помощником капитана на грузовых судах, а Ханна Вульфовна, поработав фармацевтом, выучила английский и стала преподавать русский в Шанхайском университете.

Однажды, еще на Сахалине, сосед по дому пригласил их на Пасху, и деревенский родственник задал гостям вопрос:

— А вы не из жидов будете?

— Нет, — без паузы ответил Виктор Андреевич, — мы из людоедов.

— А-а-а! — понимающе отозвался тот...

Из Китая писем Анне Андреевне Горенки не слали, а послевоенной травли понять не могли.

Потом Виктор Андреевич уехал на жительство в Америку, а Ханна Вульфовна — в Ригу. Стоик и терпеливица, она любила повторять материнское наставление: «Старому и бедному поклонись первой

и никому не завидуй». Когда же речь заходила о надвигающихся болезнях, меняла тему: «Не хочу встречать горе на полдороге...».

— А Виктор верит в Бога? — спросила ее о брате Анна Андреевна.

— Нет, — ответила Ханна Вульфовна.

— Ну и дурак, — огорчилась Ахматова.

Ханна сохранила с бывшим мужем добрые отношения и передала в Нью-Йорк данные о размере, а брат выбрал и прислал знаменитое японское кимоно, которое видели на Анне Андреевне многие, в том числе и Р.

В Токио перед широкой публикой Ахматова появилась 15 мая 1927 года. Автор просит ахматоведов не вздрагивать, он знает, что говорит. Выставку советского искусства в газете «Асахи» (той самой, в редакции которой в 83-м выступали с концертом артисты БДТ, в том числе и Р.) отбирал, организовывал и вывозил в Японию муж Анны Андреевны Николай Николаевич Пунин. Он и включил в экспозицию ее портрет.

«...Ящички вскрыли, и в этой чужой стране твое лицо на картине Петрова-Водкина посмотрело на меня, незнакомое и равнодушное. ...Вчера нас пригласили на обед с гейшами... Большая комната, покрытая туго плетеными мягкими циновками; стены раздвижные, прямые углы у потолка, никакой мебели, несколько горшков с низкорослыми хвоями; посередине лакированный стол; сидели на шелковых подушках, облокотившись на бархатные скамеечки; пили сакэ (вроде водки, знаешь?), гейши — девочки лет 14-ти в очень пестрых платьях — наливали сакэ в чашечки и пытались заниматься разговором... Затем они танцевали милые танцы с песнями, описать которые невозможно. После обеда старшая надзирательница кормила их с палочек земляникой. Взрослые гейши, которые тоже были на обеде, держат себя как мудрые подруги мужчин. Они ласковы, но сдержанны, исполнены по отношению к мужчинам какой-то особой спокойной иронии, как какие-то старшие сестры. Мне не странно, что одна из них по манере себя держать напоминала мне тебя, когда ты бываешь в мужском обществе!..»

(Н.Н. Пунин А.А. Ахматовой, 15 апреля 1927 г., Токио.)

Со знакомого нам острова Хондо Николай Николаевич и привез для Анны Андреевны *первое кимоно*, черное, с серебряным драконом на спине, к которому она привязалась настолько, что с течением лет сносила его дотла.

В 1928 году в Россию приехали господа Кендзо Мидзутани и Ма-сао Енекава и были представлены Ахматовой в Фонтанном Доме. Енекава произвел на нее особое впечатление тем, что переводил на японский Толстого и успел перевести всего Достоевского. В следующий раз господин Енекава приехал в Ленинград вместе с сыном уже в 62-м и, нанеся визит на улицу Ленина, был потрясен рассказом Анны Андреевны и Ирины Николаевны о трагической судьбе и гибели в ГУЛАГе Николая Николаевича. Внучка Пунина Аня Каминская вела в это время экскурсию в Александро-Невской лавре, и Енекава с сыном сочли необходимым приехать туда и познакомиться с ней...

— Вот какой у тебя дед, — сказала Ане Анна Андреевна, как о живом...

Близкие называли Ахматову Акума. Это тоже след японских влияний. Акума — существо женского рода, связанное с нечистой силой, обладающее, кажется, особыми свойствами защиты, прозрения и мести. Р. казалось, что Акума недалеко ушла от эллинских эриний, грузинских али и наших русалок. Русалкой представлял молодую Ахматову Николай Гумилев...

В первый раз в шутку Акумой назвал Анну Андреевну В. Шилейко. Это случилось, когда к нему в гости, в Мраморный дворец, Ахматова пришла вместе с Н.Н. Пуниным и его маленькой дочкой. Ребенку понравилось странное имя, и по возвращении домой Ира стала его повторять. Так и пошло. И Ахматова этому не противилась. А от Ирины Николаевны привычка передалась ее дочери Анне. «Милой Ане, Акумцу, от старшей Акумы», — подписывала Анна Андреевна свою фотографию. Она считала, что это японское прозвище таинственным образом ограждает ее от лагеря и тюрьмы...

В библиотечке Ахматовой была книжка переводов из японской поэзии, небольшая по формату, но пухлая, в красном переплетце, такая же ГИХЛовская, 54-го года, как та, которую Р. привез из Ташкента и всегда держал на виду. Анна Андреевна отдавала предпочтение

переводам Веры Марковой из «поэтов позднего средневековья» и читала вслух Л.К. Чуковской:

Первый снег в саду.
Он едва-едва нарцисса
Листики пригнул...

Нищий на пути.
Летом весь его покров —
Небо и земля.

И поля и горы —
Снег тихонько все украл —
Сразу стало пусто...

— Теперь вы, — и передавала книжку.

Так кричит фазан,
Будто это он открыл
Первую звезду...

Верно, в прошлой жизни
Ты сестрой моей была,
Грустная кукушка...

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер...

Кимоно, которое прислал брат, было опять черное, с красным подбоем, матовый рисунок почти не читался, а со спины, под самой шеей, брал на себя внимание красный кружок, может быть, знак заходящего солнца...

- А кимоно живо? — спросил Р. у Анны Каминской.
- Боюсь, что да, — загадочно ответила она.
- Где оно, если не секрет?..

- Где-то прячется...
- Взгляните на него, Анна, пожалуйста, взгляните!..

— 13

Праздным туристом влекся Р. по древнему Киото, бывшей столице Японии Хэйан-ке, «городу мира и покоя», но покоя и мира не было у него на душе. Сама культурная эпоха, с которой сводили его опытные экскурсоводы, называлась эпохой «хэйан», и всякое высказывание, тем более стиховое — а от него требовалось стиховое высказывание во славу юбиляра, — невольно корреспондировалось с традиционной японской перепиской, полной умолчаний, зашифрованных смыслов и других поэтических фигур. Образцовые кавалеры и дамы обступали его, образцовые дружбы оживали в исторических примерах, образцовая верность касалась приезжей души...

Поясница болела все больше, и Р. совершал все большие глупости. В Нагойе залез в ванну и еле из нее выполз. Ему грозила полная обездвиженность, а в условиях японских гастролей это было уже не идиопатическим отклонением от нормы, а полным идиотизмом. Умные артисты, почувствовав недомогание, спешили обратиться к нашему начальству, те — к фирме г. Окава, и, в соответствии с договором, больных водили к японским врачам. А Р., в соответствии с советской литературой, свою инвалидность старался победить силой духа и вьетнамской мазью «Звездочка»...

Наконец, прозрев на примере артиста Н., Р. хотел было справиться о лекаре у кого-то из фирмачей, но нарушить протокол поэтапных обращений ему не дал замдир Рома Белобородов. Проявляя гуманное внимание к скрюченному, Рома организовал для Р. визит к доктору Сенда.

Лучший врачеватель города Киото (других мы не знаем и узнать не надеемся) практиковал недалеко от «Princess Garden Hotel», но пешее путешествие кряхтящего Р. с переводчиком Мурада-сан, аспирантом института иностранных языков в Токио, заняло довольно много времени, так что по пути они кое-что успели. Мурада-сан коснулся жизни и творчества Пушкина, Достоевского и Чехова, а Р. упомянул «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон, «Исэ моногатари»,

«Записки от скуки» Кэнко-Хоси и, конечно же, странника Басё. Выбор его был не случаен и являлся продолжением благотворного знакомства с поэтом и переводчиком Верой Николаевной Марковой...

Как показалось Р., доктор Сенда вел частную практику. У него был домик общей площадью, ну, 25 или 30 квадратных метров, разделенный легкими перегородками на четыре неравные части. Крошечная прихожая, в которой снимают уличную обувь и надевают серые тапочки; напротив входной двери — дверца в комнату ожидания с двумя скамейками у стен и невысокой полустеночкой налево; за полустеночкой-прилавком медсестра, фельдшер и регистратор в одном милом лице, жена доктора Сенда. Лишь ответив на вопросы этого ангела в очках и миновав ее стерильный закуток, больной еще раз сворачивал налево и попадал в мягкие руки самого врача.

Когда мы с Мурада-сан вошли, в «ожидалке» уже скопилось человек пять или шесть, все пожилые и степенные, и все — мужчины. Сели и мы. Соблюдая почтительную тишину, прихожане изредка обменивались авторитетными суждениями; даже не понимая языка, Р. чувствовал, что здесь звучат выношенные и глубокие мысли. Пахло больничной.

Отвечая на вопросы регистратора, Мурада-сан сказал, что Р. приехал из России, и тут один из ожидающих улыбнулся и сообщил собравшимся, что он несколько лет провел в сибирском плену, работал на стройке и кормили его очень хорошо. Никогда прежде плена он не ел такого количества риса. В ответ на этот рассказ все повернулись к Р. и, улыбаясь, покивали головами, будто благодаря лично его за гуманное отношение к соплеменнику. Тут выяснилось, что не все пациенты пришли лечиться, некоторые хотели просто побеседовать с доктором, потому что мудрое внимание и добрая беседа тоже врачуют душу, тоскующую по сердечному общению. У людей после шестидесяти пяти лет от роду невольно сужается круг знакомств, а всех, кто перешагнул этот рубеж, доктор принимал *бесплатно*...

Услышав это, стал в свою очередь кивать и улыбаться артист Р., словно благодаря собравшимся и еще невидимого Сенда за гуманное отношение к пожилым людям. Он вспомнил своих родителей и то, как терпеливо ждали они его редких приходов, и снова убедился, насколько жестока и несовершенна его душа. Когда же Р. поста-

вили на весы, результат привел его в еще большее замешательство: вес превышал нормы, предусмотренные ростом, а это значило, что так же, как душа, портится его бренное тело.

Один из последних вопросов относился к дате рождения Р., и, услышав ответ, ангел с одобрением улыбнулся и понимающе покивал головой.

Доктор Сенда тоже был старше шестидесяти пяти, его седина была белоснежной халата, а белее халата — лишь свежий снег на вершине Фудзиямы. Велев раздеться до пояса, он прослушал ущербного Р., прикладываясь маленьким смуглым ухом, легко простучал спину и грудь, а затем, уложив на узкую кушетку, почти неощутимо коснулся кончиками средних пальцев его шеи, ребер и живота. В горизонтальном положении Р. окончательно смирился с бедственной участью. Он ждал приговора, и приговор прозвучал...

Шестого октября 1983 года доктор Сенда обратил свое милостивое внимание на неуважаемые почки и малопочтенные позвонки артиста Р. и с улыбкой святого сказал, что мы, люди, не имеем права унывать. Госпожа Сенда сделала уколы в плечо и вену так легко и мгновенно, что Р. отметил это умом, а не телом, таковы были ее иглы и руки. Между тем доктор Сенда продолжал говорить и, с помощью Мурада-сан, сообщил артисту Р. мысль, очень близкую Чехову, но, тем не менее, очень древнюю и японскую, что если прекрасный телом и душой человек невежествен, он невольно смешивается с толпой низких и некрасивых людей и без труда подавляется ими.

— И это прискорбно, Рецепттер-сан, — заключил он, положив смуглую руку на плечо робеющего гостя.

«Зачем он это сказал?» — подумал Р. и стал благодарить доктора Сенда за чуткое внимание и мудрые слова.

— Что-то еще заботит вас, — сказал доктор, — мне кажется, вас тревожат ваши *ответные стихи*.

— Ответные стихи? — переспросил потрясенный его прозорливостью Р., и доктор Сенда сказал, что *опасно сочинять ответные стихи с одной-единственной мыслью успеть побыстрее*.

— Куда нам спешить? — с улыбкой спросил доктор, и если Р. жив до сей поры, то это следствие слов и касаний седого врачавателя из Нагойи...

Мы возвращались в отель с полными карманами таинственных таблеток, которые дали Р. на десять дней вперед, и ни один провизор, ни один врач в Москве и Ленинграде, глядя на эти упаковки и листая справочники, не мог угадать, что это были за лекарства...

— Наши лекарства очень хорошие, — сказал, прощаясь, Мурада-сан, — но лучше всего от боли помогает мудрая беседа...

Рижская беседа делилась на две части: в меньшую укладывались темы, волновавшие артиста Р., большую составляло то, что заботило Мастера. Р. был несколько подавлен необычной прямоотой и редкой откровенностью Гоги: то ли ему не хватало близких людей, то ли Р. выпадала роль случайного попутчика в «Стреле».

— Я хотел начать «Наедине со всеми», а Кирилл не советует. С Гельманом в Ленинграде будут трудности. Но нам ее утвердило министерство...

— Какие же трудности, если министерство утвердило?

— Ужасное время, — брезгливо сказал Товстоногов. — Я смотрел спектакль московского Ленкома, конъюнктура и примитив. Говорю об этом вслух, а их директор спрашивает: «А вам не кажется, что именно такого искусства от нас требуют и к тому все идет?..». Я сказал Кириллу: «нельзя же театру жить все время на «Перечитывая заново»! Театр не может существовать отдельно от общества, но он не может существовать, не решая острых общественных проблем! Остается маленький ручеек, нельзя же его перекрывать!..

— Георгий Александрович! — сказал Р. — Решение зависит от вас. Нравится Гельман — ставьте! Сколько себе позволите, столько и отстоите!..

— Скажу вам по секрету, — понизив голос, сказал Товстоногов, — я должен был поставить спектакль в Швеции, но я отказался и сделал «Оптимистическую». Министерство рекомендовало мне поехать в Норвегию, посмотреть труппу и, может быть, поставить спектакль там. Речь шла еще о Югославии. А Романов сказал: «Пусть он едет в Югославию, а в Норвегию — не надо!».

Обида на Романова была велика, и о «секрете» знало полтеатра.

— Но почему он себе позволяет, а вы — нет? — спросил Р.

— В ЦК есть только два человека, которые могут поставить его на место, — вдумчиво сказал он. — Сулов и Брежнев...

— Обращайтесь в ЦК! — и Р. процитировал «Мещан»: — «Права не дают, права берут!». Помните, я вас знакомил с Коржавиным?

— Конечно, — сказал он, и Р. прочел из Коржавина:

— «Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуночные бденья / и мечты, что очнешься в каком-нибудь веке другом. / Время?.. Время дано. Это не подлежит обсуждению. / Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем!..»

Товстоногов болезненно поморщился и недовольно сказал:

— Но это — идеализм, Володя!..

— Но я хочу его сохранить! — воспламенился Р. — Это входит в задачу!..

Мастер внезапно остановился и повернулся к Р. всем корпусом:

— Тогда нужно быть последовательным и занять позицию. Ваш Коржавин сидел и был в ссылке!.. Вы чувствуете себя способным к борьбе?..

— Нет, я не борец, — сокрушенно признался Р.

— Я — тоже! — победительно сказал Товстоногов.

Он был доволен тем, что поставил на место этого демагога Р.

Дул ветерок, рижские утки просили у гуляющих еду, и пожилая дама крошила в воду белую булку. Никто никуда не спешил, и после паузы Р. возник из пепла.

— Все-таки за себя я отвечать обязан, — сказал он. — На Дворцовую с плакатом я не пойду, — тут он запнулся, захотелось сказать: «Но ничего про Ленина «перечитывать» не стану», но он успел отредактировать конец фразы и закруглил: — Но и «Флаг над сельсоветом» на сцену не понесу!..

— У вас другое положение, — сказал Мастер.

— Конечно, — согласился Р. — Но попробуйте отстоять хотя бы спектакль в Норвегии. Пошлите им письмо. Хотите, напишу черновик?

— Спасибо, — сказал он, — я подумаю...

Ставить «Наедине со всеми» Товстоногов так и не стал.

Почему из всех возможных примеров Р. привел «Флаг над сельсоветом», он бы объяснить не мог. Это было название поэмы Алек-

сея Недогонова, занявшей свое место в забытой истории советской литературы. Потому, что она была удостоена Сталинской премии? Или из-за самого названия, соединявшего красный флаг с сельским органом советской власти?..

Позже Гога неожиданно увлекся белорусской драматургией и поставил «Рядовые» Дударева и «Иван» Кудрявцева. В финале последнего спектакля несколько красных флагов на избах образно склонялись над трупом заколотого вилами сельского патриота. Умирая, Иван успевал сказать, что *это его кровью питаются трутни и инородцы*. Ивана с надрывом играл Лебедев, а вилами его колол нехороший персонаж Миши Данилова...

По поводу объема и содержания рижской беседы критик Р. выразил опасение: не слишком ли она длинна и не пробудит ли сомнение у читателя, как артист Р. все это запомнил? Бывало, и после «Гамлета», длившегося два с половиной часа, не считая перерыва, зрители потрясались именно резервами памяти: «Как же он все это запомнил?..».

Артист критику отвечал, что в клетчатой тетради рижская беседа выглядит в пять, а в действительности — в десять раз длиннее и сохранилась потому, что он записал ее по горячим следам, так что за достоверность ручается.

Зачем записал?.. Хороший вопрос... Как выяснилось, для романа...

Коснулись и Любимова. Его премьера «Памяти Высоцкого» опять была отчаянным поступком и, как обычно, оказалась на грани запрета.

— Вы не видели? — спросил Гога. — Я тоже. Но мне подробно рассказывала Беньяш. — Он помолчал и добавил: — Очень противоречивые отклики.

Прежде Раиса Моисеевна Беньяш была абсолютно предана БДТ и стала автором первой книги о мэтре; но в последние годы она явно переориентировалась на Таганку и безрассудного Любимова.

— По-моему, нужно выявлять туманные отношения, — сказал Р.

— Нет, не нужно, — убежденно ответил Гога. — Что это дает?.. Еще быстрее приведет к ссоре. С Беньяш у нас хорошие дипломатиче-

ские отношения. Она хотела бы влиять на репертуар, на политику театра, а я ей этого не хочу позволить. Она дьявольски самолюбива. Хочет сидеть за режиссерским пультом весь выпускной период и говорить: «Мне кажется, что Рецептер в этом месте слишком высоко поднял руку». Вы понимаете, я говорю условно. И я говорю вам: «Володя, пожалуйста, в этом месте поднимайте руку пониже!» — и все! И она причастна к спектаклю, и он ей нравится, и она его хвалит!.. Я ей этого места не даю, а Любимов дает...

Раиса Моисеевна Беняш была способным и заметным в городе человеком. Ее книга о Мочалове строилась на простой основе: он жил в одно время с Пушкиным, и это помогло ей сделать интересные параллели и свежие выводы. Однажды она сказала Р., что одной из живых моделей Мочалова служил для нее Лебедев. Можно не соглашаться, но прием любопытен: смотри на сегодняшнюю сцену и думай, что это легендарный Мочалов...

И все же мгновенный портрет Товстоногова был на редкость точен...

Раиса хотела покорить Ленинград и, как молодой Растиньяк, пошла вперед, влюбляя в себя женщин и не обращая внимания на мужчин. Из ташкентской эвакуации она вернулась с близким другом, актрисой и драматургом Дорианой Слепян и привезла с собой шутовское прозвище Джонни. С короткой стрижкой и мальчишковой походкой, Раиса как нельзя больше подтверждала бодрую кликуху. Подруги поселились в квартире Дорианы на первом этаже «толстовского» дома, с окнами, выходящими в сквозной двор, одна арка — на Рубинштейна, другая — на Фонтанку. Дориана писала скетчи, репризы и одноактные пьесы, Раиса — театральные рецензии и обзоры. Кажется, с ними рядом была еще одна подруга, и жили они так дружно, что могли считаться семьей. Потом Дориану Филипповну разбил паралич, и она водворилась в инвалидное кресло, а Раиса Моисеевна несколько подсохла и ссутулилась, но всегда была невероятно уверена в своем даровании и неотразимости. В Париже у нее нашлась сестра, и наша героиня одной из первых стала потрясать ленинградок французскими туалетами.

В середине разговора Товстоногова с каким-нибудь гостем она могла внезапно втиснуться между ними, лицом к Гоге и спиной к обескураженному собеседнику, и многозначительно сказать:

— То, что я вам сказала о втором акте, относится и к третьему!..

Увлеченная какой-нибудь молодой женщиной, она тотчас приглашала ее в «толстовский» дом, или в номер дома творчества «Комарово», или напротив него, на дачу Черкасова, где ей разрешала жить вдова артиста Нина Николаевна. Приглашение сопровождалось отточенным обещанием:

— Будет вереск, соленый миндаль и немного «Чинзано»!..

Однажды по договору с издательством Беньяш написала книгу о Смоктуновском, чрезвычайно смутившую его, так как через страницу автор называла объект своего внимания «гением». Иннокентий Михайлович отправил в издательство категорическое запрещение, а Раисе Моисеевне --- вежливое письмо, в котором убедительно просил отложить публикацию.

— Мне же надо еще жить и работать, --- объяснял он.

Может быть, теперь, когда Раиса Беньяш лежит на комаровском кладбище под одним камнем с Дорианой Слепян и прекрасного гения тоже нет на свете, стоило бы поискать эту преждевременную рукопись?.. Может быть, теперь ее время пришло?..

— Нет, с Беньяш не нужно выявлять отношений, --- заключил Товстоногов, --- а вот с Корогодским, наоборот, нужно!.. Вы знаете эту историю?

— Какую?

Гога стал рассказывать, но мы его прервали.

Когда Ташкентский театр открыл гастроли в Москве и артист Р. в Кремлевском дворце появился в роли Гамлета, в первом же антракте его пригласили к охраняемой двери, отделяющей зал от закулисья (кремлевский режим!), потому что там объявился «его хороший товарищ» и потребовал немедленного свидания. У товарища не было закулисного пропуска, и он вызывал датского принца на погранпункт. Когда растерянный Р. в чулках и колете подошел к бдительной двери, ему навстречу с широкой улыбкой шагнул абсолютно не-

знакомый, худющий и черный молодой человек и, великолепно картая, сказал:

— Я не ваш товахищ, я — главный хежисех Ленинградского ТЮЗа Кохогодский, я хочу, чтобы вы хаботали у меня. Я вас пхиглашаю.

— Спасибо, — сказал Р., — это большая честь. Но вы все-таки досмотрите спектакль, вдруг передумаете...

— Не пехедуമാю, — сказал он. — Я в этом деле что-то понимаю...

Корогодский действительно не передумал и оказался первым, но в конце московских гастролей, когда приглашения накопились, доброхоты и друзья БДТ соединили Ленинград с Москвой, и Товстоногов сказал Р. в телефонную трубку:

— Пожалуйста, не принимайте ничьих приглашений. Считайте, что вы уже работаете в Большом драматическом...

История нашла себе место в повести «Прощай, БДТ!», но Корогодский остался за кадром. Между тем, кремлевским выпадом он не ограничился, а сел в самолет и прилетел в Ташкент. Сначала он разыскал мать артиста Р., потом и его самого, убеждая и ту, и другого, что именно в ТЮЗе Р. ждет светлое будущее. Артист же Р., уверенный, что светлое будущее его ждет в БДТ, разочаровал строителя детского театра, но расстались они мирно, пожелав друг другу неизменных успехов.

— *И Владимирова, и Корогодского сделал я*, — сказал Товстоногов. Выражение характерологическое и для вождей в высшей степени типичное. *«Ведь это я ее сделал»*, — сказал об Ахматовой Гумилев, хотя ахматоведы отмечают здесь признаки взаимного влияния. Это к слову. — Но Владимиров держится отчужденно, — продолжал Гога, — а Корогодский клянется в верности. И вот оказалось, что это не так! У меня есть стенограмма его выступления перед режиссерами народных театров, — нашел трибуну! — где он говорит, что метод только у него, а у нас в БДТ все мертво, что приглашают за границу их, а едет БДТ, и так далее... По его словам, кроме ТЮЗа, в городе нечего смотреть: «О каком искусстве может идти речь, если вся грудь в орденах и все обменивается на знаки успеха». Это — обо мне!.. И в то же время при встречах он ведет себя так, как будто играет льстеца в пло-

хой советской пьесе!.. Владимиров спросил меня: «Я могу у вас стоять?»). Я ответил: «Нет, у меня — нет, это другая эстетика». И я сказал, чтобы ему дали театр!.. Если бы Владимиров так себя вел, это было бы не так обидно, но Корогодский, который говорит, что всем обязан мне... Когда умер Брянцев и ТЮЗ остался без руководителя, встал вопрос: Макарьев или Корогодский. Но Макарьев был совсем пуст, а этот молодой человек был у меня ассистентом, кое-что понял, говорил о любви к детскому театру, и я рекомендовал его!.. Но если он себе позволяет такое, ему нужно публично ответить, и я это сделаю! До того как появилась стенограмма, он позвал нас к себе на день рождения. Как он сказал, «самых близких»: меня с Женей и Нателой и Раису Беньяш. Он готовил последний тост обо мне, а я ему не дал его сказать... Нателла меня ругала; зачем испортил, зачем обидел Зяму, а когда я ей дал прочесть стенограмму, признала, что я был прав!..

— Хоть убей, не могу объяснить, для себя, зачем я стал говорить такое этим людям, — сказал Корогодский через двадцать лет. — Ненужная, дурацкая искренность! Они — чужие, а он — родной... Это он добился в обкоме моего назначения. Его рекомендация работала как мощный аргумент, хотя там было сильное сопротивление... Я много лет проводил семинар режиссеров народных театров, и меня спросили, что я думаю о методике БДТ, сохранил ли Товстоногов верность действенному анализу. И я сказал: «Нет, уже ушел в сторону, его беспокоит не столько путь и процесс, сколько результат, а от этого отставания, от непоследовательности репетиционного процесса театр черствеет»... Я забыл о выступлении, не правил стенограмму, а она была сделана грубо, без интонаций... Нет, я считаю себя виноватым. И его обида была справедливая, но неадекватная... Стенограмма попала к нему через год, и я знаю, кто передал. Гогин институтский помощник Кацман интересовался моей дружбой с Марией Осиповной Кнебель и просматривал материалы в библиотеке ВТО. Ему попала злосчастная стенограмма, он прочел ее Гоге, и тут началось... Зачем это было нужно?.. Чтобы отодвинуть меня, а самому стать ближе. Яго нашел потерянный платок и побежал к Отелло!.. Морально Гога был прав, это выглядело предательством. Я был любим, был другом дома. Он был — моя защита, мой иммунитет...

Но объясниться, просить прощения не удавалось; он не ответил на мои письма, не подпустил от меня никого... И это стало сигналом травли... Сначала отлучили от кафедры... Я смирился, думал, он успокоился, но ему продолжали нашептывать, надиктовывать... У вас в театре были большие специалисты, ты знаешь... А позже он уже не вмешивался сознательно...

Позже с Корогодским случилась беда. При активном участии директора на него завели некое дело и отлучили от театра, который и впрямь был заново рожден им и его верными учениками. И Товстоногов не вступился.

Нужно сказать, что Зиновий Яковлевич нашел в себе силы и мужество вернуться в строй. Он ездил по миру, ставил спектакли в Японии и Соединенных Штатах, оказался востребован его педагогический опыт. На юбилейном вечере в Большом зале филармонии любимый городом ТЮЗ, уже не раз рассеянный и поруганный, появился в живом и полном блеске. Приехал из Москвы Юра Тараторкин, вышли на сцену Ира Соколова, Коля Иванов, и оказалось, что театр — вот он, как в лучшие времена. Да, не было Саши Хочинского, Юры Каморного, Коли Лаврова. Но они помогали уже не с земли и душой были здесь же...

Корогодский руководил «Театром поколений» и театральным факультетом университета профсоюзов, издал серьезные книги по педагогике, у него появилось много новых учеников, но ТЮЗ в его отсутствии на прежнюю высоту не поднялся и продолжает держаться давней легендой.

А теперь Корогодский ушел совсем, ушел накануне лета, ушел, чтобы там, далеко от нас, приблизиться к Гоге и сказать ему все, что хотел.

И они смотрят друг на друга, Гога и Зяма, и видят друг друга насквозь, и полны снисхождения, и скорбят о тех, кто остался, скорбят обо всех нас...

— 14

В храме тысячеоднорукой богини Канон Анта Журавлева просила «уложиться» за десять минут, тогда коллектив успевал «еще в одно местечко». А задержавшись, мы могли рассчитывать на высо-

кую помощь. На то у богини и столько рук, чтобы давать добро всем. Для искупления грехов нужно было последовать другому божественному примеру и девять лет просидеть в пещере, скрестив ноги и отдаваясь самосозерцанию. Следовало смотреть в себя. Но «там» артисту Р. открывалась слишком неприглядная картина.

А как быть с приказанием поторопиться, если все здесь велит не спешить, отречься от внешнего мира и хоть в чем-то уподобиться цветку лотоса, символу рая? И, с другой стороны, если такой красивый цветок, как лотос, растет в болоте, то человек должен терпеть все. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» О благодетельном чувстве стыда Р. и захотелось побеседовать с кем-нибудь из своих...

— «Отречемся от внешнего ми-и-ра», — запел Волков, выходя из храма, но Розенцвейг посмотрел на него так, что Миша умолк.

— Знаешь, Басик, — сказал Р., настроенный на раздумье, — я тут говорил с одной японской аспиранткой...

— Хорошенькая? — перебил Бас.

— Изящная, — уточнил Р., — но я не об этом, она филолог...

— Подожди, — наступал Олег. — Это та, которую тебе прислали в подарок?

— Не повторяй глупые слова, — сказал Р. и попробовал объяснить, как он встретился с изящной Гиз, аспиранткой профессора Хокке.

— Знаю, — перебил Бас, — это та, которую ты отпустил *просто так*...

— Нет, — уже сердясь, ответил Р. — Я отпустил ее, когда узнал, что все Басилашвили — скрытые японцы, а ты — глупый последыш великого Басё...

— Подожди, — не унимался Бас. — Я знаю, что я — потомок великого рода, но какого Басё имеешь в виду ты?..

— Ну вот, — сказал Р., — это и есть признак вырождения. Твоя мама составляла словарь языка Пушкина, а ты не знаешь, кто такой Басё.

— Басё — это я в Японии, — сказал Басилашвили.

— Дошло наконец, — сказал Р. — Если бы ты выучил два стихотворения Басё по-японски, тебя бы носили на руках по всему Хондо...

— Меня и так носят на руках, — сказал Бас. — Но это секрет.

— Разумеется, — сказал Р., — но аспирантка профессора Хокке занималась проблемой стыда в японской литературе и сказала мне страшную вещь: «Если жизнь длинна — растет стыд», понимаешь?.. Это почти то же самое, что говорил Ханов: «Стыдно быть старым артистом». И японцы с китайцами считают, что лучше всего умереть, не дожив до сорока...

— Эту возможность мы с тобой уже упустили, — сказал Бас.

— Да, — сказал Р. — Нам остается только стыд.

— Конечно, — сказал Бас, — особенно если ты отпустил ее *просто так*...

— А ведь у тебя был шанс, — сказал Р. — Когда ты простудился на съемках у Рязанова и собирался дать дуба в обкомовской больничке. Я с Гогой приехал к тебе, а ты как-то вырубался...

— Я помню, — сказал Бас, — но мне уже было больше сорока...

Это было года за три до Японии. Проезжали мимо дома на Пушкинской, откуда отправился в эмигрантское плавание артист Лескин, и Р. сказал:

— Пусто без Бори...

— Да-а-а, — философски протянул Товстоногов, хотя эту пустоту он чувствовал не так остро, как Р.

— А виноват Игорь Горбачев, — сказал Р. — Это ему не простится.

— Да?.. Вы так считаете?.. Почему?..

На город наступала весна, и Гогина «Волга» разбрызгивала лужи. Расслабленный после репетиции, мэтр сидел за рулем в кожаном полупальто и элегантных черных перчатках.

— Вы не помните? Обещал взять Борю в Александринку, для ухода ему увеличили зарплату, и вдруг Игорь его не берет. Вся жизнь дружили домами, сыграли тыщу концертов... Это было предательство.

— Мне кажется, там был против директор, — сказал Гога.

— Ну и что? — сказал Р. — Разве худрук не мог настоять на своем?..

— Он не хотел обострять отношений, — объясняюще сказал мэтр.

— Но это и было предательством, — сказал Р.

— Ну, конечно, — наконец согласился Гога. — Разве я говорю, что нет?..

— И это не пройдет бесследно. За это он поплатится...

— Вы считаете? Как же? — с искренним любопытством спросил мэтр.

— На главном суде, — уточняясь сказал Р., как будто имел в виду народный суд Куйбышевского района.

— Если бы это было так, — с сомнением сказал Товстоногов...

Теперь, когда Игорь Горбачев умер, намаявшись от тяжелой болезни, Р. только и остается просить о прощении его неблизкую тень. Тогда он кипел обидой за друга и не думал о заповедях. Он считал, что вправе судить. До сегодняшнего дня на глазах у растерянного рассказчика Р. продолжает грешить схожими ошибками, и в прощное воскресенье автор едва успевает звонить всем и каждому, кто подвергся суждениям возбужденного либерала...

А в Риге Мастер был другой, как будто они с Р. поменялись ролями.

— Смоктуновский дал интервью какой-то одесской газете, — кипел он. — Ругал Ефремова за то, что тот помешал ему хорошо сыграть!.. Смоктуновский плохо сыграл Иванова, потому что Ефремов не давал ему сесть!.. Как вам нравится?.. Что это? — Р. молчал, и Товстоногов с нескрываемым гневом закончил: — Я выступил об этом на коллегии министерства... Или уходи из спектакля, или не продавай режиссера!..

Откуда у него взялась одесская газета? Случайность или кто-то принес в зубах, заранее зная реакцию? Р. показалось, что в Мастере продолжали жить давние обиды. И болезненные разрывы так и не зажили в нем.

Только бы и он успел простить при жизни!..

Розу Сироту простил, а остальных?.. Не знаю...

Ну, хорошо, а ты, артист Р., белый клоун с пощечиной, ты успешь?..

Все-таки прямой и простейший смысл словосочетания «гастрольный роман» — это роман, случившийся на гастролях, и то, что, независимо от деталей, произошло между композитором Р. и девушкой Иосико, представляется автору пляшущим светлячком, блуждающим фокусом повествования, который то покажется на поверхности, то спрячется в глубине. Да, да, встреча в поездке, дорожный сюжет, случайная радость, временные и легкомысленные отношения действующих лиц. Понимаешь, читатель? Затянувшиеся танцы под местный оркестр, ночное провожание прекрасной подруги, укромная ласка и хищный поцелуй на пороге чужого дома, лунная дорожка на воде, звездный пустык... Никаких имперских амбиций, советских опасений, отягчающих последствий... Радужное беспутство, волшебный грех...

Но почему это не совсем подходит к случаю и не укладывается под стеклышко в красивую рамку простого дорожного приключения?..

Потому что так нестандартны герои?.. Или оттого, что действие протекает на фоне волшебной горы, в обители древних тайн?.. Или грамотная память намекает, что этими двумя овладело другое чувство, сродни тому, что уже знакомо по «Даме с собачкой» Чехова или «Солнечному удару» Бунина?.. Впрочем, наше ли дело искать аналогии? Посмотрим, посмотрим, что произойдет дальше и какие случатся последствия...

У двух других гастролеров тоже возникли нежные отношения с японскими девушками, но их путевые романы обнаружили двадцать лет спустя и почти случайно; интимные эпизоды счастливыцы держали про себя.

— Раньше я бы про это даже не намекнул, — сказал один. — Теперь — другое дело... Теперь пиши обо всем, можешь называть мое имя...

— Ты в этом уверен? — спросил удивленный автор. — Имя можно скрыть. Или зашифровать...

— Нет, — сказал он. — Зачем? Это было целью поездки... Не шмотки, не техника, а близость с японской женщиной... Хочешь — назови!..

— Я не знал, что ты такой романтик, — сказал Р. — У тебя настолько доверительные отношения с женой?

— Да, конечно, — подтвердил смельчак. — Теперь это прошлое. А умные женщины смотрят только вперед. Я молчал не из-за нее, сам понимаешь!..

И автор, пожалуй, назвал бы его, если бы ему разрешил тот, второй, который и был творцом нежного приключения. Но тот, второй, без спросу и времени ушел в *холодные подземные жилища*. И потому, что артист Р. бывал его конфидендом и составлял солидарное алиби, он обозначит счастливых только алфавитной литерой. В гуглом помещенье нашего романа важен не столько факт, сколько его солидарное эхо. К чему здесь грешная новость для бедной вдовы? Пусть в ней бродят лишь теплые сомнения...

Одну из японских девушек звали Алихо, а другую — Айсо, и обе они, так же, как В. и М., стремились к экзотике. Впрочем, это стремление могло быть вызвано более глубокой причиной: то ли они бунтовали против вековых устоев, то ли скучали о другой воле. Во всяком случае, обе они были заражены жаждой интимного сближения с европейцами, понимая любовь как влечение и искусство самой жизни.

Скажем так, и это был род ностальгии, но если В. и М. устремляли горящие взоры к Стране восходящего солнца, то студентки из Токио смотрели в сторону европейского заката, то есть на запад. «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, / Пока не предстанет небо с землей на страшный Господень Суд», — писал певец британского империализма Киплинг и, как показали ужасы нового века в Нью-Йорке и Москве, был прав не только по своему, но и по-нашему. Впрочем, и Киплинг спорил с собой: «Но нет Востока и Запада нет — что племя, родина, род, / Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?».

Так они и встали лицом к лицу, а потом лицом к лицу легли...

На рассвете, когда пришла пора расставанья, в бумажный домик вошла тень странника Басё и нашептала нашим молодцам: «Запад или Восток — / Всюду одна и та же беда. / Ветер равно холодит...».

Алихо была русисткой, Айсо изучала языки Скандинавии, и после одной из токийских премьер девушки пригласили В. и М. к себе

в гости, так как снимали общее жилье. М. и В. не впервые объединяли гастрольные усилия ввиду того, что их экзотические желания часто совпадали.

— Ты знаешь, что такое кудзусутуани? — спросил В. — Это очень длительный оргазм, который умеют вызывать индийские женщины. Мы познакомились в Дели с двумя индианками. Или индусками? Нет, индийками...

— Индейками, — сказал Р., — но вернемся в Японию.

— Давай, — согласился В. — У меня сложилось впечатление, что у японок что-то вроде комплекса по отношению к европейцам. Может быть, это связано с Йоко Оно и Джоном Ленноном. Понимаешь, японская девушка и всемирно известный музыкант... Культурный роман. Можно представить, как завелись молодые японки... И Айсо, и Алихо говорили об этой паре...

— А Иосико? — спросил Р.

— Ну, она в основном говорила с Сеней... М. играл у нас роль супермена, а я — крестьянина. Герой и простак, понимаешь?.. Вообще-то он мной прикрывался, идет, мол, меня сопровождать... Приехали в игрушечный домик, сняли ботинки, вошли. Они переоделись в кимоно, угостили сакэ и легкой закуской. Посидели на полу, поболтали. Плохой английский, плохой русский. Шутки, поклонь... Как будто они — гейши, а мы — господа... Они молодые, и мы кажемся себе. И разошлись по комнаткам... Комнатки крохотные, в каждой по цветку, компьютеру и свернутой постели на полу... А между ними — бумажная стеночка с рисунком... Большой иероглиф, не знаю, что он означал... Высокий черный квадрат, как будто окно, а внутри квадрата — крест... Он остался с Алихо, а мы с Айсо вышли и задвинули за собой бумажную стеночку... И нам, и им все было слышно, и обнимались, как умели... Я говорил ей: «Моя экзотика!..». Она повторяла за мной... Когда стало светлеть, отвезли нас в гостиницу... И возвращались не один раз... Потом Айсо улетела в Стокгольм, а мы укатили в Осаку... Иногда кажется — это любовь... А иногда — искусство цивилизованного человека. И он низводит его до нуля или совершенствует до сумасшествия...

— Они больше не появлялись?

— Нет. Я слышал, Айсо вышла замуж за шведа и у нее трое детей... Когда улетали из Ниагаты, Алихо приехала провожать и сказала про Иосико и Сеню: «Она полюбила его смертельно...». Нет, не так... *«Она любит смертно его...»* Вот... Так она сказала...

Здесь автор считает нужным отметить, что не только «Запорожец» 07-42 ЛЕО, первая машина, купленная композитором Розенцвейгом С.Е., имела номер, складывающийся в число тринадцать, но и все последующие номера, как ни старался он этого избежать, составляли ту же чертову дюжину. Последний «жигуленок» значился в ГАИ под знаком 13-00, и гараж ему достался на улице Братьев Васильевых, 13. Это к слову. Вернее, к тому, что артист Данилов, близкий композитору Р., любил повторять выражение философа Декарта: «Миром правит число».

— 15

«Я люблю вас, сенсей» — писала Иосико.

Он прочел эту фразу и быстро вышел на улицу.

«Что делать, подскажите мне кто-нибудь, что делать? Есть разум, есть логика, есть трезвая и не такая плохая жизнь, но почему так болит?! Почему невыносимы домашние шуточки и экивоки? Почему новыми глазами и новыми ушами я вижу и слышу любые замечания в свой адрес? А это тяжелое молчание, как будто я что-то украл или кого-то убил!..»

А чего он хотел? Чтобы ему аплодировали за то, что развесил над столом японские сувениры и прикнопил ее фотографию? И благодарили за это, и кланялись ему, как это делала его «японо-мать»?..

«Да!.. Если хотите, этого!.. Она понимает, с кем имеет дело!.. Она ставит меня на мое место, не выше, но тут я могу дышать! Я могу делать свое дело с гордо поднятой головой! Меня нельзя унижать ни при каких обстоятельствах, и я не должен выслушивать нотации, в какой именно кастрюле варить себе сосиски! В любой кастрюле и на любой конфорке!.. Я вообще не должен их варить!.. Потому что, если я буду думать про конфорки, у меня в голове прекратится музыка! Неужели это непонятно?! Девочка моя, золотко, уточка моя, как мне теперь жить?..»

В тот вечер композитор Р. без усталости гулял по мокрому Ленинграду и совершенно случайно попал на Львиный мостик, где тусовались ищущие домовладельцы и бездомная гольфьба...

— Красная конница, — сказала ему дворянского вида дама под пестрым зонтиком. — Малонаселенка... Шесть квадратных метров... Полуподвал...

И Сеня шарахнулся от нее, как от чумы.

Старый друг Шура Торопов пытался снять семейный раздор.

— Надо научиться прощать, — говорил он. — Надо научиться гасить костры амбиций. Надо помогать ему во всем, — и замолкал, понимая бессилие слов...

Наконец Р. принял решение и, посетив Львиный мостик целенаправленно, снял автономную однокомнатную келью. Вечером он молча укладывал вещи, будто собираясь в новые гастроли, а Коша и Фомка нахально прыгали в его заслуженный чемодан.

Что послужило последним толчком к уходу, никто не знал, и остановить его не пытались, стало ясно: это были бы напрасные попытки.

Квартира, которую *он позволил себе*, была «на Кораблях», то есть на улице Кораблестроителей, в шестнадцатизэтажном новостроенном доме, располагалась высоко, и если вдруг отказывал лифт, подъем доставался трудно. Но в щель между соседними домами был виден залив.

Конечно, он взял с собой и снова повесил над столиком полуигрушечный самисен, подарок от Иосико. Вы не знаете, что такое самисен? Это прекрасный японский инструмент, щипковый, нервный; если он маленький, его можно положить на колени. И хотя он напоминает русскую балалайку или степной камыз, вы тотчас отличите по звуку его скрытый японский характер. Впрочем, что ему было теперь скрывать?

Конечно, он взял с собой портреты Эллингтона и Горовица...

«Свободен, наконец-то свободен!» — тихо напевал композитор Р., обживаясь на новом месте и любовно сдувая пыль с музыкального центра «Хитачи». Он увез со Зверинской только любимую музыку, без которой не мыслил прожить и дня. Сначала он думал взять с со-

бой Фомку, но, поразмыслив, решил, что домашние сочтут такой поступок чрезмерным...

Вскоре — пора подумать о себе! — Семен Ефимович купил на сэкономленные сертификаты видеоманитофон и стал наслаждаться просмотрами мюзиклов. Как человека насквозь театрального, его бесконечно манил этот жанр. С особенным чувством он смотрел «Кошки» Уэббера...

После эпизода на «капитанском трапе», почувствовав отеческую заботу Товстоногова, кошка Муся прониклась спецификой театрального дела. Теперь она старалась во время спектакля или репетиции на сцене не появляться и деликатно обходила ее вокруг, держась за черным задником. Ее устраивала незаметная для зрителей роль серого домового. В лифт Муся тоже не совалась и актерский буфет четвертого этажа посещала не в часы пик, а в удобное для поваров и буфетчиц промежуточное время. И даже в почтенном возрасте она, волну за волной, рожала жизнестойких подвальных котят.

Однажды весной, греясь на открытом окне верхнего буфета, Муся обратила внимание на воробья, чистившего клюв на ближней ветке дворовой липы. Несмотря на сытость, она принялась. Запаха не было, но в глубине подсознания возник вкус свежей воробьятины, а в душе проснулся охотничий инстинкт. Да и воробей оказался нагловат: слишком близко от нее позволял он себе подавать подлый голос и бесстыдно чистить сытый клюв. Липа, на которой он сидел, была хороша собой.

Сначала деревьев было шесть, внутри театрального двора зеленел крошечный садик с двумя скамейками. Потом одну за другой липы спилили, осталась одна. А теперь и ее нет...

Муся рассчитала прыжок и подобралась для его воплощения. Воробей посмотрел в сторону, и она прыгнула...

Возможно, ее подвела память, она забыла о возрасте, забыла, что мышцы серых лап не так сильны и эластичны, как прежде, и, чуть-чуть не долетев до воробьиной ветки, Муся грянула с четвертого этажа на смертельный асфальт внутреннего двора. Случайные свидетели бросились к ней, но она уже уходила, не глядя на окружающих ее серых людишек.

Смерть Муси отозвалась в коллективе подобающей скорбью и родила еще одну легенду о том, что ее последний прыжок не относился к поздней охоте, а был связан с продуманным желанием окончить жизнь. «Стыдно быть старым артистом...» Ах да, это из другой оперы... Но некоторые члены труппы, например Заблудовский, убеждены, что, почувствовав приближение дряхлости, Муся хорошо обдумала и безошибочно сыграла последний весенний эпизод...

Очень любил кошек и лично Мусю артист Миша Данилов, часто селившийся с артистом Изилем Заблудовским. Любил он и композитора Вивальди. И когда Миша узнал, что Вивальди тоже любил кошек, степень его привязанности и к тем, и к другому значительно возросла...

По вечерам в «Hotel Osaka Grand» шла привычная жизнь, и мы заходили друг к другу за техническими советами, согласованием планов на завтра и просто так. Узнав, что Р. должна звонить жена, Аксенов просил его сказать Ире, чтобы та позвонила Лене. Мол, пусть Лена тоже позвонит мужу из Ленинграда. Юру тревожило ее молчание, а звонок из Японии «кусался»...

Он готовился к новой жизни: другой театр, молодая жена, особые права и обязанности главного режиссера. Двадцать лет он ждал своего часа.

— А Лену ты в Комедию не берешь?

— Нет, зачем?.. У нее хорошие перспективы в БДТ. Зачем создавать двойную проблему?.. — Юра хотел продолжить, но появившийся в дверях Волков ему помешал.

Тот, в свою очередь, увидев Юру, вызвал Р. в коридор.

— Воля, ты же знаешь мои дела, — с оттенком доверительной секретности сказал Миша. — Мне нужна еще одна система... Запиши ее на себя...

— Как это? — удивился Р. — Разрешают по одной. Один человек — одна система. Я хочу купить «Хитачи», как Розенцвейг. Он принял решение...

— А ты, принц, будешь думать и не успеешь. Как в Аргентине.

— Если не успею, запишу... Но я решил купить «Хитачи»...

— Ну и что? — обаятельно улыбнулся Миша. — Запишешь еще одну!..

— А почему не ты?.. Ты же покупаешь?..

Волков посмотрел на Р. с упреком и, махнув рукой, пошел прочь.

— В чем дело? — спросил Аксенов.

— Он хочет, чтобы я записал на себя его систему... Обиделся...

— Он вообще в последнее время ведет себя странно, — сказал Юра. — Ты не видел его в Германии. Мне кажется, он внутренне иссяк, стал почему-то злой... Когда нужно сыграть наивное удивление и добродушную растерянность, появляется маска...

— А как это можно сыграть?.. Это же чувства, а не действие?..

Юра улыбнулся и оставил вопрос без ответа...

Между тем катастрофа над Охотским морем себя не исчерпала, и волны от падения южнокорейского «Боинга» расходились все шире. Начались новые протесты и блокады, как будто БДТ и был тем самым военным истребителем, который вел Геннадий Осипович. Нет, тогда мы не знали этого имени, но в конце 80-х известинец Андрей Иллеш провел расследование, и классный пилот нарушил гостайну, потому что его мучила совесть. Да, Геннадий Осипович выпустил две ракеты по «воздушному извозчику», он исполнил приказ, и двести шестьдесят девять тел отправились кормить рыб на дне Татарского пролива, а двести шестьдесят девять душ остались парить в небесном пространстве...

Было шпионское оборудование на «Боинге» или нет? Тайна. Молчат американцы, и наши молчат. Теряя здоровье, шарили по дну мурманские водолазы, искали черные ящики, чтобы никто другой... Чтобы осталось тайной... Наш Громыко и госсекретарь Шульц хватили друг друга за лацканы на совещании в Мадриде. По протоколу касаться тайны было нельзя, но Шульц не сдержался, рванул речугу о нашем пиратстве, и Громыко взял его за грудки. Чуть не дошло до настоящей драки. И настоящей войны. Некоторые аналитики сказали, что кризис, в эпицентре которого мы оказались, был не слабее Карибского, над миром висела война...

17 июля 97-го те же «Известия» тиснули мелкую заметку того парня, который занял место Ирика Рашидова:

«Токийский суд признал корейскую авиакомпанию «КАЛ» виновной в гибели пассажирского рейсового лайнера «Боинг-747», сбитого советским истребителем-перехватчиком над Японским морем 1 сентября 1983 г. Как удалось выяснить корреспонденту «Известий» Виктору Беликову, судебное решение вынесено по иску семей погибших пассажиров, которым авиакомпания обязана выплатить компенсацию»...

И все? Ах, Беликов, Беликов!.. Маловато выяснил... Чьи иски — только японские?.. Или корейские тоже?.. И какие аргументы звучали на суде?.. И последняя ли это инстанция, токийский суд?.. Или прав был Миша Волков, выкрикивая, правда, по другому поводу, стихи Лермонтова о Божьем суде и наперсниках разврата?..

«В различных пропагандистских акциях, — писала Анта Журавлева в своем гениальном отчете о гастролях, — подчеркивалось, что на этом самолете погибло 29 японцев. На телевизионных экранах показывали вдов и матерей погибших и соответственно комментировали их выступления. На северо-восточном берегу Хоккайдо специальные службы вылавливали из океана останки людей и самолета, которые прибывало прибоем... Хулиганские действия правых продолжались с небольшими паузами все гастроли БДТ... Полиция ... гарантировала безопасность труппе только в помещениях отелей и театров. Поэтому все участники спектакля в час дня под охраной выезжали из гостиницы в театр, чтобы избежать встречи с фашиствующими хулиганами на улице, так как те начинали свои выступления обычно с трех часов. Возвращались ... тоже под охраной полиции. Товарищи, свободные от проведения спектакля, не выходили из помещения гостиницы».

В то же время американский артист Р., то есть Рональд Рейган, играя роль президента США, объяснял народам: *«Это был акт настоящего вандализма, порожденный обществом, растоптавшим права человека и сведшим к нулю стоимость человеческой жизни...».*

— Смотрел вчера телевизор?

— Тише, партия идет...

Мы были дисциплинированы, послушны и, как бобики, сидели на привязи, но этого партии казалось недостаточно. Некоторых она хотела получить целиком... Замдир Белобородов на экскурсии в Киото напомнил, что у райкома есть *десять вакансий для интеллигентов* и, в отличие от американского, у нашего Р. есть хороший шанс начать новую партийную жизнь.

— Поздновато, Рома, — сказал Р. и, чтобы не застревать на теме, добавил: — Оказывается, живопись *укиё* повлияла на импрессионизм!..

Проявляя пластичность, Рома сказал:

— Владимир Эммануилович, Киото славится водой *киемидзу*, а на ней делают виски.

— Рома, — сказал Р., — вы открываете мне глаза...

Наш суфлер и заслуженный донор республики Тамара Ивановна Горская, обладавшая сильным баритоном, по зову партийного сердца ворвалась однажды в кабинет Гоги и, рыдая, поползла к нему на коленях:

— Георгий Александрович, дорогой!.. Вы такой мощный человек, партия без вас задыхается!.. Я не встану с колен, пока вы не примете решение!..

Он испугался, конечно, но устоял...

С тем же приступали к Николаю Павловичу Акимову, приводя в пример администратора Театра Комедии Бахрака. Бахрак мог достать в городе все и, если Акимов просил билет на Москву, не задумывался:

— Пошлите в пятую кассу и возьмите свой билет на фамилию Бахрак...

— Понимаете, — сказал агитаторам Акимов, — я не могу быть в одной партии с Бахраком, а другой у вас, по-моему, нет...

— Лариса Ивановна, — сказал парторг Пустохин Малеванной после премьеры «Оптимистички». — По-моему, Комиссар должен быть членом партии. Что ты думаешь насчет вступления?..

— Мне нечего делать в одной партии с убийцами, — сказала Лара, идя дальше самого Акимова. Она имела в виду не «Боинг», а всю партийную историю. — Если человек хочет выделиться, пусть выделяется за счет личных достоинств, а не за счет вступления в партию.

— Ты все-таки подумай, — попросил деликатный парторг.

Перед Германией, где за Ларой откровенно следили, он сказал:

— Лариса! Давай побеседуем!.. Ведь ты снималась в фильме у Панича. — Юлиан Панич, популярный советский киноартист, а позже известный диссидент, в это время активно работал в Мюнхене на радио «Свобода». — А как ты поступишь, если вдруг встретишь его?..

— Наверное, поздороваюсь, обниму, поцелую...

— Знаешь, я не советую тебе этого делать. Прошло много лет, можно сделать вид, что не заметила, перейти на другую сторону...

— Толя, я не способна на такое скотство!..

Тяжелая работа... А в Японии ему пришлось обращаться к Шарко:

— Зинаида Максимовна, я слышал, что вы ходите с Н.

— Иногда, — призналась Зина.

— Пожалуйста, присмотрите за ним, чтобы не случилось... Как в Финляндии...

— Толик, — рубанула Шарко, — я не для этого в Японию приехала!..

— Ну, извините, — со вздохом отступил Пустохин.

Представляете, какой ад был у него в душе? Не потому ли он пил, пил и запил не хуже Жени Горюнова, своего предшественника на этом посту?

Когда Пустохин окончил институт по курсу Макарьева, его пригласили четыре главрежа. Толя выбрал театр Владимирова, а потом пришел советоваться к своему педагогу Лидии Григорьевне Гавриловой.

— Что делать? — спросил он. — Пригласили в БДТ, но с одним условием: театру нужен парторг. И дали несколько дней на раздумье...

Видимо, понимал условие и все-таки не мог представить, какой это напряг, какой раскол в душе, какая стыдоба и, в конце концов, трагедия!..

Вы скажете, трагедии нет, многие делали партийные дела с холодным носом. Тогда почему ходил советоваться? Почему в итоге запил горькую?.. Сначала втихую, сам с собой, потом — в открытую, а дальше — по-черному... И, доведя карьеру до высокой крыши, народный артист по пьяному делу не явился на спектакль, а потом, каюсь на ковре, молил о прощении бывшего товарища по партии и плакал, плакал, а другие говорят, что рыдал...

Вы скажете, у него были свои мотивы пить — расходы, разводы, сложности с любимым сыном Пашей, которого он однажды на омских гастролях просто спас. Они поднимались в лифте на свой этаж, и, едва двери открылись, кабина резко пошла вниз. Толя успел вытолкнуть мальчика и попытался выпрыгнуть за ним, но упал на площадку грудью, а потолок скользящей вниз кабины прижал его к полу поперек спины. Это была смертельная мышеловка, он стал почти черным тогда, еле спасли, еле отошел...

Может быть, он с самого начала предчувствовал гибельный риск: роль парторга не плащик — то надел, то снял, — опасное ампула, коварный имидж, железная маска...

Как с железной маской на лице стать свободным артистом?..

А потом все посыпалось — партия, страна, жизнь...

Как-то потемну, в гололед, Толя пошел выносить мусорное ведро и, будучи подшофе, упал. Он расколол тазобедренный сустав и еле дополз до квартиры. «Скорая» свезла его в больницу Ленина, там началась бредовая горячка. По причине горячки или непрофильности медучреждения операцию делать не стали, так он и пролежал с расколотым суставом без толку и ясности. Потом его переправили в институт травматологии и ортопедии, обещали поставить на ноги, но дело опять затянулось.

Хорошо бы учли заслуги и оставили числиться в труппе. А если нет?..

А ведь он живет в соседнем дворе, через стенку от твоей работы!..

— Здравствуй, Толя!.. Как дела?
— Здравствуй, Володенька!.. С переменным успехом.
— Ты в театре, в труппе?..
— Да что ты!.. Нет, мне пришлось уволиться...
— Как же так?!

— Вот так... Инвалид второй группы. У меня же не производственная травма. До радио не могу дойти...

— А до театра?..

— С театром я не поддерживаю никаких отношений. — Он сидел на ковровом диване чуть наискосок, чистый, ухоженный и, если бы не эта неудобно повернутая нога, совершенно здоровый. — Спасибо, что зашел! Мы же с тобой однокамерники!..

Это — о гримерке. Когда опустело место Паши Луспекаева, Толю привел Валерьян Иванович Михайлов и в своей изящной манере сказал:

— Адтист Пустохин!.. Будет у нас даботать и здесь гдимидоваться.

С того дня Толя прослужил в БДТ тридцать два года.

— Рюмку тебе можно?.. Я на всякий случай взял...

— Почему нет?.. Людочка, помоги, пожалуйста!..

— Как сын?..

— У Паши, слава Богу, хорошо. Сегодня должен зайти...

За темным окном текла Фонтанка. Квартиру Толе дали рядом с театром, чтобы легче было нести двойную нагрузку. Чуть не сказал «жизнь». Выпили водки, в соответствии с песней о чижике, который тоже был прописан на нашей набережной.

— Не думал, что ты уйдешь... Кто угодно, только не ты, — сказал Р.

— Если бы был Гога, — сказал Толя, не завершая мысли. — Он ко мне прекрасно относился, давал играть. Я просился у него отдохнуть, не быть парторгом. Он разрешил только на год. Год побыл Кузнецов, я говорю: «Георгий Александрович, может быть, Сева останется?» — «Нет, — говорит, — возвращайтесь на свое место!..» Они теперь крестятся там чуть что. Я, между прочим, тоже крещеный...

— Я был уверен, что ты относился к партии истово...

— Да что ты! — он даже махнул рукой. — Я старался для театра!..

— Господи! — сказала Люда. — Да он вздрагивал от каждого звонка!.. А когда нужно было делать отчет, весь покрывался экземой!..

— Да, — сказал Толя, — когда звонили оттуда...

«Хорошее слово «оттуда», — подумал Р. — И «однокамерники» неплохое».

— Ты выздоравливай, Толя. Вон у Гердта какая была нога, а он всю снимался и на радио звенел...

За окном текла Фонтанка...

Как-то после «Мещан», — уйдя из театра, Р. все еще изредка играл своего Петра, — задержались, чтобы отметить день рождения артиста Козлова, и разговор зашел о сегодняшнем дне, то есть о «перестройке» и развале партии коммунистов.

— А куда вы девали свои партбилеты? — спросил подвыпивший Р.

— Я — сохранил, — твердо сказал Сева Кузнецов. — Он у меня. И взносы... До последнего дня!..

— Молодец! Это — принципиально! — одобрил беспартийный отщепенец, как будто Сева нуждался в его одобрении. — Это мне нравится.

Возникла короткая пауза, потому что были здесь и другие партийцы.

— А я свой партбилет сдал, — так же твердо, как Сева, сказал его друг Кира Лавров. — Я из партии вышел.

Не мог же он, как руководитель театра, отмолчаться в такой ситуации.

— И ты молодец! — похвалил Р., снова не замечая своей тупости. — Представляю, как мучился... Молодец!..

Как будто его просили давать свои отщепенские оценки.

А все — дурная голова и водка «Ливиз»...

— 16

Одиночество — вот что такое свобода, и нечего здесь финтить!..

Вас оно не страшит?... О, вы — герой!..

Или чуткие сны освещает девушка, и ночью кажется, что вы не один?

На улице Кораблестроителей японская симфония творила себя сама. Композитор Р. отчетливо слышал океанские волны музыки. Двое рабочих, шагая в ногу, выносили на подиум Большого зала другой, большой самисен, темный, почти кубический ящик безо всяких отверстий с прикрепленной к нему в виде грифа длинной изогнутой шейкой, и ставили его слева от дирижерского пульта. И тут появлялся он сам, брал в руки гриф, как первую скрипку, купленную в долг его отцом, и пробовал, верно ли звучит каждая из трех струн. Он давал их лопаточкой из черепахи и выверял строй... Нет, нет, на самисене должен играть японец... А лучше — японка!.. На самисене сыграет Иосико, а он выйдет во фраке, поправит черную бабочку и соберет внимание оркестра. «Раз, два, три, четыре... И!..»

«Да продлится держава нашего императора тысячи да тысячи лет! И пусть на тысячи лет продлится наша любовь. Пусть она царствует, пока не станут скалами камни и не затвердеет мох. Пусть Господь пошлет нам вечную молодость и стойкость против беды!» Откуда это?.. А!.. Невэтомдело...

Он благословил одиночество и вид из окна: новостроенные коробки, мелкие осинки внизу и Финский залив в счастливом просвете. Разве можно сравнить жизнь, с утра до ночи и с ночи до утра отданную музыке, и жизнь, связанную с тяготами семьи? Ответить тому, успокоить эту, сесть за общий стол, быть таким, как все... Вы будете смеяться, но это отнимает много времени и сил! Быть, как все, — тяжелая повинность, нужно очень стараться. Поэтому одиночество — блаженство и счастье художника, господа. И, возвращаясь из театра, Р. спешил к себе, к Божьему призванью, к священной мессе...

А девушка Иосико листала большой японско-русский словарь и легко находила точные слова: «Я обожаю Вас, сенсей. Я преклоняюсь перед Вами. Я боготворю Вас...». Откуда это известно автору?.. Он растерян и не знает, что сказать...

Может быть, услышал, глядя на картину Хокусаи?.. Или эти нежные фразы из своего далека подсказала священная гора, кипя-

щая музыкой и речью?.. Право, автор не помнит источника, но девушка Иосико и композитор Р. уже который год делают с ним что хотят...

Между тем Р. продолжал трудиться, чувствуя в душе какое-то странное смирение. Он часто вспоминал свою мать, и в симфонию, которую автор советовал ему назвать «Прощанием с Фудзиямой», стали вплетаться музыкальные картинки Белой Церкви и киевских переулков, навстречу строем пошли красноармейцы в довоенной форме, марш становился отчетливой и жестче и, как в полковой забор, упирался в грохочущую войну...

Театр опять уехал в зарубежные гастроли без него, и Сеню почему-то обрадовало пустынное спокойствие зеленого дома на Фонтанке. Он поднимался на четвертый этаж, смотрел на клавиши и видел себя воспитанником музучилища и добровольцем, худым и веселым, слушал ржавую какофонию Курской дуги и снова топал воякой через Болгарию, Венгрию, Польшу, где спустя много лет после чадной войны так горячо принимали его дорогой театр...

Тут и подоспела неизбежная и пугающая раздача ключей владельцам кооперативных квартир в доме на Финляндском проспекте. Нужно было получать документы и вписывать в ордер имена членов семьи. Пришла пора позаботиться о детях. Квартиру на Зверинской быстро разменяли на две двухкомнатные для дочери с мужем и сына с женой и ребенком, а на Финляндский проспект он перевез свою жену с тещей и обоих котов...

И сам остался с ними...

«Прощай, Фудзияма, прощай, Иосико, и молодость, тоже прощай навсегда...»

Однажды, глубоко задумавшись о сложностях жизни, он упал, разбил ногу и упомянул об этом в потайном письме из госпиталя. Он был по-японски сдержан, но какие чувства вызвало это письмо! «Дорогой сенсей! — отвечала Иосико. — Я хочу мыть Ваши ноги, целовать разбитое колено! Если бы я была лепестком сакуры, я прилетела бы с ветерком к Вашим ногам!..» Да, да, автор дает волю воображению, но ответ был таков или в этом роде. Традиционный японский стиль, дивные формы вежливости...

Сын прочел все ее письма, получив нищее наследство, и удивился протяженности переписки. Ни слова о каких-то планах на будущее. Немного того, немного этого, ездила туда-то, занималась тем-то... *Выхожу замуж...*

«Не уверен, но думаю, что ее письма я сжег», — ответил мне живущий в Европе наследник. Конечно, это его право. А может быть, даже и долг. Мы благодарны сыну за верность семье и желаем добра и удачи.

Кому интересны ее горючие письма, кроме бесправного автора?..

И что значит для нас, людей нового века, давний *гастрольный роман*, помеха законной жизни, честной семье и доброй карьере?.. Забудем, забудем!.. Вернемся в толковый и внятный мир!.. Перестанем наконец поминать жалкое совковое прошлое!.. Новый век начался, зачем эти опасливые оглядки?! Забудем, забудем!..

Жаль, что другого прошлого у автора нет...

Новые поездки?.. Но разве вы не поняли, господа, что никакая все это не заграница, и автор — всего лишь кулик на хваленном болоте?..

Разве не знаете, что у нас в метро — размывы и под почвой — вода?.. Разве не встречали его в Синявине и на Пискаревке?.. Вот же он, кулик, качает головой, идет по Зверинской, сворачивает на Большой!.. Похвалит, покуличит и — к Пушкинской, и — на Голодай... И везде под долгой ногой проступает влага...

А когда бежит по Фонтанке, к Невскому — по правой руке, а в Коломну — по левой... Ваш кулик, ваш!.. Бросьте ему хлебца или налейте стакан! Сколько он выпил на этой реке, не меньше вашего чижики!.. «Эй, зачем палочку взял, разве нога не прошла?» — «Для понта!» — И дальше шкандыбают...

У Чернышева, а тем более у Лештукова, он замедляет ход, чтобы еще раз узнать зеленый домик, с чугунным, восстановленным к празднику новодельным навесом, со знакомой афишкой, с Пушкиным и Глинкой там, наверху, на фронтоне, хотя лиц и не разглядеть... Вот он, рядом, косит повлажневшим глазом, медлит усталыми ногами, оставляя невидимые пятипалые следы в родном болотце!.. И следов не осталось, а кулик все хвалит, хвалит!.. Просто у него свой язык, куличиный, а вам невдомек, вам переводчика подавай!.. Бог подаст.

Позвольте поздравить вас, господу, с юбилеем Санкт-Петербурга!.. Триста лет, хорошая дата, а годы плывут по нашему небу, как японские журавли...

«Дорогая Ёсико!..

Я уже поздравлял тебя с выходом замуж и еще раз желаю тебе большого счастья, чтобы жизнь сложилась у тебя хорошо и интересно.

Увы, у меня что-то не складывается, как хотелось бы, хотя жаловаться грех, т.к. особых неприятностей, вроде бы, и нет (и то хорошо!), но хочется чего-нибудь большего. Выручает меня моя главная любовь — музыка!.. И пока я с ней — все нипочем...

Ты понимаешь, что мне приходится придумывать, как с тобой связаться, т.к. мне не позволено открыто переписываться!!! Я даже Веткина пишу задом наперед: Никтев.

Я изредка из разных мест буду присылать вести, тебе же совсем неудобно... Помню и люблю. Давно ничего не знаю о тебе. Если захочешь, напиши по адресу: 414056, г. Астрахань, улица Савушкина, д. 10; кв. 8. Полевой Э.Е. Целую! С.Е.

P.S. Не будет ревновать муж к переписке?..

г. Ленинград, гостиница «Прибалтийская». Никтев С.Е.»

Такова русская конспирация, господу: в Астрахани живет сестра, она перешлет ему личную почту в советских конвертах. А «Веткиным» он подписывал некоторые афиши, например «Историю лошади». Розовский напевал свои песенки, а Веткин, то есть Розенцвейг, приводил их в нотный порядок. «Музыка Розовского и Веткина». Веткин или Никтев — какая, в сущности, разница?.. Главное: «Помню и люблю...».

Откуда эти строчки у автора? Сочинил, сочинил!.. Но иногда ему кажется, что они пришли по почте, добрались из Японии, из провинции Тоттори. И читаем мы их потому, что девушка Иосико сохранила весточки и письма, все до одного. И недолго думала, решая поделиться с нами, любезный читатель. Несмотря ни на что...

Как бы вам это передать? Так, как услышал? Или так, как увидел, когда услышал? Г.И. Суханов, последний товстоноговский директор, при встрече на Знаменской сказал к слову, что на его долю достался один неприятный случай, а самая неприятная часть неприятного случая вышла в его кабинете. Так благодаря Геннадию Ивановичу автор узнал о выдающемся поступке любимого героя. Насколько пассивна и вынужденна была роль участника в директорском кресле, настолько активно и добровольно он взял на себя свидетельские показания. Речь шла о Розенцвейге, которого Геня почему-то называл Семей. Попробуем передать последовательность событий.

Однажды композитора Р. вызвали на проходную театра, чтобы вручить ему письмо и пакет из Японии. То есть дежурному на проходной, — а в этот день дежурил начальник охраны Андрей Иванович Рыдван, — гости показались именно японцами. Никто в театре, кроме вызывающего и вызываемого, то есть Рыдвана и Розенцвейга, этих людей не видел, но факт в том, что иностранцы, похожие на японцев, вручили завмузу пакет и письмо...

Так же, как и автор, читатель, наверное, догадался, что это была удачная оказия и привет композитору Р. от девушки Иосико.

Заметим в то же время, что мы бы никогда этого не узнали, если бы Андрей Рыдван не исполнил свой пограничный долг и не доложил о случившемся кому полагалось. Таким человеком был куратор БДТ по линии КГБ.

Посетив вскоре директора, его куратор, — Геня так и сказал — «мой куратор», имя не упоминалось, — задал вопрос:

— Что же вы, Геннадий Иванович, не рассказываете, что тут у вас было?..

— А что у нас было? — спросил неосведомленный директор и получил ответ: такого-то, мол, числа, в такое-то время на проходной театра состоялась встреча завмуза Розенцвейга с неизвестными японцами, где ему были переданы *письмо и пакет*.

Геннадий Иванович перезвонил в охрану и узнал, что такого-то числа дежурил лично Рыдван. Получалось, что начальник охраны не понадеялся на Суханова и доложил куратору поверх директорской головы. Деталь немаловажная; стало быть, директору куратор хотя и доверял, но в лице начальника охраны имел «чистильщика», и «чи-

стильщик», подведя своего директора, своего куратора не подвел. Вообще-то энтузиастов у нас хватало, но в данном случае, как оказалось, остальные были не задействованы...

Тут же для выяснения деталей подъехал и вошел представитель Министерства иностранных дел, через которого, по согласованию с КГБ, добывались выездные визы гастролерам.

Важные гости попросили директора пригласить в кабинет зав. музыкальной частью, а поскольку Р., конечно же, был на работе, он тут же пришел. Так в кабинете собралось не менее четырех человек, а если здесь же оказался пограничник Рыдван, то и все пятеро...

Для того чтобы собравшийся квартет или квинтет зазвучал, как положено, Розенцвейгу предложили сесть, а когда он сел, к нему с подбаивающей вежливостью обратился дирижер... Простите, куратор.

— Уважаемый Семен Ефимович, — сказал он, хотя автор не убежден, что слово «уважаемый» здесь прозвучало, — мы знаем, что такого-то числа в такое-то время на проходной театра вы встречались с японцами, и они передали вам письмо и пакет. Скажите, пожалуйста, — впрочем, и «пожалуйста» он мог пропустить, — с кем вы встречались и что было в пакете?.. Не беспокойтесь, мы не станем делать оргвыводов, и последствия вам не грозят. Но знать, кто принес и что именно, мы, конечно, должны...

После этих слов в кабинете возникла обширная пауза, а после паузы произошло нечто непредвиденное. «Наш тихий Сема», по словам Гени, взорвался, как настоящий трагик, и из тихого интеллигента превратился в «зверя рыкающего»:

— Нет! Нет! Нет! — закричал он, вскочив и размахивая руками. — Не трогайте!.. Это — мое!.. Не подходите!.. Я не хочу знать, что вас интересует!.. Ничего вы от меня не услышите!.. Ни одного слова!.. Вы не смеете сюда касаться!.. Это — святое!.. Это — не ваше дело!.. Нечего устраивать мне допросы!.. Хватит издеваться!.. Довольно!.. Вы не смеете! Не смеет! Не смеет!..

Он вспомнил войну и сытых армейских особистов. И «дело врачей». И подлую «борьбу с космополитизмом». И то, как они мучили сына, и многое, многое еще. И он продолжал кричать с яростью и самозабвением; и самое драгоценное, что хранилось в нем долгие годы терпеливой жизни, внезапно обнаружилось — вся скрытая неза-

висимость, и спрятанное достоинство, и маскирующаяся отвага. Правда, сколько можно сносить «все эти плети и глумленья века», гибель товарищей и бесконечные посягательства на личность?.. Сколько же можно испытывать одного человека?.. А главное, куда они полезли немытыми руками, на что посягнули, уверенные в своих правах!.. Они полезли прямо в душу, они посягнули на его Музу и на его Музыку!.. Сколько можно терпеть?!

И чем свободнее изливал он свои честные чувства, тем легче ему становилось, чем выше вскипала волна благородной ярости, тем больше он чувствовал себя человеком. «Пусть я-рость бла-го-род-ная», — вспыхнуло в нем. И вдруг он догадался, о чем эта чудная песня Александрова, которую он сотни раз играл на этой войне и после. Это песня о свободе человека и о тех, кто хочет ее отнять. «Дадим отпор...» Да, да... «Дадим отпор душителям»... Забыл вторую строчку... Каких-то там идей... Да... «Насильникам, грабителям, мучителям людей!». Вот правда!.. Они приходят и требуют нашего личного, как своего, и уверены, что мы повернемся и послушно станем раком!.. Они привыкли, что все поворачиваются!.. И мучают, и насилюют, и отнимают, и грабят!.. Все!.. Конец!.. Будьте прокляты!..

Семен Ефимович замолчал и выдохнул. Ему стало совсем легко.

Присутствующие молчали. Потом куратор сказал:

— Ну, что же, вам видней, Семен Ефимович. — А когда Розенцвейг вышел из кабинета, добавил: — Да-а-а... Какая озлобленность!..

И им пришлось сделать свои оргвыводы.

Эта историческая сцена досталась автору позже остальных, но она не отменяет всего предыдущего. Нельзя исключать, что склывшиеся вокруг композитора Р. слухи о мнимых мотивах и виновниках его поражения в правах разошлись как раз оттого, что за ними удачно скрылись действительные причины и подлинные виновники, и это входило в рабочую задачу кураторов. Они хотели вызвать надлежащий страх. С тем же успехом догадки и ложные наветы могли родиться параллельно с открывшимся случаем и независимо от него, однако время было дано на всех, и только избранные распоряжались им по-своему.

Таким оказался композитор Р., разошедшийся с большинством, отколовшийся от семьи и предавший себя одиночеству, прежде чем совершить новый подвиг. «Нас мало, избранных», — успел сказать пушкинский Моцарт, и Розенцвейг его услышал. Теперь ясно: наш герой не прятался от событий и не кидался в обоз в момент встречного боя; он встал в рост и пошел навстречу черному человеку. Вы скажете, я преувеличиваю смысл этого поступка? Тогда выбирайте себе другого героя и другого автора, потому что вы не пережили наших времен.

— Нет, нет и нет! — крикнул Семен Розенцвейг, и автор гордится тем, что был его современником.

Как удалось выяснить уже не от кого-то, а вневедомственным, иррациональным, а может быть, даже и воздушным путем, в пакете, по поводу которого был учинен допрос, была видеокассета с известным мюзиклом «Кошки», а письмо Иосико оказалось на редкость коротким. Кроме пожелания больше никогда не болеть, оно содержало три стихотворные строки бездомного Басё в переводе Веры Марковой...

— 17

Однажды, откликнувшись на случайное предложение, Р. прочел по радио несколько японских стихотворений в переводе Веры Марковой и неожиданно получил от нее письмо из Москвы. Первая его часть была посвящена звучанию стихов, а вторая — петербургскому адресу, по которому отправлялся конверт. В доме № 19 по улице Знаменской семья Марковых прожила много лет, и выходило, что, составив послание незнакомому ей артисту Р., Вера Николаевна отправляла его как бы себе домой. Сам сюжет невольной оглядки в дорогое ей прошлое звучал для отправительницы, пожизненно связанной с японской литературой, совершенно по-японски, а ее адресат еще не мог догадаться, что получил предвестье и пророчество. Но с тех пор он стал почитать японские стихи и прозу в переводе своей «соседки»...

Отец Веры Николаевны был инженером-путейцем, стало быть, человеком обеспеченным, и выбрал для семьи большую квартиру

с эркером, выходящую на угол Знаменской и Жуковского, вскоре после февральской революции. Он долго не мог добиться от хозяина ответа, какими деньгами платить; наконец дело решилось, и царскому золоту или валюте продавец предпочел бумажные керенки, наравшись вскоре на октябрьский дефолт...

Наш дом строился в начале двадцатого века в стиле модерн и был удостоен золотой медали на Всемирной выставке в Париже. Говорили, что одно время в нем жила или снимала квартиру сама Вырубова. Снаружи его украшали нарядные эркеры, стильные орнаменты, кованые балконы, барельефы и узорные вставки, а внутри — лепные украшения, мозаичные панно, изысканная майолика, причем и внутри, и снаружи господствовали мотивы раскрывшихся маков, романтических куц, озер и лебедей, прекрасных дам и рыцарей на конях. Над главным углом воспарил парадный щит с крылатым архангелом. Во всех подъездах топились камины, гостей встречали швейцары, и верхнее платье с калошами пришельцы оставляли внизу.

Лестничные марши ограждали железные решетки искуснойковки, с изящной листвой и теми же маками, а дубовый, похожий на игрушечный лифт с узкими зеркалами поднимал гостей бесшумно и плавно. Р. еще застал ту кабинку, побитую временем, поруганную людьми, и уже на его глазах в конце семидесятых старатели треста «Лифтмонтаж» вырубали ее из шахты и заменяли стальным уродцем, похожим на сейф или пыточную камеру.

Во время блокады в дом угодил немецкий снаряд, квартиры верхних этажей нашего флигеля остались без южных стен и долго были открыты утешительному солнцу...

После капремонта в начале пятидесятых жилье стало в основном коммунальным, подъезды вскоре оказались распахнуты, стекла выбиты, и на широких подоконниках началась новая жизнь. Здесь принимали клиентов проститутки с Московского вокзала, выпивали идейные алкоголики и пробующие юнцы, здесь позже начали ширяться наркоманы, пряча грязные шприцы в прикрытые жестью гнезда электросчетчиков. В большие морозы под батареями ночевали бомжи, и памятный Вере Николаевне подъезд набрал запахи отхожего места...

Получив первое письмо, артист Р. и сам стал расспрашивать о доме, и оказалось, что он принадлежал П.Т. Бадаеву, у которого было немало недвижимости в Санкт-Петербурге, в том числе и знаменитые «бадаевские склады», которые сгорели в блокаду вместе с запасами продовольствия. Строить доходный дом взялся гражданский инженер Василий Александрович Косяков, а помог ему родной брат, Георгий Александрович. В управлении по охране памятников отмечено также участие в деле архитектора Н.Л. Подберезского и художника-керамиста П.К. Ваулина, автора дивной майолики. Год рождения дома по Знаменской, 19 — 1906-й...

Между артистом Р. и Верой Николаевной завязалась многолетняя эпистолярная беседа, чередующаяся с разговорами по телефону и так ни разу и не перешедшая в личную встречу; сколько раз Р. ни собирался нанести визит в Москве, что-то в последний момент обязательно мешало. Обменивались и книгами; однажды Р. получил сборник стихов Веры Марковой, поэта необычного и глубокого. За ее плечами стоял начинавшийся с Блока и Ахматовой некалендарный двадцатый век и несколько веков японской поэзии.

«Наш дом, наш дом», — писали и говорили друг другу Вера Николаевна и артист Р. и тотчас вспоминали о том, что любимый Басё был бездомен.

Когда Веры Николаевны не стало, Р. понял, что их несбывшееся свидание или растянувшаяся «невстреча» оказались в духе романтических отношений дамы и кавалера из великого памятника японской литературы «Исэ Моногатари»: «Свиданий? — Их нет. / Все ж одно — наши души...».

Прочтя рукописную книгу В. Марковой «Закованные дни» с эпиграфом из Пушкина «Влачу закованные дни», Юрий Коваль сказал ей, что первое же стихотворение «Тень птицы» напомнило ему японскую танку и свидетельствует о влиянии на нее японцев.

— Так ведь японские танки — это я, — ответила Вера Николаевна. — Это я, понимаете? Какие же влияния? Я влияю на саму себя? Вы поняли главную мысль стихов моих? Это созна-

ние, вышедшее за пределы сознания и которое само собой уже не управляет. Я — вкрапление в ваше время. Я — чужеродна.

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер...

Летом 1946 года, незадолго до того, как жажнула ждановская дубина, А.А. Ахматова успела дважды выступить в БДТ.

В первый раз ее привез в театр Леонид Антонович Малюгин — драматург, завлит и директор драматической студии при театре. Подкатил на автомобиле, открыл дверцу, подал руку и повел наверх. Он играл в коллективе крупную роль; его пьеса «Старые друзья», написанная для послевоенного выпуска, имела всесоюзный успех, а по поводу положения в театре ходила шутка: «Не так страшен Рудник, как его Малюгин».

Худруком был Лев Сергеевич Рудник. Он вывозил театр в эвакуацию в Киров (Вятку), ставил оборонные спектакли, готовил концертные программы и вместе с фронтовыми бригадами бывал на передовых. После прорыва блокады БДТ стал первым театром, поднявшим занавес. И недаром маршал Леонид Александрович Говоров, командующий Ленинградским фронтом, подарил Руднику роскошный автомобиль «опель-супер», высший класс, не чета «кадетам» и «капитанам». Главреж БДТ водил его сам. Плыл по Невскому красавец-автомобиль, вороное крыло, маршальский блеск, а за рулем — красавец-мужчина, метр восемьдесят пять, римский профиль, глаза с поволокой, шик!.. Броская картинка, большой соблазн для женского населения...

А то, что Рудник был большой женолюб, так это для главных режиссеров типично, и наш Товстоногов старался от Рудника не отстать. Правда, однажды он пожаловался на женщин одной из любимых актрис:

— Они любят не меня, а мои регалии...

Руднику жаловаться не приходилось, таких регалий у него не было...

В 1946 году Малой сцены в театре тоже еще не было, а на ее площадях под правым скатом крыши размещались классы студии.

Ахматову собрались слушать в большом, имеющем Г-образную форму, зале с круглыми окошками, сейчас на этом месте зрительское фойе. Большинство составили студийцы — Нина Ольхина, Владик Стрельчик, Изиль Заблудовский, Нина Хохлова, Иосиф Ционский и другие, а всего человек пятьдесят.

Ахматова появилась «красивая и гордая» (Ционский), в темном платье и редкой шали на плечах, все встали, начали аплодировать, но она их остановила отодвигающей рукой и села за огромный круглый стол в приготовленное кресло. Студийцы ждали чуда, и около Анны Андреевны осталось свободное пространство: вместе со всеми и все-таки одна...

— У нас сегодня радостный день, — сказал Малюгин, — к нам в гости пришел великий поэт Анна Андреевна Ахматова!

Все снова встали и попытались хлопать, она была тронута, но опять остановила, сказав: *«Это — лишнее»*.

Прочла Ахматова стихотворений десять-двенадцать, потом началось что-то вроде беседы — вопросы, ответы. Участники, до которых автор мог дотянуться, сказали, как все: «царственная», «величавая»; сцена была у них перед глазами, вот только как ее передать...

Заблудовский вспомнил, что она читала, поглядывая в листки, и пользовалась лорнетом. Лорнет был с нею и в Москве, в Доме Союзов, когда весь Колонный зал встал ей навстречу, а Сталин по этому поводу задал сигнальный вопрос: *«Кто организовал вставание?»*. Он сохранился; редкая вещь, будущий экспонат музея, с черепаховой ручкой-фуляром и кнопкой: нажмешь — объявятся два стекла в черной оправе...

В конце аплодировали стоя, подарили цветы (розы) и стайкой проводили вниз. Малюгин хотел было ехать с ней, но она сказала:

— Благодарю вас, мне предстоит навесить скучное присутствие... — и, войдя в автомобиль, махнула театру рукой...

7 августа того же 1946 года Ахматова снова была на Фонтанке и выходила на большую сцену по поводу юбилейного блоковского вечера — двадцать пять лет со дня смерти.

Он прав — опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит...
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой...

Этому юбилею предшествовало насильственное перезахоронение, сорок четвертого года, кажется. Со Смоленского кладбища Блока с женой, матерью и еще двумя Бекетовыми срочно перетаскивали на Волково поле, где воздвигли мемориал Ульяновых и окружали родственников Ленина интеллигентными останками. Так возникли «Литераторские мостки», и много знаменитых костей повыкопали тогда в Лавре и на Митрофаньевском, чтобы переместить поближе к революционному семейству...

«И вечный бой. Покой нам только снится», — напороочил Александр Александрович. Шла обычная строительная спешка, рабочие отнесли к черепу и скелету без Гамлетова трепета, а Любовь Дмитриевна, зажившись, вообще не успела истлеть и во время процедуры произвела на блоковеда Д.Е. Максимова, того, что хвалил нашу «Розу и Крест», впечатление крайнего кошмара...

7 августа, в полдень, после возложения венков, на Волковом поле состоялось открытие памятника Блоку. Выступающих было много, а от БДТ говорил артист В.Я. Софронов.

На серый цементный подиум установили два черных камня часовенкой. Овальный барельеф был втиснут в верхний. Лицо Блока казалось строгим, даже жестковатым, но он опять был красив и снова выше всех, не такой, каким его хоронили...

Весной 1921-го Бог свел с ним Ахматову у нас же, в Большедрамте, когда Блок выходил на большую сцену прощаться.

«На этот вечер... шли пешком, трамваев не было, — рассказывала Ахматова у Виленкина. — Одеты все плохо, голодные...» Она сидела в ложе с Ходасевичем. Все хлопали, просили еще, и было

видно, как он устал. «Хоть бы они его отпустили!» — сказала она тогда на ухо Владиславу Фелициановичу.

За кулисами Блок поднял на нее глаза, поздоровался и спросил: «А где же испанская шаль?».

Это была последняя встреча...

Всю дневную церемонию открытия памятника Ахматовой молча простояла у самой могилы, не отводя взгляда от бронзового барельефа...

Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» было принято 14 августа, *через неделю* после выступления Ахматовой в БДТ на вечере Блока. Жданову было не лень, и он тут же «рванул рольку» дважды: на собрании партактива и перед ленинградскими писателями. Крутятся над трибунами, идеологическая дубина шевелила волосы на головах интеллигентов. В докладе досталось всем, кто так или иначе *«популяризировал поэзию Ахматовой»* и *«на 29-м году социалистической революции»* допускал *«на сцену некоторые музейные редкости из мира теней»*, которые *«начинают поучать нашу молодежь, как нужно жить...»*.

Рудник и Малюгин, *«свободно предоставившие»* Ахматовой возможность *«отравлять сознание молодежи тлетворным духом своей поэзии»*, оказались виноваты. Партийная и комсомольская организации БДТ тут же самоосудились, но их продолжали долбать. Современник передает: когда по совокупности вин стали снимать Рудника, ему вспомнили и встречу студийцев с Ахматовой, а статью в газете «Смена» о подрастающей в театре молодежи критик-активист назвал *«Идейная бедность»*...

Всех причин, по которым худрук Рудник был «раскассирован» и снят с поста, ни автор, ни артист Р. сообщить читателю не могут, в те годы оба они были от БДТ далеки. Но поводом для кадрового решения большинство свидетелей называют гастрольный роман с Франческой Галь, той самой малюткой-травести, что сыграла главные роли в фильмах «Петер», «Маленькая мама» и других. Слухи и факты таковы. Приехав в Ленинград, Галь задрала головку, впиалась восхищенным взглядом в Рудника, которому ее поручил началь-

ник управления культуры Загурский, да так и проходила весь визит. И в Кировском, в почетной ложе, смотрела не на сцену, где блистала Татьяна Вечеслова, а на Льва, который привел ее не случайно, а потому что и с прекрасной Татьяной Михайловной у него был тогда если и не брак, то роман...

Говорили, что Франческа объявилась из какого-то подвала, как только в Вену вошли наши танки. Она выбежала им навстречу с криком: «Их бин Петер! Их бин Петер!», и ее, так же, как фильмы, приняли за военный трофей.

После краткого визита Загурский справлялся о впечатлениях.

— Вундербар! — восхищенно отвечала она.

— Ленинград? — уточнил начальник управления.

— Рудник, Рудник вундербар! — воскликнула звезда.

Легенда приписывает Руднику необыкновенную смелость и изобретательность в обходе гостиничных церберов и даже *подъем по водосточной трубе до окошка Франчески*, но он эти подвиги улыбочиво отрицал.

Так или иначе, но моральные и идейные фронты партия укрепила.

«ЦК уверен, — сказал товарищ Жданов, — что недостатки в работе ленинградских писателей будут преодолены и что идейная работа ленинградской партийной организации в самый кратчайший срок будет поднята на такую высоту, какая нужна сейчас в интересах партии, народа, государства.»
(Бурные аплодисменты. Все встают.)»

— 18

Легенду о гастрольной встрече со Сталиным Полицеймако сочинил после двадцатого съезда и, все более воодушевляясь, рассказал в первом этаже ресторана «Кавказский» под хорошую выпивку и скромную закуску. Слушали его Мих. Вас. Иванов, Корн и молодой режиссер Гриша Никулин. Культ личности был уже разоблачен, и произвол актерского воображения, внесенный за порог нешуточного прошлого, соответствовал новой партийной линии. Учет к тому же, что артист Полицеймако был мастером байки и розыгрыша, хотя легенда основывалась на факте, известном всему коллективу.

Фигура Виталия Павловича была на редкость колоритна: рост явно недостаточен, туловище массивно и налито витальной силой, лицо грубовато и, прямо скажем, свободно от красоты. Люди, знавшие его близко, не отмечали в нем глубоких свойств ума или особой образованности. Однако на сцене все с лихвой окупал мощный темперамент и редчайшего тембра низкий и трубный голос. Это был настоящий самородок, и успех артиста Полицеймако был велик.

Женщины сходили по нем с ума, и при всей любви и уважении к жене, умной и тонкой чтице Евгении Михайловне Фиш, наш герой во все времена отвечал им взаимностью.

— Виташечка, — спрашивала она глубоким утром, — куда ты пропал, почему не пришел вчера?

— Разве ты не знаешь? — удивлялся он. — Я был на похоронах генерала Д.

— Виташечка, но почему ночью?!

— Женюшечка, во время войны генералов хоронят ночью!..

Итак, поезд «Ленинград—Сочи» подошел к станции назначения, и труппа вышла на перрон. Ждали южных букетов и страстных поклонников, но их не было. Вдруг вместо цветonoсной толпы на ленинградцев кинулась борзая охрана и, освобождая дорогу, прижала гастролеров к вокзальной стенке.

— Сталин приехал, — пронеслось по перрону, и, затаив дыхание, товарищи артисты превратились в товарищей зрителей...

Полицеймако с выходом задержался: его прихватила вызванная пивом нужда, а туалеты были уже заперты. Не ведая о перронной сенсации, он открыл вторую тамбурную дверь и, спустившись по заднюю сторону своего вагона, стал оправляться на рельсы и колесо. Увлеченный наступающим блаженством, герой ничем не отвлекался и по сторонам не смотрел. Лишь доведя желанное действие до конца, премьер оглянулся на соседний состав.

Прямо под его взглядом оконная занавеска ближнего вагона отодвинулась, и Виталий Павлович увидел над собой родное лицо вождя. Нет, не плоский портрет, а его самого во плоти и объеме, хотя и за стеклом, но с рыжеватыми усами и курящейся трубкой в руке.

Не успев толком застегнуться и осознать, что с ним происходит, артист П. бросил руки по швам, вытянулся по уставу и во всю силу на

редкость красивого голоса закричал «Ура-а-а-а!». Тут его схватили и повлекли...

По пересказу Гриши Никулина трудно воспроизвести точную мизансцену. То ли вождь из вечной осторожности прибыл на второй путь, то ли Большедрамте не приняли на первый, однако носитель легенды передает, что Полицеймако стоял спиной к Сталину и повернулся лишь в заключение процесса. Вероятно, это его и спасло. Как только вождя провели через перрон и усадили в машину, Виталий Павлович был отпущен потрясать сочинцев и отпускников героическими ролями. Революционный матрос Артем Годун из лавреневского «Разлома» так и стоит перед глазами автора в монументальной позе: на мощной груди — тельняшка, на плечах — черный бушлат, на лбу бескозырка с ленточкой и надпись «Заря»...

Услышав красочный рассказ, которым другой бы ограничился, зануда-автор пустился на поиски факта, и легенда стала слегка тускнеть. Оказалось, что встреча с вождем вышла не по приезду в Сочи, а наоборот, в момент отъезда, что гастролеров на перрон вовсе не пустили, а держали в автобусах и машинах на привокзальной площади, и, наконец, что Полицеймако истошным голосом кричал не «ура», а «Сталин». Тоже, конечно, неплохо.

Об этом свидетельствует Н.А. Олхина, первая красавица всех наших времен и полная примадонна тех лет, доставленная на вокзал в одном автомобиле с Полицеймако. Ей помогли еще двое очевидцев, уточнивших, что за несколько часов до появления Сталина прибытие и отправление всех поездов было отменено и на площади царил вавилонское столпотворение.

Когда отец народов сел в машину и уехал с места события, составы стали набивать и выгонять со станции с интервалом в двадцать минут, что привело к истерикам уже другого характера. Но радости коллектива не было конца, и новый сезон начался под знаком восторженных рассказов родственникам и знакомым — «Я видел Сталина», а те, кто в Сочи не попал, искренне завидовали гастролерам-счастливым.

Лишь молодой Павел Панков, только что окончивший студию, сказал молодой жене: «Корчим из себя героев, а сидим в глухой массовке».

Сочинский случай вышел, кажется, когда театром руководил актерский триумвират Казико — Полицеймако — Софронов, а с Товстоноговым у Виталия Павловича поначалу отношения катастрофически не складывались. Первого артиста труппы Гога в упор не замечал. Много лет Полицеймако был неприкасаемым, в его игре ощущался переизбыток пафоса, и Мастер хотел каким-то образом его снять. Но воспитательный период затянулся, и, не получая ролей, наш герой достиг пределов страха и отчаянья.

Однажды на худсовете обсуждалась постановка пьесы Г. Фигейредо «Лиса и виноград», и раздались голоса, что, мол, артиста на главную роль баснописца Эзопа в наличии нет.

— Как это нет? — сказал Товстоногов. — Такой артист есть, это Виталий Павлович Полицеймако.

И все были потрясены. Д. Шварц свидетельствует, что, оставшись после всех, прославленный артист и уже пожилой человек *встал перед Гогой на колени и, обливаясь слезами, стал целовать ему руки...*

Виталия Павловича артист Р. в театре еще застал и не только видел в легендарной роли Эзопа, но и поучаствовал в общем спектакле. Готовясь к первым зарубежным гастролям, театр возобновил горьковских «Варваров». На одном из премьерных спектаклей в костюме студента Лукина Р. ждал своего выхода и смотрел из-за кулис сцену купца Редозубова. Появление Полицеймако было великолепно, а голос звучал, как всегда, органно и низко. Но, сказав несколько реплик, Виталий Павлович внезапно потерял ориентировку и пошел не вперед, как ему полагалось по мизансцене, а назад и несколько вбок, в сторону кулис и реквизиторского цеха.

— Ничего не вижу, — сказал он партнерам, — куда идти, куда? — И, шаря в воздухе руками, уткнулся в дровяную поленницу. Ему помогли скрыться.

В антракте дежурный режиссер Агамирзян собрал артистов и, изменив всего несколько реплик, сократил сцены. Спектакль доиграли, как будто Редозубова в пьесе и не было. Оказалось, что Виталия Павловича настиг инсульт, и неправильная диагональ с вытяну-

тыми вперед руками и ощущением темноты и безвыходности была его последним путем по сцене.

— Он ему говорит: «Вы мне помогаете получить Героя, а я вам — Ленинскую премию», — сказал Стриж.

Мы сидели у красного столика на крыше дорогого универмага в Нагойе. Под нами было этажей двадцать, под ногами — синтетическая травка, а у барьерного ограждения стояли ветвистые кусты в ящиках. На нашем кусте улыбались незнакомые красные цветки. Недавно Владик восхищался изощренностью кухонных принадлежностей в громадном, на весь этаж, отделе, а потом замолчал и вот выдал.

— Правда? — спросил Р. — Так бывает?

— Дурачок! — он ласково хмыкнул. — Только так и бывает!..

Иногда его обуревала жажда просвещения, и он учил меня жизни, как маленького. Мы ели рыбу в тесте и очень крупный светло-зеленый виноград, купленные вскладчину посреди прогулки. Точно такой же виноград, только из полированного оникса, мы покупали в Аргентине как сувенир. Клятва не заходить в магазины была забыта.

Вообще-то рассказанный им анекдот был известен от Мишки Волкова. Правда, в другой редакции и с акцентом: «Я вам помогаю получить Ленинскую премию, а вы мне — Героя Соцтруда». Но Мишка мог его сочинить, хвастая осведомленностью. Так же, как Стриж. Зато совпадение, или, вернее, повтор, указывал на более достоверную природу слуха. Хотя слух, знаете ли, интересен и сам по себе. Даже совсем беспочвенный. Как симптом. Или как атмосфера. К этой мысли стоило вернуться.

— А откуда ты знаешь, — спросил Р., — они же были вдвоем?

— Не твое дело, — весело сказал Стриж. — Как тебе это нравится?..

— Очень, — сказал Р., имея в виду скорее рыбу.

— А ты написал стихи для посольства? — неожиданно строго спросил Стриж, не зная, что бьет по больному месту.

— Прикинул, — морщась, сказал Р.

— Пиши, пиши! — веско сказал Стржельчик. — Это тебе зачтется...

— Рекомендуешь? — теперь хмыкнул Р.

— Советую, — сказал он. — Что тебе стоит?..

Ну вот. Так господа артисты относятся к литературному творчеству. Впрочем, точно так же и литераторы — к актерскому. Сыграй, что тебе стоит?.. А сомненья и муки?.. А бессонные ночи?.. А вопиющая недооценка дарования и заслуг?.. А обстоятельства принуждения и вынужденности, о которых говорил сэръ Джон Фальстаф?..

И рыбу, и виноград мы съели довольно быстро, и Слава закурил. Сигаретный дымок был необыкновенно сладок, а зеленая панорама Нагойи волновала, как чей-то знакомый пейзаж...

Так факт это или слух? Если слух — наплевать и забыть. А если факт? Есть и третий вариант, если отнестись к делу философски. Не так важен слух, как факт его возникновения. А факты рождения слухов становятся частью нашей фантастической реальности. И основой сюжетостроения великой русской литературы! Даром, что ли, играем «Ревизора», и неужели нас ничему не научило любимое «Горе от ума»? Слух о Хлестакове как члене ревизионной комиссии. Или сплетня о Чацком. «Вы слышали об Чацком? — Что такое? — С ума сошел! — Пустое! — Не я сказал, другие говорят! — А ты прославить это рад?»

Да не рад я, не рад, трах-тибидох-тандарах, а удручен!..

И не прославить, а принять, как черту падшего времени!.. А то мы все ностальгируем по тухлому советскому квасу, никак не отвяжемся!..

Не забудем также, что в обсуждении слуха участвовал не автор, а артист Р. И был удручен больше нашего, потому что все еще не знал, сколько лет исполнилось Гоге — шестьдесят восемь или семьдесят... И законный ли нынче юбилей с точки зрения календарной даты и отечественной истории!.. Маялся он еще потому, что как артист был постоянно готов правдиво и искренне соврать, такова уж его чудесная профессия, но стихи, которых от него ждали, хотели быть честными всегда и во всем!..

«Вот же, вот, сидит напротив меня Стриж, — думал он, — старший товарищ, можно даже сказать, друг и доброжелатель, и, расска-

зав новорожденный анекдот, советует на его основе написать героическую оду!..»

А между тем слух только что подтвердился указом и тем самым сделал шаг в сторону факта! Теперь, хотим мы этого или не хотим, но оба думаем: а с кем договариваться ему, Стрижу? Кто лично будет помогать Владиславу Игнатьевичу, если черт покамест такое же антипартийное явление, как и Бог, и в высоких кабинетах все еще прячется за портьерой?..

Известен случай, когда один практикующий логопед предложил в поговорке «нет дыма без огня» вместо «дыма» вставлять «слух», а вместо «огня» — «факт». Тут все лингвисты всполошились, и одни предложили присвоить ему степень кандидата наук, а другие — звание полковника. Спорят до сих пор, а логопед получает очень маленькую пенсию. А если начистоту, дело-то именно в ней!..

Так что не будем забывать, господа: «когда постранствуешь, вопротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен!».

Театр без слуха — не жилец, а тем более — легенда о театре...

Для непонятливых скажем проще: если театр — факт, ступайте и садитесь в первый ряд, билеты в БДТ все еще не так дороги. Нас на сцене вы, правда, уже не застанете, но зато похвастаете знакомым, что посетили...

А если театр — миф, вслушайтесь в эхо праздных речей и не побивайте камнями увечного автора: он и сам частица этого мифа, подслеповатый свидетель и токующий глухарь. И в руках у вас — не эгоцентрические «мемории», а беспечный роман, трах-тибидох-тандарах-тарандах!..

Стриж выкурил сигарету, и мы пошли дальше...

— Владимир Эммануилович, неужели вы до сих пор не знаете? — спросила Ирочка Шимбаревич, секретарь и помощник Товстоногова, кладезь познания фактов, случаев и легенд. — Это уже давно всем ясно! Недавно я снова была в Тбилиси и опять пошла на Татьянинскую улицу... На одной стороне — табличка «Татьянинская», а на другой — «Улица 25 февраля». Там всего одиннадцать домов. Тут дом Гии Канчели, а напротив — дом Гоги, с мемориальной доской. И на доске написано: «В этом доме родился и жил с 1915 по

1946 годы выдающийся режиссер и общественный деятель Георгий Александрович Товстоногов». Понимаете?.. Семидесятилетие можно было праздновать не только в 83-м, когда вы были в Японии, но еще раз, в 85-м...

— Так в каком же году он родился? — спросил заторможенный Р.

— Но это же так просто! — сказала Ирочка. — Вы помните, была такая передача, когда Урмас Отт задавал Георгию Александровичу вопросы?

— Кажется, помню.

— А вы не обратили внимания, когда Урмас его спросил о родине, Тбилиси, Гога ответил: «Откуда вы взяли эту ерунду? Я родился в Ленинграде!». Представляете?.. Все были просто потрясены!..

— Хорошо, — сказал Р. — А где же он родился?..

— А вы подумайте, Владимир Эммануилович, — лукаво сказала Ира. — Я делала его жизнеописание и приставала к Георгию Александровичу с теми же вопросами. Понимаете, ни звание народного артиста СССР, ни депутатство, тем более что оно уже кончилось, ничего по жизни не дают. Настоящие, гарантированные льготы до конца дней дает только звание Героя Соцтруда. И он мне сказал: «Ира, я хочу получить «Гэроя» *пры жизни!* И пишите мое жизнеописание в соответствии с этой задачей: «Я родился и так далее, и так далее...» И я написала. Между прочим, у меня есть фотография, где я привинчиваю ему эту звездочку. Не такая уж она красивая...

И Суханов рассказывал, как однажды дома «у Гогочки» они, забавляясь и, разумеется, в шутку, стали цеплять на его пиджак все «рэгалии», и Гогочкин пиджак стал похож на бронезилет...

В покупке феноменального кожаного пиджака Миньке ассистировал Басик. Дело было в Аргентине. Предмет мечты висел в известном магазине для моряков, хозяйкой была русскоговорящая полька взрослых лет, травленная блондинка с помадным ртом, и Миша уже не раз пиджак примерял. Здесь случалось чудо: сшитая на другом полушарии вещь вышла на заказ: плечи, талия, рукава, бедра, разрезы, пуговицы, ну просто отпад!..

Полька была дама непростая: разговорив некоторых гастролеров, купила у них водку и тут же заложила продавцов смотрящим.

Оказавшись внутри пиджака, Волков спрашивал:

— Сколько пани хочет за вещь?

И та отвечала задумчиво и несколько в нос:

— Тши тыщёнцы песо...

— Но это слишком дорого, — раздевался Миша. — Мы уходим!..

— Як пан хце, — отвечала хозяйка, с помощью длинной палки возвращала желанную обнову под потолок, и там, высоко, на вешалке, Мишин пиджак кокетливо поводил плечами...

Трех тысяч песо у Миши то ли уже не было, то ли было жаль отдавать, и он думал, как заставить гордую полячку снизить аргентинскую цену.

— Бас, я понял, — сказал он наконец. — Я знаю, как ее охмурить. Я беру свои ноль семьдесят пять, дарю ей, именно дарю!.. И она делает мне скидку.

— Идея неплохая, — сказал Бас, — но водки жаль.

— Зато какой пиджак! — сказал Миша, и они опять пошли в магазин. Моисейка нес бутылку в пластиковом пакете и в предвкушении блаженства напевал довоенный фокстрот. У него был такой эстрадный номер, и то под фонограмму, то под Володю Горбенко с аккордеоном он пел довоенные песенки и романсы.

Покупатели открыли дверь со звоночком, и навстречу им приплыла помадная полька.

— Добрый день, пани! — с обворожительной улыбкой сказал Волков.

— Джень добры, — ответила хозяйка, улыбаясь в ответ.

Бас тоже улыбался. Миша вынул «Столичную» из пластикового пакета и широким жестом поставил ее на прилавок. Она была хороша: в экспортном исполнении, нарядная, как невеста, с винтом, не собарская поллитровка, а высокая дворянка ноль семьдесят пять!..

Они помолчали, любуясь, и хозяйка, торговая душа, спросила:

— Цо пан хце?.. Сколько песо?..

Миша гордо покачал головой и сказал:

— То подарунок!.. Русский сувенир!.. Для вас!... Пшепрошу, пани!..

— Дзенькую бардзо! — сказала хозяйка и убрала бутылку под прилавок.

— Так! — сказал Миша, — а теперь покажите мне этот пиджак!..

— Проше, — сказала полька и, достав с высоты пиджак, подала его Мише.

Волков аккуратно снял бежевый шерстяной, аккуратно повесил его на плечики, надел кожаный и, горделиво оглядывая себя, спросил:

— Так... Хорошо... А сколько же он стоит?..

— То будет стоить пану, — хозяйка задумалась, — тши тыщён-ци песо...

Миша остолбенел. Бас тоже.

— Две с половиной! — тоном увещевания сказал дрогнувший герой.

— Не так, — покачала головой хозяйка, — тши!..

Выходя из магазина в старом пиджаке, Минька сказал:

— Вот сука!.. Представляешь, какая сука!

— Я видел, — сказал Бас. — Волчьи законы рынка!..

— Трах-тибидох-мандарах! — сказал Миша. — Зачем я ей водку отдал?!

— Да, — сказал Бас, — водки, конечно, жаль. Представляешь, как бы мы обмыли пиджачок, если б ты его просто купил?..

— 19

И все-таки Р. не хотел в другую примерку, даже когда ушел Гай и перестал бывать Карнович. Это Волков его перетаскивал. И не потому, что пылал к Р. дружеским чувством; он боялся, что ему подсадят Ваню Пальму.

Сначала Волков договорился с завтруппой Олей Марлатовой, которая заменила умершего Валерьяна, потом — с завкостюмерной Таней Рудановой и уж после этого стал соблазнять консервативного Р.

— Да ты зайди, зайди! — увещевал он. — Такое дело, а ты ломаешься!..

— Я подумаю, — сказал Р.

— О чем тут думать?! — напирал Миша. — В этом коридоре Монахов сидел!.. Полицеймако... И сейчас...

— Не место красит, — сказал Р. и засмотрелся на высокое зеркало в темной дубовой раме. Оно звало к себе ненынешней формой, опасной глубиной стекла, обещанием каких-то ответов. Кто в него гляделся до нас?..

Вскоре, придя на «Мещан», Р. не нашел на месте своего костюма.

— Володенька, — сказала Таня, — я его повесила к Мише, ты там сегодня один. У вас ведь разные спектакли, вы почти не встречаетесь...

Одиночество — тоже приманка...

Не прошло и месяца, как из новой гримерки исчезло старинное зеркало, высокое, безупречное, становящееся «своим», с тревожным массивным стеклом в мельчайших трещинках по углам. Иногда в нем уже возникал и приближался призрак Блока в белом отстиранном свитере. Он то входил, то скрывался, как тень Гамлетова отца...

— Таня, в чем дело, где зеркало?..

— Миша велел вынести, оно занимало много места. А что?

— То есть как? Что значит «велел»? Он что здесь — хозяин, а я приживал?.. Как он смел не спросить меня?! Где зеркало, Таня?!

— Володенька, что ты так волнуешься?

— Ты не понимаешь?! — Вернуться к себе Р. уже не мог, на его место посадили Колю Лаврова, приглашенного в «Оптимистичку». — Я играть без него не могу!.. Звони Ольге, ищите зеркало, чтобы завтра же было здесь!..

Назавтра зеркало вернулось...

Читатель, не переживший наших страстей, не в силах понять, как много значит зеркало, в которое смотрят твои герои, какая тут связь, как странен путь, которым они идут к сцене, и какие мысли мучают их по дороге. Театр — Марс, мы — марсиане, и верность месту — наш планетарный инстинкт.

Восемнадцать лет, один месяц и двадцать семь дней прожил Р. на старом месте, храня угрюмую верность своей караульной башне. Верность месту — вот чем он жил, «рыцарь-несчастье» Бертран.

По трем другим углам караулили время Карнович-Валуа, Паша Луспекаев и Гриша Гай...

— Лучше всего то, — сказал Долгополов, — что вы не очень пытались сделать спектакль, а углубились в проблемы судеб. В это время Блок решал проблемы судеб. «Соловьиный сад» — трагический вариант, третья книга лирики — второй, а «Роза и Крест» — третий. Личность возникает только тогда, когда приобретает судьбу. Вы это поняли и точно дали в Бертроне. Это и есть Блок. Газтан мне показался меньше, это же Андрей Белый, его характер. А Изора... Здесь он просто отомстил Любовь Дмитриевне. Она ведь сломала судьбу и его, и Белого... И Белый беспощадно ей отомстил в «Петербурге»... Очень интересно, когда идут весенние пляски, но, кажется, немного переиграно в сторону мюзикла...

— Леонид Константинович, это же пародийно...

— Да? Я как-то не очень это ощутил...

— Менестрель — поэт, который клянчит премию...

— Да, да... И это, конечно, Россия 1910 года, никакого отношения к Франции это не имеет... Тут Жирмунский просто ничего не понял. Вы читали Жирмунского?... Он там ошибся, академик, такую чепуху написал. Это же сам Блок — сын человеческий, Христос, а она не смогла ничего понять!.. Вы создали настоящее лирическое блоковское ощущение. Это очень важно. Особенно в этот юбилей, когда его вытащили на улицу и стали таскать, как тряпку. Он не был народным поэтом. А Владимир Николаевич Орлов потащил его на улицу!..

Они воевали друг с другом за своего Блока, а он смотрел на всех из печального зеркала...

Раздавая актерам тетрадки с ролями, Р. читал блоковский текст: *«Позвольте мне пожелать всем нам, чтобы мы берегли музыку, которая для художника — всего дороже, без которой художник умирает. Будем защищать ее, беречь всеми силами, какие у нас есть, будем помнить прямо, в упор, обращенные к нам, художникам, слова Гоголя: “Если и музыка вас покинет, что будет тогда с нашим миром?..”»*

Чтобы музыка нас не покидала и мир устоял, в БДТ, не щадя сил, работал Семен Розенцвейг. Он трудился, а его душа в восторге и слезах уносилась за облака, и наши земные забавы получали звездное измерение. Если бы можно было передать словами, как он угадал и сделал слышным тот странный, безродный, возвышенный звук!.. Но словами музыки не передать...

— «Ревет ураган./ Поет океан./ Кружится снег./ Мчится мгновенный век./ Снится блаженный брег»... Семен Ефимович, знаете, чего бы хотелось? — бредил Р. — Чтобы это была не обычная песня — мотивчик, запев-припев... А такая... музыкальная подушка, на которую ложатся слова...

— Вы думаете, что-то вроде мелодекламации?

— Ни в коем случае!.. Мелодекламация — пошлость, а у Блока — трагедия... Здесь должна быть совершенная простота, Гаэтан просто говорит, а слова получают объем, укрупняются... Тут нужен какой-то музыкальный фокус... Не знаю, как вам сказать... Текст на воздушной подушке...

— Кажется, я понимаю, что вы хотите... Да... Знаете, Володя, я сегодня ночью закончил читать книжку о Блоке, вопшем, неплохая книга... Но я так и не понял, от какой болезни он умер...

— От одиночества.

— Ну да, конечно, само собой... Но все-таки, какой диагноз?..

— По-моему, все делали вид, что знают, с кем имеют дело, но никто его не понимал... Ни в театре, ни дома ...

— Да, конечно... Вопшем, ясно... А что у него болело?..

— Душа у него болела, Семен Ефимович, душа... Это и есть диагноз...

— Да, да... Я понимаю... Ну, хорошо... Вопшем, что-то мерещится...

На другой день, с видом скорее равнодушным, чем озабоченным, он позвал Р. в свой кабинетик и сел за фортепьяно.

— А ну-ка, послушайте... А теперь попробуйте говорить текст... Говорите, говорите!.. Та-а-ак... А?.. По-моему, что-то в этом роде, нет?..

— Семен Ефимович, вы — гений!..

— Невэтомдело, Володя! Это — работа. Лишь бы получился спектакль ...

Отмечание блоковской премьеры вылилось во что-то благостно семейное отчасти потому, что сели не в большом зеркальном верхнем буфете, а за кулисами, в «красном уголке» со сводчатыми потолками. И Гога смотрелся здесь не как сверкающий генерал, а как добрый папа, и Дина была тиха и несуетлива, и композитор Розенцвейг излучал сияние...

Не сживали так, пожалуй, с тех пор, как не стало Лиды Курринен, заведующей реквизиторским цехом, прозванной «королевою». У нее собирались после рядового спектакля, скинувшись по «рваному». И, уловив домашнюю атмосферу, молодой артист Валера Матвеев, высоченный и длиннолицый, похожий на молодого Пастернака, вдруг встал и признался, что за свои четыре года в театре он в первый раз ощутил ту общность, из которой, которая, ну, в общем, вы понимаете... Р. снова почувствовал опасность, но Товстоногов, как всякий гений и блестящий литературный герой, был прекрасен своей непредсказуемостью. Он поднял рюмку и глубоким задушевым голосом, заставившим всех замереть, сказал:

— Сегодня я хочу выпить за победу театра, победу, которая возникла не сама по себе. Личная инициатива одного человека стала нашим общим делом и принесла театру настоящую удачу, за которую я ему благодарен. Все-таки есть еще нечто такое, что заслуживает уважения и, я бы сказал, подражания. Речь идет о воле — и он сделал цезуру...

Р. замер, как кролик. Он, как и все, конечно, догадался, что речь идет о нем, но не потому, что его, как героя повести Лагина «Старик Хоттабыч», с детства звали Волей, а потому, что в этот миг испытал острейшие и противоположные чувства: *ужас и любовь*. Да, да, это был прилив внезапной, преданной любви и старого, связанного с потерей роли Гарри, ужаса. А вместе это выходило совершенной подчиненностью, от которой он будто бы избавился, только что предположив уход. Получалось, что ничуть не избавился. К горлу рвалась ответная благодарность, преданная влага подступила к глазам, и всей своей рваной актерской шкурой Р. чувствовал полную,

может быть, рабскую преданность. «Что это? — лихорадочно думал он. — Неужели то же душное звериное состояние, которое ты испытывал на демонстрации в толпе?.. Неужели детская преданность великому Сталину вовсе не испарилась, а преобразовалась в преданность великому Гоге?.. Вот твой отец и учитель?!. Вот твой любимый и дорогой?!» — «Да, да, да! — вопил в душе недорезанный кролик. — Вот — мой друг и учитель!.. Он хвалит меня!.. Он меня любит, он не хочет меня потерять!..»

Все застолье казалось оглушенным его справедливостью, человечностью и величием, а он все еще держал на весу мягкую руку с благородным голубым перстнем и наполненной рюмкой:

— Речь идет о воле Володи Р. Но не той воле, когда человек может давить другого или других, а о настоящей художественной воле. Он услышал на театральном худсовете нелегкое в свой актерский адрес. Другой бы распался и расслабился, а он собрал всю волю и сыграл лучше. И у спектакля успех, и у театра успех! Выпьем за него, — задушевно закончил он, и все так и сделали.

Здесь появились участники «Цены», окончившейся на большой сцене. После Гогиной речи, о которой им тут же доложили, взял слово Басик и опять-таки по дружбе сказал о том же Р., его режиссерски-педагогическом начале и т.д. За ним встала Валя Ковель и стала пересказывать содержание вчерашних выступлений на городском худсовете. Потом говорили Дина Шварц, Изиль Заблудовский и Лена Алексеева, пошли параллельные тосты за Кочергина, Розенцвейга, помрежа Витю Соколова, дебютантку Галю Волкову и так далее и так далее, пока Р., во избежание перекося, не поднял рюмку за Гогу, признавшись, как боялся, что сцена боя отнимет слишком много времени, а Георгий Александрович организовал ее за десять минут, после чего предложил всем выпить за «уроки Товстоногова».

И тут уже не только Р., но все испытали восторженный прилив любви и стали тянуться к мэтру и, по возможности, целовать, и Р. показалось, что Гога доволен, что хваленый инициатор не забывается и тактично расставляет верные акценты. Заговорили о театре в широком смысле.

Бас был в ударе и прекрасно рассказал, как, будучи в Москве, пошел к любимому МХАТу, а там — развал ремонта, даже святые сте-

ны обрушены; он проходит мимо кабинета Немировича, тот опустошен, поруган, только из незатянутого крана капает ржавая вода: «кап-кап»...

Женя Чудаков стал вспоминать репетиции «Двух анекдотов» и то, как покойный Саша Вампилов дал ему дружеский совет на все времена:

— «Старик, не меняй мебель!..»

И опять вступил Гога и стал доверительно рассказывать случаи из своей жизни. Как он попал на обсуждение спектаклей Мейерхольда в день появления в «Правде» страшной статьи «Сумбур вместо музыки». И он, студентик с Трифоновки, сказал, что надо различать творческое следование Мейерхольду — *мейерхольдовщину без кавычек* и дурное подражание — *«мейерхольдовщину» в кавычках*. И про Таирова. Как накануне распада и закрытия его театра там оказался юный Гога, и речь зашла о совместной работе, и Гога отказался, а Таиров сказал: *«Может быть, именно вас мне и надо»*. Но не мог же Гога быть у него «комиссаром». И про Всеволода Вишневского. Как тот вынимал пистолет, чтобы прекратить опасные проработки Юрия Олеси. И про Немировича-Данченко. Какой он был маленький и розовощекий, с седенькой бородкой и в ботинках детского размера. И во время войны, вывезенный из Москвы в Тбилиси с так называемым «золотым песком» — Качаловым, Тархановым, Климовым, — он репетировал «На всякого мудреца», сидел в детских ботиночках и гонял стариков. И Гога своими глазами видел, *как Немирович заставил Качалова сорок раз подряд исполнять один и тот же выход...*

— Выход без главного предлагаемого обстоятельства — всегда провал! — воодушевленно объяснял Мастер, и все чувствовали, что ему с нами хорошо, и ждали новых воспоминаний. Но тут он задумался и ушел в себя, очевидно, перебирая другие случаи и сцены, которых сегодня рассказывать не стал...

Р. снова пожалел, что Гога не пишет сам и поручает это доверенным лицам, а те вольно или невольно злоупотребляют его доверием и пишут не так, как он говорит, а скучнее и тяжелее. Пиши он сам, мы прочли бы живую и горячую книгу о его увлекательной судьбе...

Скоро в ход пошла гитара, и «Первый менестрель» Юра Стоянов исполнил песню своего сочинения на стихи артиста Р. «Актерский цех», и оказалось, что он хорошо владеет гитарой. Вслед за ним шестиструнку взял Кира Копелян, сын Ефима Захаровича и Люси Макаровой; он выходил у нас «Жонглером» и подал заявку на Доктора, в очередь с Гвоздицким; за ним принялся читать Рубцова Виталик Юшков. Актерский цех продолжал самовыражаться и допивать, пока не настало время расхода...

В раздевалке промолчавший весь вечер Розенцвейг сказал:

— Рад за вас, Володя!.. Может, теперь начнется новая жизнь...

Артист Р., хотя и был пьян, ответил ему неглупо, однако лишь потому, что воспользовался великой формулой Станиславского:

— Не верю! — сказал он, и композитор Р. засмеялся.

— 20

По пути в Аргентину погибло оформление спектакля «История лошади». Из экономии средств декорации отправили в Буэнос-Айрес морским путем, корабль плывет по океану, контейнеры принатованы к палубе, слева по борту набегают игривая волна, дальше — больше, бортовая качка, морская болезнь, волны превращаются в шторм, свистать всех наверх, аврал, там-тарарам, наверху темно от зеленой воды, трах-тибидох, седьмой вал кисти Айвазовского, трах-тарабах, и восьмой вал смывает с палубы контейнеры с декорацией, трах-тарабах-тандарах-трамбадах-тибидох!..

У нас свои игры, у океана свои...

«Поет океан. / Ревет ураган. / Кружится снег. / Мчится мгновенный век. / Снится блаженный брег».

Вообще-то «Историю лошади» по «Холстомеру» Льва Толстого затеял на Малой сцене Марик Розовский. Родил идею, сочинил пьесу, начал репетировать. А Эдик Кочергин придумал взрывную декорацию. И в какой-то ответственный момент к делу подключился Г.А. Товстоногов.

Исполнитель роли кучера Феофана Юзеф Мироненко говорит, что перенести спектакль на Большую сцену подсказал Гоге Эрвин Аксер, польский режиссер и друг театра, поставивший в БДТ три

спектакля. Мол, увидел Эрвин прогон на Малой сцене и дал глобальный совет...

Но память Юзефа тяготеет к легенде, а Эдик Кочергин хорошо помнит факт: задание переделать оформление для Большой сцены он получил от Гоги до появления Аксера. Эрвин только поддержал его в принятом решении и предложил Эдику показать декорацию «Лошади» в Варшаве, устроив там его персональную выставку.

Знаменитый холстяной задник с аппликациями выполняла рукодельница Татьяна Л., женщина редчайшего дарования и добросовестности, мастерица, каких теперь не делают даже и в Гамбурге. Понимаете, господа, Таня владела особым секретом и обладала навыком соединять продольные и поперечные нити любого холста!..

Задник, по замыслу Кочергина, должен был быть цельнотканым, и, когда Гога решил переносить спектакль с Малой сцены на Большую, возникла необходимость эту часть оформления нарастить как в высоту, так и в ширину. И вот эту художественную задачу — сделать обширные наросты почти незаметными — Татьяне удалось решить!..

Работа, конечно, шла лихорадочная, Кочергин дневал и ночевал в театре, и именно во время этого штурма у него начались первые сердечные приступы. А после премьеры и ее оглушительного успеха Эдик убедил Гогу заказать еще одно, параллельное оформление, предназначенное прямо для Большой сцены. И главным аргументом художника было то, что, если Татьяна, не дай Бог, уйдет из театра на лучшую зарплату, сделать эту работу не сможет никто на нашей печальной земле.

В театре, впрочем, как и на других предприятиях, борются обычно две неподвижные идеи. Первая — каждый работник незаменим, а вторая — любому можно найти замену. Кочергин — убежденный адепт первого направления мысли, а завпост Куварин — его антагонист. В данном случае Товстоногов внял доводам Эдика, хотя Куварин, конечно, сопротивлялся: мол, зачем новые затраты, когда «дотянутое» Таней оформление переживет сам спектакль. Мысль, конечно, печальная, но не лишенная житейской логики...

Но раз Гога сказал «делать», стали делать, и Таня опять проявила высокое мастерство. И когда процентов на восемьдесят холстяной задник сделали, трах-тибидох, под благовидным предлогом Куварин все-таки работу остановил. У них с Кочергиным противостояние непроходящее...

Но у нас — свои игры, а у фортуны — свои... И над сценой повисает она, бессмертная Фортуна, лучший драматург всех времен и народов. Вернемся к началу эпизода и вспомним, что оформление к «Истории лошади» отправили в Аргентину водным путем... «Поет океан. / Ревет ураган...»

Катастрофа! срыв гастролей! что делать? кто виноват? и другие русские вопросы в штормовой атмосфере Гоголиного кабинета. «Почему не доделали новое оформление?..» Выходи на ковер! отвечай, Вова Куварин! свистать всех наверх! аврал! трах-тибидох! Кочергина — на палубу! со всеми цехами! полундра! только вперед! не сдадим врагу Фолклендские острова! берегись, аргентинская хунта!..

Тут и подкрался к Эдику первый инфаркт, но ценой грядущего инфаркта и аврала на Большом драматическом корабле, ценой самоотверженных Таниных усилий довели холстяной задник до ста процентов и отправили новое оформление в Буэнос, не считаясь с затратами, воздушным, воздушным путем! браво! бис! восторг! аншлаг! триумф советского искусства!..

Молчит океан, ни всплеска тяжелой волны, и светит небесный фонарь в капитанские рубки, и шелковый простор не равен подводной судьбе. А там, в глубине, обратный закон, ржавеет дикое железо, и холстяной занавес не в силах развернуться, и морские коньки клюют закрытый контейнер, и на широком брюхе лежит сбитый «Боинг», а южнокорейские знаки запорошило на крыльях, и старая одежда в тесных чемоданах тлеет, не выходя из моды, и мертвые статисты делают обманные движения, и гиблая субмарина сжимает родных моряков. Темирханов, Ринат, товарищ контр-адмирал, откликнись, и на одном языке говорят здесь корейцы, японцы и наши, и американский сенатор толкает безмолвную речь, и русские спят адмиралы, и дремлют матросы вокруг, у них прорастают кораллы меж пальцев раскинутых рук...

Уезжая из Нагойи, Ирик Рашидов сказал:

— Воля, у меня седьмого день рождения, в Токио отметим.

— И у тебя?! — восхитился Р. — Это надо же, сколько рождений на одну Японию!.. Но мы приезжаем восьмого...

— Отметим восьмого, — сказал он.

— Хорошо. А как насчет Стрельчика?.. Он тебя полюбил.

— Конечно!..

— Ирик, а что ты думаешь о театре Хамзы, почему они замолчали? — спросил Р. — Зовут, рассыпаются в комплиментах, а потом — тишина...

— Ты же знаешь наших, — сказал Ирик. — Они, как японцы, стараются не говорить «нет». Но там уже все решено.

— По-твоему, они передумали?..

— Не знаю, — сказал Ирик. — Но у них уже все решено. Испорченные люди... Что я тебе смогу дать, это информацию. Приеду в Ташкент, спрошу у Ачила. — Ачил был братом жены и занимал в Ташкенте если не второй, то третий пост. — Я бы хотел, чтобы ты ставил...

— Зря я, наверное, отпрашивался у Товстоногова...

— Почему? У тебя же есть приглашение министра.

— Есть даже договор на инсценировку «Идиота».

— Постарайся сделать быстрее и получи деньги, — сказал Ирик, и мы попрощались до Токио.

В результате беседы с Ириком Р. засомневался в своей узбекской перспективе и решил проверить ленинградскую.

— Георгий Александрович, — сказал он, приотставая от экскурсионной группы, — я назову идеи, может быть, вам что-то покажется...

— Назовите, — согласился он.

— Во-первых, «Ипполит» Еврипида в переводе Иннокентия Анненского. Представление современных артистов о древнегреческой драме и театре...

— Я не помню, — честно сказал он.

— Ну, это та же Федра, дама, влюбленная в пасынка Ипполита...

— А сколько там занято народу?..

— Пять главных ролей и хор. Но хор можно решать втроем, впятером...

— Это интересно. Хор можно сделать по радио, с реверберацией...

— Мне кажется, лучше через актеров, несколько конкретных ролей, ведущих, что ли...

— Ну почему же? Можно хорошо записать по радио, чтобы звучало как бы *оттуда*... И в то же время современная техника... Это интересней!..

— Может быть, — дипломатично сказал Р. — Кроме того, в театре появилась Фрейндлих...

— Она будет занята в «Блондинке», — решительно сказал Гога; имелась в виду пьеса Володина, в которую раньше сватали молодую актрису.

— Я этого не знал, — сказал Р. — Есть еще Малеванная...

— Она играет мать, — так же решительно сказал он.

— А-а-а, — протянул Р., сомневаясь в логике назначения, он думал, что Алиса с Ларисой — ровесницы. — Вторая идея — чеховская «Дуэль».

— Это сложно, — сказал Товстоногов, — это не поднять.

— Почему же, — сказал Р. — в институте были «Братья Карамазовы»...

— Но это — институт, — возразил он. — Вот Еврипида с молодежью — это может быть интересно.

— С кем же?.. Девочка, которую приняли в театр?.. Она способная?

— Очень, — сказал он. — Вот с ней и можно попробовать...

— Но ей двадцать лет, а Федра — взрослая дама, детная...

— Ну и что? — сказал он, и мы догнали общую группу...

После обнадеживающего разговора необходимость создания парадных стихов о Гоге смущала Р. уже не так сильно, как раньше. Возможно, на его душевном самочувствии сказалось также благотворное влияние доктора Сенда. Так или иначе, но на пути из Нагойи в Киото поясница почти не болела, и юбилейная ода стала складываться. Важным аргументом себе было то, что наш Герой — настоя-

щий старатель и труженик. «Кто-кто, а он заслужил», — думал переменчивый Р., и случайная рифма с налету клевала красную тетрадь...

В Японии, как всегда и везде, Миша Волков стремился к лидерству. Это ему не всегда удавалось, и с неутоленным стремлением были, видимо, связаны все его внутренние трудности. Однако держался он так, как будто все в полном порядке. А что?.. Красив, мужествен, строен, подтянут, ухожен. Чем не герой? Просто в нашем раскладе, при Паше Луспекаеве, Копеляне, Стриже, Басике, Лаврове, Юрском, то ли он чего-то недобирает, то ли ему недостаточно везло, но признаться в этом значило потерять само право на лидерство, а без него — что за жизнь?..

Миша играл героев, вспомним хотя бы «Еще раз про любовь» — Электрон Евдокимов или «Историю лошади» — жеребец Милый. И кино: «Путь в “Сатурн”», «Конец “Сатурна”». И телевидение: Джейк в «Фиесте» и т.д. В любом другом театре, с его данными и характером, он был бы абсолютным премьером, но судьба назначила этот, а каким образом это вышло, я расскажу.

Конечно, он следил за собой, понимая, что внешность — часть его редкого имиджа: волосы никогда не перерастали, маечки сверкали белизной, рубашечки были отглажены, брюки — в струнку, пиджачки — как влитые, туфельки — блеск. Каждое появление в театре — парадное...

И здоровье он тщательно берег, зная и чувствуя зависимость нашей профессии от физической формы. Если Р. от спектакля до концерта мог расслабиться, отлететь в литературных мечтах, стараясь утром доспать или понежиться, Волков — было время, когда на гастролях их селили вдвоем, — поднимал его на зарядку, призывая с укором:

— Ты же — артист!.. Артист! — И вкладывал в это слово что-то сурово-кастовое, понятное ему одному, может быть, рыцарское, но не в смысле романтического благородства, а в плане турнирной боеготовности...

Однажды скверный сигнал послали мозговые сосуды, и Волков сумел добраться до московских светил, чтобы понять, что с ним и как бороться с подлыми симптомами. А спецы-доктора, наблюдающие

за здоровьем космонавтов, выдали ему оздоровительный комплекс — диету и зарядку, — которым он рад был поделиться с каждым, кто примет его уроки и лидерство.

Все три недели в Токио Минька, или хромой Моисейка, или Хромец — такие прозвища надавал Волкову артист Боря Лескин, ножки, мол, тонковаты, — будил звонком ленивого Р., поднимал Юру Аксенова, а Сеня Розенцвейг сам вставал прежде всех, и бегом выводил группу в парк Каракуэн, чтобы после приятной пробежки между экзотическими кустами, детскими качелями, песочницами и деревьями заставить свою команду выполнить космические упражнения. Не помню, когда и где безалаберный Р. вел себя так внушаемо, как по утрам вблизи «Сателлита», а Сеня в течение всей зарядки радостно сопел, как будто рядом с ним машут руками не возрастные мужики, а юная прелесть, девушка Иосико.

— Начали, и — и — и... раз! — командовал Минька, и, следя за ним, мы повторяли чудодейственные «па» на счет восемь и на счет шестнадцать...

Басик так и не поддался, а Юра Аксенов напрягал тело, не снимая вечной улыбки. Может быть, это была защитная реакция, но Р. просто не помнил его сокрушенным или сердитым; улыбка-щит, и улыбка-меч...

Бас находил, что гастроли оказывают на Миньку благотворное воздействие, он расцветает и избавляется от комплексов; Р. возражал, считая это мнение излишне концептуальным, но возникавшую в Мише за рубежом легкость и бóльшую покладистость не заметить было нельзя.

В Осаке Басик встретился с подругой жены. Она там работала, в Осаке. Потаскав Олега по магазинам в пользу дорогой им обоим Гали, подруга предложила поехать к ней на домашний обед. Бас выдвинул встречное предложение: заглянуть в гостиницу, бросить покупки, глотнуть чайку и, отдышавшись, двинуть в сторону обеда.

Волков жил рядом и, услышав женский голос, затаился. Когда Олег и подруга пошли на выход, дверь Минькиного номера оказалась открытой на ширину цепочки и оттуда неслась горькая декламация в манере Остужева:

— «Но есть, есть Божий суд, *наперсники разврата!*.. Есть грозный судия!.. Он ждет!.. Он недоступен звону злата!..»

Подруга жены страшно испугалась, и Олегу пришлось ее успокаивать:

— Это — шутка, Милочка, дядя Миша шутит! — объяснял он.

Сам Волков если и сталкивался на гастролях с посторонними женщинами, — а как не столкнуться, когда их полон зал и половина рвется за кулисы, — то исключительно для поддержки здоровья и всегда был безраздельно предан семье — жене Алусе и дочери Леночке.

Так же, как Луспекаев, Лавров и Борисов, Волков начинал с Киева, и однажды, во время омских гастролей, в жаркий, длинный, свободный для обоих день, он рассказал Р. свою приключенческую историю.

Родился Миша в небольшом украинском городке Проскурове, в семье Давида Исааковича Вильфа, секретаря райкома партии, участника революции, гражданской, а позднее финской и Отечественной войн. Мать его, Анна Моисеевна, была врачом. Когда Миша вырос до школы, семья переехала в Киев, где высокого поста Давиду Исааковичу уже не досталось, и детство мальчика проходило в бедности, если не в нищете. Все лето он шастал босиком, и только глубокой осенью тетка подарила ему для школы футбольные бутсы.

В первые дни войны отца и мать мобилизовали и срочно послали на фронт, так срочно, что у них не осталось возможности распорядиться судьбой девятилетнего Миньки. Мама успела отдать ему немного денег да забросить, что было стоящего, в угол, а угол она загродила шкафом, поставив его наискосок. И отец, и мать думали, что вот-вот вернутся с победой, а ребенок их подождет. Так Минька остался один, а в Киев вошли немцы...

Первые дни он мотался с пацанами в поисках пропитания и научился ночевать в брошенных квартирах или на чердаках, потому что дворник-татарин давно его ненавидел из-за шустрого характера и мог сказать немцам, кто он такой. А так, со своим вздернутым носиком и прижатыми ушами, Минька на еврея не был похож.

— Шёне кнабе (красивый мальчик), шёне, шёне, — говорили о нем немецкие солдаты, вспоминая своих детей, и один отрезал ему кусок хлеба...

Когда, приняв все меры предосторожности, он все-таки сунулся домой, шкаф в углу комнаты оказался отодвинут, а угол — пуст. Прячась за занавеской, Минька выглянул в окно: широкий, как шкаф, немец в сдвинутой на затылок пилотке затащил черноглазую девчонку, дочку дворника, в дощатый дворовый сортир и, не закрывая дверей, старательно и насильно донимал ее там, двигаясь совершенно по-собачьи...

Вместе с двумя приятелями Мишка решил бежать из города, догоняя своих. Они пошли по дорогам не прячась, не зная, где север, где юг, и напоролись на воинский эшелон с нашими матросами, а те взяли их с собой. Впервые за много дней пацанов накормили, дали махорки, а старшой подарил Миньке алюминиевую кружку, которую он берег всю войну...

Поезд шел на восток в пропащую неизвестность, и на каком-то гудящем, задымленном узле Минька встретил отца. Вы говорите, что чудес не бывает, а я верю в военные байки и великую непредсказуемость жизненных сюжетов, поверил и тут. Да, отца для того и отпустили на короткое время, чтобы он мог поискать брошенного ребенка, и они столкнулись нос к носу, вот — ребенок, а вот — отец...

Три дня длилось семейное счастье, и было решено, что Миша поедет к бабушке, в город Барнаул. На дорогу отец выдал ему чемодан папирос — менять на еду или торговать, чтобы прокормиться. Они стояли на станции, уже попрощавшись, но еще не расходясь. Ну, ладно, еще минуточку... Ну, ладно, еще... И тут на соседний путь подошел поезд-госпиталь.

— Давай спросим про маму, — сказал отец и не успел спросить, потому что из этого поезда навстречу им вышла мама...

— 21

— Ладно, о войне хватит, — сказал Миша Волков, — давай попросим кого-нибудь, чтобы нас щелкнул.

И какой-то случайный омич нажал на гашетку.

Полыхающим июньским днем восемьдесят первого года, за два лета до любимой Японии, мы сошли с набережной на белый иртышский катерок; Миша в темной безрукавочке под шею, тесных джинсах и светлой шляпке с узкими полями взялся одной рукой за леер,

другая, конечно, в бок, и правда, красавец-мужчина, а рядом — Р., рубашонка навывпуск, рукава подкатаны и вельветовая шапчонка, темная с козырьком, тоже от буйного солнца. И оба держат улыбки не хуже Юры Аксенова. А солнце садит вовсю и греет крашенный катер, на котором мы стоим, и темную воду реки, и буксирчик «Б-1 206» на заднем плане, а там, в глубине кадра, и зеленый островок посреди большой воды, и дальние силуэты гастрольного города Омска...

Зачем он рассказывал свою биографию? Не просто же так, а что-то толкнуло. Что? Может, забыв свои премьерские закидоны, все-таки искал в артисте Р. верного товарища? Послушай, мол, мою историю и поймешь, почему я стал таким, а не другим, и не тем, кого во мне ищут. А может, потому что понял наконец: никто в нем давно ничего не ищет, и при всей нашей звонкой общности мы отроду одиночки, дети, брошенные в пасть тщеславной войны, на которой победителей не судят...

Родители с утра до ночи вкалывали, а Минька сроднился с улицей, куревом, водкой, матюгами, с оголтелой киевской шпаной, игрой, промыслом, подвальными тайнами и срамными картинками. Хорошо, учительница литературы завлекла чтением, а билетерша ТюЗа стала пускать на галерку. Так и вышел ребенок в школьной самостоятельности играть партизана в отцовских штанах, с мотней, завязанной под самое горло: шёне кнабе, шёне...

Когда Миша окончил школу и сказал отцу, что поступает в театральный, отставной майор Вильф расстроился так, что, нацепив военные регалии, пошел на прием к ректору института Амвросию Бучме. Он доверительно просил великого артиста в студенты сына не принимать, сами, мол, понимаете, что это за профессия для мужчины, за редким, конечно, исключением, как вы. Глянув на Миньку проницательным глазом, Амвросий Бучма сказав, то есть сказал: «Цього хлопчика мы визьмемо!...».

И Минька стал вторым институтским евреем. Первым был Толик Ротенштейн, который прошел войну от звонка до звонка, и отказать ему в поступлении было ну просто никак. А вторым — Минька, потому что родной отец просил его не брать. Если бы майор схитрил

и попросил Бучму сына принять, может быть, Амвросий Батькович казав бы: «Цього хлопчика мы нэ визьмемо», и у парня была бы другая судьба...

По распределению Миша попал в Николаев, но скоро главреж Киевского ТЮЗа вернул его в Киев, и Вильф стал тюзовским премьером. Но потрясла украинскую столицу другая, околосценическая история...

Этот... мяшко ховоря... артист... на глазах усей киевской общественности... открыто, понимаешь... без усякого стеснення... увел молоду жену... у кого?... у секретаря Центрального Комитета Радяньской Комунистичной партии... по идеологии, — ты только обрати внимание, не по промышленности, скажем, и не по сельскому, мать его, хозяйству, а по идеологии, увел жену у самого Володимира Ефременки!.. И у то самое уремя, кохда идеологична борба достигла такого накала, понимаешь!.. И — на тебе!.. Алла Ефременко. щира украинка, красавица, умница, редактор радяньского радио, за кем пошла, у разгар борьбы нашей партии с разгулом сионизма!..

Шутки шутками, но это была любовь, любовь без спросу и без оглядки, и Аллочка навсегда посвятила себя Мише...

Другая, волнующая и тоже не совсем сценическая история случилась в театре Леси Украинки, причем несколько раньше, когда Аллочка еще была одной из первых дам республики.

Павлик Луспекаев и Алик Шестопапов после совместного спектакля поспорили на тему, кто из них двоих является лучшим артистом. Они разгорячились, может, и не без помощи украинской горилки, и спор стал переходить в расширенные дебаты. Ни один, представьте, не хотел уступать, и от логических доказательств и ярких примеров начали переходить на личности, а когда задевают личность, возникает естественная ситуация защиты чести и достоинства и даже переход к сатисфакции, причем безо всякого оружия, с помощью одних голых рук. Темпераментом Бог не обидел ни того, ни другого, но насчет слепящей ярости и беспризорной привычки к сатисфакции с применением рук и ног Луспекаев был сильней. И он Алика Шестопапова отчасти даже и покалечил. Не мог остановиться...

Конечно, общественность и дирекция сказали свое веское слово, и Пашу должны были уволить из Леси Украинки окончательно и с волчьим билетом, то есть по такой статье, с которой его ни один театр в стране артистом не взял бы. А Паша был знаком с Аллочкой, так как она имела неосторожность приглашать на свои радиопередачи и его, и Алика Шестопалова, и других киевских артистов, в том числе Мишу Вильфа, который, как мы уже знаем, решительно повлиял на ее судьбу.

Паша пришел к Аллочке на радио и стал ее просить устроить ему встречу с ее мужем, командующим всей украинской идеологией.

— Павлик, — сказала она, — я ни в какие его дела никогда не вмешиваюсь, у нас это не заведено, понимаешь?..

— Ну что тебе стоит, Аллочка? — настаивал виноватый Павел. — Меня ж до конца жизни дисквалифицируют!.. А ты ж ни о чем таком не говори, ты попроси у него одно: пусть только меня примет! — Паша знал, что может быть убедительным, и Алла, придя домой, изменила обычному правилу.

— Володя, — сказала она секретарю ЦК по идеологии, — у меня к тебе просьба: пожалуйста, прими артиста Луспекаева из Леси Украинки.

И Володя Ефременко принял Пашу в своем светлом кабинете, у них был содержательный разговор, и в результате приема прозвонел звонок в театр. А раз такой звонок прозвонел, то там слегка изменили свое отношение к сатисфакции и разрешили Луспекаеву уволиться «по собственному желанию»...

И тогда уж Паша пришел в БДТ и дебютировал в роли инженера Черкуна в спектакле Товстоногова «Варвары».

Судьба же артиста Алика Шестопалова осталась для нас покрытой мраком, из чего следует заключить, что в той давней киевской дуэли он был смертельно ранен и для искусства безвозвратно погиб...

Между тем Миша с Аллой затевали решительный отъезд из Киева, чему споспешествовало приглашение в Москву, в Центральный детский театр под руководством Константина Язоновича Шах-Азизова. К слову, чуть позже Шах-Азизов приглашал и артиста Р. Прославленный директор сумел добиться для Миши Вильфа даже при-

каза о переводе из Киева в Москву от министра всей советской культуры Екатерины Алексеевны Фурцевой, и Алла с Мишей уже начали складывать чемоданы. Но вдруг, как гром среди ясного неба, в Киев с гастроями нагрянул БДТ...

Читатель, не переживший состояния гастролей, должен наконец проникнуться верой, что это всегда особое и вовсе не рядовое событие в жизни отдельного театра, любого артиста и самого города, куда их приводит Бог. Каждая такая встреча наэлектризована тайной и притягивает внимание вечных искусств. Да, да!.. Жанровые сценки, мелкие, казалось бы, случайные факты и приключения, летучие мимоходные реплики, обоюдный обмен капризными впечатлениями между *театром и городом*, беглые оценки лиц и скользкие касания дней дают узнать нечто, местным календарем скрываемое, но влекущее силой самой судьбы.

Если не верите автору, доверьтесь личному свидетельству артиста Р. Уже на следующих гастролях БДТ в том же самом знойном Киеве по абсолютному наитию угадал он, хотя и не тотчас, в летней простуженной незнакомке прячущуюся в туманных подтекстах героиню своего романа, и вовсе не литературную, а очень даже живую, и роман этот не увял, едва начавшись, а, наоборот, расцвел непредсказуемыми последствиями и привел к тому, что, как известно, совершается только на небесах. Посреди белого дня бездумно пригласил он соседку по днепровскому пляжу на обед в киевскую ресторанцию, на что незнакомка сказала:

— Я не могу идти в ресторан, потому что я — в майке!..

— Ну и что? — сказал Р. — Я тоже в майке!..

— Но вы — *Рецептер*, — объяснила она, — а я пока еще нет...

И Р. долго смеялся, не зная, чем окончится пляжное знакомство.

Об этом романе автор еще когда-нибудь скажет, а пока ограничится одним волшебным именем Ирины Владимировны Рецепттер. Слышите, как рокочит и переливаются в нем любимые «р»?..

А артист БДТ Четвериков приехал на гастроли в Чехию и женился на чешке.

Оба они, Р. и Ч., поступили, конечно, как настоящие безумцы, но такова, о читатель, светлая и судьбоносная сила театральных гастролей...

Город сошел с ума: спектакли «Сеньор Марио», «Варвары», «Не склонившие головы» не только *с самим Копеляном*, но и *с тем самым Луспекаевым* потрясли отзывчивые сердца киевлян. Дрогнули и артисты: это был не театр, а храм искусства, и не спектакли, а мессы!..

И вот под эти громокопящие гастроли коллега Аллы Ефременко по работе на радио добилась неординарного решения начальства о записи спектакля «Знакомьтесь, Балуев!», в порядке исключения, на русском языке. И пригласила на запись многих, а главное — Пашу Луспекаева, которому предстояло сыграть свою ведущую роль не только в романе Кожевникова, но и в спектакле судьбы артиста Вильфа, впоследствии — Волкова.

Увидев Аллочку на радио, Паша приветствовал ее как свою спасительницу и стал расспрашивать, как протекает ее молодая жизнь.

— С Володей я разошлась, — призналась Алла, — вышла замуж за Мишу, и мы собираемся ехать в Москву, к Шах-Азизову в Центральный детский...

— Из детского — в детский? — удивился Паша. — А какой смысл? — И Аллочка задумалась, а рядом с ней задумался Миша. — Хочешь, я поговорю с Гогой? — спросил счастливый Луспекаев, и участник передачи Слава Стржельчик тоже спросил: — И я, хочешь?

— И на наше несчастье, — сказала автору уже через много лет Аллочка Ефременко, — мы согласились...

Не откладывая дела, Паша с Владиком пошли к Гоге и сказали ему, что хороший киевский артист уходит к Шаху. Когда Гога слышал, что где-нибудь приглашают артиста в театр, он всегда вздрагивал: а вдруг приглашенный пригодится ему?! Чуть позже так же вышло и с артистом Р. Получив от Стрижа и Паши тревожную весть о киевском Вильфе, Гога сказал: «Пусть приходит», и Миша явился, как лист перед травой. Осмотрев его, «как жеребца» (выражение Аллочки), и оценив его стати, мэтр сказал: «Мы соберем худсовет и будем рз-шать!».

Расставшись со Смоктуновским, Гога искал исполнителя роли Чацкого, и ему показалось, что Миша и есть искомая замена. Так что, до принятия решения о Чацком — Юрском, а позже о Чацком — Рецептере, у него было два предварительных кандидата: сперва — Смоктуновский, а потом — Вильф. И, считая варианты капризной театральной судьбы, отметим, что, если бы Смоктуновский, как и хотел, вернулся в БДТ, ни Юрскому, ни Рецепттеру не видать бы роли Чацкого как своих ушей. А Вильф, начавший было репетировать, был через некоторое время переведен в Молчалины, и это тоже отразилось на его характере и судьбе...

Весть о том, что Товстоногов, вслед за Луспекаевым, берет еще одного киевского артиста, разорвалась в городе, как атомная бомба. К Гоге хлынули толпы страждущих, но он осадил массовые притязания.

— Это был единственный случай, — сказал он о Мише. — Остальные для показа должны приезжать в Ленинград!..

Когда театр играл премьеру «Сколько лет, сколько зим» по пьесе В. Пановой, Луспекаев у нас уже не работал, но пришел ее смотреть...

Уйдя из БДТ, он стал зарабатывать на жизнь, снимаясь на телевидении и в кино, может быть, в том самом «Белом солнце пустыни», которое обессмертило его имя, но у него все сильнее болели ноги, и пальцы на обеих ступнях пришлось отнять. Потом возникли новые угрозы, новые операции; Паша еле ковылял и перемещался только в машинах; а эта подлянка, которая на него напала, называлась «облитерирующий энтерит»...

Не знаю, каким образом оформлялся его уход, «по собственному желанию» или по частичной инвалидности; не знаю, какой разговор у них состоялся с Гогой, но не могу представить, чтобы это было прощание навсегда, исключаящее всякую надежду наперед. Даже если оба и думали так, то какую-то лазейку оставлять было нужно и, скорее всего, ее оставили; Луспекаев продолжал являться в театр, как к себе.

Какая-то черта, конечно, возникла, но мы делали вид, что ее нет.

Перед началом или в антракте он обязательно бывал в нашей, то есть в своей, гримерке, а иногда заглядывал так, мимоездом, вхо-

дил, слегка поддатый, и, опустившись на свой стул, затевал обычный треп.

Был случай, когда со словами «Простите, ребята» Паша сходил по малой нужде в рукомойник и долго сливал воду, ожидая чьего-нибудь комментария. Это было похоже на хитрость и даже проверочку: возразите, как будто я отрезанный ломоть, или стерпите как родного хулигана?..

Потом бросил объясняющую шутку:

— Только покойник не ссыт в рукомойник, — и глубоко со всхлипами вздохнул. — Болит, сука, трах-тибидох-тибидох твою мать!..

Конечно, театр святыня, но он же и быт.

Однажды хорошо знакомый артист, работавший тогда в Александринке, пьяный в куски, обмочил императорскую банкетку. Ну, в императорском театре вся мебель императорская. Доложили худруку Леониду Сергеевичу Вивьену, что прикажете делать? Тот вздохнул: «Обоссался? Ну, что ж, это еще ничего, бывало и... похуже». Очевидно, хорошо знал историю...

А в туманном Альбионе участник одних славных гастролей, прижатый долгой пешеходной нуждой, стал мочиться в знаменитом Гайдпарке. В блаженную минуту освобождения он даже составлял в уме спич в свое оправдание и надеялся его произнести на освященной традициями зеленой площади Свободы. Но до этого не дошло, потому что его взял за шиворот зоркий английский бобби. Тут и нашлась наконец достойная работа для специальных посольских служб и приданных театру стражей государственной бдительности — вынимать артиста Г. из цепких рук британской разведки, чтобы не выдал под пытками стратегических секретов родного закулисья...

Сюжет Пановой был такой: в закрытом по погодным условиям аэропорту встречаются бывшие любовники; у них давно другая, отдельная жизнь, свои семьи, но вот случайная встреча, и прошлое оживает. Ставил спектакль Гога, героев играли Шарко и Лавров, а их сценическое поведение складывалось из долгих неподвижностей в креслах, больших пауз с подтекстами и сидячих диалогов. Что делать, если самолеты не летят? Сиди и жди погоды...

Когда спектакль закончился, Паша зашел поздравлять участников и как бы между прочим бросил Кириллу:

— Сидишь?.. Это хорошо... Я тоже мог бы сидеть. — Мол, пьеса Пановой — тот самый повод, когда могли бы вспомнить Луспекаева, вспомнить и позвать на сидячую роль, уж с ней-то он бы справился!..

Отметим, что эпизод рассказывают теперь и по-другому. Будто реплика Паши прозвучала не за кулисами, а в буфете и под коньяк, и выговаривал он ее чуть ли не в слезах, и ни к кому, кроме безликой судьбы, не адресовался. Автору кажется, что так — хуже, но факт подвержен воздействию времени не меньше легенды, так что, господа, выбирайте версию по вкусу...

Как он играл? Никто толком не расскажет, хотя любой, видевший Пашу на сцене, охотно попытается. Да, Р. выходил на сцену в одних спектаклях с Луспекаевым: «Варвары», «Четвертый». Самый непосредственный контакт был в «Поднятой целине»: Макар Нагульнов — Паша стреляет из нагана, а одноглазый Лятевский — Р. ловит пулю спиной и падает за тын как подрезанный. После премьеры «Мещан» Луспекаев подарил Р. свою фотографию: улыбается во весь рот, судя по всему, крепко дунувши, а на обороте приятная надпись: «Володя, ты хороший парень и хороший артист. Будь счастливым!».

Двое в театре и вправду были близки к гениальности — Смоктуновский и Луспекаев. В чем беспечный автор видит актерский гений? В беспредельном доверии к самому себе, своей природе, которая сама одолевает трудности, в легкости, свободе, наконец, в радости...

А может быть, великий артист и вправду редчайший зверь, несгибаемый хищник, вечная опасность для укротителя?.. И он уходит, в конце концов уходит из общей клетки, чтобы умереть на свободе...

Возврата Смоктуновского, думаю, просто побоялись, своей ненормативностью опять спутал бы все карты, как же ценить заслуги и дарования остальных?

А с Пашей вышло еще дурней...

Это был заколдованный круг: схватка с болью, работа в пределах сил и — загул, как скорая помощь, стакан и женщина, женщина и стакан...

А женщины любили его и сострадали этой боли; как было не любить и как не жалеть, хотя он и сам был преисполнен мужского сострадания.

Одна артистка в растерянности сказала при нем, что ж, мол, делать, врач обнаружил фиброму в заветном месте.

— Рыбонька моя! — откликнулся Паша — А я на что?! Я ж ее изничтожу, сотру в порошок!..

С другой, бешеной, как и он, не надо было дела иметь, и он это чувствовал, избегал, как мог, но куда денешься: хитростью проникла в номер, осталась после всех, изнасиловала, загрызла, как с цепи сорвалась. И опять вышла мордобойная история, по типу киевской, шухер на всю гастроль. Ладно. Замяли...

— Володька, записывай адрес!.. Бери коньяк, приезжай!.. Тут такие рыбоньки собрались!

По одному адресу встреча прошла мирно, а по другому, куда Паша вызвал артиста Татосова и драматурга Володина, вышел большой грех, потому что в горячке всеобщего кутежа исчез луспекаевский перстень, тяжелый, массивный, который он купил на гонорар «Белого солнца». В магическую силу перстня Паша поверил неистово и так же неистово стал его искать, поставив на уши веселую квартиру и обнаженную хозяйшку...

Так и не нашел...

Тогда талисманом была назначена трость с могучим набалдашником, на которую он опирался, как на Божий посох...

— Потеряю — умру, — говорил он.

Не потерял, а украли светлой ночью на берегу Невы. Подошли прикурить, заговорили, ушли, а трости нет. Паша побелел...

Так он и погиб после загула, грохнувшись в рост в гостиничном туалете, накануне большой киношной роли, в неурочные дни столетнего юбилея товарища В.И. Ленина. Эпизод известный. И автор, в числе других, его касался. Но по прошествии времени все же становится ясней, какой это был позор, когда театр отказался хоронить со своей сцены Павла Луспекаева.

— Он у нас больше не работает!..

Хороший мотив, формально беспроектный, сдобренный коллективной заботой о достойном проведении всенародного праздника.

Единым строем предали брата.

И первым предал Р., сосед по гримерке, «хороший парень», сострадательный собутыльник. Водку в больницу носил, а выступить со своим мнением струсил. Конечно, он... Не только коллегиальные безымянные органы, не только дирекция, худсовет, партком, профком, — и вся великая персоналия, вся до одного!..

Все-таки есть случаи, когда человеческая порядочность могла и должна была пересилить всеобщий страх. И это был тот самый случай. Перед бесспорностью смерти отступала иногда и партия, руководящая и направляющая сила ушедшей эпохи...

Лучше всего на общий счет выразился Юзик Мироненко, хотя и не по этому поводу, однако, повторю, чтобы не забылась, хорошую цитату:

— Все мы были хорошие бздуны!

Потом, позже, в портретной галерее закулисного фойе, вблизи нашей гримерки, появится портрет Луспекаева в роли Макара Нагульного, в серой папаше с закрученными усами и орденом Красного Знамени на высокой груди: «Вот какие артисты работали у нас!..».

Труппа — летящая стая, машет крыльями, машет, скосит круглые глаза на подранка и — дальше, а тот, хоть и отстал, а сердцем — с ними и тоже машет, машет!..

Все!.. Улетели... Они — живые, а он — за чертой, нечего, нечего!..

Как это у Брэма? Естественный отбор? Ну да, правда, естественный.

Но разве мы не люди? Разве не видим, что делается с оставшим, тем, на кого неотступная подлянка уже напала? Может, вернемся, потянем время, протащим на себе метров сто? Он же еще здесь, со всеми, а мы — в отрыв!..

Когда станет совсем поздно, стая опомнится, станет жалеть!..

Может, опомнится, а может, нет...

Паша, давай опомнимся и мы, давай оглянемся вместе, давай спросим у хозяина черной рулетки, что стало с Аликом Шестопаловым, которого ты победил, как он, где?.. Там или здесь?..

Или вы встретились мирно, пролетая над городом Киевом, и присели за столик, и обнялись в слезах?..

Прощай, Паша, прощай!.. Долго я буду о тебе думать, починая ветхую пьесу для гастролеров под названием «Кин, или Гений и беспутство». Долго буду думать и всегда поминать... .

Похороны на «Ленфильме» в юбилейные ленинские дни взял на себя смелость устроить директор Илья Киселев.

— Положу партбилет! — сказал он. — А Пашу похороню!..

И потрясла несмышленного Р. артистка Инна Кириллова, Пашина тихая вдовица, которая в слезах отпущения, одна зная, за что, просила:

— Прости мне, Паша, прости, прости!..

— 22

А теперь, благородный читатель, давайте спросим путающегося автора: кто же все-таки, по его непросвещенному мнению, виноват в отступничестве, кто труслив и жесток — сам Театр, Его Железное Величество, Кровавая Богиня Мельпомена или принимающие решения и пока необъявленные конкретные лица? В повести «Прощай, БДТ!» он упирал на то, что у *Мельпомены грязная работа*, что это она режет, как мясник, и тут ничего не поделаешь; терпи, страдай и жертвуй собой во имя искусства.

Удобная позиция, удобная... И никого не обидел, и сам не виноват!..

Но за широкой задницей Мельпомены все тогда и отсиделись — и передовой отряд горделивых членов, и ярые «прогрессисты», и беспартийная шваль — все как один поступились долгом памяти ради заспиртованной карлы в мавзолейной кунсткамере!..

Вижу, вижу, монолог грешит анахронизмами, но когда-нибудь пора и понять, и покаяться, лучше поздно, чем никогда, и, отвечая на вопрос без всяких уверток, сказать: «В этом больше всех виноват отщепенец Р., не взявший на себя никакой ответственности. А уж после него, в убывающей степени, остальные, то есть третьи, вторые

и первые сюжеты, чем первее, тем невиноватее, по причине сердечной преданности столетнему Ленину. *А меньше всех виноват начальник пожарной охраны БДТ Андрей Рыдван...*»

Из партии выходили двумя группами. «Авангард» сдал билеты завкадрами Алле Ахмеровой, и она снесла их в райком, на угол Фонтанки и Невского, во дворец Белосельских-Белозерских. Там нынче культурный центр и выставка восковых фигур, по примеру музея мадам Тюссо. Очень полюбили в России восковые фигуры, безопасные воплощения опасных людей...

Куда девались сданные передовиками партбилеты? Несведущие мнутя, отмахиваются ручкой, а сведущие молчат, как восковые...

«Арьергард» держался до самого ГКЧП и доверил партийные книжки Андрею Рыдвану; во-первых, тот всегда в театре, а во-вторых, у него — железный ящик для взносов. Качнет жизнь в одну сторону — билеты сданы, качнет в другую — вот они, достаты из ящика и опять у сердца. Кто-то сдал открыто и втихую забрал. Наибольшее расположение отсталого автора почему-то вызвали те, кто откровенно хранил билеты и верность идеям. Таких, если он не ошибается, было двое: артисты Иван Пальму и Сева Кузнецов.

Хранитель железного ящика — бывший детдомовец Андрей Иванович Рыдван встретил врага на белорусской границе. Он отвоёвал всю войну, послужил начальником погранзаставы в Туркестанском военном округе и демобилизовался в звании капитана, вся грудь в медалях и орденах.

Андрюша досконально знал все театральные закоулки, подвалы, лестницы и чердаки. Соединяя в одном лице должности начальника пожарной охраны и гражданской обороны, он, как «домовой», в любой момент мог объяснить назначение любых труб, кранов, шлангов, ящиков, лазов, главных и запасных защитных комплектов, подручных средств, назвать адреса бомбоубежищ и пути отхода.

— Андрей, если завтра война, какое у тебя предписание, где спасешь коллектив от смертельной опасности?..

— Не беспокойся, Володенька, станция Пестово Московской железной дороги примет с дорогой душой!.. В Пестове будет все как надо!..

Его привел или принял в театр Леонид Николаевич Нарицын, заядлый охотник и рисовальщик, сперва наш директор, позже — начальник управления культуры, тоже фронтовик, призванный со студенческой скамьи Академии художеств и закончивший войну в особых войсках.

Дежурная комната — напротив выхода на сцену, а актерская явка и лист расписок — чуть правей. Начальство и нас с добродушной улыбкой встречает Рыдван. Не помню случая, когда бы его не было в театре.

— У нас все в порядке, Леонид Николаевич! — бодро докладывал он идущему за кулисы Нарицыну.

— Все в порядочке, Владимир Александрович! — рапортовал он преемнику Нарицына, Вакуленко.

— Все в полном порядке, Геннадий Иванович! — утешал бессменный Рыдван директора Суханова...

Кроме охраны и пожарки ему поручили возглавить еще один внутренний орган — «народный контроль».

Когда за спиной Андрея оказался ящик с партбилетами, степень его ответственности за театр резко возросла, и, несмотря на военный и пограничный опыт, он заволновался.

В тревожный августовский момент, — все в отпуске, а по телевизору, соревнуясь с «Лебединым озером», трепещет ГКЧП, — Андрей дрогнул и бросился звонить на дачи партийцам из «карьергарда».

— Что делать, ты мне прямо скажи! А ящик?! А билеты?! — кричал он.

Неизвестно, что и от кого он услышал в ответ, но в гараж вошел успокоенный и, оглядевшись, решительно сорвал цветные плакаты с изображениями голых девиц. Водители удивились.

— В чем дело, Андрей Иванович?

— Теперь у вас такого безобразия уже не будет! — сказал он и вышел.

Вот, собственно говоря, и все.

История российской государственности пошла своим путем, но августовская встряска привела к резкому обострению частных отношений между директором и заврадиоцехом, в которые опять

оказался замешан Андрей Рыдван. Полного сценария событий не восстановить, но кое-какие свидетельства остались.

— Это довольно грустная хохма, — с обидой сказал Геннадий Иванович, — я ведь о людях плохо не говорю, но Изотов сочинил обо мне настоящий пасквиль!.. Представьте, вторая половина августа или двадцатые числа, театр закрыт, но я в театре, а Изотов на даче. Дачу он купил у Вали Ковель. Она была умная женщина и вовремя отказалась от месткома, а этот человек стал председателем вместо нее. Потом хотел стать замдиректора и очень лез в директора!.. Тогда, как ему казалось, он бы навел порядок! — Суханов уже не работал в БДТ и пестовал дорогую внучку, но прошлое в нем не унималось, так же, как во всех нас. — Дача довольно далеко, на Волхове, а вся паника длилась примерно полтора дня. Он приехал с дачи и пустил слух, будто бы я позвал Рыдвана и приказал ему вооружить всех оставшихся работников! Зачем?.. Чтобы поддержать это самое ГКЧП!.. Вы представляете?!.. Но Рыдван — фигура подставная, а мной могли очень даже заинтересоваться!.. И тогда автор версии мог бы взлететь!.. Я вызываю Рыдвана: «Слушай, Андрей, а чем я мог вооружить людей?..» Рыдван говорит: «У нас два стартовых пистолета и несколько винтовок из «Тихого Дона». Но ведь они — сверленные, Геннадий Иванович!..» Вот вам анекдот!..

В развитие темы он коснулся международного положения и вновь обнаружил политическую зрелость и государственный подход. Ошибся он лишь однажды, неосторожно спросив у Р., «как дела». Тот, разумеется, завелся, заобъяснял, и Суханов по-отечески его предостерег:

— Экономьте себя, Владимир Эммануилович, экономьте!..

— Чепуха! — сказал на это Юра Изотов. — Насчет вооружения ничего я не говорил. Или Суханов бредит, или сильно испугался. Ну, понадеялись на партию, соскучились по дисциплине, ну, сорвал Андрюша голую девку в гараже, подумаешь, грех!.. Железный ящик стоит до сих пор... По-моему, на третьем ярусе... Парткома, Володя, нет, так же как и месткома. Но есть еще один железный

ящик, и этот мне недавно притащили в студию. Там — все профсоюзные билеты, в том числе твой. И учетные карточки тоже... Гогин я решил сохранить, на нем фотография в 23 года, худенький такой... А еще принесли мое личное дело, все доносы на меня. Был такой сумбурный момент, менялся начальник спецотдела, полковник КГБ, и он говорит: «Юра, не теряйся, можешь все дела изъять и лишнее уничтожить». И в подарок приносит папку в полиэтиленовом мешке, все, в чем я обвинялся, а потом как бы реабилитация в мою пользу. Я подумал: покажу-ка своей подруге. А потом думаю, зачем это ей? Понес на помойку, в последний момент просмотрел, разорвал каждый лист на четыре части и бросил. Три дня назад. Так что этот кусок жизни, Володя, уже на помойке.

— Зря, — сказал Р. — Документ — вещь историческая. Некоторые уничтожили, а потом жалели...

— Понимаю, — сказал Юра. — Я первый раз увидел лицо отца, когда мне было за сорок. Привезли из Вологды. Родственники. Фотограф отретушировал, увеличил... Я смотрю, и он смотрит. Расстрелян в тридцать седьмом...

На восьмидесятом году жизни Андрея Рыдвана разбил паралич.

До этого он много лет ходил за лежачей женой, а Полина Алексеевна была женщина полненькая, и переворачивать ее, перестилать и все такое было нелегко. Но долг — счастливое состояние, как верная служба, как исполнение приказа, как знакомый путь. Она была медсестрой, вместе воевали, вместе служили в Кара-Кумах, нажили троих детей...

Некоторым казалось, что с одним из бойцов охраны, Анной Ефимовой, женщиной красивой, статной и доброй, у Рыдвана многолетний роман, но театральный народ болтлив и держится скользких нравов, а доброе отношение начальника с подчиненной, их товарищескую дружбу, ввиду болезни жены, могут принять за нечто. И Бог с ними, главное-то не в том...

— Главное, Володичка, — сказала Анна Ефимовна, — какой он честный! Честнее его человека не было! Он же трудяга и дружелюбный какой!.. Никто этого не читит, а в данный момент таких людей не хватает... После него уже четвертый начальник... Все Андрюшу часто вспоминают...

Умирал он в июле 98-го, во Пскове, в домике дочери, когда театр был на гастролях. Дочь служила в церковном хоре и побежала к бабушке. Хотя Андрей веры не знал, но и не отрицал, на все пошел с охотой. Бабушка его соборовал, и все церковные почести ему отдали. А жена, Полина Алексеевна, сказала: как хотите, везите меня на могилу. На носилках, на машине. Надела костюм. На руках донесли.

И через два месяца похоронили рядом...

Майя умирала первой, и Сеня ходил за женой, как за маленькой, пытаюсь скрасить последнее время. Вообще-то ее мучили почки, но тут вдруг запрыгало давление, а она не соглашалась лечь в больницу. Потом случился гипертонический криз. Потом перестало работать сердце...

Так вышло, что, не сговариваясь, они успели вспомнить самое начало: парадное вступление красноармейцев в Прибалтику и то, как он шел, время от времени поворачиваясь спиной вперед и лицом к своему оркестру; их случайную встречу на площади, когда он взял ее за руку и все стало ясно.

Сеня сидел у ее постели, они ненарочно встретились взглядами, и теперь она прикоснулась к его руке...

Потом он ухаживал за тещей, которая в свои восемьдесят восемь сломала шейку бедра.

Потом похоронил ее рядом с Майей...

— Одиночество, Володя, — сказал он. — Остался в полном одиночестве...

Они столкнулись на Литейном и не могли разойтись.

— А дети? — спросил Р.

— Дочка в Израйле, одна, то есть с ребенком, очень тянет к себе... А сын... Формально говоря, подвизается в каком-то театре. У нас же «окно в Европу», так он выскочил в это окно. Живет в Голландии, имеет в виду Германию. Развелся, оставил жену с дочкой. Женился на девочке со своим ребенком, и у них родился сын. Вообще говоря, надо подбивать бабки, — он засмеялся. — Не деньги, нет, я говорю, пора закрывать лавочку, и я понемногу забираю в сторону, понимаете?..

— Хотите уехать к дочке?..

— Впрочем, хотел... Продал дачу, машину, гараж... Думаю, надо жить для детей, внуков...

— Господи, и вы туда же! — не выдержал Р. — Сидеть в канотье на пороге чужого дома!.. Мазстро, вы ведь всю жизнь в деле!..

— Да, вы правы, когда дошло до дела, я подумал про это и решил: «Нет, не поеду!». Слишком много хвороб. Насколько меня хватит, не знаю. Честно говоря, немного трушу... Надо съездить к сестре, в Астрахань...

— А театр?..

— Ну, что вам сказать? Работа не очень интересная, это вам не при Гоге. Не шибко... Я живу, потому что очень люблю музыку и у меня большая коллекция. Смотрю видик, слушаю «Хитачи». Система работает! У вас тоже? Знаете, Володя, приходите ко мне! Послушаем что-нибудь или посмотрим, какой-нибудь мюзикл. Недавно меня навестил Заблудовский, мы с ним слушали «Кандида» Бернстайна. Это — по Вольтеру, вам было бы интересно, я же знаю. Потом, у меня есть «Кармен» с Пласидо Доминго. Между прочим, там такая необычная Кармен, ни на кого не похожа! Артистка мюзикхолла, представляете? Постановка Франческо Рози... Знаете, когда оперу переносят на пленэр, она немножко теряет условность, а натура как-то отвлекает. Впрочем, вопрос спорный, но я — за!..

— А «Чио-Чио-сан» у вас есть? — спросил Р.

— Два варьянта! — Он сделал цезуру и сказал: — Переписываюсь с Иосико, вы, конечно, ее помните. Она замужем, у нее двое детей... Чудные дети... Кстати, Володя, недавно я опять читал о Блоке. Отчего он все-таки умер?.. Легкие?.. Нет... Сердце?.. Сорок один год, вы подумайте!.. Существует подозрение насчет нехорошей болезни...

— Семен Ефимович, вы знаете хорошие?..

— Хороших, конечно, не бывает, но все-таки... С женой он не жил, но были же другие женщины. Так отчего он умер, как вы считаете?..

— По-моему, он умер от ужаса, — сказал Р. — Понял, с кем был... И на что тратил последние силы...

— Вы думаете, театр тоже виноват?.. Нет?.. Володя, вы рассуждаете с общих позиций, а я имею в виду медицинский аспект.

Он не знал, что предстоит ему самому. И хорошо, что не знал.

Услышав, что Блок при смерти, Ахматова примчалась из Царского Села и вечером была на Пряжке. Ни увидеть, ни проститься, но ей передали, что перед кончиной, в бреду, он сказал про нее: «Хорошо, что она не уехала».

Реплику сообщила Мария Сакович, доктор Больдрамте, хорошо знакомая Ахматовой. Все последние дни Сакович не отходила от постели Блока...

На другой день Анна снова была там и в день похорон с толпой провожающих прошла весь путь.

Белый на панихиде 8 августа «узнал лишь Ахматову (в черном трауре, в креповой, густой вуали)» и предположил, что «она очень огорчена».

Никто и догадаться не мог, что она чувствовала на самом деле...

Блок был неузнаваем. Собираясь делать посмертный портрет, Анненков долго не мог приступить, потом записал: «Перемена была чрезвычайна. Курчавый ореол волос развился и тонкими струйками прилип к голове, ко лбу. Всегда выбритое лицо было завуалировано десятидневной бородой и усами. Перед положением в гроб Блока побрили...»

Отношения Александра Александровича с церковью были непростые: он служил у большевиков, а эти начали шлепать священников с восемнадцатого года. Митрополит Вениамин с близким окружением был расстрелян в том же, 21-м, и, хотя в Александрово-Невской лавре есть его надгробие, владыки Вениамина *там нет*.

Верующие поминали убиенных как великомучеников, и Ахматова не могла этого забыть.

«Отпусти, Господи, рабу Твоему Александру еще согреших!..»

День похорон оказался тяжелый и душный. От Пряжки до Смоленского, где покоились предки матери, долго шли пешком, а Блока несли на руках, в открытом гробу. Через Николаевский мост. Через весь Васильевский...

На этом пути она узнала об аресте Гумилева.

Отпевали не в церкви Смоленской иконы Божией Матери, что внутри кладбища и напротив часовни Ксении Блаженной, а перед самым входом, в церкви святого Воскресения, которой теперь нет. У могилы речей не было.

«Прими, Господи, душу усопшего раба Твоего Александра, Владыко», — просила она вместе с молящимися.

Группа артистов положила на гроб пунцовую розу и белый крест.

Нина Флориановна Лежен сказывала Р., что розу и крест принесли наши, а Анна Андреевна назвала артистов театра Гайдебурова. Он носил имя Передвижного и, в отличие от Большедрамте, по мере сил сохранял независимость от большевиков..

После похорон Ахматова написала «А Смоленская нынче именница...», словно не своею волей отпуская грехи и обеляя «Александра, лебедя чистого». Как будто Смоленская заступница поручила это именно ей...

Ахматовский отрывок «Пушкин и дети» артист Р. прочел в феврале, а план юбилейного вечера, где он был назначен чтецом «Поэмы без героя», Ахматова составила в марте того же, 65-го, стало быть, чтение отрывка не оттолкнуло. Сумел бы Р. прочесть в то время «Поэму без героя»?..

Автор почему-то сомневается, но ему вдвойне интересно, чем руководствовалась Анна Андреевна. Не модой же на Р. и его «Гамлета»... Чем тогда?..

Тем, что прибыл из Ташкента, «Константинополя для бедных», который стал «волшебной колыбелью» поэмы?.. Что-то здесь есть, но этого мало...

Оттого, что думала о новой форме поэмы, приближающей ее к драме?

Оттого, что Р. не чтец *а актер*, и карнавальная многоликость «Поэмы» требовала многоголосья, как в «Гамлете», которого он играл в одиночку?..

Или потому, что *не только актер* имеет отношение к стихам, а за всеми голосами должен звучать единый авторский голос?..

Или просто оттого, что заболела дорогая ей Нина Антоновна Ольшевская и поневоле понадобилась замена?..

Но ведь подумала о нем, подумала!..

Спасибо вам, Анна Андреевна!.. Ни за одну роль никому не кланялся, а за эту, несыгранную, низкий поклон...

— Вы верите, что «Гамлета» написал актер?.. Вы всерьез думаете, что актер мог все это написать? — она искренне недоумевала.

Артист Р., в свою очередь, пожимал плечами, уверенный в обратном. Актер Мольер тоже недурно писал, и это не требовало доказательств. Втайне Р. болел за честь мундира и, не показывая Ахматовой, писал стихотворный цикл «Театр “Глобус”». В его стихах, как «пузыри земли», булькали аллюзии, связанные с родным БДТ и бесстыдным временем, а Шекспир был артистом до мозга костей.

Так же, как у Юрия Домбровского в повести «Смуглая леди сонетов». Домбровский в своих письмах к Р. стихи о Шекспире хвалили и агитировал добавить к циклу балладу о черте в Стратфорде, для чего присылал роскошные выписки из старинной книги В. Фулька. Книга называлась:

«Приятнейшее путешествие (прогулка) по саду созерцания природы, которая позволит нам исследовать естественное происхождение всевозможных метеоров — огненных, воздушных, водяных и земных, к которым принадлежат огненные звезды, падающие звезды, небесные огни, гром, молния, землетрясения и т.д.

Дождь, роса, снег, облака, родники и т.д. Камни, металлы и почва.

Господу во славу, людям на пользу. Лондон, 1640 г.».

— Вы обращали внимание на то, что все подписи на документах разные? — спрашивала Анна Андреевна. — Как это могло быть? Образованный человек, знавший все на свете, не знал, как пишется собственное имя — Шакспер или Шекспир?.. На показаниях суду так, а в свидетельстве о покупке дома — иначе?.. А завещание вы читали?.. Он оставляет жене «вторую по качеству кровать», да еще «принадлежащей к ней утварью»!.. Нет, вы только подумайте!..

Ахматову покидала обычная невозмутимость, она вставала из-за стола, делала два-три шага, повторяя возмутительное распоряжение о кровати, и смотрела на Р. так, как будто это он так ужасно обошелся с женой. Чего же еще можно ждать от артиста?..

Остановимся, господа. Для полной ясности автор вынужден рискнуть доверием публики и заявить читателю, не заставшему наших времен, что Р. был неплохим артистом. Не то что какой-то задвинутый Шекспир, который и играл-то всего лишь тень отца Гамлета. Наш Р. играл не только самого принца датского, но и всех остальных, включая Офелию и Гертруду (не путать с Героями Социалистического Труда, которых называли тем же именем).

Кроме того, на сцене товстоноговского БДТ он исполнял роли Чацкого, Тузенбаха, Петра Бессеменова, а также и Григория Неделина, Электрона Евдокимова и кое-кого еще, то есть ведущие партии в классических и советских пьесах. О его дарованиях и заслугах открыто говорили ему не только зрители и критики, но и коллеги-артисты, например сэр Лоренс Оливье, да, да, автор не шутит. Однако о встрече с титаном позднее, а сейчас рискованное заявление необходимо для того, чтобы уверить читателя: артист Р. был изначально убежден, что актерская профессия — лучшая на свете, а он... Ну, сами понимаете...

Возможно, Р. отчасти заблуждался как по поводу профессии, так и насчет себя, но в заблуждении своем был тверд.

Впрочем, так же, как многие его коллеги, особенно артисты товстоноговского БДТ, который, как мы помним, был лучшим театром всех времен и народов, а «Мещане» — лучшим спектаклем самого Товстоногова. Одна из подруг Р. по великому театру до сих пор говорит: *«Я ради профессии пойду на все»*, — помня свой открытый творческий и тайный личный роман с Гогой, она прощает ему измену и поет осанну, подавая оставшимся в живых возвышенный пример. Так что один факт участия в «Мещанах» поддерживал артиста Р. в его ошибочных или безошибочных — выбирайте сами — представлениях о себе, мире и театре, что, как сказал Шекспир, одно и то же. «Мир — театр, все женщины, мужчины в нем — актеры, и каждый не одну играет роль». И хотя эти слова произносит Жак-меланхолик, мы-то знаем: Автор с большой буквы вкладывал в уста героя любимую мысль, что, по его примеру, делаем и мы, выставя артиста Р. действующим лицом, свободным от авторской воли. Если сам Пушкин не стеснялся писать

«по законам отца нашего Шекспира», мы должны им следовать тем паче.

Теперь вопрос. Что такое артист?

И ответ. Невосковая персона, которая ищет нравиться и не хочет не нравиться.

Теперь секрет. Даже когда артист скрывает это под маской скромности, он смерть как любит нравиться и терпеть не выносит не нравиться. Или слушать что-то худое о себе и своей профессии. И это неотменимо, даже когда он — неглупый человек и пишет на досуге якобы стихи и типа прозу, а редактор это печатает, клюнув на актерское имя. (Кстати, Р. здесь в виду не имеется, он, как помним, дурак с идиопатическим отклонением от ординара.)

Теперь пример. Идут в Японии «Мещане», в зале «Кокуруцу-Гокидзе» человек двести, все артисты друг другу нравятся, особенно каждый себе, и имеют на это полное право; поклон, «возьмемся за руки, друзья, и Гога, Гога вместе с нами», а в первом ряду — феноменальная японка в белом европейском платье, невообразимая красавица, почти как девушка Иосико, а может быть, даже наравне с ней, и она смотрит именно на артиста Р., следит его поклон с улыбкой, обещающей земной рай, и, сколько он ни кланяется, держа за руку самого Гогу, японка смотрит только на него и глаз не отводит. И он, конечно, то же самое, и занесся в смелых мечтах, и уже оторвался от пола, и парит в районе горы Фудзияма вместе с ней, и вот они летят, как на картине Шагала, летят все дальше и дальше, свободные, как цапли и буревестники (автор птицы — Максим Горький), и хищные, как орлы!..

А теперь представьте себе зал Чайковского, а в нем — около двух тысяч лиц, и сидят даже на ступеньках, а в первых рядах много красивых женщин, и все до одной смотрят только на него, а на кого же еще смотреть, если на сцене никого больше нет и он играет в одиночку и, несмотря на сценическое одиночество, не думает пропадать, а залетает еще выше, и вот ему, парящему орлу, буревестнику и цапле, говорят, что артист не может быть автором «Гамлета», хотя именно он, Р., лично и каждый раз заново *его сочиняет!*..

Вот ведь в чем дело, господа!..

Но говорит это не кто-нибудь, а сама Ахматова, и Р. поневоле впадает в задумчивость...

Теперь вернемся к ее аргументам и, объективизируя картину, послушаем, что она говорила ученому-физику Георгию Васильевичу Глекину. Текст этот им записан, передан в ЦГАЛИ, и — один к одному — совпадает с тем, что слышал от Анны Андреевны артист Р.

— Как же это получилось, что мы всех современников Шекспира знаем, и о характере Бен-Джонсона, и о дикой смерти Марлоу, и о всех других, а о самом Шекспире — он же и тогда был знаменитостью! — никто ничего не написал? Нет. Под портретом в так называемом прижизненном издании есть таинственная надпись Бен-Джонсона — «Пусть этот портрет так же скрывает его лицо, как эта книга его мудрость». И сам портрет. Вот смотрите, узкая полоска идет ниже подбородка. Ведь это — маска! Портрет человека в маске. А кто под ней?.. Да и откуда бедному актеру было знать все тонкости придворного этикета? А он их очень хорошо знал, даже не знал, а они были прямо-таки тем воздухом, которым дышал автор «Гамлета» и «Хроник». И сами его Ричарды, и Генрихи, и Макбет написаны вовсе не по Голенштадским хроникам, а по той, хранящейся в Тауэре или во дворце хронике, которую опубликовали лишь в XIX веке, а в те времена могли знать лишь Елизавета и ее самые доверенные люди. Например, Бэкон. Елизавета была очень талантливая и своеобразная женщина... И ее соперница — ученица Ронсара — тоже... Все это странно...

С артистом Р. на «Гамлете» и «Макбете» Ахматова задерживалась.

— От казни Марии Стюарт до появления «Макбета» прошло не так много времени, — объясняла она. — Событие не слишком отдалилось, примерно так, как от нас — убийство Кирова... Ее первый муж, Франциск, умер от воспаления среднего уха, и яд, влитый в ухо старого Гамлета, конечно, напоминает именно это. А второй, Дарнлей?.. Его, как Дункана, заманили в тихий домик возле Эдинбурга, там был сад, и он отдыхал, выздоравливая. Убийцы вошли ночью, когда он спал...

— «Когда я спал в саду», — вежливо подчитывал Р.

— Вот, вот, — одобряла Анна Андреевна. — И следы оспы на его коже — это язвы, о которых говорит ваш Призрак... Конечно, «Макбет» и «Гамлет» — произведения одного человека, но не того, кто писал «Ромео и Джульетту»... И этот запрет вскрывать могилу в Стратфорде, смущая бедный прах. Там ведь доходит до проклятия тем, кто потревожит эти кости... Как будто бы делалось буквально все, лишь бы сохранить тайну...

Далее шли великолепная пауза и окончательный вывод:

— Ему повезло. Ему удалось скрыться.

«Макбет» всегда считался вещью, опасной для театра, и не из-за провала, а из-за проклятия, которое обращалось на игроков. Но Гоги уже не было, и решения принимали люди, еще более несуетливые, чем он. Роль Дункана получил Стржельчик, а Росса — Волков.

Сначала текст стал «выпадать» у Миши. Он неожиданно оставался, путал, возвращался к началу и просил повторить кусок. Повторяли, и опять случалась осечка. Миша и сам понимал, что происходит нечто странное, это ведь видно, когда артист хочет сделать как надо, а у него не выходит. Вот — страшный сон, проклятье профессии, когда просыпаешься в поту, увидев на сцене себя, забывшего текст. Да и сам его текст был вязок, мрачен и наводил на мысль о том, что мы «прогневали небеса».

Уж по часам давно дневное время,
А солнца нет как нет. Одно из двух:
Иль одолела ночь, иль день стыдится
Лицо негодным людям показать...

Ждали, когда Миша сам попросит о замене. И дождались. Тексты Росса решили разделить между Ленноксом и Сивардом. Сиварда репетировал Соляков, ему и досталась львиная доля...

У Стрижа болезнь обозначилась резче. Он приходил в хорошем настроении, шутил, хорохорился и даже успевал ущипнуть кого-то из новых красоток. Подходил монолог Дункана, и Владик брал внимание на себя. Скажет несколько строк, спутает слова, опять начнет, опять споткнется.

— Извините, я сейчас. Давайте повторим! — И снова сбой, и снова; Стриж выходил в курилку и спрашивал: — Странно, что там со мной происходит?

Это дикое ощущение описано Пушкиным так точно, будто он сам — актер:

Бледнеет, ролю забывает,
Дрожит, поникнув головой,
И, заикаясь, умолкает
Перед насмешливой толпой...

Оказалось, что у Волкова начал развиваться необратимый дефект психики, или деменция, осложненная болезнью Альцгеймера, а у Стрельчика дала себя знать опухоль мозга.

Надменный Михаил Давыдович стал робок, отрешен и похож на потерявшего себя Гришу Гая. Он оказался неадекватен в быту, и его пришлось поместить в дорогостоящий приют для безнадежных ромали. Иногда в немоющем и почти неузнаваемом пациенте вспыхивал огонек, и он, собрав вокруг себя кучку безгласных теней, начинал рассказывать им о боевых эпизодах фильмов «Путь в “Сатурн”» и «Конец “Сатурна”», где он, он, он, а не кто-то другой, играл лихого разведчика.

Еще до помещения в приют Аллочка нашла Мишино письмо, в котором он просил похоронить его в Пушкине, вместе с ее родными, то есть на том же кладбище, где лежал Гриша Гай. В письме содержалась еще одна просьба: никого из коллектива славного театра к его гробу не звать...

Стрельчика приговорили в Военно-медицинской. Сказали, что оперировать бесполезно. Будущий министр здравоохранения Юра Шевченко говорил Люле Шуваловой:

— Люда, он красиво жил, дайте ему красиво умереть!..

Но в нейрохирургическом имени Поленова оперировать брались, и она поняла, что, не использовав этот шанс, будет сживать себя со свету. Оказалось, что это — глиопластома, одна из самых злокачественных и быстрорастущих опухолей...

Потом его держали в 122-й медсанчасти и в «Дюнах», но с каждым днем становилось яснее, что до начала сезона ему не дотянуть.

Опять был консилиум из Военно-медицинской, они увидели, что Владика, по сути, уже нет и во что превратилась бессонная Люля, и забрали его в свою реанимацию...

С тех пор Люда Шувалова обходит «Макбета» стороной и говорит, что смотреть его не пойдет, чем бы это ей ни грозило...

— Настоящий японский ламан очень похож на узбекский, — сказал Ирик, орудуя у плиты.

— Если так, зачем ты уезжаешь? — спросил Р.

Жена Ирика вместе с детьми успела улететь в Ташкент.

— Пора, — лаконично ответил Ирик.

— И нам пора, — сказал Стржельчик.

Ирик заехал за нами в любезный «Саттелит» в день возвращения трупы в Токио, и мы достали свои подарки — стальной нож из Аргентины и черную икру, которую сберегал Влад. Хозяин готовил классную еду — мясное чахохбили и steak с жареной картошкой, и она вызвала наш искренний восторг. А если добавить сюда ноль семьдесят пять «Беловежской пущи» и полную неспособность предугадать, что станет символизировать это название в нашей исторической перспективе, легко представить, как хорошо мы сидели втроем в просторной токийской квартире моего одноклассника...

— Выпьем за тебя, — сказал Стриж, — за твой день рождения, за твою семью, выпьем за твой орден... У тебя Боевого Красного Знамени?

— По-моему, это хороший орден, — сказал Р.

— Очень хороший, в ту войну его зря не давали, — сказал Владик и уточнил: — За Афганистан?

— Да, — сказал Ирик и попросил: — Давайте об этом не будем, а?..

— Хорошо, — согласился Стриж. — Выпьем за то, что ты настоящий товарищ, и дай тебе Бог здоровья и удачи на новом месте!

Мы выпили, и никто не подумал о том, что здоровье — это и есть удача и каждому в каком-то месте его может не хватить.

— Я здесь часто ездил на рыбалку, — сказал Ирик в прошедшем времени, как будто уже уехал и вспоминает здешние места из-

далека. — Звоню, хочу, мол, порыбачить в районе Одовари или Цу-гиура, беру разрешение и еду...

— Давайте выпьем за Японию, — сказал Р. и получил поддержку.

Потом пили отдельно за каждого из гостей и каждую из их жен, потом за детей, а Р. и С. сказали алаверды друг о друге, мол, оба они наивны и все такое, а Р. к тому же еще и ленив...

Когда пили за жен, Стриж счел нужным подчеркнуть для Р., что имеет в виду его нынешнюю, и привел мотивы; а когда подымали тосты за детей, возникла заминка: сколько же их у нас?..

С Ириком все было ясно, его Барно — одна, и одна из всех припосольских жен сумела родить четверых. А с Р. и С. выходило сложнее. «Беловежская пуща» шла хорошо, и количество детей не подавалось учету.

В ответ на этот невинный вопрос Стриж уклончиво засмеялся и посмотрел на Р., понимает ли тот причину смеха. Р. понимал, недавно у одной из мастериц родился красивый мальчик, по слухам, похожий на Стрижа, и театр с нежностью отнесся к закулисному ребенку. Даже если его отцовство было легендой, Владик ее не отвергал, и его смущение было трогательно.

Чтобы помочь товарищу, Р. отвлек внимание на себя и стал рассказывать, как на гастролях в Тюмени его обобрала черная цыганка и, тыча пальцем в его левую ладонь, кричала на всю Сибирь, что у Р. не один сын, а двое, двое детей, и он почувствовал себя виноватым и вспомнил, что одна красивая докторица сказала ему про свою дочку, мол, это его дочка, а не ее мужа, хотя ни муж, ни дочка никогда этого не узнают, и Р. тоже бы не узнал, если бы крепкая семья не уезжала в Австралию.

И в тот момент все трое мужчин снисходительно посмеялись, потому что любили своих жен и были им верны, но надо же понимать, мужчина есть мужчина и кем не играет случай. Оставалось выпить «на посошок», но выпили только Р. и С., Ирику предстояло сажать гастролеров в «тойоту» и отвозить в «Саттелит». А в «тойоте» крепко дунувший Р. успел подумать, что эти веселые речи когда-нибудь им отольются и новый Гришка Незнамов рванет в чей-то адрес свой бешеный монолог...

Побочных детей могли себе позволить только короли и поэты. Шекспир называл их «бастардами», а Пушкин — сами знаете...

Многие поэты и сами были неблагополучны. «Поэты, побочные дети России! / Вас с черного хода всегда выносили», — писал мой друг Герман Плисецкий...

Александра Павловна Люш, служившая в бутафорском цехе БДТ, была до ужаса похожа на Блока. Высокая, интеллигентная, несколько аскетичная, она всегда держалась с достоинством и позволяла себе независимые суждения об искусстве театра. И это естественно. Должность декоратора, то есть исполнителя декораций, подразумевает огромную творческую работу по воплощению замысла художников. Иногда декораторов называют «художник-оформитель». Ее слегка удлинненное лицо с ясными глазами и копной светлых, мелко вьющихся волос магнетически притягивало взгляды, и к середине 30-х годов в театре сложилась стойкая легенда о ней как о дочери Блока. В дальнейшем легенду подтвердил ряд фактов и свидетельств.

Артист Р. не раз сталкивался в работе с Александрой Павловной. Так, в «Генрихе IV» на ее долю выпало делать вымпелы, которые выносили молодые артистки в чистых переменах — намек на шекспировский театр. Александра Павловна лично выводила на вымпелах стилизованные надписи: «Шрусбери» или «Покои короля», а также «Акт первый» и «Акт второй».

«Аля-Паля», или просто «Паля», как ее называли свои, выполняла «стенки с картинами» и библиотечные задники для «Третьей стражи». А делая стеллажи с книгами, шкафы и прочий «старый хлам», который должен был загромоздить всю сцену в «Цене», она наглоталась хлорки, заработала астму, и ей пришлось перейти в Кировский...

Приемной матерью Али-Пали была доктор Мария Сергеевна Сакович, трудившаяся в БДТ со дня основания. Это была женщина редкой отзывчивости, интеллигентности и обаяния. По образованию Мария Сакович была педиатром и совмещала службу в театре с работой в детском доме. Это она привела девочку-сироту в детский дом и очень к ней привязалась. Но ребенок был слабый, еле живой, и возникла необходимость выходить его дома.

Решение это повлияло на судьбу Марии Сергеевны, так как у нее был роман с братом артиста БДТ Монахова, Павлом, и речь шла о браке, но тут разыгралась история с Алей-Палей, и Павел Федорович отошел в сторону. Впрочем, он не стал возражать против того, чтобы у девочки было отчество «Павловна»...

Николай Федорович Монахов, так же как Юрьев, один из отцов-основателей БДТ (в 30-е годы он стал популярен как исполнитель роли Троекурова в фильме «Дубровский»), Алечку принимал и баловал, она росла среди актеров и их детей, недурно рисовала и совершенно выровнялась.

С Марией Сакович была дружна Анна Евгеньевна Аренс, первая жена Николая Николаевича Пунина, они учились на одних курсах, и Мария принимала роды своей подруги. Так и вышло, что Ирочка Пунина и Аля-Паля стали «крестницами» и тоже сделались дружны.

Потом Николай Николаевич с Анной Аренс разошелся, женился на Анне Ахматовой, и судьба Алиной подруги Иры Пуниной оказалась связанной с судьбой Анны Андреевны до самых последних дней...

Здесь позволим себе беспечное сближение. 13 июля 1925 года в «Разговорной книжке» Пунина — Ахматовой появилась странно-вато-смешная запись: *«Сим разрешаю Николаю Николаевичу Пунину иметь одного сына от любой женщины. Анна Ахматова»*. В это время Але-Пале — четыре года, Ире Пуниной — меньше четырех, и Анна Андреевна для нее то ли мачеха, то ли родная, а потом — пожизненно — «Акума».

Судьба и тайна рождения Али Сакович занимала Ахматову не меньше нашего, и Александра Павловна сказала артисту Р.:

— Это для нее тоже было магнитом...

Конец жизни Мария Сергеевна Сакович провела в Доме ветеранов сцены, и в сентябре 1965 года Ахматова неожиданно сказала Ирине Николаевне Пуниной, что хочет ее навестить. Поехали вместе и встретились втроем.

Анна Андреевна спросила про Алю:

— Блок?

— Да, — сказала Мария Сергеевна.

— А кто мать? — задала вопрос Ахматова.

— Я не могу сказать, — ответила Мария Сергеевна. — Это тайна.

Стало ясно, что она поклялась.

Когда вернулись домой, Анна Андреевна попросила Ирину позвать Алю-Палю вместе с восьмилетним сыном, и те приехали.

После визита Ахматова сказала уже о мальчике:

— Безумно похож...

Она умерла в марте, а Мария Сергеевна — в октябре следующего 1966 года. А Ирина Николаевна Пунина сообщила об этих сценах только накануне своей смерти, случившейся в июне 2003-го.

На вечере в БДТ, посвященном столетию Блока, главный машинист сцены Алексей Николаевич Быстров подвел Александру Павловну Люш к одному из закопёрщиков события, блоковеду Владимиру Николаевичу Орлову, и с намеком представил: вот, мол, «дочь юбиляра». Орлов сказал:

— Вы понимаете, я — в курсе. Но я написал книгу о Блоке, и в мою концепцию это не входит...

— Я для них — гипотетическая, — сказала Александра Павловна, смеясь, артисту Р. — В наше время на такие темы говорить было не принято, но это все знали, все. Профессор Военно-медицинской академии предложил научный анализ, но я сказала: «Мне не надо, я в этом не сомневаюсь». И назвали меня в честь матери Блока — Асей, но я не могла выговорить «с», и получилось Аля...

Дом, в который они переехали с Марией Сергеевной по завершении строительства на Бородинской, 13, заселили большедрамовцы, консерваторцы и артисты Кировского театра, а до БДТ по Бородинке и через Лештуков мостик было рукой подать. С сыном знаменитого артиста Ларикова Егором они чуть было не поженились, но потом это разладилось...

Завесу над именем матери поднял Дмитрий Васильевич Люш, супруг Александры Павловны. Ему единственному назвала это имя Мария Сергеевна Сакович, а затем, параллельно с Анной Каминской, они вели расспросы и разыскания. Но прежде повторим: здесь все

же область семейной тайны, а может быть, снова легенды, хотя в ней участвует и документ: метрическое свидетельство о рождении Али. В графе отец — советский прочерк, а зачеркнутое имя матери, поверх которого вписана Мария Сергеевна Сакович, таково: Александра Кузьминична Чубукова.

Саша Чубукова тоже, кажется, имела отношение к медицине, но занималась ею недолго, может быть, оттого, что была очень хороша. Неизвестно на каких правах — то ли сестры милосердия, то ли прислуги — она попала в дом Константина Константиновича Тона, сына знаменитого архитектора, и в положенное время родила от него тоже сына. Брак зарегистрирован не был, и мальчику дали фамилию матери — Чубуков. Однако следующего ребенка записали все-таки Тоним, по отцу. Автор опасается своей ошибки, как вы помните, он — глуховат и иногда стесняется переспрашивать. Но братья Али-Пали — это и есть Андрей Чубуков и Борис Тон или, прошу прощения у них и родственников, Борис Чубуков и Андрей Тон...

Когда случилась революция 17-го года, их отца, Константина Константиновича, сына знаменитого архитектора, большевики расстреляли прямо в собственной квартире, на Фонтанке, неподалеку от БДТ.

Александра Чубукова с детьми бежала в пригород Сиверской Кежево, где у нее был двухэтажный дом, будто бы еще до встречи с Тоним подаренный каким-то генералом.

Итак, 19-й, а может быть, и 20-й год. Блок работает в Больдрамте и по каким-то причинам появляется на Сиверской...

Когда именно, как, где познакомились, кто знакомил, тут — пробел, зацепиться не за что, однако все Тоны и Чубуковы, — а их в Кежево много, — как один говорят, что Александр Александрович появился на Сиверской, влюбился в Александру Кузьминичну и увез ее с собою в Петербург.

Тоже, как видите, такой вот выездной роман...

В положенный срок она возвратилась в Кежево с большим животом, но большая туберкулезом; 2 мая 1921 года родила дочь Алю, ее положили в больницу на Песочной, и там она умерла, кажется, еще прежде Блока.

А ему после рождения Али оставалось жить три месяца и пять дней.

Тоны и Чубуковы передают:

— Приехали из города актеры и забрали девочку.

Вот ведь как... О мальчиках не спросили...

И возникает предположение, по меньшей мере у автора, что здесь никак не обошлось без Марии Сакович, которая лечила Блока, бывала у него, и он у ней бывал, а в последний срок находилась при нем неотлучно.

Может быть, он и просил, и брал с нее слово девочку взять. Кого еще было просить? Не мать же, тем более не Любовь же Дмитриевну...

Напоследок Мария Сергеевна передала Але записочку: «Стихи А.А.Блока — папы, написанные тебе». И стихи уже неверным почерком:

Песенку спою про заморский край,
Если будешь «пай»,
Расскажу и сказочку
Про звезду-алмазочку
Про (коровку) рогатую,
И про белочку хвостатую.
Ты же засыпай,
Баюшки бай-бай.
Спят луга, спят леса,
Пала свежая роса.
В небе звездочки горят,
В речке струйки говорят.
К нам в окно луна стучит.
Малышам (поспать) велит...

Неужели Блок?... Опять загадка...

Что касается медицинского аспекта болезни Блока, которым так интересовался композитор Р., доктор Сакович категорически отвер-

гала измышления о плохой болезни и считала, что это результат частых ангин и ревматических атак, с осложнениями на сердце. А в итоге — острый миокардит и психостения. Это подтвердил ей и Александр Георгиевич Пекелис, авторитетный специалист по внутренним болезням.

Роза Абрамовна Сирота пришла с Изилем Заблудовским и Милой Мартыновой на старый новый год, ей нужно было на «Стрелу», а Московский вокзал от Р. в десяти минутах ходьбы. В тот вечер на Знаменской собрались Натан Эйдельман и Яков Гордин с женами, был какой-то стол, какой-то литературно-исторический спор, который Роза с любопытством послушала...

Первый друг Сироты, конечно, Заблудовский, верный оруженосец — Мила Мартынова, но и Р. входил в ее ближний круг...

Теперь, наконец, она была в порядке: работала во МХАТе, у Олега Ефремова, рядом — Смоктуновский, Калягин, еще десяток артистов подходящего ей калибра, за помощью к ней уже потянулись умники из других театров. Кажется, ее дарование и заслуги театральная Москва оценила по достоинству. Не то что в Ленинграде, где после БДТ она почти задыхалась от недостатка художественного воздуха...

«Розу и Крест» она смотрела с особым чувством. Из-за того, что Гога не дал поставить Блока, она и ушла в последний раз, ушла, чтобы больше не возвращаться. И стала говорить про спектакль и вообще, вообще...

Сначала она поздравила Р. с победой и сказала, что его режиссерский профессионализм полностью доказан, хотя отдельные от театра работы она любит больше, они «чище» и «художественнее», а главное, не связаны с чужой эстетикой. «Чужой» значило — Гогиной...

— На фоне вашего репертуара, — повторила Роза, — это принципиальная победа, настоящий «втык»!.. Но ты же видишь уступки тому же «Генриху». Например, бой и другие театральные пошлости...

Она продолжала «кипеть». Она не прощала Гогге ничего, хотя сама просила у него прощения. Слишком большой счет

был у нее к себе и любому из окружающих. К нему — особенно...

Затем Роза «понесла» Р. как артиста, и для этого сравнила его с Z., играющим в своих спектаклях, мол, та же «неполная поглощенность проблемой роли, хотя и без его нахальства». У Р., как всегда, не хватило ума просто слушать, и он стал возражать: уж она-то могла обойтись без общих аналогий; но Роза отмахнулась и сказала, что пора, наконец, называть вещи своими именами и она уже просто не может видеть эти представления и лица.

— Ты не видишь этих лиц! — распаялась она.

— А ты совсем утратила чувство реальности! — отбивался Р. — Спектакль мог родиться только на скрещении житейской пошлости, театрального сора и трех человеческих лиц. «Когда б вы знали, из какого сора...» И потом: «Живу я здесь, живу!..» Если ты меня не можешь видеть, так и говори!..

— Дурак! — сказала Сирота. — Я же к тебе пришла, а не к кому-то другому!.. Ты хочешь, чтобы я с тобой дипломатничала?!

— Ну, успокойтесь, успокойтесь, Розочка, Володя, — хлопотал Изиль, но Розу было не остановить.

— У вас все перепуталось!.. Кто Бог?.. Театр или Гога?.. Для вас это одно и то же, а для меня — нет!.. У Станиславского этого не было!..

В тот приезд она казалась просто богоборцем, вернее сказать, «гогоборцем», Роза Сирота. По-прежнему любимый ею театр сильно подпортил ей настроение, и она тут же подпортила его артисту Р.

— Ладно, — сказал он. — Давай выпьем. Я все равно тебя люблю.

— И я тебя, — сказала Роза.

Так мы с ней встречали старый Новый 1981 год...

С того дикого случая, когда, зарабатывая три рубля в ленфильмовской массовке, внезапно умер Розин отец, артист Р. не остался безучастным, а Сирота безмерно преувеличила его участие, они стали коротки. И через все общие работы, все не зависящие от них служебные неизбежности и внезапные ссоры предельная откровенность сохранялась.

Особенно дорог был князь Мышкин, которого при возобновлении спектакля Р. дали порепетировать до подхода Смоктуновского.

Розе досталась вся черновая, бешеная работа по вводу «новичков» — Дорониной (Настасья Филипповна), Стржельчика (генерал Епанчин), Ольхиной (генеральша), Борисова (Ганя), Юрского (Фердыщенко) и других. Но она всерьез взялась за их «спарринг-партнера», и герой, так и не родившийся на свет, до сих пор дает Р. знать о себе...

— Покажи мне своего сына, — просила Сирота. — Ну, покажи Женьку! Как он обижается?.. А когда что-то не понимает, но старается понять?.. Вот-вот-вот, видишь, даже головку наклонил... Чувствуешь?.. Он — ребенок, совершенный ребенок... Перестань!.. Ничего повторного быть не может!.. У Кеши свой ребенок, а у тебя должен быть свой!..

Правда, Р. не ушел за ней в Ленком играть «Строителя Солнеча», но ведь были и «Смерть Вазир-Мухтара», и «Монарх» («Петр и Алексей»), записанный на студии «Мелодия», был композитор Илья Сац, двойник Сени Розенцвейга, и великие споры о театре...

Было, наконец, это кошмарное письмо, вернее черновик, о котором Р. совсем забыл и вдруг встретил в своей черной тетрадке, — *ее письмо к Нему...*

— 25

Перед трепанацией черепа композитору Р. обрили голову. Брил Шура Торопов, и прикосновение бритвы отвлекало от боли.

Под влиянием наркотика Сеня осторожно хмыкал и пытался шутить с сестрой. Та понимала все, слышала, в чем дело, от врачей и отшучивалась как ни в чем не бывало.

— А что у вас новенького в БДТ?..

— У нас... все новень-кое... А что вы... хотите?..

— Лучше с музыкой! — Она знала, чем он занимается.

— Ну, это... я вам обес-чаю. — Он плохо говорил, потому что последнее время голова болела страшно.

Опухоль оказалась величиной с пятак. Она дала себя знать властно и внезапно, и Сеня позвонил Торопову.

— Где вы, Шура, где вы, я умираю!.. Вы знаете, я просто умираю! — Но он говорил это про боль, а не про смерть.

За месяц до этого композитор Р. прекрасно выглядел, сияющий, подтянутый, в синем блайзере. Правда, тесноватые джинсы были чуток не по возрасту, но все-таки. И вдруг — от тошноты и боли не может наклониться, убрать квартиру, накормить котов. Фомка и Коша, не понимая, в чем дело, стали покрикивать на него: «Мя-я-са!..» «Урр-ыбу!..».

Сначала Шура отвез его в клинику диагностики на Сикейроса, потом — в Бехтеревку. Шансов практически не было...

Прежде Сене везло, хотя медкарту ему давно не показывали. Сначала — рак кишечника, правда, без метастазов. Операция, терпение, строжайшая диета, только свежий кефир по утрам...

Лет через семь — вакханалия с легкими, ему сказали, что это воспаление, но нужна операция. А это снова был рак. И вот теперь — рак мозга.

Розенцвейг лежал на столе и ждал, когда дадут решающий наркоз.

«Хорошо, что я не голый, — думал он. — И простыня не белая. Такой приятный защитный цвет. Если бы можно было что-то исправить. Вопшем. И в частности. Только бы выкарабкаться. Тогда стало бы ясно, что исправлять и как. Может, уравнивать шансы для Фимы и Риты? Хотя он все-таки мужчина и на полном пенсионе у немцев. Платят, правда, не шибко, но все-таки. А она — одна, с ребенком. Если бы кто-то подсказал. Нет Майи, Майи нет. Шура Торопов — золотой человек, но он прав: решать должен я... Что-то они тянут с наркозом. Интересно, в чем дело?.. А ноты, что будет с нотами? Кто разберет, Рюрик? Конечно, он мог бы, но... Какой архив? Кому это нужно? Все выбросят на помойку и сделают ремонт! Разве я не знаю? А скрипка? В чьи руки она попадет? Радость моя, тебя продадут за гроши! А коллекция музыки? А японский уголок? Ёсико, уточка моя! Золотко мое! Девочка!..»

Сене дали наркоз и попросили считать вслух, но он улыбнулся и тихонько запел:

— Шесть та-та-ми, шесть та-та-ми, ай-яй-яй-яй-яй!.. Е-дем, е-дем к Фудзияме, ай-яй-яй-яй-яй... Ай!..

Когда Кара-Караев или Мотя Табачников давали ему свои небрежные почеркушки, а он должен был их разбирать, расписывать, разрабатывать, делать за них партитуры, он все-таки обижался на Гогу и обижался всерьез.

— Шура, — говорил он Шуре Торопову, — конечно, невэтомдело, но что, я не мог бы это написать?! — и разводил руками: — О чем речь?!

Недооценка, недооценка дарования и заслуг, змея подколонная, вот где наша гибель!..

Вы не скажете мне, господа, отчего в театре периодически происходят самоубийства? Играют, играют, мажут физиономии, подпрыгивают, хватают фальшивые мечи, делают вид, что они рыцари, а не только чеховские интеллигенты, а там, гляди, раз!.. И кто-то повесился... Отчего, господа?!

Ведь это же все *понарошку!*.. Нельзя же к этой профессии подходить, как к военному делу!.. Цена билета какая?.. Вот... А цена жизни?.. Что за дураки, что за несчастные!.. Дали роль, отняли... Ну и хрен с ней, как говорится. Невэтомдело! Нет чтобы переквалифицироваться в управдомы или открыть ларек!.. Переживают, режутся, как артист Петровский, уволенный из БДТ с приходом Товстоногова... И даже если не берут веревку, не пьют горстями люминал — «умереть, мол, уснуть», — даже если не бросаются вниз головой в пролет лестницы, как великий актер и тец Владимир Яхонтов, у них начинается микордид и психостения, портится кровь и подступают кошмарные недоумения...

Толика Подшивалова помните? Играл беспризорника в «Республике Шкид», другие кинороли и в БДТ, например, в спектакле «Перед ужином» младшего брата Гриши (а Гриша — артист Р.). Темперамент, заразительность. Упал на твердое головой прямо на репетиции, гематома, трепанация черепа, другой человек... И однажды, уже больной и прооперированный, был отодвинут от роли. Пристроил веревку, тут же, на сцене БДТ, на колосниках, и... Слава Богу, вовремя заметили, вынули из петли, велели жить. И Толя жил, ходил в массовке, как тень, пока наконец не умер...

А его товарищ по студии БДТ — Константинов Юра? Отнесся к профессии всерьез, после нашей окончил школу-студию МХАТ, хорошо работал в Ленкоме с Опорковым и Сиротой, внутренний кризис и — вниз головой с высокого этажа...

А Люся Крячун, уйдя из БДТ, где ее карьера застопорилась, скромная, милая, в нее без памяти был влюблен наш Валерьян, завтруппой, уехала назад в свою провинцию, а там главреж, обещавший райскую жизнь, как на грех, скончался к ее приезду. Люся созвала гостей на день своего рождения, накрыла стол, а сама за час до их прихода — на крючок от люстры и... «Здравствуйте, Константин Сергеевич!..».

Господи, прости меня, грешного, и ее, грешницу, прости!..

Мало вам?.. Леня Дьячков — дивный артист! «Человек со стороны», Раскольников, моноспектакль «Мертвые души»... Перешел из Ленсовета в Александринку, сел на место самого Николая Симонина, не заладилось, *заболел душой*, в тяжкую минуту вышел на балкон, снял тапочки, аккуратно составил рядом и с пятого этажа — на смертельный асфальт. Верующий человек... И сразу после просмотра картины, *где он сыграл такую же смерть*...

Леня уходил в самоволку в виду собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка, и душа его совершала прощальный облет близко к голубым маковкам...

И что важно: не уважают на театре своих самоубийц!.. Театру подавай кремневых солдат, чтобы всякую психическую атаку или позорное отступление, и окопную вонь, и сумасбродство сержанта, и бездарный каприз генерала выдержал, исполнил; а главное, чтобы победил во что бы то ни стало, не считаясь с кровью или дурным запахом...

Как-то Мандельштам сказал Ахматовой: «Я уже готов к смерти». Так вот, господа, артист, кажется, никогда не бывает к ней готов, только репетирует или играет: «Я — не я, кондрашка не моя!..». И вдруг — бац! — и, как пел Андрюша Миронов, «уноси готовенького!..».

Что же вы молчите, господа?.. У вас есть мнение?.. Отчего некоторые позволяют себе самовольные выпады против жизни?.. От умеренных амбиций?.. От чуждого времени?.. От недооценки дарования и заслуг?..

Как родилось у артиста Ханова — «стыдно быть старым артистом»?..

И вот еще, отчего литераторы относятся к актерской братии, словно это зараза?.. Знаете, что Виктор Шкловский сказанул про одну? «Она талантливейший человек, но только актеры, они ведь не настоящие люди, они — чучела...» Как же он смел, когда в опере Леонкавалло «Паяцы» прямо сказано: «И актер — человек!!!».

А вот критик Р., друг и брат, а не кто-нибудь, отвечая на стон о враждебных происках и недооценке дарования и заслуг, просит артиста Р.: «Не будь актрисочкой...» — и повторяет, смягчаясь: — Милый, не надо тебе становиться актером... Ведь тот же Z. — это ужасно... Страшная штука актерская трясина!..». И другой друг, поэт Коржавин, тому же Р.: «Не позволяй в себе пробиваться актерству. В тебе его мало, меньше, чем в других, но его всегда много, сколько бы ни было». Что же они, сговорились?..

Правда, К.С. Станиславский называл дурные свойства профессии — «каботинством», но ведь вся его система и титанический труд — *попытка этически оправдать лицедейство...*

Поэтому и Ахматова поверить не могла:

— Вы думаете, актер мог написать «Гамлета»?..

...Или оттого, что были однажды прокляты и зарывали их за кладбищенской оградой?..

Ну ладно. Тогда один встречный вопрос, он же ответ: а как себя ведут признанные литераторы — те же X., Y., Z.? Или даже P., J., S.?.. Гляньте-ка на них, ведь это те же чучела и актрисочки, со всеми вытекающими последствиями!..

Стоп!.. Больше про всякую больную публику мы говорить не станем, но заметим, что как-то между прочим Ахматова сказала Чуковской:

— А профессиональных болезней во мне нет... Я не литератор...

— Володя, вы написали? — спросил Розенцвейг, переступив порог императорского дворца в Киото.

— Что, Семен Ефимович? — не понял Р.

— Поздравление Гоге; вы будете читать его до капустника или внутри?

— Господи!.. Да мне все равно...

— А что такое? — Розенцвейг как будто удивлялся, а на самом деле подначивал. — Мы хотим, чтобы все было с музычкой. — Он снял туфли и остался в носках.

— Нет, я прочту по бумажке и все!..

— Смотрите... Мы собираемся репетировать, Аксенов хочет петь, Волков — тоже, я подумал про вас...

— Нет, нет, петь я не буду, — нервно сказал Р.

— Хорошо, — улыбнулся Розенцвейг, — читайте так...

И мы ступили на поющие полы...

Будучи неравнодушным к артисту Р., автор хотел было скрыть его малозначительную оду на шестьдесят восьмую годовщину Товстоногова, но это было бы нечестно по отношению к читателю. Скрепя сердце приступаем к отчету о торжестве в посольстве, которое, как пельмени в отеле «Сателлит», слиплось в нашем сознании с гулянкой в большом буфете БДТ, имевшей место быть вскоре по возвращении из Японии. По мнению двух или даже трех авторитетных лиц, ода вышла произведением значительным, но даже если это и не так, сюжет гастрольного романа неумолим, как палач, и требует ее текста, чтобы показать целиком, как голову казненного...

Посол СССР в Японии тов. Павлов, не утративший за время нашего путешествия по о. Хондо загадочного сходства с аборигенами, поздравил Гогу по всем правилам дипломатического искусства, с учетом острой международной обстановки, особой значимости гастрелей в такие дни и любви к юбиляру партии и правительства, так высоко оценивших его дарование и заслуги. Не скрыл тов. Павлов и свою личную склонность к БДТ и его Мастеру. Его речь с большим вниманием вбирали подчиненные, некоторые жены и журналисты, и в теплых поздравлениях советских колонистов мы почувствовали крепкую руку Родины.

Если автор не ошибается, кормили на этот раз сдержанно, артист Р. запомнил бы нечто выдающееся. Суши? бутербродики? шам-

панское? сакэ?... Зато в Ленинграде было тепло некоей домашности, и вареную картошку поливали грибным соусом. Жена директора Суханова собственноручно сделала большой домашний торт, а членам коллектива и гостям раздали портрет юбиляра: в три четверти к нам, со знакомой негаснущей сигаретой, затемненные очки, глубокое раздумье, факсимильный автограф наискосок, размер шесть на четыре и заколочная булавочка, чтобы каждый мог припилить фотку на то место, где у самого Гоги уже красовалась Звезда. Отметим, что пиджак на нем был коричневый, и посоветуем запомнить цвет тем, кто ждет сходного награждения...

И в посольстве, и в буфете Юра Аксенов исполнил песню своего содержания на мотив монтановского шлягера, аккомпанемент по типу караоке наладил Изотов, а припев был таков: «Мы любим вас, сенсей!..». Как вы догадались, Юра пел с обворожительной улыбкой, артистично и сдержанно, потому что за долгие годы привык выходить на сцену БДТ, заменяя заболевших игроков...

Вадик Медведев и там, и тут неподражаемо играл свежую пародию на самурайские фильмы. Работая то воображаемым веером, то мечом, он делал женские па и мужские выпады, то ворковал на «японском» волапюке, то грозно рявкал, и все это было остро нацелено на Гогу, выражая нежную любовь и готовность защитить от недругов собственным телом...

Незабываемым был и токийско-ленинградский дубль Миши Волкова, причем в Японии его приношение выглядело условней, а дома реалистичней, так как было костюмировано вышитой рубашкой и рушником. Певучая украинская мелодия, украинская речь, мягкие притопы и плавные жесты кистью, с неизменным от всей души «гаком»: «Гей-гей!..». Хотя артисту Р. показалось, что исполнитель был внутренне напряжен...

Когда же подходила очередь самого Р., он выдвигался на положенные паркетные места без улыбок и читал хотя и по листку, но с выражением мужественной простоты и глубоко скрытого чувства. «Гога настоящий труженик и настоящий Герой!» — таков был его антипафосный подтекст, но оба раза он почему-то вспоминал Игоря Квашу в роли рубаки-правдолюбца из «Голого короля». Читал он вот что:

— Не приспособлен Товстоногов / к веденью праздных диалогов, / подбросит слово и дымит; / и, как находки и везенья, / мы ждем знакомого сопенья, / мы ждем, что роль заговорит. / И к подведению итогов / не приспособлен Товстоногов, / идет работа, как всегда, / и в новом блеске золотистом / дает понять своим артистам, / как стать героями труда. / И к обиванию порогов / не приспособлен Товстоногов, / его забота — мастерство. / Неся всемирной славы бремя, / он так умеет слышать время, / что время слушает его.

Скажем прямо, успех был, и прежде всего у самого Героя.

В Ленинграде он даже проявил нетерпение и спросил, *«почему Володя не читает своего стихотворения»*, а Валя Ковель взяла и тут же его объявила. И если в Токио Р. жали руку посол и советники, то дома ему показала большой палец сама Дина Шварц, легендарный завлит.

А бывший директор театра, ставший начальником управления культуры всего Ленинграда, Леонид Николаевич Нарницын, прямым текстом сказал:

— Хороший стих написал. — И добавил: — Хороший поэт.

О чем еще тут можно было мечтать?..

«Ну вот и все, — думал Р., возвращаясь на свое место. — Был *неподведомствен*, стал под... И — в живых... А ты, дурочка, боялась...»

Кроме своих, получали слово и гости.

От «Современника» тоже выступил автор-исполнитель — Валентин Гафт. А известный вокальный квартет Театра Комедии (Лев Милиндер — Валерий Никитенко — Борис Улитин и кто-то еще) на мотив танца с саблями из балета Хачатуряна «Гаянэ» благодарил юбиляра за то, что он отрывает от сердца Юру Аксенова и бросает его в их хищную комедийную пасть...

Хотя на ленинградском чествовании не было Лаврова и Лебедева, — один снимался, а другой болел, — зато был сын Жени и Нателлы, т.е. Гогин племянник, Алеша Лебедев и все сыновья с близкими девушками, включая даже одного побочного.

Глядя на принцев крови, Наташа Караваева, в девичестве Лаппо, растроганно произнесла тост за то, что Гога оставляет после себя красивых детей. И, хотя формулировка была явно преждевремен-

ная, потому что Герой еще не думал никого оставлять, а, наоборот, надолго подсел к молодой актрисе, удачно пародировавшей Нани Брегвадзе, все с удовольствием аплодировали и выпивали за красивых детей...

Неподалеку от Р., схватившись за бокал, порывался встать с тостом концертный антрепренер Рудик Фурман, но его сурово осадил Вадим Медведев. Он советовал Рудику «лечь на дно», пока не забудется недавний, черт знает какой прокол.

И тут в соревнование миннезингеров вступил друг театра корреспондент газеты «Смена» Лев Сидоровский и на обе лопатки уложил и Р., и Гафта, и всех остальных, потому что надел настоящее канотье и на мотив «На Дерibasовской открылась пивная» с блеском исполнил вариации на гастрольные темы. *«Опять поведал Соляков ему секреты», а он «сложил на них японские куплеты».*

— *Валюша Ковель без сомненья всем знакома, / она, конечно, украшение месткома. / Общаясь с ней, поймешь всю мудрость афоризма, / что профсоюзы — это школа коммунизма!* — О, какой восторг, какая буря радости, какой аплодисмант, и как талантливо кланялась героиня куплета!..

А Лева продолжал, глядя на сестру юбиляра:

— *Нателой Сановной люблюемся всегда мы. / Во всей Европе нет такой прелестной дамы! / Все посетила — Авиньон, Киото, Ниццу, / и БДТ с ней тоже ездит за границу!* — Хохот, овация, плеск заслуженной славы, и, перекрывая всех мощью своего темперамента, Валя Ковель требует:

— Виват сладкой Нателке!

И все кричат «Виват», но тут Лева Сидоровский, как настоящий психолог и снайпер, новой стрелой попадает в общую болевую точку:

— *С тех пор, как кончились японские гастроли, / все машинально проговаривают роли. / В мозгу у каждого одна лишь мысль стучится: / Придет контейнер или что-нибудь случится!* — И все разом вспоминают, что техника действительно еще не дошла, и хлопают уже не так горячо, а Р. смотрит на угол стола, где все это время молча сидит друг юбиляра артист Г. — Григорий Аркадьевич Гай, бледный и отрешенный. Он здесь, за столом, и вызван на общий пра-

здник из своего закута, и ест картошку в грибном соусе вместе со всеми, но душа его там, за чертой, и ликующая стая далека от него и уже невнятна...

— 26

В чудовищно сложных, пожизненно трагедийных отношениях Сироты и Товстоногова чаще всего обнаруживалась родовая близость, иногда — вкусовая противоположность, но дразнящий и накаляющий обоих парадокс был в том, что именно в совместной работе они достигали высот, быть может, недоступных им поодиночке. Такое мнение в театре пошепту хаживало...

Конечно, учитывали, что Товстоногов великий строитель театра, непревзойденный Мастер и создатель сценического образа, мощный стратег и выдающийся Учитель, а Сирота — вечно второй номер в этом расчете, чернорабочий и мастеровой, видевший главный смысл профессии в бесконечном копошении и волховании внутри одного отдельно взятого артиста, но так же, как и Гога, умеющая на своей территории творить чудеса.

Ее занимало чистейшее и скрупулезное содержание роли, разведка которого доводила порой до качественного взрыва и рождения неповторимого лица, а он не мыслил театра вне крупной, захватывающей, победительной формы, в том числе и в актерском создании.

Что это было — ревность к артистам, театру, самой профессии?..

Или, без учета масштабов и логики, именно друг у друга они искали полного и безоговорочного признания?..

Иногда она не могла говорить о нем без яростной дрожи.

Он тоже как будто весь подбирался, едва заходила речь о ней.

Несмотря на то что Станиславский и Немирович-Данченко были другими людьми и положение в театре было у них совершенно другое, модель их взаимоотношений была, видимо, похожей: «любовь — ненависть», «дружба — вражда», «радость — страдание»...

Ее уговаривали почти все. У нее были безумные глаза, свои боялись, что она сойдет с ума. Почти час Стриж уламывал ее не делать резких движений, увещевал и упрашивал, нагревая страстью телефонную трубку.

— Нет, я решила, — выслушав его, сказала Сирота и подала заявление.

Да, у нее были хорошие спектакли — свои и с Генной Опорковым, и все-таки ей было там не по себе, мы-то знали...

Имел ли Р. право вступать в отношения Сироты с Товстоноговым и пытаться наладить их, хотя бы отчасти? Что это было с его стороны — корыстная попытка вернуть ее себе или альтруистическая забота о театре и его настоящем величии?.. Может быть, раздваиваясь, как обычно, Р. хотел помочь ей, сохраняя достоинство, протянуть руку через пропасть?.. А Гоге дать шанс, не унижая Розу, проявить великодушие и вернуть, да-да, все-таки вернуть ее в БДТ!..

Речь идет о черновике письма, *ее письма к нему*, за который она была так благодарна Р. тогда, за пять лет до встречи старого нового года!..

В конце концов Сирота могла подержать черновик, раздумать и не отправлять письма по почте!.. Кое-кто из ее друзей противился посылке.

Нет, переписала и отправила... И сказала Изилю:

— Ну, вот все!.. Гора с плеч!.. Очистилась, сняла грех с души!..

«Георгий Александрович!

Я виновата перед Вами. В этом признании главный и единственный смысл моего письма, если можете, простите.

Я поняла, что виновата перед Вами и поэтому перед собой, уже давно. Реальная жизнь вне Вашего театра, которой я не представляла и с которой столкнулась вплотную; прошедшие годы, движение самой судьбы, наконец, открыли мне то, что Вам, видимо, было ясно с начала.

Я виновата еще и в том, что не смогла найти силы духа для постоянной и предельной откровенности, которая была нужна Вам и мне, не умела говорить при встрече и продолжала заочный диалог. Мои иногда несправедливые, иногда случайные реплики доходили до Вас извращенными, но Вы продолжали быть терпеливым ко мне.

Я потерпела поражение во внутреннем споре с Вами, в споре ученика с учителем, и если мы «не должны отличать поражения от победы», то моя победа в том, что я поняла это и говорю Вам.

Дорогой Георгий Александрович!

Поверьте в главный, не меркантильный и не деловой смысл моего письма, мне хочется снять камень с души, и я не сумею сделать это одна.

Р.Сирота

14 марта 1976 года, Ленинград»

Несколько дней за кулисами раздавались шорохи почтовой бумаги. Нет, разумеется, письма из кабинета никто не выносил. Но Дина Шварц дала знать не мне одному: Роза прислала Георгию Александровичу письмо, она признает свою вину перед ним. Р. молчал как партизан или как датский принц, тайно переписавший «Убийство Гонзаго».

Что-то будет? Останется письмо безответным, или великодушный отец распахнет объятия блудной дочери?.. После совещаний за закрытыми дверями Дина составила Гогин ответ, который дошел до Р. в кратком изложении Сироты, а потом — полностью, уже из ее архива...

«Уважаемая Роза Абрамовна!

Охотно верю, что Ваше письмо не преследует никаких иных целей, кроме той, которая в нем изложена.

Что же касается сути Вашего письма, то есть Вашей вины передо мной, то я полагаю, что сама жизнь обошлась с Вами куда более жестоко, чем я бы того желал.

Сегодня же, по прошествии уже большого срока, у меня к Вам не осталось никакого злого чувства, я искренно желаю Вам, чтобы Ваша жизнь как-то наладилась.

Во всяком случае, никаких претензий у меня к Вам больше нет.

С уважением, Г.Товстоногов

20 марта 1976 года»

О возврате речи быть не могло.

О, если бы они встретились в прощенное воскресенье!..

«Стоп, стоп!.. Позвольте, коллеги!.. Что такое?.. Как так?..

Некоторые отщепенцы хотят уверить читателя, что исторические архивные письма значат не то, что значат, и касаются тем, в тексте не обозначенных!.. Мы этого так не оставим и напишем, как надо и куда следует!..»

Да ладно вам, господа!.. Во всех приличных канцеляриях мира, российских на особицу, существует служба скромных исполнителей, по-старому — «письмоводителей», чьи случайные имена даже и помечаются мелким шрифтом на казенной бумаге!.. Эти-то случайные лица и хранят в глупых башках лишние подробности и обладают несогласованным воображением. Куда его девать?..

И по их вине твердый кокон исторического факта начинает скукоживаться и разрушаться на глазах, выпуская из себя пеструю бабочку, а бабочка принимается порхать перед нашими глазами, как будто это уже не факт, а легенда. И весь наш роман, кажется, не что иное, как осыпанный слабой мотыльковой пылью путь тихой однодневки от родного кокона до безвестной кончины...

Кто-то сказал, что Сирота была похожа на Эдит Пиаф. Ну да, она была похожа на птичку, с острым клювиком, маленькими глазками, стриженной головкой, с вечными ее заботами, налетами, разносами. Артист думает, что играл хорошо, а она налетает и щебечет:

— Иннокентий Михайлович! Вы портите гениальную работу!.. Вы не имеете права играть такую отвратительную патологию!..

Или на другое утро после «Цены» встречает во дворе театра Юрского и Стржельчика и клюет, клюет:

— Вы уволены из театра! Оба уволены! Я сейчас же пойду к Георгию Александровичу, чтобы он оформил ваше увольнение!.. Вы вчера играли так, что я не допущу вас до спектакля!..

Или Басилашвили после «Лисы и винограда»:

— Что вы сделали!.. Как вы посмели?! Мы с вами бились три месяца, а вы ради этих проклятых аплодисментов готовы, как проститутка, отдать все, что мы наработали!.. Дешевка!..

Или заглядывает в гримерку к довольному собой Волкову:

— Ну как, Розочка? — спрашивает он, а Розочка от всего сердца выразительно плюет на порог и, ничего не говоря, хлопает дверью...

У нее не было детей, но все актеры, входившие в ее жизнь, становились ей родными. Она отвечала за них. Отсюда и фантастическая, высочайшая требовательность *к своим*...

Смоктуновского она обожала, ревновала, восхваляла, чехвостила, порывала с ним, тосковала по нему, боготворила и вновь счастливо обретала.

Одна из ссор особенно затянулась и угнетала ее безмерно. Тяжело болела мать, у которой развился рассеянный склероз, Берта Моисеевна стала агрессивна, перестала узнавать своих, бросалась на дочь то с ножом, то с кипятком. Роза сносила все с ангельским терпением и ни за что не соглашалась отдавать ее в больницу. Работы было много, радостей мало, все деньги уходили на сиделок и лекарства, на Розу наступала бедственная тоска. И тут какой-то студент привез в Питер рукопись готовящейся к изданию книжки Смоктуновского, в которой черным по белому было написано:

— «А четыре месяца мучительных репетиций у меня дома с режиссером Розой Сиротой, которые помогли выявить существо моего Гамлета?..»

— Этого не может быть!.. Мы с ним в ссоре! — сказала она.

— Но это же факт, — сказала Мила. — Роза Абрамовна, позвоните ему!

— Нет, нет, это невозможно!

И все-таки она решилась: уселась сама, усадила рядом Милу и, держась за нее, набрала московский номер.

Смоктуновский откликнулся легко, и они проговорили чуть ли не час, словно боясь разорвать заново обретенную общность...

Через несколько дней перезвонил он, прося у Розы разрешения на разговор с Ефремовым о ее переезде в Москву и переходе во МХАТ. Иннокентий Михайлович пробовал себя в режиссуре, готовил «Царя Федора Иоанновича», с которым расстался в Малом театре, и Сирота в этом деле могла оказаться его правой рукой. Ефремов поддержал идею, и теперь уже по его поручению Смоктуновский опять звонил Сироте.

Конечно, оставались сомнения, прежде всего из-за больной матери. Но это был зов самой судьбы, и все Розины друзья поняли смысл события именно так. Она помогала Кеше стать Мышкиным и Гамлетом, а теперь он помогал ей занять режиссерское место во МХАТе...

Мила Мартынова побывала на репетициях. По ее мнению, это были фантастические монологи гениального артиста, занятые слушали его, как замороженные, но Иннокентий Михайлович был нетерпелив, и до них дело почти не доходило: он все проигрывал сам и выдавал непонятливым: «Миша, ну что у тебя за лицо!.. У тебя не лицо, а ...»

Сирота приехала во всеоружии исторического знания о царствовании Федора, Бориса и подробностях частной жизни всех действующих лиц, а постановщик нервничал все больше...

Наконец из запасников МХАТа извлекли драгоценные костюмы и реквизит легендарного спектакля с Москвиным, Станиславским и другими основателями. Наступил день, когда худсовет должен был утвердить оформление и решить дальнейшую судьбу «Царя Федора»...

Конечно, мхатовцы знают эту историю лучше меня, но легенда основана на реальности беспримерного поступка. Иннокентию Михайловичу задавали вопросы, на которые он посилено отвечал, но когда дошло до Сироты, она при всем честном народе стала его долбить:

— Как ты можешь так обращаться с артистами, ведь ты же сам артист! — И вынесла приговор: — Кеша, ты не режиссер!..

Репетиции прекратили по совокупности обстоятельств, но Смоктуновский связал результат худсовета с обидной репликой Розы.

С этого дня они не здоровались до смерти...

Разрывы стоили ей здоровья, и Сирота истово заполняла пугающую пустоту. Кроме Калягина, Чурсиной, Хазанова, она возилась с каждым, кто обращался за помощью. Принимала обычно дома, и, по секрету от своих постановщиков, к ней стучались и Доронина с Джигарханяном, и Максакова. Людмила и сказала, что когда работала над «Анной Карениной», то, рожденная вахтанговкой, не в си-

лах была понять, чего та от нее хочет, а когда стала репетировать с Фоменко, тут-то до нее и дошло все, что заложила Роза.

Фанатка и бессребреница, Сирота ходила с обтрепанными рукавами, и Люда насилу подарила ей шубу...

Как-то пришла к друзьям почти ночью.

— Роза!.. Что вы так поздно? — Ей предстояла операция на позвоночнике, книжку в руках не могла удержать.

— Я репетировала Достоевского с Кирой Лавровым.

— Ставите спектакль?..

— Нет, это кино, он играет Ивана Карамазова, попросил помочь.

— Господи!.. Будете вы хоть немного думать о себе?!

— Вы ничего не понимаете! Это — Достоевский!.. Такая работа может встретиться только раз в жизни...

Опекала она не только «звезд». Вечно ее ожидали, уводили, приводили, окружали, рвали на части безвестные актрисы, актеры, студенточки, абитуриенты, девочки, мальчики. И всегда она кого-то пускала к себе, кормила, одевала, водила по театрам, концертам, музеям, открывала Москву, Ленинград, Загорск, Царское Село, по булгаковским адресам, по достоевским...

В 76-м, уйдя из БДТ, Сирота взяла курс в институте культуры, загорелась и почти довела его до конца...

— Смотрите в окно, — говорила она, — вот — Летний сад, что изменилось?..

Они отвечали: осень наступила, «листья опали», цвет изменился и прочие банальности. А она открывала:

— Была живопись, а теперь — графика...

Боготворя Гогу, так же как Кешу, на уровне небесном, называя его иногда «гением», она же на уровне житейском могла безоглядно его поносить. Очевидно, сказывалось бескомпромиссное воспитание; отец Абрам объяснял: «Мы действуем рублем», — и за малейшую провинность лишал копейки на кино, театр или булочку. Мама Берта гордилась:

— Я поняла, что у меня гениальная дочь, когда она посадила всех кукол и стала их учить, а когда они не слушались, стала бить по рукам!..

Разумеется, Розе страстно хотелось «реванша», но по своей инициативе она в БДТ не ходила. Если кто-нибудь из артистов позовёт — нарядится, купит букет цветов и является. И тут же «врежет» беспощадную правду.

Мила Мартынова окончила аспирантуру у Товстоногова, но пятнадцать лет ей не давали выйти на «защиту». Больше всех мешал знаменитый Кацман. «Проблемы режиссерской педагогики Товстоногова» представляли интерес, Гога предлагал ей написать книгу о его методе. Наконец за дело взялась Сирота. Она вызвала Милу в Москву и вручила список, у кого просить отзывы: Кнебель, Эфрос, Туманишвили, Соловьева, Строева...

— Я не понимаю вас, Мила, — говорила Сирота в промежутках между ее забегами. — Вы плывете по реке с крокодилами и удивляетесь, что они пытаются откусить вам голову. Выйдите из этой реки и перестаньте удивляться! На ситуацию нужно смотреть адекватно, то есть агрессивно, а вы какая-то... помесь овцы с лопухом!.. Так... Когда у Товстоногова премьера?.. Ну, вот!.. Вы поедете в театр, купите цветы, голубые, он любит голубые, и появитесь у него в кабинете с голубыми цветами!..

В тот раз, поблагодарив за цветы, Товстоногов сказал:

— Мне очень не хватает Сироты...

А Роза продолжала ее вызывать:

— Мила, приезжайте, будет симпозиум по Станиславскому!.. Будет премьера во МХАТе!.. Пойдем смотреть иконы в Кремль!.. Поедем в Ярославль!.. В Тарусу!.. В Калугу!.. В Полотняный завод!..

Однажды поручила Мартыновой организовать поездку в Болдино. Поехали через Петушки и довольно скоро вышли в Болдино. На перроне пусто. Сунулись в кассу:

— Как пройти до усадьбы?

— Какой усадьбы?

Не то Болдино!.. Что она с Милой сделала!.. Вернулись в Москву, через несколько часов поехали в настоящее. Времени мало, и денег в обрез. В Нижнем Новгороде у Розы тяжелый приступ. «Нет, только вперед!». Доползли, сподобились!.. Вот она, болдинская осень, сейчас начнется... Однако пора обратно. А обратных билетов нет, только на пятое сентября. Как на пятое? Сезон открывается пер-

вого!.. «В Москву, в Москву!..» Через Владимир, трем электричками!.. Голодные, грязные!.. Урок на всю жизнь. Теперь Мартынова с закрытыми глазами хоть полк довезет до Болдино и доставит обратно. Теперь она не овца с лопухом, у нее тихая, но своя антреприза...

Болезнь началась давно и прогрессировала постепенно. Сперва казалось, что это проявления характера — мощные вспышки и резкие угасания. То взбудоражится, взорлит, то поникнет птичьей головкой и на святой репетиции вдруг всхрипнет или вскрикнет. То ли наследство от Берты Моисеевны, то ли свое, нажитое. У мамочки ярость по отношению к другим, а у Розы — к себе. Провалы в гениальной памяти, смещения, неадекватность...

Никто не мог понять, как она одна села в поезд, своим ходом с вокзала дошла до Поленовского института и сдалась его докторам. Поленовский — свой. Здесь она была медсестрой в войну, сюда, к профессору Шустину, укладывала Пашу Луспекаева спасаться, сюда помогла устроиться Юре Зубкову, талантливому нейрохирургу, который мощно вырос, но был таинственно и страшно убит...

Когда Мила пришла первый раз, Роза стояла у кровати двумя ногами в синей хозяйственной сумке, руками держалась за ручки и говорила, чтобы ей не мешали, потому что она уже в поезде...

— Я еду в Москву, мне нужно быть на репетиции... Это — концлагерь, меня здесь пытаются...

Это был ужас поколения. Игорь Петрович Владимиров в последней больнице спрашивал навестившего сына: «Вы из Ка Ге Бе?!»

Розу привязывали к кровати, чтобы не покалечила себя, а когда отпускали, она ходила, как маятник, сутками. От нее осталась четверть, но сила в руках была внезапная, нечеловеческая, брала за руку намертво...

Установили дежурства: Нина Элинсон, близкий друг, подвижница, Мила Мартынова, Изиль Заблудовский...

— Возьмите меня отсюда, здесь страшные люди!.. Скорее!.. У нас гастроли в Германии, Олег Николаевич оставил театр на меня!..

Жаловалась Изилью: «Я страдаю!»

Взяли домой, Нина Андреевна обставила для нее комнату точно, как в Москве. Нина и Виталий Элинсоны — святые, два года жизни отдали ей...

— Убейте меня! — И опять, как птичка, с налета — о стенку, о дверной косяк, в кровь, в кровь... Шрам так и остался.

Были моменты тихого прояснения, вспоминала, что крестилась, получила имя Марии, и прежними ясными глазами вперялась в икону.

Когда внесли последние гостинцы, сказала:

— Нина, разве ты не видишь? Я уже умерла. — И на другой день умерла.

Господи!.. Приими душу рабы твоея Марии!..

Никому не будет замены, никому!..

— 27

«Дорогой Семен, — вывела Иосико, — как Ваша жизнь? Я скучаю и думаю, пришло время увидеть снова. Я стараюсь делать, как Вы считаете, и работаю над русским языком. Местоимение множественного числа «Вы» в обращении к одному лицу — форма вежливости и появилась в начале XVIII века, но что почти неизвестно даже среди носителей русского языка. Вы для меня один заменяете многих, даже всех. Я всегда чувствую Вашу боль, нет никакой жизни без болезни, но сила человека против болезни все-таки очень сильная и способная. Я знаю, что скоро Вы уйдете из больницы и боли и все наступит хорошо».

Она запечатала конверт и не бросила в ящик, а понесла его на почту, письма шли очень долго, а это должно было добираться воздушным путем, и вскрыть его предстояло Шуре Торопову.

Пока Иосико шла по улице, композитор Р. плавно уходил от боли. «Потому что горы со всех сторон, до Киото бомбовозы не долетели, — вспомнил он. — Храм Хейя оранжево-красный, а ворота из камфарного дерева».

На этом столе все-таки сильно пахло больничкой...

Тут он увидел самого себя, как, присев на корточки, снимает уличную обувь и остается в носках, чтобы ступить на поющие полы. Соловьиные половицы почти не звучали, очевидно, никакой опасно-

сти вблизи не было. Но вверх поднялись белые цапли и стали махать крыльями так сильно, что ветер коснулся ресниц и повернул его курсом на Фудзияму.

Сквозь бег облаков проступали знакомые лица, и он со всей глубиной откровения увидел, что никогда в жизни не был одинок. Это была радостная новость, которую никак нельзя упускать...

И в подтверждение ее навстречу ему стал спускаться Бог, держа огромный и сияющий геликон по всем правилам, а тот играл без усилий Бога, сам по себе, нежным альтовым голосом...

И Бог, и все оркестранты улыбались ему, показывая на семисен и стройно выводя «Аве Марию». Гершвин и Горовиц были похожи на свои портреты, но вдруг их раздвинул Гога Товстоногов в сияющем белом кимоно с красными цветами и огромных роговых очках.

— Семен Ефимович, я вас давно жду, — сказал он с упреком и стал нараспев читать вкусным голосом: — «Только я глаза открою, / Предо мною ты встаешь. / Только я глаза закрою, / Над ресницами плывешь...»

Над сомкнутыми ресницами Сени появилась Иосико, держа за руки двух красивых детей, мальчика и девочку, и он успел догадаться, что в каком-то новом и высшем смысле это и его дети...

«Где стол был яств, там гроб стоит», — вспомнил артист Р., да так оно и было: гроб Сени стоял в большом буфетном фойе, том самом, где обмывали Гогину Звезду. Взгляд избегал его измученного лица, стараясь задержаться на чудесном портрете. Композитор Р. в парадной бабочке и со счастливой улыбкой смотрел на нас, ожидая положенных слов.

— Ты скажешь? — легонько толкнул артиста Р. артист Лавров, и тот почувствовал, что на этот прощальный миг они опять — одна стая.

— Да, — отозвался Р. и стал думать, что именно сказать, потому что многое, без чего для него композитор Р. не существовал и что было необходимо для будущего, оказалось бы вовсе некстати здесь и сейчас...

Маленький оркестр играл в очередь с говорящими. А когда Сенин гроб взяли на плечи и понесли к выходу, по парадной лестнице

и у билетных касс пролетел слух, что буквально сейчас, ну просто вот-вот, умерла в больнице Валя Ковель и через два или три дня предстоят новые похороны...

Михаил Сергеевич Горбачев вместе с Раисой Максимовной собрался на юбилей Киры Лаврова, а попал на похороны Стрижа. Выходило, как в «Бобке» Достоевского. Иван Иванович К., литератор, которого играл Р. в спектакле «Лица», так и говорил: «Шел на юбилей, попал на похороны...».

Это Гога ему подбросил: когда говорят мертвецы на кладбище, — глаза закрыты, а когда Иван Иванович осмысливает их речь, глаза открываются...

У Р. болело сердце; тяжелое дело хоронить товарища, а в случае с Владиком особенно, но к этому прибавлялась новая боль, та самая, что стало давать его идиопатическое отклонение от ординара, и из-за которой уже светила кардиологическая операция...

Владик, как и Сеня, невыносимо страдал, и, когда его обрили, стал похож на больного ребенка. Он был совершенно беспомощен и только и мог бормотать «да-да», «да-да» на все, что ему скажут.

«Ну что, что тебе подать?..» — «Да-да». — «Тебя повернуть или не надо?» — «Да-да». — «Соку или водички?» — «Да-да...»

Люлечка вела себя героиней и несла свою вахту, стараясь не подавать виду. Самое страшное для нее было то, что театр все еще в отпуске, и они с Владиком одни на всем свете. Когда ему становилось совсем плохо, она смотрела из окна на Петропавловский собор и молилась Богу, чтобы он пожил еще, ну, еще и дожил до начала сезона, когда соберется вся стая...

Горбачев выступил дважды и вблизи был так похож на себя, далекого и экранного, что казался почти пародией. Сказав на сцене, он спустился в зал, сел рядом с женой, а она положила ему руку на руку, как бы одобряя сказанное и успокаивая. Раиса Максимовна была в черном, но по юбке сбоку шел высокий разрез, и было видно, что коленка у нее перевязана, как будто недавно ушиблась...

В буфете Михаил Сергеевич опять говорил и, как будто боясь ошибиться, называл Люлечку не по имени, а «семья», хотя, несмотря на приезд из Москвы ее брата, она и была у Владика всей семьей.

Горбачев уже давно не был главой государства, но его присутствие на этих домашних все-таки поминках придавало им какой-то расширительный характер, и Р. вспомнил, как Владик сказал про Высоцкого: «Вот был гражданин. Совсем себя не щадил». Теперь по смыслу выходило, что человек и смерть роют тоннель навстречу друг другу, и каждому предстоит пройти свой участок; щадишь себя, бережешь, экономишь, значит, протянешь чуть дольше. И наоборот. Но Р. в это не очень верил; как себя ни экономь, кося то и дело берет встречный план и ставит на свой участок то скоростной рачок, то другие ударные штучки и побеждает в соревновании, судьба есть судьба...

— Ты не прав, — говорил Р. Володя Вакуленко, один из наших директоров. — Владик был целиком на стороне партии!.. Он был кандидат в члены бюро обкома, этого даже Лавров не достигал!..

Алиса Фрейдлих, которая все последнее время играла со Стрижом «Последний пылко влюбленный» и ездила с ним в разные гастроли, включая Израиль и Америку, сказала тост в его память, из которого выходило, что Владислав Игнатьевич и был *последний пылко влюбленный*. Поэтому она и призвала оставшихся мужчин быть такими же внимательными, чуткими и рыцарски любящими женщин, как Стржельчик.

— Нам это так нужно, нам так этого не хватает, — сказала Алиса и снова о Люлечке, ее мужестве и героизме...

Несмотря на растущую в сердце боль Р. поддержал и этот тост и, видимо, уже опьянев, спросил своего однокурсника Юзефа Мироненко, имея в виду партию коммунистов:

— Юзик, как же вы развалились?.. Была такая контора...

— Воля, не спрашивай, — сказал Юзеф, взглянув на Горбачева, — это темная тайна... Давай лучше выпьем за Владислава Игнатьевича!..

— Давай, — сказал Р., и они опять выпили.

— Понимаешь, — сказал Юзеф, — в 89-м Стриж поехал делегатом на съезд... Выбирали в райкомах, приходили «выборщики», голосование тайное... Я сам был направлен надзирать за таким соборьем... Когда он съездил, я спрашиваю: «Что там было?». И Стриж ничего не рассказал... Потом его приглашали поговорить в Большой дом... И опять — молчание...

— «Дальше — тишина», — сказал Р. — Перевод Пастернака...

— Вот-вот! — подхватил Юзик, они же играли в Ташкенте перевод Пастернака, он — Лазрта, а Р. — Гамлета. — Воля, с виду все было просто... Ну, в рамках события поменяли парторга...

— Пустохина? — спросил Р.

— Нет, после Пустохина был Валера Ивченко, а тут вместо него выбрали Валеру Матвеева... И — все... И пошли билеты сдавать... Либо они сами хотели развалить, чтобы потом все собрать, либо... Не знаю...

— И я не знаю, — сказал Р. — Давай спросим у Михал Сергеича!..

— Остаешься артистом, — сказал Юзеф. — Я, Воля, прихожу к выводу, что было направленное действие, и вдруг кто-то все развалил...

— Ради личной власти? — спросил Р.

— Не знаю, — сказал Юзеф. — Может быть. Так что даже не напрягайся. В этом всем есть огромная тайна, и ты про это не узнаешь никогда!

Они выпили за тайну, и Р. по пьяному делу сказал:

— Юзик, а что, если эти ребята разыграли спектакль? И перед нами, дурачьем, и перед всем миром, понимаешь? Разбились на две команды: вы, мол, за «синих», то есть за демократов, а мы — за «красных», капэрээф, будем, дескать, бегать по полю, для понта воевать, валить вину друг на друга, а из тайного бункера тайным бандит-бюро втихаря управлять процессом...

— Но это же распад, — сказал Юзик. — Как управлять распадом?

— Юзик, — сказал Р. — Термоядерный взрыв — это распад атома. Термоядом мы управляем. Извлекаем энергию... А что говорить о толпе?..

Тостов они не пропускали.

— Слишком сложно, — сказал Юзеф.

— А что тут сложного? — хорохорился Р. — Это ж все мастера... Думаешь, только Рейган — артист?.. Михал Сергеич тоже играл в самодеятельности... Звездич в «Маскараде». А Ельцин что, не артист?..

— Артист, артист, — сказал Юзик, — ты успокойся!..

— Они же всю жизнь играли спектакли, почище БДТ!.. Интересно только, чем это кончится и кто выйдет на поклон вместо Шекспира!..

— Воля, давай я тебя провожу, — сказал Юзеф.

— Нет, Юзик, еще не вечер, — сказал Р. — Это же сериал!.. Просто мне Владика жалко... И Люлю Шувалову.

Тут ему пришлось доставать валокордин, и одна картина стала вытеснять остальные.

Когда почти все простились с Владиком на сцене, одна бездетная актриса привела за руку молодого человека, заставила подойти к изголовью гроба и, бросив одного, ушла. Так он и стоял у Славиного лица минуты две или три, стоял и смотрел, впервые, наверное, в жизни так близко.

— Это — сын? — спросил Р. активную актрису.

— Да, — сказала она. — А как ты догадался?..

— Потому что ты подвела. Он актер?

— Да. Похож?

— Да. А мать?.. Н.?..

— Да.

— Как его зовут? — спросил Р.

— Григорий, — сказала она. — Гриша Незнамов...

Присказка «Кто выйдет на поклон вместо Шекспира» появилась у Р. с тех пор, как он вернулся к своим разговорам с Ахматовой. А вернулся он к ним, когда Виленкин обязал его писать мемории. Виталий Яковлевич был составителем и имел двойные права: во-первых, обязать Р., так как сам с ней знакомил, а во-вторых, включить в сборник, своя рука владыка.

Коря себя за глупость, — мало записал, немного запомнил, — Р. обратился к истории шекспировского вопроса и кое-что прояснил для себя заново. Но самую важную сцену он, конечно, помнил прекрасно, потому что она льстила его актерскому самолюбию.

В одном из последних разговоров, в ответ на подначку Анны Андреевны, мол, *мог ли все шекспировское богатство создать малограмотный артист*, Р. неожиданно для себя стал подыгрывать ей.

Стоило вообразить, что Автор с большой буквы, скрывшийся за спиной артиста Ш., это — принц крови Гамлет, и все становилось на свои места.

— Анна Андреевна, — сказал Р., — а что, если всерьез послушаться всех этих намекающих надписей и сделать именно то, чего от нас просят. То есть... То есть обратиться не к гравюре Дрюйшота — «маске» и не к раскрашенному бюсту в стратфордской церкви — еще одной «маске», а к тому, что написано в самой книге... Искать в пьесах не мелких биографических совпадений, тут все аргументы будут слабы, а одну конкретную ситуацию, в которой Автор очевидно и намеренно прячется за актера.

— Что вы имеете в виду? — заинтересованно спросила Ахматова.

— Ну вот хотя бы тот же «Гамлет». Второй акт, приезжают бродячие актеры, хотят сыграть, но материал выбирают не они, а принц. Он «заказывает музыку», он просит их сыграть «Убийство Гонзаго» и редактирует пьесу, да?.. Он пишет ударную вставку, помните?.. Гамлет спрашивает Первого актера: «Скажи, а можно будет в случае надобности заучить кусок строк в двенадцать-шестнадцать, который я напишу и вставлю, — можно?..» И Первый актер отвечает: «Да, милорд». Вот вам и ситуация. Получается уже не «Убийство Гонзаго», а «Мышеловка»... То есть принц Гамлет, скрывшись за переписанной пьесой и Первым актером, становится Автором с большой буквы...

— Продолжайте, — строго сказала Ахматова, и Р. совсем разошелся.

— На сцене возникает реальная ситуация, назовем ее «ситуация инкогнито»... И смысл ее в том, что подлинный автор скрыт от одних персонажей и известен другим — актерам, так?.. Но в то же время и всем зрителям... Ведь эта механика возникает у них на глазах... Ну да, на глазах у зрителей, если «Гамлет» идет в «Глобусе», и у читателей, если они открыли *in folio* и читают ту же пьесу. Ведь надпись просит сделать именно это — не обращать внимания на маску-портрет, а читать саму книгу...

Анна Андреевна кивала красивой головой, обходясь без лишних реплик и междометий. Получалось, что она добилась своего, довела

артиста Р. до свидетельских показаний против себя и актерской братии.

— И таким образом, — заливался Р., — в «Мышеловке» отражается действительное, то есть английское положение вещей. За Гамлетом скрывается Автор, имеющий права на престол, за Первым актером — актер Шекспир, доверенное лицо автора, за бродячей труппой — театр «Глобус»... И спектакли «Глобуса» втягивают в эту игру и королевский двор, и лондонскую публику. «Убийство Гонзаго» — пьеса про итальянские дела, «Мышеловка» — про датские, но «Гамлет» идет в Лондоне, стало быть, Гамлет помешался на «нашей» почве, английской... Или на той, на каком языке он говорит... По-русски — значит, на русской... Убийство мужей Марии Стюарт заставило вас вспомнить убийство Кирова. Такой механизм у этой пьесы! Между прочим, ситуация повторяется. «Театр в театре» у него не один раз. «Сон в летнюю ночь», там группа самодеятельных артистов, и «Буря»... В «Буре» все действие создает Просперо, — артист Р. мечтал об этой роли и неплохо знал пьесу. — «Он силою искусства своего устроил так, что все остались живы», а сам, как Гамлет, следит за действием, скрывшись. И, между прочим, тоже имеет право на престол! Может быть, именно Просперо — разгадка характера этого Автора. Ведь Просперо — «чудак! Уж где ему / С державой совладать! С него довольно / Его библиотеки...» Сидит себе и пишет.

Наконец Р. иссяк и сделал паузу.

— Вы понимаете, что вы сейчас произнесли? — спросила Ахматова. Она понимала, что он не понимает.

Р. сказал, что попытался стать на ее точку зрения, потому что привык играть «диалоги» и за себя, и за того, с кем спорит...

— А вы понимаете, что это звучит впервые за последние триста лет?..

Р. был польщен, и немудрено, что эти фразы отпечатались в его памяти на всю жизнь. Видно, на такой шоковый эффект и рассчитывала Анна Андреевна. Пусть, мол, думает, авось, еще что-нибудь выдумает.

Откуда взялись «триста лет», было непонятно. Шекспировский юбилей был четырехсотлетний, «Гамлет» написан три с половиной сотни лет назад, точнее, триста шестьдесят пять. Гораздо позже

Р. показалось, что он додумался откуда. Ахматова любила «Макбета» и, конечно, знала стихотворение Ходасевича:

Леди долго руки мыла.
Леди долго руки терла.
Эта леди не забыла
Окровавленного горла.
Леди, Леди! Вы как птица,
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж вам не спится —
Мне лет шесть не спится тоже.

Двадцать второй год. А в двадцать первом в БДТ вместе с Ходасевичем они слушали последнее выступление Блока...

Может, она забыла про меня и отнеслась к другим собеседникам, более близким ей. И вспомнила другие тайны и гибели, случившиеся на ее веку...

— Вы непременно должны об этом написать, — сказала она артисту Р.

— 28

Интересно было бы задать тот же вопрос сэру Лоренсу Оливье, вот уж кто был шекспировский артист! Так, мол, и так, сэр Лоренс, кто, по-вашему, мог выйти на поклон вместо Шекспира? Говорят, Олег Ефремов сэру Джону Гилгуду вообще никаких вопросов не задавал, а просто похлопал по плечу и сказал неизвестно о чем: «Вот так, сэр Джон!». Но артист Р. такого со старшими себе не позволял, азиатское воспитание, да и времени на встречу с сэром Лоренсом было в обрез. Как вышло, что Оливье увидел игру артиста Р.? Его величество гастрольный случай. Причем по этому поводу ему пришлось крепко поработать. Хотите узнать как? Извольте.

И.М. Смоктуновский снялся в роли Гамлета, и у английского продюсера мистера Добини возникла идея привезти его в Лондон; слух о Мышкине Смоктуновского и прежде докатывался до островов, а теперь, после выхода на английский экран русского «Гамлета», Добини стало ясно, что с этим артистом он не прогорит. Одна загвоздка:

спектакля «Идиот» на это время нет, и Смоктуновский ни в каком театре не работает. Что делать?

По слухам, мистер Добини вышел на связь с мистером Товстоноговым, который ставил «Идиота» со Смоктуновским, и Мастер оказался перед выбором: звать Иннокентия Михайловича несмотря на его звездное поведение, восстанавливать спектакль и ехать в Англию или предлагать продюсеру что-то другое и возникающей поездкой рисковать. Конечно, Мастер слегка занервничал, потому что, когда Смоктуновский хотел вернуться в БДТ, худсовет ему, как помните, большинством голосов отказал. А теперь от одного Кеши зависит, поедет это большинство в Лондон или будет смотреть английские фильмы в кинотеатре «Родина»...

При чем тут артист Р.? Потерпите...

В Японии идеалом разрешения любой ситуации является компромисс, и если вы готовы идти на уступки, то можете смело рассчитывать на успех. Но умные люди живут не только в Японии. Поэтому Товстоногов предложил Добини в порядке компромисса, во-первых, включить в состав гастролей еще одно название, пьесу Н. Думбадзе «Я, бабушка, Иллико и Илларион», во-вторых, показать БДТ не только Лондону, но и Парижу, а в-третьих...

Впрочем, за то, что «в-третьих» было, автор ручаться не может, хотя в беседе тет-а-тет Мастер сообщил артисту Р., что «будет ставить перед англичанами условие: в очередь со Смоктуновским роль Мышкина играет молодой актер, недавно приглашенный в театр, и это — именно он, артист Р.».

Разумеется, наш Р. принял этот фантастический план как самую реальность и стал работать над ролью Мышкина с трепетом и самоотвержением. Для восстановления, а верней, для постановки второго варианта «Идиота» был приглашен не только Смоктуновский, но и режиссер Сирота, и страда началась. Без Иннокентия, потому что он где-то снимался и пока не мог. А с того момента, как он уже смог и появился на сцене, Р. тотчас оказался зрителем, что было тоже по-своему интересно.

Нет, сэра Лоренса автор не забыл...

Имейте в виду, господа, что театр — это производство. И на время европейских гастролей руководство решило работу на Фонтанке

не прекращать, а, наоборот, интенсифицировать по западному образцу, дав подряд десять или двадцать спектаклей «Еще раз про любовь» Э. Радзинского. Заметим, что Р. играл в этом спектакле лучшего друга главного героя, а до главного героя дорвался наконец Миша Волков.

Главную женскую роль в пьесе Радзинского играла Таня Доронина, но ее заняли как Настасью Филипповну в «Идиоте», и вместо нее в «Про любовь» ввели артистку Эмилию Попову. Значит, в этой серии спектаклей Миша должен был любить не Таню, а Эмму...

А в это самое время сэр Лоренс Оливье готовился к своим гастролям, к поездке в Москву, и выбирал транспортные средства для путешествия. Итак, БДТ со Смоктуновским, Дорониной и большинством худсовета выезжает в Европу, Оливье — к нам, а Миша Волков с Эммой Поповой, артистом Р. и другими играют на Фонтанке «Еще раз про любовь», и еще раз, и еще, и еще...

Тут случай и вплетает в наш сюжет еще два важных обстоятельства.

Первое. Оказывается, в разговоре тет-а-тет Мастер обещал артисту Волкову, что за трудовой подвиг его возьмут не то в Париж, не то в Лондон и он догонит стаю в одной из столиц. Но это обещание в связи с суетою отъезда невольно забывается.

И второе. Сэр Лоренс решает плыть из Лондона на корабле, высадиться в Ленинграде утром и, проведя день в городе, ночной «Стрелой» убыть в Москву. Вечером же этого дня великий артист хочет смотреть спектакль БДТ, с которым успел (или не успел) познакомиться в Лондоне. Конечно, этот визит умные люди пытаются предотвратить: стоит ли, сэр Лоренс, театр, в основном, в Европе, а здесь идет скромный современный спектакль, но сэр уперся: «Хочу в БДТ и баста!».

А в БДТ полная паника. Причем не из-за сэра Лоренса, а из-за Миньки Волкова, потому что он внезапно заболел. Как заболел? Так заболел. Будет играть? Не будет играть. И не надо видеть в этом премьерские закидоны. Он не будет играть не потому, что его не взяли в Париж или Лондон, а потому, что заболел. Вот — доктор, а вот — бюллетень. И, несмотря на то что, вернувшись из гастролей, сам Гога будет кричать ему: «Премьер! Премьер!», автор держится мнения, что прав был все-таки доктор.

Как быть? Отменять? Или кланяться в ножки больному: «Не щади здоровья, выручай театр!» Такие подвиги у нас приняты как норма.

Был ли звонок в Париж или Лондон, автор не знает, но знает, что этот форсмажор накрыл артиста Р. Аврал! Вводить на роль главного героя «лучшего друга», артиста Р., а на роль «лучшего друга» другого артиста! Когда вводить? А сейчас вводить! Ночью учить роль с Юрой Аксеновым, утром репетировать с партнерами, а вечером — играть!.. Вот какие узоры плетет иногда гастрольная судьба, и на глазах великого актера должны любить друг друга не Доронина с Волковым, а Попова и Рецептер.

Читатель, не переживший наших штормов, должен знать, что такие случаи на театре вообще нередки, а БДТ хоть и лучший театр всех времен и народов, но все же — театр. И Товстоногов всю жизнь предпочитал резкий ввод и форсмажорную встряску плановой подготовке второго исполнителя. За редкими, конечно, исключениями, которых мы тоже успели коснуться...

Кроме того, нужно понять, что в данном эпизоде, идя на поводу у артиста Р., автор сосредоточился, конечно, вынужденно, не на передовых и ударных частях, покорявших Европу, а на тыловой, оборонительной линии наших рубежей. Не все же Р. скакать по Япониям и Аргентинам, надо и дома посидеть и посмотреть, каково достаются эти посиделки тыловым арьергардным частям, которые могут надеяться в лучшем случае на трофейную щедрость победителей, то бишь на скромный сувенир из рук вернувшегося товарища. Но как раз в данном случае — не знаешь, где найдешь, где потеряешь — Р. был награжден личной встречей с великим английским артистом, который, сам того не зная, приехал его смотреть...

Правду говоря, думали, что после первого акта он уйдет. Но ни сэр Лоренс, ни еще двенадцать артистов, включая молодую Ванессу Редгрейв, по свидетельству Юры Аксенова, который показывал Оливье световой занавес и получил от него настенное блюдечко «Веджвуд» с барельефом артиста Шекспира, никуда не ушли, а после сэра Лоренса двинулся за кулисы.

Да, судя по блюдечку с барельефом, вопроса о том, кто выйдет на поклон вместо Шекспира, ему можно было даже не задавать...

У нас, «тыловики», имелось одно важное поручение: если появится какая-нибудь звезда, — заставить ее расписаться на потолке в примерке Юрского-Басилашвили-Гаричева. Теперь Олег даже ведет такую телепередачу — «С потолка», где в связи со знаменитыми автографами рассказывает разные истории и размышляет о жизни. Так вот, Юрский и Гаричев были в Европе, а Басик — с нами, т.к. он играл в «Про любовь» неудачливого соперника и бывшего сослуживца главного героя. Озаботиться автографом Оливье было его прямым делом. Но после спектакля Басик вдруг забастовал и даже сказал, что сэр Лоренс не такой уж хороший артист.

— Ты что?! — изумился Р. — Он — фантастический артист!.. Как он умирает в «Леди Гамильтон»!..

— Нет, — сказал Бас. — Он играет так, что видно, что он хорошо играет. А играть нужно так хорошо, чтобы этого не было видно. — Сказал и ушел домой, так что расписка Оливье целиком зависела теперь от артиста Р.

И сэр Лоренс запросто пришел за кулисы вместе с переводчицей и фотокором, Р. поднес ему на выбор два пузырька с красной и синей краской и кисточками, О. выбрал синий и вывел на потолке свое бессмертное имя.

И разговор у них тоже состоялся, потому что артист Оливье, прежде чем ставить автограф, сказал артисту Р. комплимент. Тот и раньше хорошо запоминал относящиеся к его игре комплименты и легко забывал замечания, а на этот раз сам Бог ему велел.

Теперь комплимент. На этот раз автор даже не станет советоваться с критиком Р., а без всякого совета его приведет. И не только потому, что читатель должен наконец узнать, каков у нас один из героев повествования на самом деле, а потому, что из всякого факта должна родиться правдивая легенда, а иначе зачем писать гастрольный роман?..

Так вот, пожимая руку артисту Р., артист Оливье сказал:

— Wonderful! — и добавил, с трудом произнося приготовленную по-русски фразу: — Вы пуэквасный а-а-тист!..

И артист Р. не остался в долгу, а тут же, с помощью переводчицы, отфутболил сэру Лоренсу, что он — абсолютно потрясающий артист, и какой у него трубный голос в «Генрихе V», и какой насто-

ящий принц его Гамлет, и как прекрасно он умирает в «Леди Гамльтон»...

Тут милая переводчица нашла нужным сообщить господину Оливье, что артист Р. тоже играет «Гамлета», причем один и все роли, а Р. посетовал, что О. видел не Гамлета, а современную роль, на что артист О. сказал, что, судя по тому, что он видел, артист Р. должен быть настоящим Гамлетом...

И эту возвышенную беседу дважды запечатлел фотокор. Вот улыбающийся сэр Л. О., с большим ухом, глубокой, выразительной вертикальной морщиной на правой щеке, в крепких очках с темной оправой и двцветным значком на лацкане. А вот, — с другой точки, — сэр Л. О. уже слева по кадру, сильно в профиль и слегка размыт, а на него с восторгом и обожанием смотрят милая переводчица и артист Р. К несчастью, в эйфории он не запомнил имена переводчицы и фотокора, приславшего карточки, так что, если та или другой прочтут эти страницы, автор просит их написать ему прямо в знаменитый журнал «Знамя», где он воображает напечатать гастрольный роман.

С этого, в сущности, незначительного эпизода Р. испытывал по отношению к Л. О. неоправданно горячее чувство и известие о его смерти воспринял как личную потерю. Идя по Фонтанке в сторону Невского, он держал перед глазами тот малый поворот головы и меркнувший свет в единственном глазу адмирала Нельсона, который запечатлелся в нем на всю жизнь. И по своей дурацкой манере рассеянный пешеход шевелил губами:

— Надеюсь, вы не очень страдали, сэр Лоренс. Вы умели умирать, как никто. Надеюсь, вы сыграли свою смерть так же хорошо, как смерть героев. Прощайте. Прощайте. «Дальше — тишина»...

— 29

Письмо Иосико год лежало в Сенином столе, пока опять не приехала дочь Рита и перед продажей квартиры на Финляндском проспекте решила ящики вскрыть. Так оно попало в руки Шуры Торопова, и он написал в Японию несколько осторожных слов. Иосико ответила, что догадалась о случившемся по долгому молчанию, и попросила прислать фотографию...

В мае 2001 года она оказалась на стажировке русистов в Москве и дала знать Шура, что собирается в Петербург с единственной целью — прийти на Сенину могилу. Готовя эту встречу, Торопов позвонил в Америку, и Лора Данилова разрешила взять у соседки ключи, чтобы Иосико могла ночевать на Манежной, в их брошенном доме. Он купил также билеты на оперу в театр Мусоргского и на «Стрелу» обратно до Москвы.

Встречая Иосико, Шура поразился скромности ее внешнего вида, невзрачному пиджачку, серым брюкам, маленькому рюкзаку за плечами, в котором были календари на этот год и другие сувенирные мелочи для японского уголка. Но все равно она смотрелась девочкой и была хороша...

На другой день по приезде у Иосико случился сердечный приступ, и практически все три дня она провела в пустой квартире Даниловых с окнами на Конюшенную церковь. Оказалось, что ее здоровье расшатано: удалена почка, митральный клапан нуждается в замене, и встревоженный муж настаивал в телеграмме, чтобы она отказалась от поезда и летела в Москву самолетом. Билеты на «Стрелу» и в театр Мусоргского так и пропали...

На Волково поле, где лежал Семен, поехали на Шуриной машине, и по дороге Иосико успела рассказать, что ее семья переехала на юг Японии, в провинцию Тоттори, где она начала составлять туристический справочник на четырех языках, в том числе и на русском, и сожалеет, что владеет им не так хорошо, как ей бы хотелось. Торопов в ответ сказал, что у нас, к сожалению, плохо обстоят дела с охраной авторских прав, и какой-то вурдалак догадался подложить Сенину музыку под рекламу майонеза...

До могилы Иосико дошла с трудом, не раз останавливаясь и придерживая сердце. Тут она положила свои цветы, зажгла плоскую свечу в круглой алюминиевой плошечке и заплакала.

Шура отошел в сторону и, обернувшись, увидел, что они говорят...

В императорском дворце древнего Киото пели полы. Их так и представили нам — соловьиными полами. Когда-то и кого-то они

должны были предупредить об опасности, мол, враг не дремлет и крадется уже по дворцу. А теперь они скрипели для нас. Это была совершенная и совершенно японская декорация, с резными колоннами, деревянной скульптурой и экзотической утварью, в которой двигались некрупные наши фигурки, послушно прислушиваясь к тающим музыкальным скрипам. Шло нас человек сорок или побольше, все в носках и робкие, как дети. Молчали нарисованные павлины, цапли и гуси. Замерли драконы и черепахи. А под подошвами полуевропейцев тихонько щebetали поющие полы...

Здесь крjлся какой-то, не до конца ясный композитору Р. образ, в этом осторожном шарканье пешей стаи по поющим половицам императорского дворца. Вот только какой?.. Что родится из ощущения хрупкой случайности и доверенной избранности?.. Радость и скованность?.. Нет, еще не то... Нежность и боль... Да, дикая нежность и страшная боль... И эту смесь нужно записать нотными значками... Только слушать, верить себе и записывать... И на миг Сене показалось, что он сумеет это сделать...

«Пусть продлится держава нашего императора тысячу, да, тысячу лет... Вот они, наши гейши и самураи со стадиона Каракуэн!.. Ничего похожего, и все-таки... Я вам скажу, что общего!.. Беззащитность перед судьбой, вот что!.. Краткость века!.. Привычка разыгрывать день и костюмировать вечер... Смотрите: духи умерших микадо по углам и шут на одной ноге, настороживший розовое ушко... Скрип... Скрип... Скрипочка... Ум-па, ум-па-па... Ты моя уточка... Ум-па-ум-па-па... Шесть татами, шесть татами, тим-тарарам-тадарам!.. Выше, выше, к Фудзияме, там-тира-рам-падарам!.. Скрип... Скрип... У нас за спиной тоже не что-нибудь, а — империя!.. А мы — солдаты имперского театра, а не вшивая артель!.. Имейте в виду!.. Сказано, сказано, спето!.. Скрип, скрип, скрип... Неужели нам грозит опасность? Неужели нам скрипят полы?..»

Автор не может сообщить читателю, кто именно стал для артиста Р. вестником смерти Анны Андреевны. Весть была так неожиданна и сильна, что переносчик от нее вдруг отстал и растворился в смысловой волне, как в гуле большого колокола наверху пропадают бормотанья наземных реплик...

Р. сдался течению непреложных событий и постарался пройти этот путь: Никольский собор, Дом писателей, кладбище в Комарово. Благо, что театру был не нужен в тот день. Впрочем, взаимно, по этому случаю и театр был ему вовсе ни к чему...

У гроба все время оказывалось так много близких и активных, так плотно стояли вокруг имеющие больше прав, что Р. в голову не пришло выставлять плечо и протискиваться поближе. И он вставал на цыпочки, тянулся издалека, но только изредка видел запрокинутое, отодвигавшее всех лицо с черной молитвенной повязкой на высоком лбу.

Теперь она вновь обретала тех, с кем давно рассталась, знакомилась с жизнью, которой не видно с земли, и проникала наконец в недоступные здесь тайны. В скором времени Анне Андреевне предстояло встретить и того, кто не шел на поклон, посылая за себя артиста Шекспира...

Если бы поэт Глеб Семенов без вечного своего берета, сутулый, с прической и характером сродни Ходасевичу, не взял его за локоть и не потянул к себе, Р. не попал бы в Дом писателей. Ехать киношным автобусом в Комарово позвали с собой документалисты, снимавшие в театре репетиции «Трех сестер», а теперь, по чистому своеволию и в нарушение приказов, — похороны Ахматовой. Командовал у них режиссер Семен Аранович. Большую часть снятого материала кагэбэшники изъяли, пленку засветили, а Семена на два года разжаловали в ассистенты, на нищую зарплату, не давая никакой режиссерской работы. Хорошо, что он догадался пару коробок утащить домой и задвинуть глубоко под кровать, а то никакого документального свидетельства о похоронах Ахматовой у мира бы не осталось. Эту историю рассказал артисту Р. сам режиссер во время съемок своего первого художественного фильма, в котором Р. оказался замешан. Дочь Семена Арановича вышла замуж за сына Марины Адашевской и Жени Горюнова, артистов БДТ, и тот же рассказ превратился в домашнее предание...

Оказался Р. сведен случаем и с художником-кузнецом Всеволодом Петровичем Смирновым, который сковал большой крест на могилу Анны Андреевны. Был Всеволод Смирнов силен и добр, звал домой и в кузню-мастерскую, возил на дачку под

Псков, угощал крепким питьем из высокого посоха. Пили не раз и псковскую, и ленинградскую: в середине восьмидесятых Р. ставил «Розу и Крест» еще и во Пскове, а Смирнов сковал к премьере по черной розе ему и героине. На железную память. Из одной кузни и из одних рук *роза* у Р. и *крест* на комаровской могиле. Так в его частной судьбе еще раз встретились Александр Блок и Анна Ахматова...

Проводя дни в Комарове, Р. всегда старался сходить к Анне Андреевне и по мере возможности продолжить диалог. Раз или два, не скажем, по какому поводу, он получал от нее негромкие, но внятные ответы.

Однажды в Москве, распив ноль семьдесят пять «Синопской» завода «Ливиз» под веселую гостиничную закуску, артист Р. и критик той же литеры заговорили о настоящем и будущем. Раскроем карты: речь шла о том, открывать поллитровку «Санкт-Петербург» того же завода или воздержаться. Поскольку они никуда не спешили, в разговор вплелись ностальгические нотки, и, коснувшись завершившейся карьеры артиста Р. в Большом театре, критик Р. мимоходом сказал:

— Они тебе, конечно, хребет сломали.

На что артист Р. с обычной для дураков уверенностью в себе отвечал:

— Нет, не сломали.

— Сломали, сломали, — повторил критик Р. с обычной для умников верой в свою безошибочность.

— Нет, — повторил своевольный Р.

Но вопрос остался неразрешенным, потому что во время этого диалога поллитровка неожиданно оказалась открытой. Как это вышло, ни тот, ни другой объяснить бы не могли, но спорить с судьбой посчитали глупым...

Читатель, не переживший наших времен, не должен удивляться тому, что артист Р., находившийся внутри протекших событий, часто ничего в них не понимал, тогда как автор, не по чину взявшийся их описывать, делает вид, что понимает. На то и было отпущено послед-

нему драгоценное время, чтобы хоть что-то с трудом сообразить. Поэтому, если сегодня авторские оценки чем-то отличаются от его же прошлых, а тем более от оценок артиста Р., тут не надо искать противоречий или непоследовательности. Наоборот. Сама последовательность перехода от полной глупости к частичной и составляет драматическое содержание и нарративную структуру гастрольного романа. Ученое слово «нарративная», то бишь повествовательная, приведено с единственной целью — произвести умное впечатление на читателя.

Однако, если автор до чего-то все же допер, это не абсолютная случайность, а тяжелая работа трудолюбивого Хроноса. Если же нет, прощения просим, — повод для параллельного диагноза.

В любом случае не следует обижаться на него дорогим коллегам, с которыми Р. изредка встречается если не на новых представлениях, то на новых похоронах. Разница в понимании протекших событий не так значительна, как может показаться, и связана, видимо, не с состоянием стареющих умов, а, скорее, с административным подчинением. Продолжая расписываться за горькую получку в кассовом закуте любимого театра, поневоле догадаешься держать про себя несогласованные оценки славного прошлого...

Будем, однако, надеяться, что наступивший недавно новый век, а тем более тысячелетие, называемое красивым словом «миллениум», все различия мнений ласково согласуют и тихо примирят в рамках всеобщего договора о дружбе и сотрудничестве петербургских погостов...

И все же это отступление появилось вовсе не для красоты, а для закрепления новой очевидности: автор, подумавший было, что годы прибавили ему крупицу ума и толику знания, а стало быть, и права на отдельные суждения, на самом деле явно ошибся. Заслоняясь доморощенным текстом, он вздумал, что имеет право касаться различных табуированных в прошлом тем. Но это доказывает лишь то, что за отчетный период он не просто поглупел, а стал глуп «как сивый мерин» (Н.В. Гоголь), и любыми его суждениями в будущем разумнее всего пренебречь.

Коты встречают исчезновение хозяев не так остро, как собаки, и Фомка-Третьяк с Кошей не составили исключения. Некоторым казалось, что их волнует лишь проблема пропитания, но это была неправда. Только настоящий и чуткий знаток мог бы прочесть в их глазах звериное несогласие с нарушением гармонии, навеки связанной для них с обликом, голосом и прикосновениями Семена Ефимовича. Теперь их судьбу решали другие люди, и гладкую шерсть холодили ужас и пустота.

После похорон возникла тема кошачьего приюта, временный выход помогли найти соседи, предложив до продажи квартиры поселить в ней их племянницу-студентку, которая будет убирать жилье и готовить кошачьи обеды. Так и вышло. Коша и Фомка продолжали тосковать и все же постепенно смирялись с судьбой. Но месяцев через девять приехал с детьми Ефим, племянница вернулась в общежитие, и в дом зачастили покупщики. Варить котам стало некогда и некому. Когда продажа жилья решительно осуществилась, кинулись искать для его последних обитателей хорошие руки, но ничего толком не находилось. Наконец истопник из ближней котельной дал согласие взять умницу Фомку. И Фомка, рожденный за кулисами великого театра, переселился в котельный подвал. А Коша, доведенный переменами до нервного срыва, прыгнул из окна на магазинную крышу и надолго исчез. Жизнь бомжа оказалась ему не по силам. Кошу искали до последней минуты, пока не заметили на той же крыше его серое неподвижное тело...

— 30

Между тем справа и слева от скрипящей стаи густел оружейный орнамент. На белых платках скрестились клинки самураев, мерцали кинжалы с насечкой, в красном углу поднимался алтарь — токомона. Все японские уголки сошлись, как в талантливом сне. Черноволосые, в лентах, красотки, и те, у кого колчаны за плечами, и стрелы, летящие с разных сторон. Иероглифы падали с неба на длинных полотнах и достигали поющих полов. А соловьиные половицы страстно отвечали скрипучим пожатьям преданных родине стоп...

Скруп-скруп-скруп... Вадим А. Медведев... Простим времена, не сбрендив... скруп... Ботиночки жмут не дома... Тамагавк в секретаре райкома... Скруп... Смешной номер... Скрип... Сыграл, да помер...

Скряп-скряп-скряп... Валентина П. Ковель... Половина Вадиных кровель... Скряп... Твоя Валентина... Япония... Аргентина... Скроп... Держись, дорогая... Скрип... Смешная какая...

Скреп-скреп-скреп... Мария А. Призван... Муж ейный давно призван... Мама моя в «Мещанах»... Скрап... В развитых странах... Скрип... Открыточки... Даты... Мама моя, куда ты...

Скри-и-ип, скри-и-ип... Лебедев А. Евгений... Грипп... Вечных сомнений... Скряп... Таня-то наша... Скруп... Две правды, папаша... Скажи, где Гога, Натела? Времечко опустело...

Скрип-скроп-скруп... Владислав И. Стржельчик... Вот и сплав — сечи и речи... Скроп-скроп-скроп... Роли да роли... Вот и сноп воли и боли...

Скроп-скроп-скроп... Михаил Д. Волков... Покорил... Слухов и толков... Хруп да хруп... Жеребец Милый... Скруп да скруп... Где твои силы...

Скрап-скрап... Всеволод А. Кузнецов... Преданный скрипу отцов... Скрап да скрип... Зимой и летом... С водочкой... С партбилетом...

Скрип-па-па, скрип-па-па... Михаил В. Данилов... Каков улов... Таков вылов... Скрип-па-па... Скрип-па-па... Что за глупая толпа...

Скряп-скруп... Юрий А. Демич... Скряп-скруп... Ласков и груб... Чуб...

Крип... Сип... Сип... Иван М. Пальму... Скрип-сип... Сип-сип... В фильму... И концерт... На десерт...

Скрип-скрип. Георгий А. Товстоногов. Без забот и предлогов. Скрип... Скриб... Скря-а-бин... Только я глаза закрою... Предомною ты встаешь...

Скрипели полы...

Они шли, сняв жесткую обувь, и прижимали к древнему дереву беззащитные ступни. «Враг близок, — пели полы, — он уже рядом. Запасайтесь последним оружием, просите у Бога терпенья, любите, прощайте обиды, готовьтесь к последним боям». А потом пенье прекратилось, потому что они оторвались от пола и, как были, в носках, поднялись вверх. То есть они продолжали движение, но уже не касаясь полов. Отрывались порознь и поодиночке, но там, наверху, снова сбились в тесную стаю...

Артист Р. плелся в хвосте и думал о новом спектакле. Как и все остальные, он не знал своей судьбы. Ему хотелось ставить, играть, выходить на поклонны и складывать баулы в новую гастроль. Но именно здесь, в императорском дворце древнего Киото, на соло-вынных полах в его душе родилась новая тяга к красному дневнику. Он достал его из своей офицерской планшетки и, ощутив странное нетерпенье, раскрыл на ходу.

Некстати и не ко времени Р. вспомнил фразу Анны Андреевны и захотел ее тут же записать. Нет, эту он прочел, а не услышал. Но таковы были свойства ее голоса, что и после смерти все, что исходило от нее, Р. почему-то воспринимал как речь. *«Проза всегда казалась мне тайной и соблазном»*, — сказала она в тот день.

В ноябре 20... года, не успев развязать важные узлы и заполнить лакуны, автор был грубо отвлечен от гастрольного романа. Виной тому стали выданные на руки в 40-й поликлинике медицинские карты. Оказалось, что ему, так же как и его давнему приятелю, артисту Р., необходима срочная операция на сердце. В случае отказа обоим в самом близком будущем была обещана внезапная смерть. И тот, и другой отнеслись к сообщению легкомысленно, но врачам сдались.

Вышло так, что за них хлопотали, и оба оказались в одной палате Второй многопрофильной городской больницы в районе Озерков. Под смешные рассказы артиста Р. о его бесконечных гастролях подготовка к операциям прошла почти незаметно. Одного из них взялся оперировать генерал А.Б. Сорин, а другого — полковник В.К. Сухин.

Начальник Военно-медицинской академии, впоследствии министр здравоохранения, Шевченко от всех талантливых кардиохи-

ругов постарался избавиться, и они создали лучший в городе кардиохирургический центр во Второй больнице.

Утром 28 ноября артист Р. потерял из виду автора и, как положено, на колесных носилках, голый и выбритый, под легким одеяльцем поехал на второй этаж в отделение эндоваскулярной хирургии. Ему было неловко ввиду того, что влекли его, хотя и без видимых усилий, молодые и хорошенькие сестры милосердия. И наркотический укол сделала ему совершенная ангелица. С этого момента Р. делалось весело и интересно, и он с удовольствием рассматривал по монитору, как тяжело и напряженно работает его заезженная корда. «Интересное кино», — думал он.

— Градиент сто восемьдесят шесть, — сказал мужской голос.

Через стекло из соседней комнаты представление наблюдала группа молодых врачей. Некоторые прижимали лбы к прозрачной перегородке, потому что такой операции в Петербурге никто никогда не делал.

— Сейчас будет больно, — сказал Сухин часа через два.

— Да, больно, — весело подтвердил Р. и для точности добавил: — Очень...

Он и раньше пытался болтать, отвлекая хирурга от дела, но теперь стиснул зубы и замолчал. В операционный блок влетела знакомая стая и стала кружить вокруг сияющих ламп. Все птицы были в носках, но держались с достоинством и с любопытством смотрели по сторонам.

— Привет, — беззвучно сказал Р., и все названные покивали ему свободными головами. Лампы прибавили света, и ближе всех оказался Гога.

— Понимаете, Георгий Александрович, — сказал Р., — любой роман можно поставить, но нельзя же путать «Тихий Дон» с «Доктором Живаго».

Гога не отвечал... «Ну вот, опять обиделся», — подумал Р. и испугался, что тот не даст ему постановки. И тут же, не успев пережить испуг, он понял, что роман — это и есть спектакль, который он уже ставит, а все непослушные персонажи, у которых своя жизнь и кому плевать на режиссуру, отлично играют свои роли, стоит их вовремя отпустить и не обижать подсказкой.

И нечего задавать глупые вопросы минувшему веку или искать смысла там, где его нет. Стоит только свести два романских полушария, как между ними начнет искриться и возникнет энергия мировой поруки, скрепленной не параллелями и меридианами, а извилистыми линиями гастрольных скитаний. Только судьба подбирает рифму, только судьба. И пора оставить хлопоты о старых артистах, бросая их по японскому обычаю в снежных горах.

Куда спешить, если ты сам — театр для себя и двух или трех любимых?

Прощай, брат мой. И ты, друг, прощай.

Я хочу, чтобы ты не чувствовал без меня одиночества.

Бог даст, мы еще соберемся на главное представление и, глядя глазами в глаза, будем верить друг другу так бескорыстно, как могли здесь.

И я скажу тебе «браво», а ты положишь на мою могилу розу и крест.

Из разговорника, присланного Иосико Шуре Торопову:

«От Тоттори до Киото примерно три часа на поезде...

До Токио примерно час на самолете...

С правой стороны видна гора Дайсэн...

Большие дюны Тоттори — самые большие дюны в Японии...

Я провожу вас в исторический музей Манье...

В музее Нагасибина выставлено много старинных кукол, изготовленных ко дню девочек...

В Тадзили стоит памятник похороненным здесь русским морякам, погибшим во время японо-русской войны...

При раскопках Камадзити, части города Аоя, были найдены человеческие черепа с хорошо сохранившимся мозгом, восходящие к периоду Яйой...

Вы меня понимаете?.. Вы меня слышите?..

Ничего. Все будет хорошо...

Берегите себя, пожалуйста...»

Оглавление

Часть первая

7

Часть вторая

233

**Рецептер Владимир Эммануилович
Жизнь и приключения артистов БДТ**

**Редактор
*Е.Д.Шубина***

**Художественный редактор
*И.А.Курсанова***

**Технолог
*С.С.Басипова***

**Оператор компьютерной верстки
*М.Е.Басипова***

**Оператор компьютерной верстки
переплета и блока иллюстраций
*В.М.Драновский***

**Корректоры
*Г.П.Беляева, Л.Ф.Уланова***

Подписано в печать 23.09.2005.

Формат 84x108/32.

Тираж 3 000 экз.

Заказ № 2028.

**ЗАО «Вагриус»
107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1
E-mail: vagrius@vagrius.com**

**Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО "Тульская типография".
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109 .**



«А позже я понял, что все разлуки не проходят бесследно для каждого из разлученных, и почувствовал, что у всех уходящих, должно быть, рвалось сердце.

И еще – как оно разрывалось у того, от кого уходили.

Легко сказать: ушел Смоктуновский, Луспекаев, Дорнина, Панков, Юрский, Борисов...

Мало ли по каким причинам уходили они – за своей звездой, по болезни, замуж, ввиду безвременной смерти, отстаивая свободу, ища лучшей участи...

Да, они уходили, а он, Товстоногов, должен был это вынести, принять новые решения, хоть как-то восстановить пробитые бреши, сделать вид, что ничего страшного не произошло и наконец пойти дальше. Он тащил этот воз больше тридцати лет. И если кто-нибудь захочет разобраться, чего это стоило ему и нам, пусть знает, что держаться вместе так же трудно, как разойтись...»

ISBN 5-475-00096-4



9 785475 000960

ВАГРИУС